



Терберт
УДАРЕ
Люди
как боги

Библиотека
ТРИКЛЮЧЕНИЙ
продолжается



Библиотека

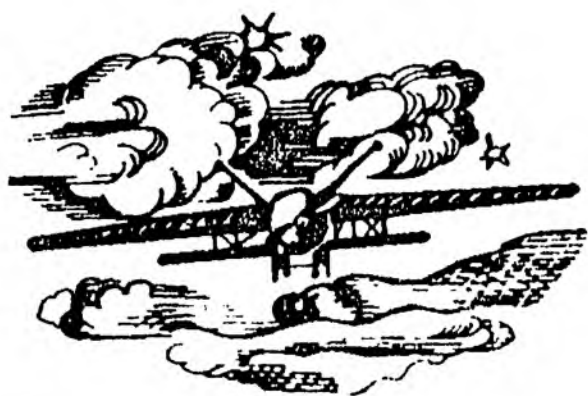
Пушкина



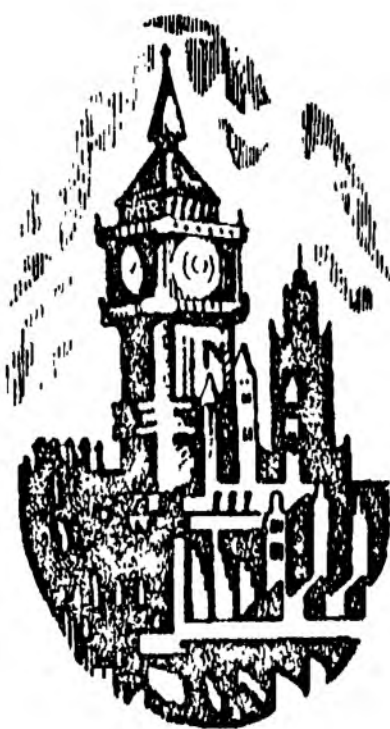
продолжается...

Юный

WNO
SO



Библиотека
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
продолжается...



Терберт
ГДААС

Люди
как боги

Когда стящий
проснется



МОСКВА
· ДИАМАНТ ·
1995

ББК 84.4Вл
У98

Перевод с английского

*Л. Карнауховой
М. Шишмаревой
Э. Пименовой*

Печатается по изданиям:

Уэллс Г. Избранные
научно-фантастические произведения
в трех томах
М., «Молодая гвардия», 1956

Полное собрание фантастических романов
Л., «Земля и фабрика», 1929

*Оформление Е. Соколова
В оформлении серии использована концепция
художника С. М. Пожарского
Иллюстрации В. Коротяевой*

**Выпуск издания осуществлен
ПКФ «Печатное дело»**

У $\frac{4703010100-029}{6Ф8(03)-94}$ без объявления

ISBN 5-7356-0029-X

© Разработка серии,
состав, оформление
ПКФ «Печатное дело», 1994г.
© Иллюстрации —
В Коротяева, 1994 г.

Люди
как боги







КНИГА ПЕРВАЯ

ВТОРЖЕНИЕ ЗЕМЛЯН

Глава первая

МИСТЕР БАРНСТЕЙПЛ РЕШАЕТ ОТДОХНУТЬ

1

Мистер Барнстейпл почувствовал, что самым настоящим образом нуждается в отдыхе, но поехать ему было не с кем и некуда. А он был переутомлен. И он устал от своей семьи.

По натуре он был человеком очень привязчивым; он нежно любил жену и детей и поэтому знал их наизусть, так что в подобные периоды душевной подавленности они его невыносимо раздражали. Трое его сыновей, дружно взрослевшие, казалось, с каждым днем становились все более широкоплечими и долговязыми; они усаживались именно в то кресло, которое он только что облюбовал для себя; они доводили его до иступления с помощью им же купленной пианолы, они сотрясали дом оглушительным хохотом, а спросить, над чем они смеются, было неудобно; они

перебивали ему дорогу в безобидном отеческом флирте, до тех пор составлявшем одно из главных его утешений в этой юдоли скорби; они обыгрывали его в теннис; они в шутку затевали драки на лестничных площадках и с невообразимым грохотом по двое и по трое катились вниз. Их шляпы валялись повсюду. Они опаздывали к завтраку. Каждый вечер они укладывались спать под громовые раскаты: «Ха-ха-ха! Бац!» — а их матери это как будто было приятно. Они обходились недешево, но вовсе не желали считаться с тем, что цены растут в отличие от жалованья мистера Барнстейпла. А когда за завтраком или обедом он позволял себе без обиняков высказаться о мистере Ллойд Джордже или пытался придать хоть некоторую серьезность пустой застольной болтовне, они слушали его с демонстративной рассеянностью... во всяком случае, так ему казалось.

Ему страшно хотелось уехать от своей семьи куда-нибудь подальше, туда, где он мог бы думать о жене и сыновьях с любовью и тихой гордостью или не думать совсем...

А кроме того, ему хотелось на некоторое время уехать подальше от мистера Пиви. Городские улицы стали для него источником мучений — он больше не мог выносить даже вида газет или газетных афишек. Его томило гнетущее предчувствие гигантского финансового и экономического краха, по сравнению с которым недавняя мировая война покажется сущим пустяком. И все это объяснялось тем, что он был помощником редактора и фактотумом в «Либерале», известном рупоре наиболее унылых аспектов передовой мысли, и неизбывный пессимизм его шефа, мистера Пиви, заражал его все больше и больше. Прежде ему удавалось как-то сопротивляться мистери Пиви, подшучивая над его мрачностью в частных беседах с другими сотрудниками, но теперь в редакции не было других сотрудников: мистер Пиви уволил их в особенно остром припадке финансового пессимизма. Практически теперь для «Либерала» писали регулярно только мистер Барнстейпл и мистер Пиви, так что мистер Барнстейпл оказался в полной власти мистера Пиви. Глубоко засунув руки в карманы брюк и сгорбившись в своем редакторском кресле, мистер Пиви весьма мрачно оценивал положение вещей, иногда не умолкая по два часа подряд. Мистер Барнстейпл от

природы был склонен надеяться на лучшее и верил в прогресс, однако мистер Пиви безапелляционно утверждал, что вера в прогресс вот уже шесть лет как полностью устарела и что либерализму остается надеяться разве только на скорый приход какого-нибудь Судного Дня. Затем, завершив передовицу, которую сотрудники редакции — когда в ней еще были сотрудники — имели обыкновение называть его «еженедельным несварением», мистер Пиви удалялся, предоставляя мистеру Барнстейплу заботиться об остальной части номера для следующей недели.

Даже в обычные времена терпеть общество мистера Пиви было бы нелегко, но времена отнюдь не были обычными; они слагались из крайне неприятных событий, которые давали достаточно оснований для мрачных предчувствий. Уже месяц в угольной промышленности длился широчайший локаут, казалось, предвещавший экономическую гибель Англии; каждое утро приносило вести о новых возмутительных инцидентах в Ирландии — инцидентах, которые невозможно было ни простить, ни забыть; длительная засуха угрожала погубить урожай во всем мире; Лига Наций, от которой мистер Барнстейпл в великие дни президента Вильсона ожидал огромных свершений, оказалась жалкой самодовольной пустышкой; повсюду царили вражда и безумие; семь восьмых мира, казалось, стремительно приближались к состоянию хронического хаоса и социального разложения. Даже и без мистера Пиви было бы трудно сохранять оптимизм перед лицом таких фактов.

И действительно, организм мистера Барнстейпла переставал вырабатывать надежду, а для людей его типа надежда — необходимый фермент, без которого они оказываются неспособными переваривать жизнь. Свою надежду он всегда возлагал на либерализм и на его благородные усилия, но теперь он постепенно начинал склоняться к мысли, что либерализм способен только сидеть, сгорбившись и засунув руки в карманы, и брюзгливо ворчать по поводу деятельности людей менее возвышенного образа мыслей, но зато более энергичных, чьи свары неизбежно погубят мир.

И теперь мистер Барнстейпл днем и ночью терзался мыслями о положении в мире. И ночью даже больше, чем днем, поскольку у него началась бессонница. А кроме того, его неотступно преследовало отчаянное

желание выпустить собственный номер «Либерала», целиком его собственный, — изменить макет после ухода мистера Пиви, выбросить все желчные излияния, все пустопорожные нападки на такую-то или такую-то ошибку, злорадное смакование жестокостей и несчастий, раздувание простых, естественных человеческих грешков мистера Ллойд Джорджа в преступления, выбросить все призывы к лорду Грею, лорду Роберту Сесилю, лорду Лэнсдауну, королеве Анне или императору Фридриху Барбароссе (адресат менялся из недели в неделю), воскреснуть, дабы выразить и воплотить юные надежды возрожденного мира, — выбросить все это и взамен посвятить номер.. Утопии! Сказать пораженным читателям «Либерала»: «Вот то, что необходимо сделать! Вот то, что мы собираемся сделать!» Как ошарашен будет мистер Пиви, когда в воскресенье за завтраком он откроет свою газету! От такого удара у него, пожалуй, повысится выделение желудочного сока, и ему, быть может, удастся переварить хотя бы этот завтрак!

Но все это были только пустые мечты.. Дома его ждали три юных Барнстейпла, и он был обязан всемерно облегчить им начало самостоятельной жизни. А кроме того, хотя в мечтах это представлялось замечательным, мистер Барнстейпл в глубине души испытывал крайне неприятную уверенность, что для осуществления подобного замысла у него не хватит ни ума, ни таланта. Он обязательно все испортит..

Ведь из огня можно угодить и в полымя. «Либерал» был унылой, пессимистической, брюзгливой газетой, но его, по крайней мере, нельзя было назвать ни подлой, ни вредной газетой.

Но как бы то ни было, во избежание подобного катастрофического взрыва мистеру Барнстейплу настоятельно требовалось некоторое время отдохнуть от мистера Пиви. Он и так уже раза два начинал ему противоречить. Ссора могла вспыхнуть в любую минуту. И совершенно очевидно, что в качестве первого шага к отдыху от мистера Пиви надо было посетить врача. И вот мистер Барнстейпл отправился к врачу.

— У меня шалют нервы, — сказал мистер Барнстейпл — Мне кажется, я становлюсь ужасным неврастеником.

— Вы больны неврастением, — сказал врач.

— Я чувствую отвращение к моей работе.

— Вам необходимо отдохнуть.

— Вы полагаете, что мне следует переменить обстановку?

— Настолько радикально, насколько это возможно.

— Не посоветуете ли вы, куда мне лучше всего поехать?

— А куда вам хотелось бы поехать?

— Да никуда конкретно. Я думал, вы посоветуете...

— Облюбуйте какое-нибудь место... и поезжайте туда. Ни в коем случае не насилуйте сейчас ваших желаний.

Мистер Барнстейпл заплатил доктору положенную гинею и, вооружившись этими наставлениями, приготовился ждать подходящего случая, чтобы сообщить мистеру Пиви о своей болезни и о том, что ему требуется отпуск.

2

В течение некоторого времени этот будущий отдых оставался всего лишь новым добавлением к бремени тревог, терзавших мистера Барнстейпла. Решиться уехать значило столкнуться с тремя на первый взгляд непреодолимыми трудностями: каким образом уехать? Куда? И — поскольку мистер Барнстейпл принадлежал к числу людей, которым весьма быстро надоедает собственное общество, — с кем? Уныние, последнее время не сходявшее с лица мистера Барнстейпла, теперь порой внезапно сменялось хитровой настороженностью тайного интригана. Впрочем, никто не обращал особого внимания на выражение лица мистера Барнстейпла.

Одно ему было совершенно ясно: домашние ни в коем случае не должны догадаться о его планах. Если миссис Барнстейпл проведаст о них, то дальнейшее известно: она преданно и деловито возмет на себя все заботы. «Тебе надо отдохнуть как следует!» — скажет она. Затем она выберет какой-нибудь отдаленный и дорогой курорт в Корнуэлле, Шотландии или Бретани, накупит массу дорожных вещей, будет то и дело что-нибудь добавлять, так что в последнюю минуту багаж обрстет множеством неудобных пакетов, и непременно захватит с собой сыновей. Она, возможно, кроме того, уговорит нескольких знакомых поехать

туда же, «чтобы было веселей». А эти знакомые, если они поедут, наверняка прихватят с собой худшие стороны своего характера и будут надоедать ему с поразительной неутомимостью. Говорить будет не о чем. Все будут вымученно смеяться. Играть в бесконечные игры... Нет!!!

Но может ли муж уехать отдыхать так, чтобы об этом не проведала его жена? Надо ведь уложить чемодан, незаметно вынести его из дому...

Однако в положении мистера Барнстейпла имелось одно обстоятельство, которое, с точки зрения мистера Барнстейпла, обещало надежду на благополучный исход: у него был маленький автомобиль, и пользовался им только он один. Естественно, что в его тайных планах этому автомобилю отводилась существенная роль. Он, казалось, давал наиболее простую возможность уехать; он превращал ответ на вопрос «куда?» из точного названия конкретного места в то, что математики, если не ошибаюсь, называют траекторией; и в этой зверушке было что-то настолько уютно-добродушно, что она, хотя и в малой степени, но все же отвечала на вопрос «с кем?». Это был двухместный автомобильчик. В семье его называли «лоханкой», «горчицей Колмена» и «желтой опасностью». По этим прозвищам нетрудно догадаться, что это была низкая открытая машина пронзительно-желтого цвета. Мистер Барнстейпл ездил на ней из Сайденхэма в редакцию, потому что она расходовала всего один галлон бензина на тридцать три мили, и это обходилось намного дешевле сезонного билета. Днем автомобильчик стоял под окнами редакции во дворе, а в Сайденхеме жил в сарае, единственный ключ от которого мистер Барнстейпл всегда носил с собой. Благодаря этому сыновьям мистера Барнстейпла пока еще не удалось ни завладеть автомобилем, ни разобрать его на составные части. Иногда миссис Барнстейпл, отправляясь за покупками, заставляла мужа возить ее по Сайденхему, но в глубине души она недолюбливала автомобильчик, потому что он отдавал ее на произвол ветра, который покрывал ее пылью и трепал прическу. Все, что автомобильчик делал возможным, и все, что он делал невозможным, превращало его в наилучшее средство для столь необходимого отдыха. А кроме того, мистер Барнстейпл любил ездить на своем автомобиле. Правил он очень сквер-

но, но зато крайне осторожно, и хотя автомобильчик порой останавливался и отказывался ехать дальше, он (во всяком случае, до сих пор) еще ни разу не позволил себе того, чего мистер Барнстейпл привык ожидать от большинства вещей, с которыми сталкивался в жизни, а именно не ехал прямо на восток, когда мистер Барнстейпл поворачивал рулевое колесо прямо на запад. И в его обществе мистер Барнстейпл чувствовал себя хозяином положения, а это было приятное чувство.

И все же окончательное решение мистер Барнстейпл принял почти внезапно. Ему неожиданно представился удобный случай. По четвергам он бывал в типографии и в этот четверг вернулся вечером домой совсем обессиленный. Палящая жара упорно не спадала и не становилась более сносной из-за того, что засуха сулила голод и горе половине населения земли. А лондонский сезон, элегантный и ухмыляющийся, был в полном разгаре: глупостью он, пожалуй, умудрился превзойти даже лето 1913 года — великого года танго, который в свете последующих событий мистер Барнстейпл до сих пор считал глупейшим годом во всей истории человечества. «Стар» сообщала обычный набор скверных новостей, скромно ютившихся по соседству со спортивной и светской хроникой, занимавшими наиболее видное место. Продолжались бои между русскими и поляками, а также в Ирландии, Малой Азии, на индийской границе и в Восточной Сибири. Произошло еще три зверских убийства. Горняки по-прежнему бастовали, и вот-вот должна была вспыхнуть большая стачка машиностроительных рабочих. На скамьях пригородного поезда не нашлось ни одного свободного местечка, и он тронулся с опозданием на двадцать минут.

Дома мистер Барнстейпл нашел записку от жены: ее родственники прислали телеграмму из Уимблдона о том, что неожиданно возникла возможность посмотреть игру мадемуазель Ленглен и всех других теннисных чемпионов, — она уехала с мальчиками, и они вернутся очень поздно. Мальчикам необходимо посмотреть настоящий теннис, тогда они и сами станут играть лучше, писала она. Кроме того, сегодня у горничной и кухарки свободный вечер. Он не очень рассердится, если ему разок придется посидеть дома одному? Кухарка перед уходом оставит ему в столовой холодный ужин.

Мистер Барнстейпл прочел эту записку с чувством покорности судьбе. Ужиная, он просмотрел брошюру, которую ему прислал знакомый китаец, чтобы показать, как японцы сознательно уничтожают все, что еще сохранилось от китайской цивилизации и культуры.

И только когда мистер Барнстейпл после ужина устроился с трубкой в садике позади дома, он вдруг сообразил, какие возможности открывает перед ним его неожиданное одиночество.

Он начал действовать немедленно. Он позвонил мистеру Пиви, сообщил ему о заключении врача, объяснил, что именно сейчас его отъезд может пройти для «Либерала» почти безболезненно, и добился желанного отпуска. Потом он поспешил к себе в спальню, торопливо уложил необходимые вещи в старый саквояж, исчезновение которого вряд ли могло быть скоро замечено, и спрятал его в багажник автомобиля. Вернувшись в дом, он довольно долго трудился над письмом жене, которое затем засунул в нагрудный карман пиджака.

Когда с этим было покончено, он запер сарай и расположился в саду в шезлонге с трубкой и хорошей, обстоятельной книгой, посвященной банкротству Европы, чтобы жена и сыновья, вернувшись домой, не заподозрили ничего необычного.

Вечером он словно между прочим сообщил жене, что у него последнее время пошаливают нервы и что на следующий день он поедет в Лондон посоветоваться с врачом.

Миссис Барнстейпл хотела было сама выбрать для него доктора, но он вышел из затруднения, заявив, что в этом вопросе ему следует считаться с желаниями Пиви и что Пиви настоятельно рекомендовал ему своего доктора (того самого, с которым он на самом деле уже советовался). А когда миссис Барнстейпл сказала, что, по ее мнению, им всем нужно как следует отдохнуть, он буркнул в ответ что-то невнятное.

Таким образом, мистеру Барнстейплу удалось уехать из дому, захватив все необходимое для нескольких недель отдыха и не вызвав сопротивления, которое ему вряд ли удалось бы преодолеть. На следующее утро, выехав на шоссе, он повернул в сторону Лондона. Движение по шоссе было оживленным, но не настолько, чтобы затруднить мистера Барнстейпла, и «желтая опасность» вела себя так хорошо и мило,

что ее стоило бы переименовать в «золотую надежду». В Камберуэлле он свернул на Камберуэлл-нью-роуд и остановился у почты в конце Воксхолл-бридж-роуд. Пугаясь и радуясь собственной смелости, он пошел на почту и отправил жене следующую телеграмму:

«Доктор Пейген настоятельно рекомендует немедленный отдых одиночество отправляюсь Озерный край предполагая это захватил саквояж вещи подробности письмом».

Затем, выйдя на улицу, он порылся в кармане, вытащил письмо, которое так старательно сочинял накануне, и бросил его в ящик. Оно специально было написано каракулями, долженствовавшими навести на мысль об острой форме неврастении. Доктор Пейген, говорилось в нем, прописал немедленный отдых и посоветовал «побродить по северу». Ему полезно будет несколько дней или даже неделю не писать и не получать писем. Он не станет писать, если только не произойдет какого-нибудь несчастья. Нет вестей — значит, хорошие вести. И вообще все будет отлично. Как только он решит, где остановиться, он протелеграфирует адрес, но писать ему следует только в случае крайней необходимости.

После этого мистер Барнстейпл снова уселся за руль с блаженным чувством свободы, какого не испытывал с тех пор, как в первый раз уехал из школы на каникулы. Он собирался выбраться на Большое Северное шоссе, но попал в затор у Гайд-парк Корнер и, следуя указанию полицейского, повернул в сторону Найтсбриджа, а когда оказался на перекрестке, где от Оксфордского шоссе ответвляется шоссе на Бат, то, не желая ожидать, пока тяжелый фургон освободит ему путь, свернул на дорогу в Бат. Это ведь не имело ни малейшего значения. Любое шоссе вело вдаль, а отправиться на север можно будет и позже.

3

День был ослепительно солнечный, как почти все дни великой засухи 1921 года. Однако он несколько не был душным. В воздухе даже чувствовалась свежесть, очень подходившая к бодрому настроению мистера Барнстейпла, и его не покидала уверенность, что ему предстоят всякие приятные приключения. Надежда вновь вернулась к нему. Он знал, что этот путь

уведет его далеко от мира привычных вещей, но ему и в голову не приходило, какая пропасть отделит его от мира привычных вещей в конце этого пути. Он с удовольствием думал, что скоро остановится у какой-нибудь придорожной гостиницы и перекусит, а если ему станет скучно, то, отправившись дальше, он подвезет кого-нибудь, чтобы было с кем поговорить. А найти попутчика будет нетрудно: он готов ехать в любом направлении, лишь бы не назад к Сайденхему и редакции «Либерала».

Едва он выехал из Слау, как его обогнал огромный серый автомобиль. Мистер Барнстейпл вздрогнул и шарахнулся в сторону. Серый автомобиль, даже не просигналив, скользнул мимо, и хотя, согласно лишь чуть-чуть привиравшему спидометру, мистер Барнстейпл ехал со скоростью добрых двадцати семи миль в час, эта машина обогнала его за одну секунду. В ней, заметил он, сидело трое мужчин и одна дама. Все они сидели выпрямившись и повернув головы, словно интересуясь чем-то, оставшимся позади. Они промелькнули мимо очень быстро, и он успел разглядеть только, что дама ослепительно красива яркой и бесспорной красотой, а ее спутник, сидящий слева, похож на состарившегося эльфа.

Не успел мистер Барнстейпл опомниться от этого происшествия, как другой автомобиль, наделенный голосом доисторического ящера, предупредил, что собирается его обогнать. Мистер Барнстейпл любил, чтобы его обгоняли именно так, после надлежащих переговоров. Он уменьшил скорость, освободил середину шоссе и сделал приглашающий жест. Большой, стремительный лимузин внял его разрешению воспользоваться тридцатью с лишком футами освобожденной ширины дороги. В лимузине было много багажа, но из всех пассажиров мистер Барнстейпл успел заметить только молодого человека с моноклем в глазу, сидевшего рядом с шофером. Вслед за серым автомобилем лимузин исчез за ближайшим поворотом.

Однако даже механизированная лоханка возмутится, если ее столь высокомерно обгоняют в такое солнечное утро на свободной дороге. Акселератор мистера Барнстейпла пошел вниз, и он миновал этот поворот на добрых десять миль быстрее, чем позволяла его обычная осторожность. Шоссе впереди было пустынно.

Даже слишком пустынно. Оно отлично просмат-

ривалось на треть мили вперед. Слева его окаймляла низкая, аккуратно подстриженная живая изгородь, за ней виднелись купы деревьев, ровные поля, за ними — небольшие домики, одинокие тополя, а вдали — Виндзорский замок. Справа расстилался ровный луг, стояла маленькая гостиница, а дальше тянулась цепь невысоких лесистых холмов. Самым ярким пятном на этом мирном ландшафте была реклама какого-то отеля на речном берегу в Мейденхеде. Над полотном дороги колебалось жаркое марево и крутились крохотные пылевые смерчи. И нигде не было видно серого автомобиля, и нигде не было видно лимузина.

Мистеру Барнстейплу потребовалось почти целых две секунды, чтобы осознать всю поразительность этого факта. Ни справа, ни слева от шоссе не ответвлялось ни одной дороги, на которую могли бы свернуть эти автомобили. Если они уже успели скрыться за дальним поворотом, это означало, что они мчались со скоростью двести, а то и триста миль в час!

У мистера Барнстейпла было похвальное обыкновение снижать скорость в тех случаях, когда он терялся. Он снизил скорость и сейчас. Он ехал не быстрее пятнадцати миль в час, изумленно озираясь по сторонам в поисках разгадки этого таинственного исчезновения. Как ни странно, у него не было ощущения, что ему угрожает какая-то опасность.

Но тут автомобиль словно наткнулся на что-то, и его занесло. Он повернул так стремительно, что на секунду мистер Барнстейпл совсем потерял голову. Он не мог вспомнить, что надо делать в таких случаях. Правда, ему смутно мерещилось, что полагается повернуть руль в сторону заноса, но в горячке волнения он никак не мог сообразить, в какую именно сторону занесло автомобиль.

Потом он вспоминал, что в это мгновение услышал какой-то звук. Именно такой, каким разрешается накапливавшееся давление, резкий, словно звон оборвавшейся струны, который слышишь, когда теряешь сознание под наркозом или когда приходишь в себя.

Ему казалось, что автомобиль завернуло к живой изгороди справа, однако дорога по-прежнему простиралась прямо перед ним. Он нажал было на акселератор, но тут же затормозил и остановился. Он остановился, пораженный удивлением.

Это было совсем не то шоссе, по которому он ехал

всего тридцать секунд назад. Изгородь изменилась, деревья стали другими, Виндзорский замок исчез, и в качестве некоторой компенсации впереди вновь возник большой лимузин. Он стоял у обочины ярдах в двухстах дальше по дороге.

Глава вторая

УДИВИТЕЛЬНАЯ ДОРОГА

1

В течение некоторого времени внимание мистера Барнстейпла в очень неравной пропорции раздваивалось между лимузином, пассажиры которого тем временем вышли на дорогу, и окружающим его ландшафтом. Этот последний был настолько удивителен и прекрасен, что группа людей впереди занимала мистера Барнстейпла лишь постольку, поскольку он предполагал, что они должны были разделять его изумление и восторг и, значит, могли как-то помочь ему рассеять его все растущее недоумение.

Сама дорога уже не была обычным английским шоссе из спрессованной гальки и грязи, покрытой ва-ром, на который налип всякий мусор, пыль и экскременты животных. Оно, казалось, было сделано из стекла, то прозрачного, как вода тихого озера, то молочно-белого или жемчужного, пронизанного радужными прожилками или сверкающими облачками золотистых снежинок. Шириной она была ярдов в двенадцать-пятнадцать. По обеим ее сторонам зеленела трава, прекрасней которой мистеру Барнстейплу не приходилось видеть, хотя он был любителем и знатоком газонов, а за ней пестрело настоящее море цветов. У того места, где сидел в своем автомобиле ошеломленный мистер Барнстейпл, и еще ярдов на тридцать в обе стороны за полосой травы густо росли какие-то незнакомые цветы, голубые, как незабудки. Дальше они все больше вытеснялись высокими, ослепительно-белыми кистями и в конце концов исчезали вовсе. По ту сторону дороги эти белые кисти были перемешаны с буйной массой каких-то также незнакомых мистеру Барнстейплу растений, увешанных семенными коробочками; они перемежались венчиками

синих, палевых и лиловых оттенков, переходивших в конце концов в огненно-красную полосу. За этой великолепной цветочной пеной простирались ровные луга, где паслись бледно-золотистые коровы. Три из них, стоявшие поблизости и, возможно, несколько пораженные внезапным появлением мистера Барнстейпла, жевали свою жвачку и поглядывали на него с задумчивым добродушием. У них были длинные рога и отвислые складки на шее, как у южноевропейского и индийского скота. Затем мистер Барнстейпл перевел взгляд от этих безмятежных созданий на бесконечный ряд деревьев, чья форма напоминала языки пламени, на бело-золотую колоннаду и на замыкавшие горизонт вершины гор. В ослепительно синем небе плыли курчавые облака. Воздух показался мистери Барнстейплу удивительно прозрачным и благоуханным.

Если не считать коров и группы людей у лимузина, вокруг не было видно ни одной живой души. Пассажиры лимузина стояли, недоуменно озираясь по сторонам. До мистера Барнстейпла донеслись раздраженные голоса.

Громкий треск, раздавшийся где-то сзади, заставил мистера Барнстейпла обернуться. Возле дороги, примерно в том же направлении, откуда мог попасть на нее его автомобиль, виднелись развалины каменного здания, очевидно, разрушенного совсем недавно. Возле него торчали две только что сломанные яблони, скрученные и расщепленные, словно взрывом, а из развалин поднимался столб дыма и доносился рев разгорающегося огня. Поглядев на изуродованные яблони, мистер Барнстейпл вдруг заметил, что цветы у дороги рядом с ним тоже полегли в одном направлении, как будто от резкого порыва ветра. Но ведь он не слышал никакого взрыва, не чувствовал никакого ветра!

Несколько минут он недоуменно смотрел на развалины, а потом, словно ожидая объяснения, оглянулся на лимузин. Трое из пассажиров шли теперь по дороге, направляясь к нему, — впереди высокий, худощавый седой господин в фетровой шляпе и длинном дорожном пыльнике. Лицо у него было маленькое, здернутое кверху, а носик такой крохотный, что золоченное пенсне еле-еле на нем удерживалось. Мистер Барнстейпл завел свой автомобиль и медленно поехал к ним навстречу

Когда, по его расчетам, они сблизилась настолько, что могли без труда расслышать друг друга, он остановил «желтую опасность» и перегнулся через борт, собираясь задать вопрос. Но в ту же секунду высокий седой господин обратился к нему с этим же самым вопросом.

— Не могли бы вы сказать мне, сэр, где мы находимся? — спросил он.

2

— Пять минут назад, — ответил мистер Барнстейпл, — я сказал бы, что мы находимся на Мейденхедском шоссе. Вблизи Слау.

— Вот именно! — убежденным и назидательным тоном подтвердил высокий господин. — Вот именно! И я утверждаю, что нет ни малейших оснований предполагать, что сейчас мы находимся не на Мейденхедском шоссе.

В его тоне прозвучал вызов искусного спорщика.

— Но все это непохоже на Мейденхедское шоссе, — заметил мистер Барнстейпл.

— Согласен! Но должны ли мы исходить из видимости или из непрерывности собственного опыта? Мейденхедское шоссе привело нас сюда, оно непосредственно связано с этим местом, и поэтому я утверждаю, что это — Мейденхедское шоссе.

— А как же горы? — спросил мистер Барнстейпл.

— Там полагается быть Виндзорскому замку, — живо сказал высокий господин, словно делая гамбитный ход.

— Пять минут назад он там и был, — сказал мистер Барнстейпл.

— Отсюда неопровержимо следует, что эти горы — маскировка, — с торжеством заявил высокий господин, — а все происшедшее — какой-то, как выражаются в наши дни, «розыгрыш».

— В таком случае это разыграно удивительно ловко, — заметил мистер Барнстейпл.

Наступило молчание, и мистер Барнстейпл воспользовался им, чтобы рассмотреть спутников своего собеседника. Его самого он узнал сразу, так как не раз видел его на различных собраниях и торжественных банкетах. Это был мистер Сесиль Берли, знаменитый лидер консервативной партии. Он прославился не только своей политической деятельностью, но и

был известен как человек безупречной репутации, философ и эрудит. Чуть позади него стоял невысокий, коренастый человек средних лет, незнакомый мистеру Барнстейплу. Выражение высокомерной брезгливости, присущее его лицу, еще усиливалось благодаря моноклю. Их третий спутник показался мистеру Барнстейплу знакомым, но ему не удалось вспомнить, кто это такой. Чисто выбритая круглая пухлая физиономия, упитанное тело, а главное, костюм делали его похожим на священника Высокой церкви или даже на преуспевающего католического патера.

Теперь произительным фальцетом заговорил молодой человек с моноклем:

— Я проезжал по этому шоссе в Тэплоу-Корт всего месяц назад, и тут ничего подобного не было.

— Признаю, что мне не все ясно, — с наслаждением произнес мистер Берли. — Признаю, что мне многое неясно. Но все же осмелюсь полагать, что в своей основной предпосылке я прав.

— Вы ведь не думаете, что это Мейденхедское шоссе! — безапелляционно заявил мистеру Барнстейплу господин с моноклем.

— Все это выглядит слишком совершенным для того, чтобы быть подстроеным, — мягко, но упрямо сказал мистер Барнстейпл.

— Что вы, дорогой сэр! — запротестовал мистер Берли. — Это шоссе на всю страну знаменито своими садоводами, и они иногда устраивают самые поразительные выставки. Для рекламы, знаете ли.

— В таком случае почему мы не едем сейчас в Тэплоу-Корт? — спросил господин с моноклем.

— Потому что, — ответил мистер Берли с легким раздражением человека, вынужденного повторять всем известный факт, с которым упрямо не желают считаться, — потому что Руперт утверждает, будто мы попали в какой-то другой мир. И отказывается ехать дальше. Вот почему. Он всегда страдал избытком воображения. Он считает, что несуществующее может существовать. А сейчас он внушил себе, что произошло нечто в духе научно-фантастических романов и мы очутились вне нашего мира. В каком-то ином измерении. Порой мне кажется, что для нас всех было бы лучше, если бы Руперт начал писать фантастические романы вместо того, чтобы пытаться воплощать их сюжеты в жизнь. Если вы, как его секретарь, полагаете, что вам

удастся убедить его поторопиться в Тэплоу-Корт, чтобы не опоздать к завтраку с виндзорским обществом...

И мистер Берли взмахнул рукой, заканчивая мысль, для которой у него не нашлось достаточно весомых слов.

Мистер Барнстейпл уже заметил медлительного рыжевато-го человека в сером цилиндре с черной лентой, прославленном карикатуристами. Он внимательно исследовал цветочную чашу около лимузина. Значит, это действительно не кто иной, как сам Руперт Кэтскилл, военный министр. И впервые в жизни мистер Барнстейпл почувствовал, что полностью согласен с этим чрезмерно склонным к авантюрам государственным мужем. Они действительно попали в иной мир. Мистер Барнстейпл вылез из автомобиля и сказал, обращаясь к мистеру Берли:

— Я полагаю, сэр, что мы получим гораздо более ясное представление о том, где мы находимся, если рассмотрим поближе вон то горящее здание. Мне кажется, дальше, на склоне, кто-то лежит. Если бы нам удалось поймать кого-нибудь из этих шутников...

Он умолк, так как на самом деле вовсе не верил в то, что они стали жертвой шутки. За последние пять минут мистер Берли чрезвычайно упал в его глазах.

Все четверо повернулись к дымящимся развалинам.

— Поразительно, что нигде не видно ни одной живой души,— заметил господин с моноклем, оглядывая даль.

— Ну, я не усматриваю ничего нежелательного в том, чтобы выяснить, что там горит,— сказал мистер Берли и первым направился к разрушенному дому среди сломанных деревьев — на его интеллигентном лице было написано ожидание.

Но не успел он сделать и пяти шагов, как их внимание было снова привлечено к лимузину: сидевшая в нем дама вдруг испустила громкий вопль ужаса.

3

— Нет, это уже переходит все границы! — воскликнул мистер Берли с искренним негодованием.— Несомненно, полицейские постановления запрещают что-либо подобное.

— Он сбежал из какого-нибудь бродячего зверинца,— заметил господин с моноклем.— Что нам следует предпринять?

— С виду он совсем ручной, — сказал мистер Барнстейпл, не проявляя, однако, ни малейшего желания проверить свою теорию на практике.

— И все-таки он может опасно напугать людей, — заявил мистер Берли и с тем же невозмутимым спокойствием крикнул: — Не бойтесь, Стелла! Он, разумеется, ручной и не причинит вам ни малейшего вреда. Только не дразните его этим зонтиком. Он может броситься на вас. Стел-л-ла!

«Он» был крупным, необычайно пестрым леопардом, который бесшумно вынырнул из цветочного моря и, словно огромный кот, уселся на стеклянной дороге возле лимузина. Он растерянно мигал и ритмично помахивал головой, с недоумением и интересом наблюдая, как молодая дама, следуя лучшим традициям, принятым в подобных случаях, со всей возможной быстротой открывала и закрывала перед его мордой свой солнечный зонтик. Шофер укрылся за автомобилем. Мистер Руперт Кэтскилл стоял по колени в цветах и с удивлением взирал на зверя, очевидно, заметив его — как и мистер Берли со спутниками, — только когда услышал вопль.

Первым опомнился мистер Кэтскилл и показал, из какого материала он скроен. Его действия были одновременно и осторожными и смелыми.

— Перестаньте хлопнуть зонтиком, леди Стелла, — сказал он — Разрешите мне... я отвлеку его внимание на себя.

Он обошел лимузин и очутился прямо перед леопардом. Тут он на мгновение остановился, словно выставляя себя напоказ, — решительный человек в сером сюртуке и в цилиндре с черной лентой. Осторожно, стараясь не раздражить зверя, он протянул к нему руку.

— Ки-иса! — сказал он.

Леопард, очень довольный исчезновением зонтика леди Стеллы, поглядел на него с живым любопытством. Мистер Кэтскилл сделал шаг вперед. Леопард вытянул морду и понюхал воздух.

— Только бы он позволил мне погладить себя, — говорил мистер Кэтскилл, приблизившись к леопарду на расстояние вытянутой руки.

Зверь недоверчиво обнюхал его пальцы. Затем с внезапностью, заставившей мистера Кэтскилла отскочить назад, он чихнул. Потом чихнул второй раз —

еще сильнее, с упреком посмотрел на мистера Кэтскилла, легко перескочил полосу цветов и длинными прыжками понесся в сторону бело-золотой колоннады. Мистер Барнстейпл заметил, что пасущиеся коровы смотрят ему вслед без малейшего страха.

Мистер Кэтскилл, выпятив грудь, стоял посреди дороги.

— Ни одно животное, — объявил он, — не может выдержать пристального взгляда человеческих глаз. Ни одно. Пусть-ка материалисты попробуют это объяснить!.. Не присоединимся ли мы к мистеру Сесилю, леди Стелла? Он как будто обнаружил там нечто интересное. Владелец желтого автомобильчика, возможно, знает, что это за место. Ну, так как же?

Он помог леди Стелле выйти из автомобиля, и они направились к группе мистера Барнстейпла, уже приблизившейся к горящему зданию. Шофер, не решаясь, по-видимому, оставаться наедине с лимузином в этом мире невероятных происшествий, следовал за ними настолько близко, насколько позволяла почтительность.

Глава третья

МИР КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ

1

Пожар, казалось, затихал. Над маленьким зданием теперь поднималось меньше дыма, чем в ту минуту, когда мистер Барнстейпл заметил его. Подойдя поближе, они обнаружили среди развалин множество скрученных кусков какого-то блестящего металла и осколки стекла. Больше всего это походило на остатки взорвавшейся научной аппаратуры. Затем они почти одновременно увидели в траве позади здания неподвижное тело. Это был труп молодого мужчины — совершенно обнаженного, если не считать нескольких браслетов, ожерелья и набедренной повязки. Из его рта и ноздрей сочилась кровь. Мистер Барнстейпл почти благоговейно опустился на колени рядом с погибшим и прижал руку к его груди — сердце не билось. Впервые в жизни видел он такое прекрасное тело и лицо.

— Умер, — сказал он шепотом

— Посмотрите! — раздался пронзительный голос человека с моноклем.— Еще один!

Обломок стены помешал мистеру Барнстейплу увидеть, на что он указывает. Только поднявшись на ноги и перебравшись через груды мусора, он наконец увидел второй труп. Это была тоненькая девушка, тоже почти нагая. По-видимому, ее с огромной силой ударило о стену, и смерть наступила мгновенно. Лицо ее нисколько не пострадало, хотя затылок был разmozжен; изумительно очерченные губы и зеленовато-серые глаза были чуть приоткрыты, словно она все еще размышляла над какой-то трудной, но интересной проблемой. Она казалась не мертвой, а просто отрешенной от окружающего. Одна рука все еще держала какой-то медный инструмент с ручкой из стекла, пальцы другой были бессильно разжаты.

Несколько секунд все молчали, как будто опасаясь прервать ее мысли.

Затем мистер Барнстейпл услышал позади себя голос человека, похожего на священника.

— Какая совершенная оболочка! — негромко сказал тот.

— Признаю, что я ошибся,— медленно произнес мистер Берли.— Я ошибся. Перед нами не земные люди. Это очевидно. Отсюда следует, что мы не на Земле. Не представляю, что случилось и где мы находимся. Перед лицом достаточно веских фактов я всегда без колебаний отказывался от своего прежнего мнения. Мир в котором мы сейчас находимся,— не наш мир. Это нечто...— Он помолчал и закончил: — Это нечто поистине чудесное.

— А виндзорскому обществу,— заметил мистер Кэтскилл как будто без малейшего сожаления,— придется завтракать без нас.

— Но в таком случае,— спросил человек, похожий на священника,— в каком мире мы находимся и как мы в него попали?

— На этот вопрос,— невозмутимо сказал мистер Берли,— мое скудное воображение не в состоянии подсказать никакого ответа. Мы находимся в каком-то мире, необыкновенно похожем на наш мир и необыкновенно на него непохожем. Между ним и нашим миром, несомненно, существует какая-то связь, иначе мы здесь не находились бы. Но что это за связь, признаюсь, сказать не могу: для меня это неразрешимая

тайна. Возможно, мы попали в другое, неизвестное нам пространственное измерение. Но при одной мысли об этих измерениях моя бедная голова идет кругом Я... я в недоумении... в полном недоумении.

— Эйнштейн, — коротко и внушительно обронил господин с моноклем.

— Вот именно! — отозвался мистер Берли. — Эйнштейн мог бы объяснить нам это. И милейший Холдейн мог бы взяться за объяснение и совсем сбил бы нас с толку своим туманным гегельянством. Но я не Холдейн и не Эйнштейн. Мы оказались в каком-то мире, который с практической точки зрения — в том числе и с точки зрения наших планов на воскресенье — можно назвать «Нигде». Или, если вы предпочитаете греческое слово, мы в утопии. И поскольку я не вижу, каким образом мы можем из нее выбраться, то нам, как разумным существам, следует как-то приспособиться к создавшемуся положению. И выжидать удобной возможности. Мир этот, вне всякого сомнения, прелестен. И прелесть его даже превосходит его загадочность. Кроме того, тут живут люди — существа, наделенные разумом. Судя по тому, что нас сейчас окружает, я заключаю, что это мир, где широко ставятся химические опыты — ставятся, чего бы это ни стоило, — среди поистине идиллической природы. Химия... и нагота! Будем ли мы считать эту пару, по-видимому, только что взорвавшую себя, греческими богами или голыми дикарями, — по моему мнению, это зависит от наших личных вкусов. Что до меня, то мне больше импонирует греческий бог... и богиня.

— Этому мешает только одно: как-то трудно представить себе двух мертвых бессмертных! — победоносно взвизгнул господин с моноклем.

Мистер Берли собирался уже ответить — и, судя по негодующему выражению его лица, это была бы краткая, но энергичная нотация, — но вместо этого он испустил удивленное восклицание и обернулся. В тот же момент все общество заметило, что около развалин стоят два нагих Аполлона и смотрят на землян с не меньшим изумлением, чем те на них.

Один из новоприбывших заговорил, и мистер Барнстейпл был необычайно поражен, обнаружив, что в его мозгу, будто эхо, возникают вполне понятные и знакомые слова.

— Красные боги! — воскликнул утопиец. — Что вы такое? И откуда вы взялись?

(Родной язык мистера Барнстейпла! Если бы он заговорил по-древнегречески, это было бы менее поразительно. Но как поверить, что они говорят на одном из живых земных языков!)

2

Мистер Сесиль Берли был ошеломлен гораздо меньше остальных.

— Теперь, — заметил он, — у нас есть основания полагать, что мы сможем узнать нечто определенное, поскольку перед нами разумные, наделенные даром речи существа.

Он кашлянул, взялся длинными, нервными пальцами за лацканы своего длиннополого пыльника и заговорил от лица всех своих спутников.

— Мы не в состоянии, господа, объяснить наше появление здесь, — сказал он. — Оно кажется нам столь же загадочным, как и вам. Мы внезапно заметили, что из своего мира перенеслись в ваш, — вот и все.

— Вы появились из другого мира?

— Вот именно. Из совершенно иного мира. Где у каждого из нас есть свое естественное и надлежащее место. Мы сходили по нашему миру в... э... неких экипажах, как вдруг очутились здесь. Непрошенные гости, готов признать, но уверяю вас, не по собственному желанию и не по своей вине.

— Вы не знаете, почему не удался опыт Ардена и Гринлейк и почему они погибли?

— Если Арден и Гринлейк — имена этих красивых молодых людей, то мы ничего не знаем о них, кроме того, что нашли их здесь в том положении, в каком вы их видите, когда направились сюда вон с той дороги, чтобы узнать, а вернее сказать, осведомиться...

Он кашлянул и оборвал свою речь на этой неопределенной ноте.

Утопиец (если, удобства ради, нам будет позволено называть его так), первым заговоривший с ними, теперь посмотрел на своего спутника, словно безмолвно о чем-то его спрашивая. Затем он снова повернулся к землянам. Он заговорил, и опять мистеру Барнстейплу показалось, что этот мелодичный голос звучит у него не в ушах, а в мозгу.

— Вам и вашим друзьям лучше не бродить среди

этих развалин. Вам лучше вернуться на дорогу. Пойдемте со мной. Мой брат потушит огонь и сделает для нашего брата и сестры все, что необходимо. А потом это место исследуют те, кто разбирается в опытах, которые здесь проводились.

— У нас нет иного выхода, кроме как прибегнуть к вашему гостеприимству,— сказал мистер Берли.— Мы всецело в вашем распоряжении. Позвольте мне только повторить, что эта встреча произошла помимо нашей воли.

— Хотя, разумеется мы сделали бы все для того, чтобы она осуществилась, подозревай мы о такой возможности,— добавил мистер Кэтскилл, ни к кому в частности не обращаясь, но поглядев на мистера Барнстейпла, словно ожидая от него подтверждения.— Ваш мир кажется нам чрезвычайно привлекательным.

— При первом знакомстве,— подтвердил господин с моноклом,— он кажется чрезвычайно привлекательным.

Когда они вслед за утопийцем и мистером Берли по густому ковру цветов направились к шоссе, леди Стелла оказалась рядом с мистером Барнстейплом. Она заговорила, и на фоне окружавшего их чуда ее слова ошеломили его своей безмятежной и непобедимой обычностью:

— Мне кажется, мы уже встречались... на званом завтраке или... мистер... мистер..?

Быть может, все окружающее ему только чудится? Он несколько секунд растерянно смотрел на нее, прежде чем сообразил подсказать:

— Барнстейпл.

— Мистер Барнстейпл?

Он настроился на ее лад.

— Я не имел этого удовольствия, леди Стелла. Хотя, разумеется, я знаю вас — знаю очень хорошо благодаря вашим фотографиям в иллюстрированных еженедельниках.

— Вы слышали, что сейчас говорил мистер Сесиль? О том, что мы в Утопии?

— Он сказал, что мы *можем* назвать этот мир Утопией?

— Как это похоже на мистера Сесилия! Но все-таки это Утопия? Настоящая Утопия? — И, не дожидаясь ответа мистера Барнстейпла, леди Стелла продолжала: — Я всегда мечтала побывать в Утопии! Как великолепно эти два утопийца! Я убеждена, что они принадлежат к местной аристократии, несмотря на их... несколько домашний костюм. Или даже благодаря ему.

Мистеру Барнстейплу пришла в голову счастливая мысль.

— Я также узнал мистера Берли и мистера Руперта Кэтскилла, леди Стелла, но я был бы крайне вам обязан, если бы вы сказали мне, кто этот молодой человек с моноклем и его собеседник, похожий на священника. Они идут следом за нами.

Очаровательно-доверительным шепотом леди Стелла сообщила просимые сведения.

— Монокль, — прожурчала она, — это (я скажу по буквам) Ф-р-е-д-д-и М-а-ш. Вкус. Изысканный вкус. Он удивительно умеет отыскивать молодых поэтов и всякие другие новости литературы. Кроме того, он секретарь Руперта. Все говорят, что, будь у нас литературная Академия, он непременно стал бы ее членом. Он ужасно критичен и саркастичен. Мы ехали в Тэплоу-Корт, чтобы провести интеллектуальный вечер, словно в добрые старые времена. Разумеется, после того, как виндзорское общество нас покинуло бы... Должны были приехать мистер Госс и Макс Бирбом... и другие. Но теперь постоянно что-то случается. Постоянно. Неожиданности чуть-чуть даже в избытке... Его спутник в костюме духовного покроя, — она оглянулась, не слышит ли ее владелец костюма, — это отец Эмертон, ужасно красноречивый обличитель грехов общества и прочего в том же роде. Как ни странно, вне церковных стен он всегда застенчив и тих и пользуется ножами и вилками не слишком умело. Парадоксально, не правда ли?

— Ну конечно же! — воскликнул мистер Барнстейпл. — Теперь я припоминаю. Его лицо показалось мне знакомым, но я никак не мог сообразить, где я его видел. Очень вам благодарен, леди Стелла.

3

Мистер Барнстейпл почерпнул какую-то спокойную уверенность в общении с этими знаменитыми и почитаемыми людьми, и особенно в разговоре с леди Стеллой. Она его просто ободрила: так много милого, прежнего мира принесла она с собой и такая в ней чувствовалась решимость при первом удобном случае подчинить его нормам и этот новый мир. Волны восторга и упоения красотой, грозившие поглотить мистера Барнстейпла, разбивались о созданный ею неви-

димый барьер. Знакомство с ней и с ее спутниками для человека его положения само по себе было достаточно значительным приключением, и это помогло ему в какой-то мере преодолеть пропасть, отделявшую его прежнее однообразное существование от этой чрезмерно бодрящей атмосферы Утопии. Эта встреча овеществляла, она (если позволительно воспользоваться этим словом в подобной связи) *низводила* окружающее их сияющее великолепие до степени полнейшей вероятности, поскольку и леди Стелла, и мистер Берли также видели Утопию и высказали по ее поводу свое мнение, и к тому же она созерцалась сквозь скептический монокль мистера Фредди Маша. И тем самым все это попадало в разряд явлений, о которых сообщают газеты. Если бы мистер Барнстейпл оказался в Утопии один, испытываемый им благоговейный трепет мог бы даже серьезно нарушить его умственное равновесие. А теперь учтивый загорелый бог, который в настоящую минуту беседовал с мистером Берли, стал благодаря посредничеству этого великого человека интеллектуально доступным.

И все же у мистера Барнстейпла чуть не вырвался восторженный возглас, когда его мысли вновь обратились от его высокопоставленных спутников к прекрасному миру, в который все они попали. Каковы на самом деле были люди этого мира, где буйные сорняки, казалось, уже не заглушали цветов и где леопарды, утратившие злобное кошачье коварство, дружелюбно посматривали на всех проходящих мимо?

И как удивительно, что первые увиденные ими два обитателя этого мира покоренной природы были мертвы — насколько можно было судить, пали жертвами какого-то рискованного опыта! Но еще более удивительным было то, что вторые двое, назвавшиеся братьями погибших юноши и девушки, не проявили при виде этой трагедии никаких признаков горя или отчаяния! Мистер Барнстейпл вдруг осознал, что они вообще не выразили никакой печали — не были потрясены, не заплакали. Их поведение говорило скорее о недоумении и любопытстве, а не об ужасе и горе.

Утопиец, оставшийся возле развалин, отнес тело девушки туда, где лежал ее мертвый товарищ, и, когда мистер Барнстейпл обернулся, он внимательно рассматривал обломки неведомого аппарата.



Но теперь к месту происшествия уже спешили другие утопийцы. В этом мире существовали аэропланы — два небольших летательных аппарата, быстрые и бесшумные, словно ласточки, как раз опустились на ближнем лугу. По шоссе к ним приближался человек на маленькой машине, похожей на двухместный автомобиль всего с двумя колесами, расположенными друг за другом, как у велосипеда; эта машина была несравненно легче и изящней земных автомобилей и таинственным образом продолжала сохранять полное равновесие на своих двух колесах, даже когда остановилась. Взрывы смеха, раздавшиеся на шоссе, привлекли внимание мистера Барнстейпла к небольшой группе утопийцев, которые, по-видимому, находили невообразимо потешным мотор лимузина. Большинство из них было так же прекрасно сложено и столь же скудно одето, как и двое погибших экспериментаторов, хотя головы двоих-троих покрывали большие соломенные шляпы, а женщина, по-видимому, постарше, лет тридцати, носила белое одеяние с ярко-алой каймой. В это мгновение она заговорила с мистером Берли.

Хотя их разделяло еще шагов двадцать пять, ее слова отразились в мозгу мистера Барнстейпла с величайшей четкостью.

— Мы пока еще не знаем, какая связь существует между вашим появлением в нашем мире и недавним взрывом, не знаем даже, связаны ли они вообще. Мы собираемся исследовать оба эти вопроса. Мы полагаем, что разумнее всего будет проводить вас вместе со всем вашим имуществом в находящееся неподалеку отсюда место, удобное для совещания. Мы уже вызвали машины, которые доставят вас туда. Там вас можно будет накормить. Скажите, когда вы привыкли есть?

— Нам действительно не мешало бы перекусить в ближайшем будущем, — сказал мистер Берли, которому это предложение пришлось очень по душе. — По правде говоря, если бы мы не перенеслись так внезапно из нашего мира в ваш, то в настоящий момент мы бы уже завтракали — завтракали бы в самом избранном обществе.

«Чудо — и завтрак!» — подумал мистер Барнстейпл. Человек создан так, что должен есть, какие бы чудеса его ни окружали. И сам мистер Барнстейпл вдруг почувствовал, что сильно проголодался и что воздух, которым он дышит, необыкновенно способствует пробуждению аппетита.

Утопийке, казалось, пришла в голову новая мысль.

— Вы едите несколько раз в день? Что вы едите?

— Ах, неужели они вегетарианцы? Не может быть! — возмущенно воскликнул мистер Маш, роняя из глаза монокль.

Они все очень проголодались, что нетрудно было заметить по их лицам.

— Мы привыкли есть по несколько раз в день, — сказал мистер Берли. — Пожалуй, мне следует сообщить вам краткий перечень потребляемых нами пищевых продуктов. Возможно, в этом отношении между нами существуют некоторые различия. Как правило, мы начинаем с чашки чая и тоненького ломтика хлеба с маслом, который нам подают в постель. Затем завтрак...

И он дал мастерское резюме гастрономического содержания своих суток, точно и заманчиво описывая характерные черты первого английского завтрака, яйца к которому следует варить четыре с половиной минуты, не больше и не меньше, второго завтрака, к которому подается легкое вино любых марок, чая — еды, имеющей более светскую, нежели питательную функцию, обеда — с приличествующими подробностями, и наконец ужина — еды необязательной. Это была краткая и энергичная речь, которая, несомненно, пришлась бы по вкусу палате общин: нисколько не тяжеловесная, даже с блестками остроумия и все же достаточно серьезная. Утопийка смотрела на мистера Берли с возрастающим интересом.

— И вы все едите вот таким образом? — спросила она.

Мистер Берли обвел взглядом своих спутников.

— Я не могу поручиться за мистера... мистера..?

— Барнстейпла... Да, и я ем примерно так же.

Утопийка почему-то улыбнулась ему. У нее были очень красивые карие глаза, но, хотя ему нравилась ее улыбка, на этот раз он предпочел бы, чтобы она не улыбалась.

— А как вы спите? — спросила она.

— От шести до десяти часов, в зависимости от обстоятельств, — сообщил мистер Берли.

— А как вы любите?

Этот вопрос поверг наших землян в недоумение и до некоторой степени шокировал их. Что, собственно говоря, она имеет в виду? Несколько секунд все растерянно молчали. В мозгу мистера Барнстейпла пронесся вихрь странных предположений.

Но тут на выручку пришли тонкий ум мистера Берли и его умение быстро и изящно уклоняться от ответа, обязательное для всякого крупного политика современности.

— Не постоянно, уверяю вас, — сказал он. — Отнюдь не постоянно.

Женщина в одеянии с алой каймой несколько мгновений обдумывала его слова, затем чуть-чуть улыбнулась.

— Нам следует поскорее отправиться туда, где мы сможем подробно поговорить обо всем этом, — сказала она. — Вы, несомненно, явились из какого-то странного другого мира. Наши ученые должны встретиться с вами и обменяться сведениями.

4

Еще в половине одиннадцатого мистер Барнстейпл проезжал на своем автомобиле по шоссе через Слау, а теперь, в половине второго, он летел над страной чудес, почти забыв про свой привычный мир.

— Изумительно! — твердил он. — Изумительно! Я знал, что мое путешествие будет интересным. Но это, это...

Он был удивительно счастлив — тем ясным, безоблачным счастьем, которое бывает только во сне. Впервые в жизни познал он восторг открывателя новых земель — он и не надеялся, что ему когда-либо доведется испытать это чувство. Всего три недели назад он написал для «Либерала» статью, в которой оплакивал «конец века открытий», — статью настолько беспросветно и беспричинно унылую, что она чрезвычайно понравилась мистеру Пиви. Теперь он вспомнил эту статью, и ему стало немножко стыдно.

Компания землян была распределена по четырем маленьким аэропланам: когда мистер Барнстейпл и его спутник отец Эмертон взмыли в воздух, он поглядел вниз и увидел, что оба автомобиля вместе с багажом были без всякого труда погружены в два легких грузовика. Каждый грузовик выбросил пару сверкающих лап и подхватил свой автомобиль, словно нянька младенца.

По современным земным представлениям о безопасности авиатор вел их аэроплан слишком близко к земле. Иногда они пролетали между деревьями, а не над ними — благодаря этому мистер Барнстейпл, хотя сначала и несколько испуганный, мог подробно рас-

смотреть окружающую местность. Сперва они летели над цветущими лугами, где паслись бледно-золотистые коровы, — время от времени зелень травы перемежалась яркими пятнами неизвестной мистери Барнстейплу растительности. Там и сям змеились узкие дорожки, предназначенные то ли для пешеходов, то ли для велосипедистов. Порой внизу мелькало шоссе, окаймленное цветочными газонами и фруктовыми деревьями.

Домов было очень мало, и он не увидел ни одного города или деревни. Отдельные же дома были самых разных размеров — от небольших отдельных зданий, которые он счел изящными летними вилами или небольшими храмами, до сложного лабиринта всяческих кровель и башенок, словно у старинных замков, — это могла быть большая сельскохозяйственная или молочная усадьба. Кое-где в полях работали люди, иногда кто-нибудь шел или ехал по дороге, но, в общем, создавалось впечатление, что этот край очень мало населен.

Он уже понял, что их аэроплан собирается пересечь горный хребет, так внезапно заслонивший далекий Виндзорский замок.

По мере приближения к горам зелень лугов сменялась широкими золотыми полосами хлебных злаков, а затем и других самых разнообразных культур. На солнечных склонах он заметил нечто похожее на виноградники; домов и работающих людей стало заметно больше. Маленькая эскадрилья летела вдоль широкой долины по направлению к перевалу, так что мистер Барнстейпл успел хорошо рассмотреть горный пейзаж. Внизу мелькали рощи каштанов, затем появились сосны. Бурные потоки были перегорожены гигантскими турбинами, рядами тянулись низкие здания со множеством окон — очевидно, заводы или мастерские. К перевалу поднималась искусно проложенная дорога, виадуки которой отличались удивительной смелостью, легкостью и красотой. Мистер Барнстейпл решил, что в горах людей значительно больше, чем на равнинах, хотя и гораздо меньше, чем в схожих районах у нас на Земле.

Около десяти минут аэроплан летел над пустыней занесенного снегом ледника, по краю которого высились скалистые пики, а затем снизился в высокогорной долине, где, очевидно, находилось Место Сове-

щаний. Эта долина представляла собой своеобразную складку в склоне, пересеченную каменными уступами, так искусно сложенными, что они казались частью геологической структуры самой горы. Долина выходила на широкое искусственное озеро, отделенное от ее нижнего конца могучей плотиной. На плотине через правильные интервалы высились каменные столбы, смутно походившие на сидящие фигуры. За озером мистер Барнстейпл успел заметить широкую равнину, напомнившую ему долину реки По, но тут аэроплан пошел на посадку и верхний край плотины заслонил даль.

На уступах, главным образом на нижних, располагались группы легких, изящных зданий; дорожки, лестницы, бассейны с прозрачной водой делали всю местность похожей на сад.

Аэропланы мягко приземлились на широкой лужайке. Совсем рядом над водой озера виднелось изящное шале; его терраса служила пристанью, у которой стояла целая флотилия пестро раскрашенных лодок.

То, что деревень почти не видно, первым заметил Эмертон. И теперь он же сказал, что тут нигде нет церкви и что во время полета они не видели ни единой колокольни. Однако мистер Барнстейпл предположил, что некоторые из небольших зданий могли быть храмами или святилищами.

— Религия здесь, возможно, имеет другие формы, — сказал он.

— А как мало тут младенцев и маленьких детей! — заметил отец Эмертон. — И я не видел ни одной матери с ребенком.

— По ту сторону горы мы пролетали над местом, похожим на площадку для игр при большой школе. Там было много детей и несколько взрослых, одетых в белое.

— Я заметил их. Но я говорил о младенцах. Сравните то, что мы видим тут, с тем, что можно увидеть в Италии. Такие красивые и привлекательные молодые женщины, — прибавил преподобный отец. — Чрезвычайно привлекательные — и ни признака материнства!

Их авиатор, загорелый блондин с синими глазами, помог им спуститься на землю, и они остановились, поджидая остальных. Мистер Барнстейпл с

удивлением отметил про себя, что он необыкновенно быстро свыкся с красками и гармоничностью этого нового мира: теперь странными ему казались уже фигуры и одежда его соотечественников. Мистер Рупер Кэтскилл в своем прославленном сером цилиндре, мистер Маш с нелепым моноклем, характерная тощая стройность мистера Берли и квадратный, облеченный в кожаную куртку торс шофера казались ему гораздо более необычными, чем изящные утопийцы вокруг.

Интерес, с которым авиатор посматривал на них, и его усмешка еще усилили это ощущение. И вдруг его охватила мучительная неуверенность.

— Ведь это реальная реальность? — спросил он отца Эмертона.

— Реальная реальность? Но чем же еще это может быть?

— Нам ведь это не снится?

— Мог ли совпасть ваш сон с моим?

— Да, конечно. Но ведь кое-что в этом невозможно. Просто невозможно.

— Что, например?

— Ну, скажем, то, что эти люди говорят с нами на нашем языке, как будто он их родной.

— Я как-то не подумал об этом. Действительно, странно. Друг с другом они на нем не говорят.

Мистер Барнстейпл уставился на отца Эмертона остановившимися от изумления глазами — его вдруг поразила еще более невероятный факт.

— Они вообще друг с другом не разговаривают, — пробормотал он. — А мы этого до сих пор не замечали!

Глава четвертая

НА РОМАН ПАДАЕТ ТЕНЬ ЭЙНШТЕЙНА, НО ТУТ ЖЕ ИСЧЕЗАЕТ

1

Если не считать того непонятного факта, что все утопийцы, по-видимому, свободно владели его родным языком, мистер Барнстейпл не мог найти ни одной логической неувязки в своем непрерывно обогащающемся представлении об этом новом мире — несомненно, ни один сон не мог развиваться с такой

последовательностью. Все было настолько оправданно, настолько упорядоченно, что мир этот уже переставал производить на него впечатление чего-то необычного; ему начинало казаться, что они просто приехали в чужую, но высокоцивилизованную страну.

Кареглазая женщина в одеянии с алой каймой отвела землян в предназначенные для них необыкновенно удобные жилища вблизи от Места Совещений. Шестеро юношей и девушек заботливо посвятили их во все тонкости домашнего утопийского обихода. Отдельные домики, в которых их поселили, все имели уютные спальни: кровати с тончайшими простынями и очень легкими пушистыми одеялами стояли в открытых лоджиях — чересчур открытых, заметила леди Стелла, но ведь, как она выразилась, «тут чувствуешь себя так спокойно». Прибыл багаж, и чемоданы разнесли по комнатам, словно в каком-нибудь гостеприимном земном поместье.

Однако, прежде чем леди Стелла смогла открыть свой несессер и освежить цвет лица, ей пришлось выставить из своей спальни двух услужливых юношей.

Через несколько минут в убежище леди Стеллы раздались взрывы смеха и шум шутливой, но отчаянной борьбы, что вызвало некоторое замешательство. Оставшаяся там девушка проявила чисто женское любопытство к ее одежде и туалетным принадлежностям и в конце концов обратила внимание на необыкновенно очаровательную и прозрачную ночную рубашку. По какой-то непонятной причине эта тщательно спрятанная изящная вещица показалась юной утопийке чрезвычайно забавной, и леди Стелле лишь с трудом удалось воспрепятствовать ее намерению облачиться в нее и выбежать наружу, дабы представить ее на всеобщее обозрение.

— Ну, так сами ее наденьте! — потребовала девушка.

— Как вы не понимаете! — воскликнула леди Стелла. — Она же... она же почти священна! Ее никому нельзя видеть, никому!

— Но почему? — с глубочайшим недоумением спросила утопийка.

Леди Стелла не нашла, что ответить.

Поданная затем легкая закуска была, по земным представлениям, во всех отношениях превосходной.

Тревога мистера Фредди Маша оказалась напрасной: их угостили холодными цыплятами, ветчиной и отличным мясным паштетом. Кроме того, хлеб, правда, из муки довольно грубого помола, но очень вкусный, свежее масло, изумительный салат, сыр, напоминающий грюйерский, и легкое белое вино, которое заставило мистера Берли воскликнуть, что «Мозель не производил ничего лучше!».

— Значит, наша пища похожа на вашу? — спросила женщина в одеянии с алой каймой.

— Чудешно! — отозвался мистер Маш с набитым ртом.

— За последние три тысячи лет пища почти не менялась. Люди научились готовить наиболее лакомые блюда еще задолго до Последнего Века Хаоса.

«Это слишком реально, чтобы быть реальностью! — повторял про себя мистер Барнстейпл. — Слишком реально».

Он взглянул на своих спутников: они оживленно и с интересом посматривали по сторонам и ели с большим удовольствием.

Если бы только не одна эта нелепость — если бы только он не понимал утопийцев с такой легкостью, что ясность знакомых слов отдавалась в его мозгу ударами молота, — мистер Барнстейпл не усомнился бы в реальности происходящего.

За камнным, не покрытым скатертью столом никто не прислуживал: два авиатора и кареглазая женщина ели вместе с гостями, а те сами передавали друг другу требуемые блюда. Шофер мистера Берли хотел было скромно сесть в сторонке, но знаменитый государственный муж снисходительно подозвал его:

— Садитесь тут, Пенк. Рядом с мистером Машем.

На большую веранду с колоннами, где была подана еда, сходилось все больше утопийцев, дружески, но внимательно рассматривавших землян. Они стояли или сидели, как кто хотел, — не было ни официальных представлений, ни других церемоний.

— Все это чрезвычайно приятно, — сказал мистер Берли. — Чрезвычайно. Должен признать, что эти персики куда лучше четсуортских. Дорогой Руперт, в коричневом кувшинчике перед вами, по-моему, сливки?.. Я так и думал. Если вам, правда, достаточно, Руперт... Благодарю вас.

Некоторые из утопийцев сказали землянам свои имена. Все их голоса казались мистеру Барнстейплу одинаковыми, а слова обладали четкостью печатного текста. Кареглазую женщину звали Ликнис. Бородастый утопиец, которому мистер Барнстейпл дал лет сорок, был не то Эрфредом, не то Адамом, не то Эдомом — его имя, несмотря на всю чеканность произношения, оказалось очень трудно разобрать. Словно крупный шрифт вдруг расплылся. Эрфред сообщил, что он этиолог и историк и что он хотел бы как можно больше узнать о мире землян. Мистер Барнстейпл подумал, что непринужденностью манер он напоминает какого-нибудь земного банкира или влиятельного владельца многих газет: в нем не было и следа робости, которая в нашем будничном мире обычно свойственна большинству ученых. И другой из их хозяев, Серпентин, к большому удивлению мистера Барнстейпла — ибо он держался почти властно, — также оказался ученым. Мистер Барнстейпл не разобрал, чем он занимается. Он сказал что-то вроде «атомной механики», но это почему-то прозвучало почти как «молекулярная химия». И тут же мистер Барнстейпл услышал, что мистер Берли спрашивает у мистера Маша:

— Он ведь сказал «физико-химия»?

— По-моему, он просто назвал себя материалистом, — отозвался мистер Маш.

— А по-моему, он объяснил, что занимается взвешиванием, — заметила леди Стелла.

— Их манера говорить обладает заметными странностями, — сказал мистер Берли. — То они произносят слова до неприятности громко, а то словно проглатывают звуки.

После еды все общество отправилось к другому небольшому зданию, по-видимому, предназначенному для занятий и бесед. Его завершало нечто вроде апсиды, окаймленной белыми плитами, которые, очевидно, служили досками для лекторов — на мраморном выступе под ними лежали черные и цветные карандаши и тряпки. Человек, читающий лекцию, мог по мере надобности переходить от одной плиты к другой. Ликнис, Эрфред, Серпентин и земляне расположились на полукруглой скамье, чуть ниже лектор-

ской площадки. Напротив них находились сиденья, на которых могло разместиться до ста человек. Все места были заняты, и позади у кустов, напоминающих рододендроны, живописными группами расположилось еще несколько десятков утопийцев. В просветах между кустами виднелись зеленые лужайки, спускающиеся к сверкающей воде озера.

Утопийцы собирались обсудить это внезапное вторжение в свой мир. Что могло быть разумнее такого обсуждения? Что могло быть более фантастичным и невероятным?

— Странно, что не видно ласточек, — неожиданно прошептал на ухо мистеру Барнстейплу мистер Маш. — Не понимаю, почему тут нет ласточек.

Мистер Барнстейпл взглянул на пустынное небо.

— Вероятно, тут нет мух и комаров... — предположил он.

Странно, как он сам прежде не заметил отсутствия ласточек.

— Шшш! — сказала леди Стелла. — Он начинает.

3

И это невероятное совещание началось. Первым выступил тот, кого звали Серпентином: он встал и, казалось, обратился к присутствующим с речью. Его губы шевелились, он жестикулировал, выражение его лица менялось. И все же мистер Барнстейпл почему-то смутно подозревал, что Серпентин на самом деле не произносит ни слова. Во всем этом было что-то необъяснимое. Иногда сказанное отдавалось в его мозгу звонким эхом, иногда оно было нечетким и неуловимым, как очертания предмета под волнующейся водой, а иногда, хотя Серпентин по-прежнему жестикулировал красивыми руками и смотрел на своих слушателей, вдруг наступало полное безмолвие, словно мистер Барнстейпл на мгновение делался глухим... И все же это была связная речь. Она была логична и захватила мистера Барнстейпла.

Серпентин говорил так, словно прилагал большие усилия, чтобы возможно проще изложить трудную проблему. Он словно сообщал аксиомы, делая после каждой паузу.

— Давно известно, — начал он, — что возможное

число пространственных измерений, как и число всего, что поддается счету, совершенно безгранично.

Это положение мистер Барнстейпл, во всяком случае, понял, хотя мистеру Машу оно оказалось не по зубам.

— О господи! — вздохнул он. — Измерения! — И, уронив монокль, погрузился в унылую рассеянность.

— Практически говоря, — продолжал Серпентин, — каждая данная вселенная, каждая данная система явлений, в которой мы находимся и часть которой мы составляем, может рассматриваться как существующая в трехмерном пространстве и подвергающаяся изменениям, таковые изменения являются в действительности протяженностью в четвертом измерении — *времени*. Такая система явлений по необходимости является гравитационной системой.

— Э? — внезапно перебил его мистер Берли. — Извините, но я не вижу, из чего это следует.

Значит, он, во всяком случае, тоже пока еще понимает Серпентина.

— Всякая вселенная, существующая во времени, по необходимости должна находиться в состоянии гравитации, — повторил Серпентин, словно это само собой разумелось.

— Хоть убейте, я этого не вижу, — после некоторого размышления заявил мистер Берли.

Серпентин секунду задумчиво смотрел на него.

— Однако это так, — сказал он и продолжал свою речь.

— Наше сознание, — говорил он, — развивалось на основе этого практического восприятия явлений, принимало его за истинное; и в результате только путем напряженного и последовательного анализа мы сумели постигнуть, что та вселенная, в которой мы живем, не только имеет протяженность, но и, так сказать, несколько искривлена и вложена в другие пространственные измерения, о чем прежде и не подозревали. Она выходит за пределы своих трех главных пространственных измерений в эти другие измерения точно так же, как лист тонкой бумаги практически имеющий лишь два измерения, обретает третье измерение не только за счет своей толщины, но и за счет вмятин и изгибов.

— Неужели я глхну? — театральным шепотом спросила леди Стелла. — Я не в состоянии разобрать ни единого слова.

— И я тоже, — заметил отец Эмертон.

Мистер Берли сделал успокаивающий жест в сторону этих несчастливцев, не отводя взгляда от лица Серпентина. Мистер Барнстейпл нахмурил брови и сжал руками колени в отчаянном усилии сосредоточиться.

Он должен услышать! Да, он слышит!

Далее Серпентин объяснил, что, как в трехмерном пространстве бок о бок может лежать любое число практически двухмерных миров, подобно листам бумаги, точно так же многомерное пространство, которое плохо приспособленный к таким представлениям человеческий разум еще только начинает с большим трудом постигать, может включать в себя любое число практически трехмерных миров, лежащих, так сказать, бок о бок и приблизительно параллельно развивающихся во времени. Теоретические работы Лоунстона и Цефала уже давно создали основу для твердой уверенности в реальном существовании бесчисленного множества таких пространственно-временных миров, параллельных друг другу и подобных друг другу, хотя и не вполне, как подобны страницы одной и той же книги. Все они должны обладать протяженностью во времени, все они должны представлять собой гравитирующие системы...

(Мистер Берли покачал головой в знак того, что он по-прежнему не видит, из чего это следует.)

...причем наиболее близко соседствующие должны обладать наиболее близким сходством. А насколько близким, они теперь получили возможность узнать совершенно точно. Ибо смелые попытки двух величайших гениев, Ардена и Гринлейк, использовать (неразборчиво) атомный удар, чтобы повернуть участок утопийской материальной вселенной в другое измерение, в измерение F, в которое, как давно уже было известно, он внедряется примерно на длину человеческой руки, — повернуть, как поворачиваются на петлях створки ворот, — эти попытки увенчались полным успехом. Створки захлопнулись, принеся с собой волну душного воздуха, пылевую бурю и — к величайшему удивлению утопийцев! — три экипажа с гостями из неведомого мира.

— Три? — с сомнением прошептал мистер Барнстейпл. — Он сказал, три?

(Серпентин не обратил на него внимания.)

— Наш брат и сестра были убиты непредвиденным высвобождением энергии, но их эксперимент раз и навсегда открыл путь из нынешних ограниченных пространственных пределов Утопии в бесчисленные вселенные, о существовании которых мы прежде и не подозревали. Совсем рядом с нами, как много веков тому назад угадал Лоунстон, ближе к нам, как он выразился, чем кровь наших сердец...

(— «Ближе к нам, чем дыхание, дороже рук и ног», — несколько вольно процитировал отец Эмертон, внезапно очнувшись. — Но о чем он говорит? Я почти ничего не могу расслышать.)

...мы открыли новую планету, примерно такого же размера, как наша, если судить по сложению ее обитателей, вращающуюся, как мы можем с уверенностью предположить, вокруг такого же Солнца, как то, которое озаряет наши небеса, — планету, породившую жизнь и медленно покоряющуюся разуму, который, по-видимому, эволюционировал в условиях, практически параллельных условиям нашей собственной эволюции. Эта наша сестра-вселенная, насколько мы можем судить по внешним данным, несколько отстала во времени от нашей. Одежда наших гостей и их внешность напоминают одежду и внешность наших предков в Последний Век Хаоса... У нас еще нет оснований утверждать, что их история развивалась строго параллельно нашей. В мире не найдется двух абсолютно подобных материальных частиц, двух абсолютно подобных волн. Во всех измерениях бытия, во всех божьих вселенных не было и не может быть точного повторения. Это, как мы неопровержимо установили, — единственная невозможная вещь. Тем не менее этот мир, который вы именуете Землей, явно близок нашей вселенной и очень ее напоминает... Мы очень хотим многое узнать от вас, землян, хотим проверить нашу собственную, еще далеко не познанную историю через вашу, хотим ознакомить вас с нашими знаниями, установить, какое общение и помощь возможны и желательны между обитателями вашей планеты и нашей. Мы тут постигли лишь самые начатки знания, мы пока сумели узнать лишь всю необъятность того, что нам еще только предстоит открыть и научиться делать. Есть миллионы сходных проблем, в разрешении которых два наших мира, наверное, могут оказать друг другу взаимную помощь, поделив-

шись своими знаниями... Возможно, на вашей планете существуют линии наследственности, которые не стали развиваться или же захирели на нашей. Возможно, в одном мире есть элементы или минералы, в которых нуждается другой... Структура ваших атомов (?)... наши миры могут скреститься (?)... для взаимного жизненного толчка...

Речь его стала беззвучной именно тогда, когда мистер Барнстейпл был особенно глубоко взволнован и с нетерпением ждал его дальнейших слов. Однако глухой не усомнился бы, что Серпентин продолжает говорить. Глаза мистера Барнстейпла встретились с глазами мистера Руперта Кэтскилла — в них было то же тревожное недоумение. Отец Эмертон сидел, закрыв лицо руками. Леди Стелла и мистер Маш о чем-то шепотом переговаривались — они уже давно перестали притворяться, что слушают.

— Такова, — сказал Серпентин, вдруг снова становясь слышным, — наша первая примерная оценка вашего появления в нашем мире и возможностей нашего взаимного общения. Я изложил вам наши предположения, как мог проще и яснее. Теперь я хотел бы предложить, чтобы кто-нибудь из вас сказал нам просто и ясно, что вы считаете истиной о вашем мире и об его отношении к нашему.

Глава пятая

УПРАВЛЕНИЕ УТОПИИ И ЕЕ ИСТОРИЯ

1

Наступило молчание. Земляне переглядывались и один за другим поворачивались к мистеру Сесилю Берли. Государственный муж сделал вид, будто он не понимает, чего от него ждут.

— Руперт, — сказал он. — Может быть, вы?

— Я выскажу свое мнение потом, — ответил мистер Кэтскилл.

— Отец Эмертон, вы привыкли рассуждать об иных мирах.

— Однако не в вашем присутствии, мистер Сесиль. Нет, не в вашем.

— Но что я им скажу?

— То, что вы обо всем этом думаете, — посоветовал мистер Барнстейпл.

— Вот именно, — подхватил мистер Кэтскилл. — Скажите им, что вы обо всем этом думаете.

Других подходящих кандидатов, очевидно, не было, и мистер Берли, медленно поднявшись, задумчиво направился к середине полукружья. Взявшись за лацканы своего сюртука, он несколько мгновений стоял, опустив голову и словно собираясь с мыслями.

— Мистер Серпентин, — начал он наконец, повернув к слушателям дышащее искренностью лицо и устремив взгляд сквозь пенсне на небо над дальним берегом озера. — Мистер Серпентин, уважаемые дамы и господа...

Он собирался произнести речь! Словно он находился на званом чаепитии, устроенном «Лигой подснежника», или в Женеве. Это было нелепо, но что еще оставалось делать?

— Должен признаться, сэр, что, хотя это отнюдь не первое мое появление на ораторской трибуне, сейчас я несколько растерян. Ваше замечательное выступление, сэр, простое, деловитое, ясное, сжатое и временами истинно красноречивое, подало мне пример, которому я от души хотел бы последовать — но это, к сожалению, не в моих скромных силах. Вы просите меня со всей возможной ясностью изложить вам факты, известные нам об этом родственном вам мире, откуда мы столь неожиданно попали к вам. Насколько я вообще способен понимать или обсуждать столь сложные материи, я полагаю, что не могу не только расширить ваше замечательное изложение математического аспекта проблемы, но хотя бы что-либо к нему добавить. То, что вы говорили, воплощает самые последние, самые смелые идеи земной науки и намного их превосходит. По некоторым частностям, например, по взаимоотношению времени и гравитации, признаюсь, я не могу согласиться с вами, но не потому, что у меня есть какие-либо позитивные возражения, а просто потому, что мне трудно понять ваши предпосылки. Относительно общего взгляда на сущность вопроса между нами, видимо, нет никаких противоречий. Мы принимаем ваше основное положение безоговорочно; а именно, мы признаем, что обитаем в параллельной вселенной на планете, являющейся подлинной сестрой вашей планеты и удивив-

тельно похожей на вашу, даже принимая во внимание все те возможные отличия, которые мы тут наблюдали. Мы находим разумным и склонны принять ваше предположение, что наша система, по всей вероятности, несколько менее приблизилась к зрелости, несколько менее смягчена рукой времени, нежели ваша, и отстает от нее на столетия, если не на тысячелетия. Ввиду всего этого наше отношение к вам, сэр, неизбежно должно быть окрашено некоторым смирением. Как младшим, нам более к лицу учиться, нежели поучать. Это нам надлежит спрашивать: «Что вы сделали? Чего достигли?» — вместо того, чтобы с простодушной гордостью продемонстрировать вам все, чего мы еще не знаем, все, чего мы еще не сделали...

«Нет! — сказал себе мистер Барнстейпл. — Это сон... Будь это что-нибудь другое...»

Он протер глаза, а потом вновь открыл их, но он по-прежнему сидел рядом с мистером Машем, окруженный нагими олимпийцами. А мистер Берли, этот утонченнейший из скептиков, который никогда ничему не верил, который никогда ничему не удивлялся, стоял на носках, слегка наклонившись вперед, и говорил, говорил с уверенностью человека, произнесшего на своем вкусу десять тысяч речей. Он так же не сомневался в себе и в реакции своих слушателей, словно выступал в лондонской ратуше. И они действительно понимали его! А это была уже полная нелепость!

Оставалось только одно: смириться с этой беспредельной бессмыслицей, сидеть и слушать. Иногда мысли мистера Барнстейпла уводили его далеко от речи мистера Берли. Потом, очнувшись, он делал отчаянные попытки следить за его словами. С обычной медлительной парламентской манерой, то протирая пенсне, то берясь за лацканы сюртука, мистер Берли давал утопийцам общее представление о мире людей: стараясь говорить просто, ясно и логично, он рассказывал им о государствах и империях, о войнах и о Мировой войне, об организованной экономике и о хаосе, о революциях и о большевизме, о начинающемся в России страшном голоде, о коррупции государственных деятелей и чиновников, среди которых так редко можно найти честных людей, и о бесполезности газет — обо всех мрачных и смутных сторонах человеческой жизни. Серпентин употребил выраже-

ние «Последний Век Хаоса», и мистер Берли ухватился за него и всячески его обыгрывал...

Это была великолепная ораторская импровизация. Длилась она примерно час, и утопийцы слушали ее с напряженным вниманием и интересом, иногда кивали в знак согласия и понимания.

«Очень похоже, — отдавалось в мозгу мистера Барнстейпла. — Так же было и у нас — в Век Хаоса».

Наконец мистер Берли с рассчитанной неторопливостью искусственного парламентария завершил свою речь несколькими любезными фразами.

Он поклонился. Он кончил. Мистер Маш заставил всех вздрогнуть, энергично хлопав в ладоши, но никто к нему не присоединился.

Мистер Барнстейпл почувствовал, что не может больше выносить смятения своих мыслей. Он вскочил.

2

Он стоял, растерянно и умоляюще жестикулируя, как это обычно бывает с неопытными ораторами.

— Уважаемые дамы и господа! — сказал он. — Утопийцы, мистер Берли! Прошу у вас минуту внимания. Одна мелочь. Ею нужно заняться немедленно.

На несколько секунд он утратил дар речи.

Внимательный взгляд Эрфреда ободрил его.

— Я кое-чего не понимаю. Это невероятно... Я хочу сказать, непостижимо. Маленькое несоответствие, но оно превращает все в бессмысленную фантазмагорию.

Интерес в глазах Эрфреда ободрял и поддерживал его. Мистер Барнстейпл отказался от попытки обращаться ко всему обществу и заговорил непосредственно с Эрфредом:

— Вы в Утопии живете на сотню тысяч лет впереди нас. Так каким же образом вам известен наш язык со всеми его современными особенностями? Каким образом вы говорите на нем с такой же легкостью, как и мы сами? Я спрашиваю вас, как это так? Это немислимо. Это нелогично. Это превращает вас в сновидение. Но ведь вы все-таки не сон? От этого я чувствую себя... сумасшедшим.

Эрфред ласково улыбнулся ему.

— Мы не говорим на вашем языке, — сказал он.

Мистер Барнстейпл почувствовал, что земля раз-
верзается под его ногами.

— Но ведь я слышу это своими ушами,— запротес-
товал он.

— И все-таки это не так,— сказал Эрфред. Улыб-
нувшись еще шире, он добавил: — Мы в обычных об-
стоятельствах вообще не говорим.

Мистер Барнстейпл, чувствуя, что голова у него
идет кругом, сохранил позу почтительного внимания.

— Много веков назад,— продолжал Эрфред,— мы,
разумеется, пользовались для общения различными
языками. Мы издавали звуки и слышали их. Люди
сначала думали, а потом подбирали необходимые сло-
ва и произносили их в соответствующем порядке.
Слушающий слышал, воспринимал и вновь перево-
дил звуки в мысли. Затем — каким образом, мы до
сих пор полностью не понимаем,— люди начали вос-
принимать идею прежде, чем она облекалась в слова
и выражалась звуками. Они начали слышать мозгом,
как только говоривший организовывал свои мысли,—
прежде, чем он подбирал для них словесные символы
даже в уме. Они знали, что он хочет сказать, прежде
чем он успевал это сказать. Этот прямой обмен мыс-
лями вскоре широко распространился; оказалось, что
ценой небольшого усилия почти всякий человек спо-
собен до некоторой степени проникать в мозг друго-
го, и началось систематическое развитие этого нового
способа общения. И в нашем мире он стал теперь на-
иболее обычным. *Мы непосредственно мыслим друг
другу. Мы решаем сообщить мысль, и она тут же со-
общается — при условии, что расстояние не слишком
велико. Мы в нашем мире пользуемся теперь звуками
только в поэзии, для удовольствия, в минуты эмоцио-
нального возбуждения или чтобы крикнуть на далекое
расстояние, или же в общении с животными, но не
для передачи идей родственным умам. Когда я думаю
вам, эта мысль, в той же мере, в какой она находит
соответствующие понятия и подходящие слова в вашем
мозгу, отражается там. Моя мысль облекается в слова
в вашем мозгу, а вам кажется, что вы эти слова слы-
шите,— и естественно, что мыслите вы на своем язы-
ке с помощью наиболее привычной вам фразеологии.
Весьма возможно, что эту мою речь, обращенную к
вам, ваши товарищи слышат с некоторыми различиями
за счет их индивидуальных речевых привычек и словаря.*

На протяжении этого объяснения мистер Барнстейпл не раз энергично кивал в знак понимания, и порой казалось, что он вот-вот перебьет Эрфреда. Теперь он воскликнул:

— Так вот почему иногда — как, например, во время замечательной речи мистера Серпентина, — когда вы воспаряете к идеям, которые недоступны для нашего мозга, мы просто ничего не слышим!

— А разве такие паузы были? — спросил Эрфред.

— Боюсь, что неоднократно... и у всех нас, — ответил мистер Берли.

— Словно вдруг наступает полоса глухоты, — пояснила леди Стелла. — Большая полоса.

Отец Эмертон кивнул в знак согласия.

— И поэтому-то мы не могли разобрать, зовут ли вас Эрфред или Адам, а имя Арден казалось мне похожим на Лес.

— Надеюсь, ваше мучительное недоумение теперь исчезло? — сказал Эрфред.

— О, совершенно! — ответил мистер Барнстейпл. — Совершенно! И, принимая во внимание все обстоятельства, мы можем только радоваться, что у вас существует такой способ общения. Иначе нам пришлось бы потратить несколько томительных недель на изучение основных принципов вашей грамматики, логики, семантики и всего прочего, — по большей части вещей очень скучных, — прежде чем нам удалось бы достигнуть нашей нынешней степени взаимопонимания.

— Очень удачно схвачено, — сказал мистер Берли, поворачиваясь к мистеру Барнстейплу самым дружеским образом. — Очень, очень удачно. Я сам никогда бы этого не заметил, если бы вы не обратили на это мое внимание. Как странно! Я совсем не заметил этой... этой разницы. Впрочем, признаюсь, я был совершенно поглощен своими мыслями. Мне казалось, что они говорят на нашем языке. И я счел это само собой разумеющимся.

3

Теперь это удивительное происшествие обрело для мистера Барнстейпла такую логическую законченность, что удивляться оставалось лишь полнейшей его реальностью. Он сидел в открытой апсиде прелестного

здания, любовался волшебными цветниками и сверкающим озером, видел вокруг странное смешение английских загородных костюмов и более чем олимпийской наготы, которую уже переставал замечать, и слушал завязавшуюся теперь оживленную беседу, иногда сам вставляя какое-нибудь замечание или отвечая на вопрос. В течение этой беседы раскрылись разительные различия в этических и социальных воззрениях двух миров. Но, уверовав в абсолютную реальность окружающего, мистер Барнстейпл ловил себя на мысли, что скоро он отправится домой описывать случившееся в статье для «Либерала» и рассказывать жене — с некоторыми разумными опущениями — про обычаи и костюмы этого до сих пор неведомого мира. Он даже не чувствовал, что находится где-то далеко. Сайденхем был как будто совсем рядом, за углом.

Вскоре две хорошенькие девушки приготовили чай на передвижном столике среди рододендронов и подали его присутствующим. Чай! Своим тонким ароматом он напоминал наши китайские сорта, и подавали его в чашечках без ручек на китайский манер, но это был самый настоящий чай, и очень освежающий.

Прежде всего земляне осведомились о том, как управляется Утопия. Это было вполне естественно: ведь среди них находились два таких политических светила, как мистер Берли и мистер Кэтскилл.

— Какая у вас форма правления? — осведомился мистер Берли. — Самодержавие, конституционная монархия или же чистая демократия? Разделены ли у вас исполнительная и законодательная власть? И управляет ли вашей планетой одно центральное правительство, или их существует несколько?

Утопийцам после некоторых затруднений удалось объяснить мистеру Берли и остальным землянам, что в Утопии вообще не существует центрального правительства.

— Но все-таки, — сказал мистер Берли, — у вас же должно быть какое-то лицо или учреждение — совет, бюро или еще что-нибудь в том же роде — для принятия окончательного решения, когда дело касается коллективных действий, направленных на благо всего общества. Какой-то верховный пост или суверенный орган, мне кажется, необходим...

Нет, заявили утопийцы, в их мире подобного сосредоточения власти не существует. В прошлом это

имело место, но постепенно власть вернулась к обществу во всей его совокупности. Решения в каждом конкретном случае принимаются теми, кто лучше остальных осведомлен в данном вопросе.

— Но предположим, это решение должно быть обязательно для всех? Правило, касающееся общественного здравоохранения, например? Кто будет осуществлять его принудительное выполнение?

— Но ведь никого не придется принуждать. Зачем?

— А предположим, кто-нибудь откажется выполнять это правило?

— Будет выяснено, почему он или она его не выполняет. Ведь могут быть особые причины.

— А если их нет?

— Тогда мы проверим, насколько этот человек душевно и нравственно здоров.

— Психиатры в роли полицейских, — заметил мистер Берли.

— Я предпочту полицейских, — сказал мистер Руперт Кэтскилл.

— Вы, Руперт? О, несомненно, — заявил мистер Берли, словно желая сказать: «Что, съел?»

— Следовательно, — с сосредоточенным видом продолжал он, обращаясь к утопийцам, — жизнью вашего общества управляют специальные учреждения или организации (право, затрудняешься, как их назвать) без какой-либо централизованной координации их деятельности?

— Вся деятельность в нашем мире координируется идеей обеспечения общей свободы, — ответил Эрфред. — Определенное число ученых занимается общей психологией всего нашего человечества и взаимодействием различных коллективных функций.

— Так разве эта группа ученых не является правящим классом? — спросил мистер Берли.

— Нет — в том смысле, что у них нет власти произвольно навязывать свои решения, — ответил Эрфред. — Они занимаются проблемой коллективных взаимоотношений, только и всего. Но это не дает им никаких особых прав и ставит их выше всех остальных не более, чем стоит философ выше узкого специалиста.

— Вот это поистине республика! — воскликнул мистер Берли. — Но как она функционирует и как она сложилась, просто не могу себе представить. Ваше го-

сударство, вероятно, в высокой степени социализировано?

— А вы до сих пор живете в мире, в котором почти все, кроме воздуха, больших дорог, открытого моря и пустынь, принадлежит частным владельцам?

— Да, — ответил мистер Кэтскилл. — Принадлежит и составляет объект конкуренции.

— Мы тоже прошли через эту стадию. Но в конце концов мы обнаружили, что частная собственность на все, кроме предметов сугубо личного обихода, является недопустимой помехой на пути развития человечества. И мы покончили с ней. Художник или ученый имеет в своем распоряжении весь необходимый ему материал, у каждого из нас есть свои инструменты и приборы, свое жилище и личный досуг, но собственности, которой можно было бы торговать или спекулировать, не существует. Такая вот воинствующая собственность, собственность, дающая возможность для всяческих маневров, уничтожена полностью. Однако как мы от нее избавились — это долгая история. На это потребовалось много лет. Преувеличенная роль частной собственности была естественной и необходимой на определенном этапе развития человеческой природы. В конце концов это привело к чудовищным и катастрофическим результатам, однако только благодаря им люди постигли, какую опасность представляет собой частная собственность и чем это объясняется.

Мистер Берли принял позу, которая была для него явно привычной. Он откинулся в своем кресле, вытянув и скрестив длинные ноги и прижав большой и указательный пальцы одной руки к большому и указательному пальцам другой.

— Должен признаться, — сказал он, — что меня очень интересуется эта своеобразная форма анархии, которая, судя по всему, здесь господствует. Если я хоть в какой-то мере правильно вас понял, каждый человек у вас занимается своим делом, как слуга государства. Насколько я понимаю — пожалуйста, поправьте меня, если я заблуждаюсь, — у вас значительное число людей занято производством, распределением и приготовлением пищи; они, если не ошибаюсь, определяют потребности всего населения и удовлетворяют их, но в том, как они это делают, — они сами для себя закон. Они ведут научные изыска-

ния, ставят опыты. Никто их не принуждает, не обязывает, не ограничивает, никто не препятствует им. («Люди высказывают им свое мнение о результатах их деятельности», — с легкой улыбкой сказал Эрфред.) Другие, в свою очередь, добывают, обрабатывают и изучают металлы для всего человечества, и опять-таки в этой области они сами для себя закон. Третьи, в свою очередь, занимаются проблемой жилья для всей вашей планеты, создают планы этих восхитительных зданий, организуют их строительство, указывают, кто будет ими пользоваться и для каких целей они предназначены. Четвертые занимаются чистой наукой. Пятые экспериментируют с чувственными восприятиями и силой воображения — это художники. Шестые учат.

— Их работа очень важна, — вставила Ликнис.

— И все они занимаются своим делом в гармонии друг с другом, соблюдая надлежащие пропорции. Причем обходятся без центральной административной или законодательной власти. Признаюсь, все это кажется мне восхитительным — и невозможным. В мире, из которого мы попали к вам, никто никогда не предлагал ничего подобного.

— Нечто подобное уже давно было предложено «гильдейскими социалистами», — сказал мистер Барнстейпл.

— Неужели? — заметил мистер Берли. — Я почти ничего не знаю о «гильдейских социалистах». Что это было за учение? Расскажите мне.

Мистер Барнстейпл уклонился от такой сложной задачи.

— Наша молодежь прекрасно знакома с этой идеей, — сказал он только. — Ласки называет такое государство плюральным в отличие от монистичного государства, в котором власть концентрирована. Это течение существует даже у китайцев. Пекинский профессор господин Чан написал брошюру о том, что он называет «профессионализмом». Я прочитал ее недели две-три назад. Он прислал ее в редакцию «Либерала». В ней он указывает, насколько нежелательно и не нужно Китаю проходить стадию демократии западного образца. По его мнению, в Китае должно непосредственно возникнуть сотрудничество независимых функциональных классов — мандаринов, промышленников, крестьян и так далее, то есть примерно то же, что мы находим тут. Хотя это, разумеется, требует ре-

волюции в области образования и воспитания. Нет, зачатки того, что вы назвали здешней анархией, несомненно, носятся в воздухе и у нас.

— Неужели? — сказал мистер Берли с еще более сосредоточенным и внимательным выражением. — Вот как! А я не имел ни малейшего понятия.

4

Беседа и дальше велась так же беспорядочно, однако обмен мыслями шел быстро и успешно. За самое короткое время, как показалось мистеру Барнстейплу, у него сложилось достаточно полное представление об истории Утопии от Последнего Века Хаоса по настоящий день.

Чем больше он узнавал об этом Последнем Веке Хаоса, тем больше сходства находил в нем с современной жизнью на Земле. В те дни утопийцы носили множество одежд и жили в городах совсем по-земному. Счастливые стечение обстоятельств, в котором сознательной деятельности принадлежала крайне малая роль, обеспечило им несколько столетий широких возможностей и быстрого развития. После долгого периода непрерывной нужды, эпидемий и губительных войн судьба улыбнулась населению их планеты: наступили благодетельные климатические и политические изменения. Впервые перед утопийцами открылась возможность изучить всю свою планету, и в результате этих исследований топор, лопата и плуг проникли в самые глухие ее дбри. Это принесло с собой резкое увеличение материальных богатств и досуга и открыло новые пути его использования. Десятки тысяч людей были вырваны из прежнего жалкого существования и при желании могли думать и действовать со свободой, о которой прежде нельзя было и мечтать. И некоторые воспользовались этой возможностью. Число их было невелико, но и его оказалось достаточно. Началось бурное развитие наук, повлекшее за собой множество важнейших изобретений, и все это чрезвычайно расширило власть человека над природой.

В Утопии и прежде бывали периоды подъема наук, но ни один из них не происходил при столь благоприятных обстоятельствах и не длился достаточно времени, чтобы принести такие обильные плоды. И

вот за два века утопийцы, которые до тех пор ползали по своей планете, как неуклюжие муравьи, или паразитически ездили на более сильных и быстрых животных, научились стремительно делать и разговаривать с любым уголком своей планеты. Кроме того, они стали господами неслыханной доселе механической мощи, и не только механической: вслед за физикой и химией внесли свою лепту физиология и психология, и утопийцы оказались на пороге нового дня, обещавшего им колоссальные возможности контроля над человеческим телом и жизнью общества. Однако эти перемены, когда они наконец наступили, произошли так быстро и беспорядочно, что лишь незначительное меньшинство утопийцев отдавало себе отчет, какие перспективы открывает это колоссальное накопление знаний, выразившееся пока только в чисто практическом применении. Остальные же принимали новые изобретения, как нечто само собой разумеющееся, и даже и не думали о необходимости приспособлять свое мышление и привычки к новым требованиям, заложенным в этих нововведениях.

Первой реакцией основной массы населения Утопии на обретенные могущество, досуг и свободу было усиленное размножение. Человечество размножалось так же усердно и бездумно, как животные или растения в подобных же благоприятных обстоятельствах. Оно размножалось до тех пор, пока все новые ресурсы не были полностью истощены. В бессмысленном и хаотическом воспроизведении обычной убогой жизни оно транжирило великие дары науки с такой же быстротой, с какой их получало. В Последнем Веке Хаоса наступил момент, когда население Утопии превысило два миллиарда человек...

— А каково оно сейчас? — спросил мистер Берли.

Примерно двести пятьдесят миллионов, ответили утопийцы. Таково было максимальное число, которому площадь Утопии предоставляла до сих пор возможность для полной и гармоничной жизни. Но теперь, с увеличением материальных ресурсов, увеличивается и население.

У отца Эмертона вырвался стон ужаса. Его зловещее предчувствие оправдалось. Это было посягательство на основу основ его нравственных убеждений.

— И вы осмеливаетесь регулировать прирост населения?! Вы его контролируете?! Ваши женщины со-

глашаются рожать или не рожать в зависимости от статистики?!

— Разумеется, — ответил Эрфред. — А чем это плохо?

— Так я и знал! — воскликнул отец Эмертон. Он склонил голову и закрыло лицо руками, бормоча:— Это носилось в воздухе. Человечий племенной завод! Отказываются творить души живые! Что может быть гнуснее и греховнее! О господи!

Мистер Берли наблюдал сквозь свое пенсне за переживаниями преподобного отца с легкой брезгливостью. Он терпеть не мог банальностей. Однако отец Эмертон представлял очень влиятельные консервативные слои общества. Мистер Берли вновь повернулся к утопийцу.

— Это очень интересно, — сказал он. — Даже в настоящее время население, которое кормит наша Земля, в пять раз, если не больше, превышает эту цифру.

— Однако зимой этого года, как вы нам только что говорили, около двадцати миллионов человек должны умереть от голода в месте, которое называется «Россия». И ведь лишь незначительная часть остальных ведет жизнь, которую даже по вашим меркам можно назвать полной и ничем не стесненной?

— Тем не менее соотношение этих цифр поразительно, — сказал мистер Берли.

— Это ужасно, — бормотал отец Эмертон.

Однако утопийцы продолжали утверждать, что перенаселенность планеты в Последнем Веке Хаоса была главным злом, порождавшим все остальные несчастья тогдашнего человечества. Мир захлебывался во все растущем потоке новорожденных, и интеллигентное меньшинство было бессильно воспитать хотя бы часть молодого поколения так, чтобы оно могло во всеоружии встретить требования новых и по-прежнему быстро меняющихся условий жизни. К тому же положение этого интеллигентного меньшинства не давало ему никакой возможности заметно влиять на судьбы человечества. Огромные массы населения, неизвестно зачем появившиеся на свет, покорные рабы устаревших, утративших смысл традиций, податливые на грубейшую ложь и лесть, представляли собой естественную добычу и опору любого ловкого демагога, проповедующего доктрину успеха, достаточно низкопробную, чтобы прийтись им по вкусу. Экономиче-

ская система, неуклюже и судорожно приспособившаяся к новым условиям производства и распределения, становилась средством, с помощью которого алчная кучка хищников все более жестоко и бесстыдно эксплуатировала гигантские скопления простого люда. А этот слишком уж простой «простой люд» от колыбели до могилы знал только нищету и порабощение; его улещивало и обманывало, его покупало, продавало и подчиняло себе наглое меньшинство, которое было смелее и, несомненно, предприимчивее его, но в интеллектуальном отношении нисколько его не превосходило. Современный утопиец, сказал Эрфред, не в силах передать всю меру чудовищной глупости, расточительности и душевного ничтожества, которые были свойственны этим богатым и могущественным властителям Последнего Века Хаоса.

(— Мы не станем вас затруднять,— сказал мистер Берли.— К несчастью, нам это известно... слишком хорошо известно!)

И вот на это чудовищно раздувшееся разлагающееся население в конце концов обрушились всяческие беды — так слетаются осы на груды гниющих фруктов. Это была его естественная, неизбежная судьба. Война, охватившая почти всю планету, нанесла непоправимый удар ее хрупкой финансовой системе и экономике. Гражданские войны и неуклюжие попытки социальных революций еще больше способствовали всеобщему развалу. Несколько следовавших друг за другом неурожайных лет сделали обычную всемирную угрозу голода еще более грозной. А недалёковидные эксплуататоры, по глупости своей не понимавшие происходящего, продолжали обманывать и надувать массы и втихомолку расправлялись с честными людьми, пытавшимися сплотиться против них,— так осы продолжают есть, даже если их туловище отсечено. Стремление творить исчезло из жизни Утопии, триумфально вытесненное стремлением получать. Производство постепенно сошло на нет. Накопленные богатства истощились. Жесточайшая долговая система, рои кредиторов неспособных поступиться своей выгодой во имя общего блага, сделали какую-либо новую инициативу невозможной.

Длительная диастола, которая наступила в жизни Утопии с эпохой великих открытий, перешла в фазу быстрой систолы. Чем меньше оставалось в мире изо-

билия и радостей, тем более жадно их захватывали напористые финансисты и спекулянты. Организованная наука давно уже была поставлена на службу коммерции и «прикладывалась» теперь в основном лишь для поисков выгодных патентов и перехвата необходимого сырья. Оставленный в пренебрежении светильник чистой науки тускнел, мигал и грозил совсем погаснуть, оставив Утопию перед началом новой веницы Темных веков, подобных тем, которые предшествовали эпохе открытий...

— Право, это очень похоже на мрачные прогнозы нашего собственного будущего, — заметил мистер Берли. — Удивительно похоже! Какое удовольствие доставило бы все это настоятелю Ингу!

— Ерстику его толка, конечно, это очень понравилось бы, — невнятно пробормотал отец Эмертон.

Их реплики раздосадовали мистера Барнстейпла, которому не терпелось услышать, что было дальше.

— А потом, — спросил он Эрфреда, — что было потом?

5

А потом, насколько мог понять мистер Барнстейпл, произошел сознательно подготовленный переворот в мировоззрении утопийцев. Все большее число людей начинало понимать, что с тех пор, как наука и высокая организация дали в руки человеку могучие и легко высвобождаемые силы, старая концепция социальной жизни государства, как узаконенной внутри определенных рамок борьбы людей, стремящихся взять верх друг над другом, стала слишком опасной, а возросшая мощь современного оружия сделала слишком опасной суверенность отдельных стран. Должны были появиться новые идеи и новые формы общества, иначе его история завершилась бы полной и непоправимой катастрофой.

До тех пор основой всякого общественного строя было обуздание с помощью законов, моральных запретов и договоров той первобытной воинственности, которую человек унаследовал от своего обезьяноподобного предка; этот древний дух самоутверждения теперь нужно было подчинить новым ограничениям, которые отвечали бы новому опасному могуществу, обретенному человечеством. Идея соперничества за

право обладания как основной принцип общения людей между собой теперь, словно плохо отрегулированный котел, грозила разнести вдребезги ту машину, которую прежде снабжала энергией для движения вперед. Ее должна была заменить идея творческого служения. Социальная жизнь могла сохраниться только в том случае, если человеческий разум и воля воспримут эту идею. Мало-помалу выяснялось, что положения, которые в предшествующие века считались неосуществимыми идеалами, порожденными воображением вдохновенных мечтателей, представляют собой даже не просто трезвую психологическую истину, но истину, требующую немедленного практического применения. Объясняя это, Эрфред выражал свою мысль таким образом, что в мозгу мистера Барнстейпла всплыли отголоски каких-то очень знакомых фраз: Эрфред словно утверждал, что тот, кто хочет жизнь свою сбросить, тот потеряет ее, а тот, кто потеряет жизнь свою, тот приобретет весь мир.

В мозгу отца Эмертона возникли, очевидно, те же ассоциации, так как он неожиданно перебил Эрфреда восклицанием:

— Но ведь вы цитируете Священное писание!

Эрфред подтвердил, что ему действительно пришла на ум цитата, отрывок из поучений человека, наделенного большим поэтическим даром и жившего очень давно, в эпоху звучащих слов.

Затем Эрфред собирался продолжать свой рассказ, но отец Эмертон в сильном волнении засыпал его градом вопросов:

— Но кто был этот учитель? Где он жил? Каковы обстоятельства его рождения? Как он умер?

В мозгу мистера Барнстейпла проплыла картина: бледный, исполненный скорби человек, избитый, весь в крови, окруженный стражей, в самой гуще возбужденной толпы смуглых людей, колышущейся в узкой улочке между высокими стенами. Позади несли какое-то большое, зловещего вида приспособление, которое дергалось и покачивалось в такт движению толпы...

— Неужели он умер на кресте и в этом мире тоже? — вскричал отец Эмертон. — Он умер на кресте?

Этот утопийский пророк, узнали они, умер очень мучительной смертью, но не на кресте. Его сначала

подвергли пыткам, но ни утопийцы, ни эти земляне не обладали необходимыми знаниями, чтобы получить ясное представление о том, в чем они заключались, а затем его как будто привязали к колесу, которое медленно вращалось, пока он не умер. Это была гнусная казнь, изобретенная жестокими завоевателями, и пророка казнили так потому, что его доктрина всеобщего служения напугала богатых и власть имущих, которые никому не служили. Перед глазами мистера Барнстейпла на миг возникло изломанное тело на пыточном колесе под палящим солнцем. Но какая великолепная победа над смертью! Из мира, способного на такие чудовищные деяния, родились окружающие его сейчас великий покой и всепроникающая красота!

Однако отец Эмертон еще не кончил свои расспросы:

— Но разве вы не поняли, кто это был? Ваш мир не догадался об этом?

Очень многие считали, что этот человек был богом. Но он обыкновенно называл себя просто сыном божьим или сыном человеческим.

Отец Эмертон продолжал настойчиво идти к своей цели:

— А теперь вы ему поклоняетесь?

— Мы следуем его учению, потому что оно было великим и в нем заключалась истина, — ответил Эрфред.

— Но не поклоняетесь ему?

— Нет.

— И никто не поклоняется? Ведь вы же сказали, что прежде были люди, которые ему поклонялись?

Да, были, те, кто отступил перед суровым величием его учения и в то же время мучительно сознавал, что в нем скрыта глубокая правда. И вот такие люди пытались одурачить свою встревоженную совесть, поклоняясь ему, как божку, надсленному волшебной силой, вместо того, чтобы признать его путеводным маяком своей души. Они придали его казни то же магическое значение, которое придавали некогда ритуальным убийствам царей. Вместо того, чтобы просто и честно следовать его идеям, претворяя их в свое мировоззрение и волю, они предпочитали мистически вкушать его, претворяя в свое тело. Они превратили колесо, на котором он погиб, в чудотворный символ

и видели его в экваторе, в солнце, в эклиптике — короче говоря, в любом круге. В случае неудачи, болезни, скверной погоды верующие считали очень полезным описать в воздухе указательным пальцем круг.

А так как память об учителе, благодаря его кротости и милосердию, была очень дорога невежественным массам, этим воспользовались хитрые властолюбцы, которые объявили себя защитниками и опорой колеса, во имя его богадетели и становились все могущественнее, заставляли народы воевать за него и, прикрываясь им, оправдывали свою зависть, ненависть, тиранию и удовлетворение самых темных своих страстей. И, наконец, люди стали даже говорить, что, вернись древний пророк в Утопию вновь, его собственное торжествующее колесо вновь изломало бы его тело...

Эти подробности не заинтересовали отца Эмертона. У него была своя точка зрения.

— Но все же, — нетерпеливо сказал он, — хоть частичка этих верующих должна же была сохраниться? Пусть их презирают, но они все-таки есть?

Нет, и частички не сохранилось. Весь мир следует идеям этого Величайшего Учителя, но никто ему не поклоняется. На стенах некоторых старинных, тщательно охраняемых зданий уцелели вырезанные знаки колеса, иногда усложненные самыми фантастическими декоративными украшениями. Кроме того, в музейных коллекциях можно увидеть множество картин, статуй, амулетов и других предметов его культа.

— Не понимаю! — сказал отец Эмертон. — Как это ужасно! Я не знаю, что и подумать. Я не в силах этого понять.

6

Белокурый худощавый человек с тонкими изящными чертами лица, которого, как позднее узнал мистер Барнстейпл, звали Лев, вскоре освободил Эрфреда от тяжелой обязанности давать землянам объяснения и отвечать на их вопросы.

Он был одним из утопийских координаторов образования. Он рассказал, что наступившие в Утопии перемены не явились результатом внезапной революции. Новая система законов и обычаев, новый метод экономического сотрудничества, опирающийся на идею общего служения коллективному благу, вовсе не

возникли в одно мгновение законченными и совершенными. На протяжении длительного периода перед Последним Веком Хаоса и во время него все возрастающее количество исследователей и творцов закладывало основы государства нового типа, работая без какого-либо заранее составленного плана или готового метода, но бессознательно сотрудничая друг с другом, потому что их объединяло присущее им всем желание служить человечеству, а также ясность и благородство ума. Только к самому завершению Последнего Века Хаоса в Утопии психологическая наука начала наконец развиваться в темпах, сравнимых с темпами развития географических и физических наук в предыдущие столетия. Это объяснялось тем, что социальный и экономический хаос, ставивший рогатки на пути экспериментальной науки и уродовавший организованную работу университетов, в то же время делал необходимым исследование процесса взаимодействия людей — и оно велось с напряжением отчаяния.

Насколько понял мистер Барнстейпл, речь шла не об одном из тех бурных переворотов, которые наш мир привык называть революциями, но о постепенном рассивании мрака, о наступлении зари новых идей, под влиянием которых прежний порядок вещей медленно, но верно менялся, и в конце концов люди начали поступать по-новому, так, как этого требовал от них простой здравый смысл.

Новый порядок зарождался в научных дискуссиях, в книгах и психологических лабораториях, его питательной средой стали школы и университеты. Старый порядок скудно оплачивал школьных учителей, и те, кто властвовал в нем, были слишком заняты борьбой за богатство и могущество, чтобы думать о вопросах образования и воспитания; их они оставили на усмотрение тех, кто был готов, не заботясь о материальном вознаграждении, посвятить свой ум и труд пробуждению нового сознания у подрастающего поколения. И они этого добились. В мире, где все еще правили демагоги-политиканы, в мире, где власть принадлежала хищным предпринимателям и ловким финансистам, в этом мире все больше утверждалось учение о том, что крупная частная собственность является социальным злом и что государство не может нормально функционировать, а образование — приносить желаемые пло-

ды, пока существует класс безответственных богачей. Ибо по самой своей природе этот класс должен был губить, портить и подрывать любое государственное начинание; их паразитическая роскошь искажала и компрометировала все истинные духовные ценности. Их надо было уничтожить для блага всего человечества.

— А разве они не боролись? — с вызовом спросил мистер Кэтскилл.

Да, они боролись — бестолково, но яростно. В течение почти пятисот лет в Утопии шла сознательная борьба за то, чтобы не допустить возникновения всемирного научного государства, опирающегося на воспитание и образование, или хотя бы задержать его возникновение. Это была борьба алчных, разнузданных, предубежденных и своекорыстных людей против воплощения в жизнь новой идеи коллективного служения. Стоило где-нибудь появиться этой идее, как с ней начиналась борьба: с ней боролись увольнениями, угрозами, бойкотами, кровавыми расправами, с ней боролись ложью и клеветническими обвинениями, с ней боролись судом и тюрьмой, веревкой линчевателей, дегтем и перьями, огнем, дубиной и ружьем, бомбами и пушками.

Но служение этой новой идее не прекращалось ни на миг; с непреодолимой силой она овладевала умами и душами людей, в которых нуждалась. Пресжде чем в Утопии утвердилось научное государство, во имя его утверждения погибло более миллиона мучеников — а тех, кто просто терпел ради него беды и страдания, сосчитать вообще невозможно. Все новые и новые позиции отвоевывались в системе образования, в социальных законах, в экономике. Точной даты перемены не существует. Просто Утопия в конце концов увидела, что заря сменилась солнечным днем и новый порядок вещей окончательно вытеснил старый...

— Да так и должно случиться, — сказал мистер Барнстейпл, словно вокруг него не было преобразенной Утопии. — Так и должно случиться.

Лев тем временем начал отвечать на чей-то вопрос. Каждого ребенка в Утопии обучают в полную меру его способностей, а затем поручают ему работу, соответствующую его склонностям и возможностям. Он рождается в самых благоприятных условиях. Он рождается от здоровых родителей — после того, как его

мать решит иметь ребенка и достаточно подготовится к этому. Он растет в абсолютно здоровой обстановке; его природная потребность играть и любознательность удовлетворяются согласно самым тонким методам воспитания; его руки, глаза и тело получают все необходимое для тренировки и нормального развития; он учится рисовать, писать и выражать свои мысли, пользуясь для этого множеством самых разнообразных символов. Доброжелательность и вежливость воспитываются сами собой — ведь все вокруг добры и вежливы. Особенное внимание уделяется развитию детского воображения. Ребенок знакомится с удивительной историей своего мира и человеческого рода: он узнает, как боролся и борется человек, чтобы преодолеть свою изначальную животную узость и эгоизм и добиться полной власти над своей внутренней сущностью, которую он еще только-только начинает прозревать сквозь густое покрывало неведения. Все его желания облагораживаются. Поэзия, пример и любовь тех, кто его окружает, учат его в любви забывать о себе ради другого; его чувственная страсть, таким образом, становится оружием против его эгоизма, его любопытство превращается в одержимость наукой, его воинственность обращается против нарушения разумного порядка, его гордость и самолюбие воплощаются в стремление внести почетную долю в общие достижения. Он выбирает работу, которая ему нравится, и сам решает, чем ему заниматься.

Если индивид ленив, это не страшно, так как утопийского изобилия хватит на всех, но такой человек не найдет себе пары, у него не будет детей, потому что ни один юноша, ни одна девушка в Утопии не полюбят того, кто лишен энергии и не хочет ни в чем отличиться. Утопийская любовь опирается на гордость за друга или подругу. И в Утопии нет ни паразитического «светского общества» богачей, ни игр и зрелищ, рассчитанных на развлечение бездельников. Для бездельников в ней вообще ничего нет. Это очень приятный мир для тех, кто время от времени отдыхает от работы, но не для тех, кто вообще ничего не желает делать.

Уже несколько столетий назад утопийская наука научилась управлять наследственностью, и чуть ли не каждый ныне живущий утопиец принадлежит к типу, который в далеком прошлом именовался деятельным

и творческим. В Утопии почти нет малоспособных людей, а слабоумные отсутствуют вовсе; лентяи, люди, склонные к апатии или наделенные слабым воображением, постепенно вымерли; меланхолический тип уже давно забыт; злобные и завистливые характеры уже в значительной степени исчезли. В подавляющем большинстве утопийцы энергичны, инициативны, изобретательны, восприимчивы и доброжелательны.

— И у вас нет даже парламента? — спросил мистер Берли, который никак не мог с этим примириться.

Нет, в Утопии нет ни парламента, ни политики, ни частного богатства, ни коммерческой конкуренции, ни полиции, ни тюрем, ни сумасшедших, ни слабоумных, ни уродов. А всего этого нет потому, что в Утопии есть школы и учителя, которые в полной мере осуществляют главную задачу любой школы и любого учителя. Политика, коммерция и конкуренция — это формы приспособления к жизни общества, еще очень далекого от совершенства. Утопия отказалась от них уже тысячелетие назад. Взрослые утопийцы не нуждаются ни в контроле, ни в правительстве, потому что их поведение в достаточной мере контролируется и управляется правилами, усвоенными в детстве и ранней юности.

И Лев закончил так:

— *Наше воспитание и образование — вот наше правительство.*

Глава шестая

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЗЕМЛЯН

1

В течение этого достопамятного дня и вечера мистеру Барнстейплу по временам начинало казаться, что он всего лишь разговаривает с кем-то о формах правления и об истории, но разговор этот непонятным образом обрел зрительное воплощение; ему чудилось даже, что все это происходит только в его мозгу, но тут же он вновь осознавал абсолютную реальность случившегося, и поразительность ситуации отвлекала его внимание от обсуждения несомненно интересных

проблем. В такие минуты его взгляд скользил по лицам сидевших вокруг утопийцев, на мгновение переходил на какую-нибудь особенно красивую архитектурную деталь, а затем вновь обращался к этим божеественно прекрасным людям.

Затем, словно не веря глазам, он поворачивался к своим собратьям — землянам.

У всех без исключения утопийцев лица были открытыми, одухотворенными и красивыми, как лица ангелов на итальянских картинах. Одна из женщин чем-то походила на Дельфийскую Сивиллу Микеланджело. Они сидели в непринужденных позах, мужчины и женщины вперемешку, и внимательно следили за беседой, однако порой мистер Барнстейпл встречал устремленный на него внимательный, хотя и дружеский взгляд, или обнаруживал, что какой-нибудь утопиец с любопытством рассматривает платье леди Стеллы или монокль мистера Маша.

Сначала мистеру Барнстейплу показалось, что все утопийцы очень молоды, но теперь он заметил, что многие лица помечены печатью деятельной зрелости. Ни на одном нельзя было отыскать признаков старости, обычных для нашего мира, но у губ, под глазами и на лбу Эрфреда и Льва пролегли складки, которые оставляют размышления и жизненный опыт.

При взгляде на этих людей мистер Барнстейпл испытывал двойственное ощущение: словно он видел что-то невероятное и в то же время очень знакомое. Ему казалось, будто он всегда знал о существовании подобных людей, и именно это сознание определяло его отношение к тысячам различных аспектов земной жизни, но в то же время он был настолько ошеломлен, оказавшись в одном с ними мире, что все еще опасался, не грезит ли он. Они одновременно представлялись ему и чем-то естественным и безмерно чудесным по сравнению с ним самим и его спутниками, которые, в свою очередь, казались одновременно и чем-то нелепым и само собой разумеющимся.

И вместе с горячим желанием стать близким и своим для этих прекрасных и милых людей, причислить себя к ним, обрести общность с ними через служение единой цели и взаимные услуги, в его душе жил благоговейный страх перед ними, который заставлял его избегать какого-либо контакта с ними и вздрагивать от их прикосновения. Он так жаждал,

чтобы они признали в нем собрата и товарища, что ощущение собственной ненужности и недостойности совсем его подавляло. Ему хотелось пасть перед ними ниц. Ясность и прелесть того, что его окружало, порождали в нем невыносимо мучительное предчувствие, что в конце концов этот новый мир отвергнет его.

Утопийцы произвели на мистера Барнстейпла такое глубокое впечатление, он с такой полнотой отдался радостному созерцанию их изящества и красоты, что некоторое время не замечал, насколько мало разделяют его восторг некоторые из землян. Утопийцы были так далеки от земной нелепости, безобразия и жестокости, что он готов был безоговорочно одобрить любые их институты и весь их образ жизни.

Но тут поведение отца Эмертона открыло ему глаза на тот факт, что эти замечательные люди могут вызывать злобное неодобрение и даже прямую враждебность. Сначала округлившиеся глаза отца Эмертона и все его круглое лицо над круглым воротником выражали только простодушное изумление; он покорно следовал за тем, кто проявлял какую-нибудь инициативу, и не сказал ни слова до тех пор, пока нагая красота мертвой Гринлейк не вырвала у него восклицания излишне мирского восторга. Однако за время полета к озеру, завтрака и приготовлений к беседе его наивное и смиренное удивление успело смениться упрямым протестом и враждебностью. Словно этот новый мир из зрелища превратился в некую догму, которую он должен был принять или отвергнуть. Возможно, привычка порицать общественные нравы была в нем слишком сильна, и он чувствовал себя хорошо только тогда, когда начинал обличать. А возможно, его искренне возмущала и пугала почти абсолютная нагота прелестных тел вокруг. Но как бы то ни было, вскоре он принялся хмыкать и покашливать, ворчать себе под нос и всяческими другими способами выражать нетерпение.

В первый раз он дал волю своему негодованию, когда речь зашла о численности населения. Затем на короткий срок его рассудок взял верх над эмоциональной бурей — пока им рассказывали о колесованном пророке, — но теперь он вновь подпал под власть все растущего возмущения. Мистер Барнстейпл услышал, что он бормочет:

— Я должен говорить. Я не могу долее молчать.

И он начал задавать вопросы.

— Мне хотелось бы получить ясное представление о некоторых вещах,— сказал он.— Я хочу знать, каково состояние нравственности в этой так называемой Утопии. Прошу прощения!

Он вскочил. Несколько секунд он стоял, размахивая руками, не в состоянии говорить. Затем он прошел в конец ряда кресел и встал так, чтобы можно было положить руки на спинку крайнего из них. Он провел ладонью по волосам и глубоко вздохнул. Его глаза засверкали, лицо покраснело и залоснилось. В голове мистера Барнстейпла мелькнуло ужасное подозрение: навсрное, именно в этой позе отец Эмертон начинал свои еженедельные проповеди, эти свои бесстрашные обличения всех и вся в вест-эндской церкви святого Варнавы. Это подозрение тут же перешло в еще более ужасную уверенность.

— Друзья, братья из этого нового мира! Я должен говорить с вами и не могу этого откладывать. Я хочу задать вам несколько проникновенных вопросов. Я хочу прямо говорить с вами о неких простых и ясных, но самых важных вещах. Я хочу откровенно, как мужчина с мужчинами, обсудить с вами без экивоков существеннейшие, хотя и очень деликатные вопросы. Позвольте мне без лишних слов перейти к делу. Я хочу спросить у вас: уважаете ли вы, почитаете ли вы еще в этом так называемом государстве Утопии самое священное, что только есть в жизни общества? Читаете ли вы еще узы брака?

Он умолк, и во время этой паузы мистер Барнстейпл уловил ответ кого-то из утопийцев:

— В Утопии нет никаких уз.

Однако отец Эмертон задавал вопросы вовсе не для того, чтобы получать на них ответы, это был всего лишь риторический прием опытного проповедника.

— Я хочу знать,— гремел он,— почитается ли здесь священный союз, открытый нашим прародителям в Эдеме? Является ли главным правилом вашей жизни благословенная свыше близость одного мужчины и одной женщины в счастье и в беде, близость не допускающая никакой иной близости? Я хочу знать...

— Но он вовсе не хочет знать! — перебил кто-то из утопийцев.

— ...была ли эта лелеемая и охраняемая обоюдная чистота...

Мистер Берли поднял руку с длинными белыми пальцами.

— Отец Эмертон,— сказал он настойчиво.— Будьте так добры...

Рука мистера Берли была весьма могущественной рукой, по-прежнему способной указать наиболее предпочтительный путь. Когда отец Эмертон отдавался во власть одной из своих душевных бурь, мало что в мире могло заставить его остановиться, но рука мистера Берли принадлежала к немногим исключениям.

— ...отвергнута и отринута здесь вслед за другим еще более бесценным даром? В чем дело, мистер Берли?

— Мне представляется желательным, отец Эмертон, чтобы в настоящий момент вы более не касались этих вопросов. Погодите пока мы не узнаем больше. Совершенно ясно, что здешние институты заметно отличаются от наших. Даже институт брака может быть здесь иным.

Лицо проповедника потемнело.

— Мистер Берли,— сказал он,— это мой долг. Если мои подозрения справедливы, я хочу сорвать с этого мира обманчивый покров здоровья и добродетели...

— Что уж тут срывать! — довольно громко пробормотал шофер мистера Берли.

Голос мистера Берли стал почти резким.

— В таком случае задавайте вопросы,— сказал он.— Задавайте вопросы. Будьте добры, обходитесь без риторики. Они не интересуются нашей риторикой.

— Я спросил то, что хотел спросить,— оскорбленно пробурчал отец Эмертон и, смерив Эрфреда вызывающим взглядом, остался стоять в прежней позе.

Он получил ясный и исчерпывающий ответ. В Утопии мужчин и женщин не обязывают разбиваться на пары, связанные нерасторжимым союзом. Для большинства утопийцев это было бы неудобно. Очень часто мужчины и женщины, которых тесно сближала общая работа, становились любовниками и почти все время проводили вместе, как, например, Арден и Гринлейк. Но на то была их добрая воля.

Такая свобода существовала не всегда. В былые дни перенаселения и противоречий мужчины и женщины Утопии, вступавшие в любовные отношения,

связывались на всю жизнь под угрозой тяжелых наказаний — особенно в среде сельскохозяйственных рабочих и других подчиненных сословий. Такие пары жили вместе в крохотном жилище, которое женщина убирала и содержала в порядке для мужчины, она была его служанкой и рожала ему как можно больше детей, а он добывал пищу для всех них. Иметь детей они хотели потому, что ребенок вскоре начинал приносить пользу, помогая обрабатывать землю или работая по найму. Но неблагоприятные условия, обрекавшие женщину на такого рода спаривание, давно исчезли.

Люди по-прежнему живут парами со своими избранниками, но поступают они так в силу внутренней потребности, а не подчиняясь внешнему принуждению.

Отец Эмертон слушал все это с плохо скрываемым нетерпением. Наконец он не выдержал и закричал:

— Так, значит, я был прав, и вы уничтожили семью?! — Его указующий на Эрфреда перст превращал эти слова почти в личное обвинение.

Нет. Утопия не уничтожила семьи. Она освятила семью и раздвинула ее рамки, пока та не обняла все человечество. В давние времена колесованный пророк, который, как кажется, внушает отцу Эмертону большое уважение, проповедовал именно такое расширение древней узости домашнего очага. Как-то во время одной из его проповедей ему сказали, что снаружи его дожидаются мать и братья, но он не пошел к ним, а указал на слушавшую его толпу и ответил: «Вот моя мать и мои братья!»

Отец Эмертон ударил кулаком по спинке кресла с такой силой, что все вздрогнули.

— Увертка! Жалкая увертка! — крикнул он. — И Сатана может ссылаться на Писание!

Мистеру Барнстейплу было ясно, что отец Эмертон не владеет собой. Он сам пугался своего поведения, но остановиться не мог. В своем волнении он утратил ясность мысли и потерял власть над голосом — он кричал, он вопил, как безумный. Он «дал себе волю» и надеялся, что привычки, приобретенные на кафедре церкви святого Варнавы, помогут ему и тут.

— Теперь я понимаю, как вы живете. Слишком хорошо понимаю! С самого начала я догадывался об этом. Но я ждал — ждал, чтобы удостовериться, преж-

де чем выступить со своим свидетельством. Ваш образ жизни сам говорит за себя — бесстыдство ваших одеяний, распущенность ваших нравов! Юноши и девушки улыбаются, берутся за руки, чуть ли не ласкаются, когда потупленные глаза — потупленные глаза! — были бы наименьшей данью стыдливости. А эти гнусные рассуждения о любовниках, любящих без уз и без благословения, без установлений и ограничений! Что они означают? И куда они ведут? Не воображайте, что, будучи священнослужителем, человеком чистым и девственным вопреки великим искушениям я не способен понять всего этого! Или мне не открыты сокровенные тайны людских сердец? Или наказанные грешники — разбитые сосуды — не влекутся ко мне с исповедью, достойной гнева и жалости? Так неужели я не скажу вам прямо, кто вы такие и куда идете? Эта ваша так называемая свобода не что иное, как распутство. Ваша так называемая Утопия предстала передо мной адом дикого разгула всех плотских страстей! Дикого разгула!

Мистер Берли протестующе поднял руку, но эта преграда уже не могла остановить красноречия отца Эмертона.

Он бил кулаком по спинке кресла.

— Я буду свидетельствовать! — кричал он. — Я буду свидетельствовать! Я не побоюсь сказать всю правду. Я не побоюсь назвать вещи своими именами, говорю я вам! Вы все живете в свальном грехе! Вот слово для этого! Как скоты! Как непотребные скоты!

Мистер Берли вскочил на ноги. Подняв ладони, он жестом приказывал лондонскому Иерею скорее сесть.

— Нет, нет! — воскликнул государственный муж. — Замолчите, мистер Эмертон! Право, вам следует замолчать. Ваши слова оскорбительны. Вы не понимаете. Сядьте же, будьте добры. Я требую, чтобы вы сели.

— Сядьте и успокойтесь, — сказал звонкий голос. — Или вас уведут.

Что-то заставило отца Эмертона оглянуться на неподвижную фигуру, возникшую чуть позади него. Он встретился взглядом со стройным юношей, который внимательно его рассматривал, словно художник нового натурщика. В выражении его лица не было ничего угрожающего, он стоял неподвижно, и все же отец Эмертон весь как-то удивительно съежился. Поток его обличительного красноречия внезапно иссяк.

Послышался невозмутимо-любезный голос мистера Берли, спешившего уладить конфликт:

— Мистер Серпентин, сэр! Я взываю к вашей терпимости и приношу извинения. Он не вполне отвечает за свои поступки. Мы, все остальные, очень сожалеем об этом отступлении, этом досадном инциденте. Прошу вас, не уводите его, что бы это ни означало. Ручаюсь, что такая выходка больше не повторится... Да сядьте же, мистер Эмертон, будьте так добры, и немедленно, или я умою руки.

Отец Эмертон колебался.

— Мое время настанет,— сказал он, несколько секунд смотрел в глаза юноши, а затем вернулся на свое место.

Эрфред сказал спокойно и внятно:

— Вы, земляне, оказались нелегкими гостями. И это еще не все... Совершенно очевидно, что у этого человека очень грязный ум. Его сексуальное воображение, несомненно, болезненно возбуждено и извращено. Он рассержен и стремится оскорблять и причинять боль. И производимый им шум невыносим для слуха. Завтра его придется осмотреть и заняться им.

— Что? — пробормотал отец Эмертон, и его круглое лицо вдруг приобрело землистый оттенок.— Как это «заниматься»?

— Пожалуйста, замолчите,— сказал мистер Берли.— Пожалуйста, больше ничего не говорите. Вы и так уже наговорили много лишнего.

Инцидент, казалось, был исчерпан, но в душе мистера Барнстейпла он оставил странный осадок страха. Эти утопийцы были очень любезны, их манеры были удивительно мягки, но на мгновение над землянами словно нависла властная рука. Вокруг них сияла заливая солнечным светом красота, но тем не менее они были чужестранцами — и беззащитными чужестранцами — в неведомом мире. Лица утопийцев казались добрыми, их взгляды — любопытными и в какой-то мере дружелюбными, однако гораздо более наблюдающими, чем дружелюбными. Словно смотрящие находились на другой стороне непреодолимой пропасти различия.

Но тут совсем расстроившийся мистер Барнстейпл встретил взгляд карих глаз Ликнис, и они показались ему добрее глаз остальных утопийцев. Во всяком случае, она, решил он, поняла, какой страх его мучает, и

хочет его успокоить, заверить в своей дружбе. И мистер Барнстейпл, посмотрев на нее, почувствовал то же, что, наверное, чувствует заблудившаяся собачонка, когда, приблизившись к людям, которые могут оказаться и врагами, она вдруг встречает ласковый взгляд и слышит приветливое слово.

2

Другой душой, активно восстававшей против Утопии, была душа мистера Фредди Маша. Его ничуть не возмущали религия, нравственность или социальная организация Утопии. Он уже давно твердо усвоил, что истинный джентльмен-эстет не интересуется подобными вещами. Он исходил из гипотезы, что его восприятие слишком утонченно для них. Однако, как он вскоре заявил, научные методы утопийцев уничтожили нечто весьма древнее и прекрасное, именуемое «Равновесием Природы». В чем заключалось это «Равновесие Природы» и как оно осуществлялось на Земле ни утопийцы, ни мистер Барнстейпл так и не смогли понять. Когда его попытались расспросить подробнее, мистер Маш порозовел, стал нервничать, и его монокль обиженно заблестел.

— Я сужу по ласточкам,— твердил он.— Если вы и это не считаете доказательством, то, право, не знаю, что еще я могу сказать.

Он вновь и вновь повторял только одно, что в Утопии не видно ласточек. Ласточек же в Утопии не было видно потому, что в ней не было комаров и мошкар. В Утопии произошло сознательное уничтожение значительной части мира насекомых, а это тяжело отразилось на всех существах, чья жизнь прямо или косвенно зависела от насекомых. Едва новый порядок прочно утвердился в Утопии и научное государство начало свою деятельность, утопийское общество обратилось к осуществлению давней мечты о систематическом уничтожении вредных и неприятных животных и растений. Проводилось тщательное исследование того, насколько вредны и подлежат ли уничтожению, например, домашние мухи, осы и шершни, различные виды мышей и крыс, кролики и жгучая крапива. Десять тысяч видов, начиная с болезнетворных микробов и кончая носорогами и гиенами, были подвергнуты суду. Каждому виду был дан за-

щитник. О каждом спрашивалось: какую он приносит пользу? Какой вред? Как можно его уничтожить? Стоит ли его уничтожение связанных с этим хлопот? Или его можно обезвредить и сохранить? И даже когда тому или иному виду выносился окончательный смертный приговор, Утопия приступала к его уничтожению с большой осмотрительностью. В каком-нибудь надежно изолированном месте сохранялся достаточный резерв особей осужденного вида — в некоторых случаях он сохранялся еще и по сей день.

Большинство инфекционных лихорадок было уничтожено полностью — с одними удалось покончить без особого труда, но для того, чтобы избавить человечество от других, пришлось объявить им настоящую войну и подчинить все население планеты строжайшей дисциплине. Кроме того, были полностью истреблены многие виды, паразитировавшие на человеке и животных. Мир был совершенно очищен от вредных насекомых, сорняков, всяческих гадов и животных, опасных для человека. Исчезли москиты, демашняя муха, навозная муха и еще множество всяких мух; они исчезли в результате широчайшей кампании, потребовавшей огромных усилий и длившейся несколько веков. Было несравненно легче избавиться от таких крупных врагов, как гиены и волки, чем от этих мелких вредителей. Война против мух потребовала полнейшей перестройки значительной части утопийских домов и проведения тщательной дезинсекции на всей планете.

Наиболее сложная проблема, которую пришлось разрешать утопийцам в этой связи, заключалась в возможных губительных последствиях такой чистки для других растений и животных. Например, некоторые насекомые в стадии личинки были вредны и неприятны, были губительны в стадии гусеницы или окукливания, но затем либо радовали глаз своей красотой, либо были необходимы для опыления каких-нибудь полезных или красивых цветов. Другие, сами по себе вредоносные, оказывались единственной пищей нужных и приятных созданий. Неверно, что ласточки совсем перевелись в Утопии, но они стали очень редкими птицами, как и значительное число насекомоядных пичужек, вроде мухоловки, этой воздушной гимнастки. Однако они не вымерли: истребление насекомых не было доведено до такой крайней степени;

было сохранено достаточно видов, чтобы сделать некоторые области планеты по-прежнему пригодными для обитания этих прелестных птичек.

Многие вредные сорняки в то же время были удобным источником сложных химических веществ, получать которые синтетическим путем было либо дорого, либо сложно, поэтому такие растения были в ограниченных количествах сохранены. Вообще растения и цветы гораздо легче поддаются гибридизации и другим внешним воздействиям, нежели животные, и поэтому в Утопии они сильно изменились. Земляне увидят сотни новых форм листвы и прелестных душистых цветов, о которых они не имеют ни малейшего представления. Путем отбора и особого ухода, как узнал мистер Барнстейпл, были выведены растения, вырабатывавшие новые и крайне ценные соки, смолы, эфиры, масла и другие полезные вещества.

Большие звери приручались и укрощались. Крупные хищники, вычесанные и вымытые, приученные к чисто молочной диете, забывшие былую злобность и превратившиеся, короче говоря, в ласковых кошек, стали в Утопии товарищами детских игр и украшением пейзажа. Почти вымершие слоны теперь вновь стали размножаться, и Утопия спасла своих жирафов. Бурый медведь всегда был склонен к сладостям и вегетарианской пище, а, кроме того, его интеллект очень развился. Собаки перестали лаять и превратились в относительную редкость. Охотничьи породы и комнатные собачки перевелись вовсе.

Лошадей мистер Барнстейпл не видел в Утопии ни разу, но, будучи современным городским жителем, он попросту не заметил, что их нет, и не расспрашивал о них, пока находился там. Он так и не узнал, вымерли они или еще существуют.

Когда в первый день своего пребывания в этом мире он услышал о том, как человечество здесь меняло и переделывало, очищало и облагораживало царство природы, эта деятельность показалась ему вполне естественной и необходимой фазой человеческой истории.

«Что ни говори,— подумал он,— а миф о том, что первый человек был сотворен садовником, очень неглуп!»

И вот теперь человек очищал и облагораживал свою собственную породу...

Утопийцы рассказывали про зарождение евгеники, про новые и более точные способы отбора родителей, про все большую безошибочность науки о наследственности; и, сравнивая ясную, совершенную красоту лица и тела любого утопийца с негармоничными чертами и непропорциональным сложением своих собратьев-землян, мистер Барнстейпл понял, что, обогнав их всего на каких-нибудь три тысячи лет, утопийцы уже переставали быть людьми в привычном для него смысле и превращались в нечто более высокое и благородное. Их отличие от землян становилось уже видовым отличием.

3

Это был уже иной вид.

По мере того как продолжались вопросы, ответы и обмен мнениями, мистер Барнстейпл со все большей очевидностью убеждался, что телесные различия между ними были просто ничтожными по сравнению с различием в их духовном облике. Уже с рождения наделенные большими умственными способностями, эти дети света росли в условиях, освобожденных от тех чудовищных противоречий, утаиваний, путаницы и невежества, которые калечат умы юных землян. Всем им была свойственна ясность мысли, откровенность и прямота. В них не развивалось то оборонительное недоверие к наставнику, то сопротивление воспитанию, которое является естественной реакцией на форму обучения, в значительной мере сводящуюся к насильственному навязыванию и подавлению. Они были изумительно доверчивы в своем общении с другими. Ирония, умалчивание, неискренность, хвастливость и искусственность земных разговоров были им незнакомы. Эта их духовная обнаженность показалась мистеру Барнстейплу столь же упоительной и бодрящей, как горный воздух, которым он дышал. Его поражали терпение и снисходительность, которые они проявляли в отношении столь неразвитых существ.

«Неразвитые» — именно это слово употребил он мысленно. И самым неразвитым он чувствовал себя. Он робел перед утопийцами, готов был заискивать и пресмыкаться перед ними, словно неотесанный земной мужлан, очутившийся в светской гостиной, и эта его униженность вызывала в его душе горькое чувство

стыда. Во всех других землянах, за исключением леди Стеллы и мистера Берли, чувствовалась злобная ощеренность людей, сознающих свою неполноценность и пытающихся подавить в себе это сознание.

Как и отец Эмертон, шофер мистера Берли был, по-видимому, возмущен и оскорблен наготой утопийцев; его негодование находило выражение в жестах, гримасах и саркастических замечаниях, вроде «Ну и ну!» или «Ишь ты!», с которыми он обращался к мистеру Барнстейплу,— владелец такого старого и маленького автомобиля внушал ему, очевидно, порядочное презрение, но в то же время казался почти своим. Он то и дело щурился, подымал брови и гримасничал, стараясь привлечь внимание мистера Барнстейпла к тем жестам или позам утопийцев, которые представлялись ему примечательными. При других обстоятельствах его способ указывать с помощью губ и носа мог бы позабавить мистера Барнстейпла.

Леди Стелла, которая сначала показалась мистеру Барнстейплу истинной леди, в самом лучшем и современном смысле этого слова, теперь, насколько он мог судить, испытывала большую растерянность и маскировала ее подчеркнуто светской манерой держаться. Однако мистер Берли в значительной мере сохранил свой аристократизм. На Земле он всю жизнь был великим человеком и, очевидно, не видел причин, которые помешали бы ему остаться великим человеком и в Утопии. На Земле он почти ничего не делал, ограничиваясь высокоинтеллектуальным восприятием, и с самыми счастливыми результатами. Его острый, скептический ум, свободный от каких-либо убеждений, верований или революционных желаний помог ему чрезвычайно легко приспособиться к позе почетного гостя, который с доброжелательным, но ни к чему не обязывающим интересом знакомится с институтами чужого государства. Любезное «скажите мне» было его лейтмотивом на протяжении всей беседы.

Уже вечерело, и ясное утопийское небо горело закатным золотом, а курчавые башни облаков над озером меняли цвета, становясь из розовых темно-лиловыми, когда внимание мистера Барнстейпла внезапно привлек мистер Руперт Кэтскилл. Он нетерпеливо ерзал на своем сиденье.

— Я хочу кое-что сказать,— бормотал он.— Я хочу кое-что сказать.

Затем он вскочил и направился к центру полукружия, где ранее произносил свою речь мистер Берли.

— Мистер Серпентин! — сказал он. — Мистер Берли, я был бы рад высказать кое-какие соображения, если вы мне разрешите.

4

Мистер Кэтскилл снял с головы серый цилиндр, вернулся к своему месту и положил его на сиденье, а затем вновь направился к центру апсиды. Он откинул полы своего сюртука, упер руки в бедра, выставил вперед голову, несколько секунд обводил своих слушателей испытующим и вызывающим взглядом, что-то бормоча себе под нос, а затем начал говорить.

Его вступление не было особенно внушительным. Он страдал некоторым недостатком речи, чем-то вроде прищептывания, и, стремясь его преодолеть, говорил гортанно. Первые несколько фраз вырвались у него как бы толчками. Затем мистер Барнстейпл понял, что мистер Кэтскилл излагает очень четкую точку зрения — по-своему обоснованную и стройную картину Утопии. Мистер Барнстейпл не был согласен с его критикой, она его глубоко возмутила. Но он не мог отрицать, что она логически вытекала из определенного образа мышления.

Мистер Кэтскилл начал с того, что полностью признал красоту и упорядоченность Утопии. Он похвалил «румянец здоровья», который он видит «на каждой щеке», похвалил изобилие, безмятежность и удобства утопийской жизни. Они здесь «укротили силы природы и полностью подчинили их себе во имя единственной цели — материального благополучия своего человечества».

— А как же Арден и Гринлейк? — пробормотал мистер Барнстейпл, но мистер Кэтскилл либо не слышал его слов, либо не обратил на них внимания и продолжал:

— В первый момент, мистер спикер, — мистер Серпентин, хотел я сказать, — в первый момент все это производит на земной ум поистине ошеломляющее впечатление. Нужно ли удивляться, — тут он взглянул на мистера Берли и мистера Барнстейпла, — что восхищение совсем вскружило голову некоторым из нас? Нужно ли удивляться, что на какой-то срок

почти колдовская красота вашей планеты настолько зачаровала нас, что мы забыли о многом, заложенном в самой нашей природе,— забыли сокрытую в ней могущественную и таинственную жажду стремления, потребности и были готовы сказать: «Вот, наконец, страна блаженного покоя! Останемся же здесь, приспособимся к этому продуманному и упорядоченному великолепию, проведем здесь всю свою жизнь до самой смерти!» И я, мистер... э... мистер Серпентин, на время поддался этим чарам. Но только на время. Уже сейчас, сэр, меня начинают одолевать всяческие сомнения...

Его блестящий прямолинейный ум вцепился в тот факт, что каждый этап очищения Утопии от вредителей, паразитов и болезней сопровождался возможностью каких-то ограничений и утрат. Впрочем, точнее будет сказать, что этот факт вцепился в его ум. Он не хотел считаться с тем, что каждый шаг этого процесса надежного оздоровления мира и превращения его в безопасное поле человеческой деятельности рассчитывался с крайней осторожностью и предусмотрительностью. Он упрямо исходил из того, что каждое достижение сопровождалось потерями, сильно преувеличил эти потери, а затем умело подвел свою речь к неизбежной метафоре о младенце, которого выплескивают из ванны вместе с водой,— неизбежной, разумеется, для английского парламентского деятеля. Утопийцы, заявил он, ведут жизнь удивительно спокойную, легкую и — «если мне будет разрешено так выразиться — перенасыщенную удовольствиями». («Они же трудятся»,— пробормотал мистер Барнстейпл.) Но вместе с тысячами опасностей и неудобств разве не исчезло из их жизни и нечто иное, великое и драгоценное? Жизнь на Земле, признал он, полна опасностей, боли и тревог, полна даже страданий, горестей и бед, но кроме того — а вернее, благодаря этому,— она включает в себя упоительные моменты полного напряжения сил, надежд, радостных неожиданностей, опасений и свершений, каких не может дать упорядоченная жизнь Утопии. «Вы покончили с противоречиями и нуждой. Но не покончили ли вы тем самым с живыми и трепещущими проявлениями жизни?»

Он разразился панегириком земной жизни. Он превозносил ее созидательную энергию, словно в окру-

жающем его дивном великолепии не были заключены признаки самого высокого созидания. Он говорил о «громе наших перенаселенных городов», о «силе наших скученных миллионеров», о «приливной волне нашей коммерции, промышленности и войн», которые «накатываются и бушуют, сотрясая улы и тихие гавани нашей расы».

Он умел облечь свои мысли в удачные фразы с той искрой фантазии, которая сходит за красноречие. Мистер Барнстейпл уже не замечал легкого прищепывания, не замечал гортанности его голоса. Мистер Кэтскилл смело указал на земные опасности и беды, о которых умолчал мистер Берли. То, что говорил мистер Берли, было правдой. То, что он сказал, далеко не исчерпывало всей правды. Да, мы знаем голод и смертоносные эпидемии. Мы становимся жертвами тысяч болезней, о которых Утопия давно забыла. Мы страдаем от тысяч бедствий которые в Утопии известны только из древних легенд. Крысы грызут, мухи летом не дают покоя, сводят с ума. Порой жизнь бывает зловонной. Я признаю это, сэр, я это признаю. Вам неведомы наши бездны бедствий и печали, тревог, телесных и душевных страданий, горечи, ужаса и отчаяния. О да! Но доступны ли вам наши высоты? Ответьте мне на это! Что можете вы знать в нерушимой своей безопасности о напряжении всех сил, об отчаянном, подстегиваемом ужасом напряжении, которое порождает многие из наших свершений? Что можете вы знать о передышках, светлых промежутках, избавлении? Подумайте, какие глубины нашего счастья вовсе вам не доступны! Что вы знаете здесь о сладостных днях выздоровления после тяжелой болезни? О радости, которую дарит возможность уехать и отдохнуть от окружающего тебя убожества? О торжестве после благополучного завершения какого-нибудь рискованного предприятия, когда на карту была поставлена твоя жизнь или все состояние? О выигрыше безнадежного пари? Об освобождении из тюрьмы? И ведь известно, сэр, что в нашем мире есть люди, находящие упоение в самом страдании. Да, именно потому, сэр, что наша жизнь несравненно ужаснее вашей, в ней есть и должны быть такие светлые мгновения, каких вы не можете знать. Там, где у нас титаническая борьба, у вас — всего лишь упорядоченная рутинa. И мы воспитаны этой борьбой, закалены

в ней. Наша сталь несравненно тверже и острее вашей. Вот об этом-то я и хотел сказать. Предложите нам отказаться от нашего земного хаоса, от наших горестей и бед, от нашей высокой смертности и наших мучительных болезней, и на первое такое предложение каждый человек нашего мира ответит: «Да! От всего сердца — да!» Но на первое такое предложение, сэр.

На мгновение мистер Кэтскилл умолк, указуя перстом на своих слушателей.

— Но затем мы задумаемся. Мы спросим, как, по вашим словам, спрашивали ваши естествоиспытатели про ваших мух и подобную им докучливую мелочь, — мы спросим: «Что должно исчезнуть вместе со всем этим? Какова цена?» И когда мы узнаем, что за это придется заплатить отказом от той напряженности жизни, той бурной энергии, той рожденной в горниле опыта и бед закаленности, того крысиного, волчьего упорства, которым одаряет нас наша вечная борьба, когда мы узнаем это, наша решимость поколеблется. Да, она поколеблется. И в конце концов, сэр, я верю, я надеюсь и верю, молюсь и верю, что мы ответим: «Нет!» Мы ответим: «Нет!»

К этому времени мистер Кэтскилл впал в настоящий экстаз. Он все чаще выбрасывал вперед сжатый кулак. Его голос становился то звонким, то тихим, то начинал греметь. Он раскачивался, поглядывал на своих собратьев-землян, ожидая их одобрения, посылал мимолетные улыбки мистеру Берли.

Он сам уже совершенно уверовал, будто наш жалкий, раздираемый сварами, бесхребетный, подчиненный случайностям мир на самом деле представляет собой стройную систему яростной и могучей борьбы, рядом с которой меркнет вечерняя благодать завершенной и иссякшей Утопии.

— Никогда еще, сэр, я так ясно и отчетливо не понимал высокие, грозные, исполненные благородного риска судьбы нашей земной расы. Я смотрю на вашу страну безмятежного золотого покоя, на эту страну доведенную до божественного совершенства, из которой изгнано самое понятие противоречий и столкновений...

Мистер Барнстейпл заметил легкую улыбку на губах женщины, похожей на Дельфийскую Сивиллу.

— ...и я признаю и хвалю ее порядок и красоту — так запыленный паломник, неутомимо стремящийся

к высокой и таинственной цели, может замедлить шаг, чтобы полюбоваться порядком и красотой ухоженного сада какого-нибудь богатого сибарита. И, как этот паломник, сэр, я беру на себя смелость усомниться в мудрости вашего образа жизни. Ибо я считаю, сэр, доказанным, что жизнь и вся ее энергия и красота порождены борьбой, конкуренцией, противоречиями и столкновениями; нас формирует и закаляет нужда, как когда-то она формировала и закаляла и вас, сэр. И все же вы здесь убаюкиваете себя уверенностью, что навсегда уничтожили самую возможность противоречий и столкновений. Ваша экономическая система, насколько я могу судить, является какой-то разновидностью социализма; вы уничтожили конкуренцию во всех отраслях мирного труда. Ваша политическая система представляет собой всемирное единство, и из вашего мира полностью исчезла подстегивающая и облагораживающая угроза войны, исчез ее устрашающий и очищающий пожар. Все продумано, все обеспечено. Воцарилось полное благополучие. Полное благополучие, сэр, если не считать одного... Мне неприятно тревожить вас, сэр, но я должен назвать вслух то, о чем вы забыли, — *дегенерация!* Что здесь может воспрепятствовать дегенерации? Чем вы препятствуете дегенерации? Как теперь наказуется лень? Как вознаграждается исключительная энергия и деятельность? Что может поддерживать в людях трудолюбие и что может поддерживать в них бдительность, когда наглядность личных опасностей, личных потерь исчезла и остается только отвлеченная мысль о возможном вреде для всего общества? В течение некоторого времени вы сможете продержаться на своеобразной инерции. Сможете поддерживать видимость успеха. Я признаю, на первый взгляд может показаться, что вы действительно добились прочного успеха. Осеннее золото! Великолепие заката! *А рядом с вами во вселенных, параллельных вашей, параллельные расы все еще трудятся, все еще страдают, все еще конкурируют и через гибель слабых накапливают силу и энергию!*

Мистер Кэтскилл торжествующе взмахнул рукой перед лицами утопийцев.

— Мне не хотелось бы, сэр, чтобы у вас создалось впечатление, будто эта критика вашего мира продиктована враждебностью к нему. О нет, она порождена

самыми дружескими чувствами и желанием помочь. Я череп на вашем пиру, но дружески настроенный и смущенный череп. Я задаю тревожные и неприятные вопросы потому, что это мой долг. Действительно ли вами выбран правильный путь? У вас есть красота, и свет, и досуг. Согласен. Но раз существует это множество вселенных, о которых вы, мистер Серпентин, рассказали нам так понятно и исчерпывающе, и раз одна из них может внезапно открыться в другую, как наша открылась в вашу, то, спрошу я вас со всей серьезностью, действительно ли ничто не угрожает вашей красоте, вашему свету и вашему досугу? Вот мы разговариваем здесь, а от бесчисленных миров нас отделяет лишь тонкая преграда — мы даже не знаем, насколько тонкая. И при этой мысли, сэр, мне, стоящему здесь, среди безграничного золотого покоя вашей планеты, мне кажется, что я уже слышу топот голодных мириад, столь же яростных и столь же упорных, как крысы и волки, слышу рычание рас, закаленных в боли и жестокости, — слышу угрозу беспощадного героизма и безжалостной агрессии...

Он внезапно оборвал свою речь. Он чуть-чуть улыбнулся, мистеру Барнстейплу показалось, что он уже торжествует победу над Утопией. Он стоял, уперев руки в бока, и, словно согнув руками свой торс, вдруг угловато поклонился.

— Сэр, — сказал он с еле заметным прищептыванием, устремив глаза на мистера Берли. — Я сказал все, что имел сказать.

Он повернулся и несколько мгновений смотрел на мистера Барнстейпла, сморщив лицо так, что казалось, будто он вот-вот подмигнет. Затем дернул головой, словно забивая затылком гвоздь, и вернулся на свое место.

5

Эрфред продолжал сидеть, опираясь локтем на колено и положив подбородок на ладонь. Он не столько отвечал мистеру Кэтскиллу, сколько рассуждал сам с собой.

— Энергия грызущей крысы, жадная настойчивость волка, механическое упорство ос, мух и болезнетворных микробов исчезли из нашего мира. Это верно. Мы уничтожили многие силы, пожиравшие

жизнь. И при этом не потеряли ничего, о чем стоило бы жалеть. Боль, грязь, унижение как для нас самих, так и для любого другого существа уже исчезли без следа или же скоро исчезнут. Но неверно, что из нашего мира исчезло соревнование. Почему он утверждает это? Все наши мужчины и женщины работают в полную силу — ради общего блага и личной славы. Никому не дано освободить себя от труда и обязанностей, как освобождались от них люди в век хаоса, когда бесчестные и жадные жили и размножались в роскоши, пользуясь нерасчетливостью более благородных натур. Почему он утверждает, что мы дегенерируем? Ему ведь уже все объяснили. Для ленивых и малоспособных у нас нет питательной почвы. И почему он грозит нам воображаемыми вторжениями из других, более жестоких, более варварских миров? Ведь это мы по желанию можем открыть дверь в другую вселенную или опять ее захлопнуть. Ибо мы обладаем знанием. Мы можем пойти к ним — и когда мы будем знать достаточно, то так и поступим, — но они не могут прийти к нам. Только знание устраняет перегородки, разделяющие жизнь... Чем болен разум этого человека? Его собратья-земляне стоят еще только у самых начатков знания. С практической точки зрения они еще находятся на том этапе страха и религиозных запретов, который пережила и Утопия, прежде чем наступил век уверенности в себе и понимания. Именно этот этап и преодолевал наш мир в Последнем Веке Хаоса. Сознание этих землян изуродовано страхами и запретами, и, хотя они уже смутно чувствуют, что могут управлять своей вселенной, такая мысль слишком ужасна, чтобы они решились в нее поверить. Они чураются ее. Они по-прежнему хотят верить, как верили их отцы, что кто-то управляет их вселенной, и управляет лучше, чем способны это делать они сами. Ведь в таком случае они получают свободу любыми средствами добиваться своих мелких, своекорыстных целей. Предоставьте мир на усмотрение бога, вопят они, или на усмотрение конкуренции.

— Мы предпочитаем для этого словечко «эволюция», — заметил мистер Барнстейпл, глубоко заинтересованный его речью.

— Это одно и то же: бог ли, эволюция ли, — какое это имеет значение, если в любом случае вы подразумеваете силу, более могущественную, чем вы сами,

оправдывая тем самым свое нежелание исполнять лежащий на вас долг. Утопия говорит: «Не предоставляйте мир самому себе. Подчиняйте его». Но эти земляне все еще не умеют видеть действительность такой, какова она есть. Вон тот человек в белом полотняном ошейнике боится даже смотреть на мужчин и женщин в их естественном виде. Его охватывает гнусное возбуждение при взгляде на самое обыкновенное человеческое тело. Вот тот человек с оптической линзой в левом глазу изо всех сил внушает себе, что за внешним миром таится мудрая Мать Природа, сохраняющая его в равновесии. Что может быть нелепее его Равновесия Природы? Неужели, имея глаза и оптическую линзу, он совсем слеп? А тот, кто говорил последним, и говорил с таким жаром, считает, что эта же самая Старуха Природа становится неисчерпаемым источником воли и энергии, стоит нам только подчиниться ее капризам и жестокостям, стоит нам начать подражать самым диким ее выходкам и угнетать, убивать, обворовывать и насиловать друг друга... Кроме того, он проповедует древний фатализм считая его научной истиной... Эти земляне боятся увидеть, какова на самом деле наша Мать Природа. В глубине их душ еще живет желание отдаться на ее милость. Они не понимают, что она слепа и лишена воли если отнять у нее наши глаза и нашу целеустремленность. Она не исполнена грозного величия, она отвратительна. Она не признает наших понятий о совершенстве — да и вообще никаких наших понятий. Она сотворила нас случайно. Все ее дети — незаконнорожденные, которых она не хотела и не ждала. Она лелеет их или бросает без ухода, ласкает, морит голодом или мучает без всякого смысла или причины. Она ничего не замечает. Ей все равно. Она может вознести нас на вершины разума и силы или унижить до жалкой слабости кролика или белой слизистой мерзости десятков тысяч изобретенных ею паразитов. В ней, безусловно, есть что-то хорошее, поскольку всем, что есть хорошего в нас, мы обязаны ей, но она исполнена и безграничного зла. Неужели вы, земляне, не видите ее грязи, жестокости и бессмысленной гнусности многих ее творений?

— Ого! Это, пожалуй, похуже, чем «Природа с окровавленными когтями и клыками»! — пробормотал мистер Фредди Маш.

— Все это очевидно, — размышлял Эрфред. — Если бы только они не боялись взглянуть в лицо правде! Когда мы впервые взяли за эту старую ведьму, нашу Матерь, на нашей планете многие живые организмы, даже более половины всех живых видов, тоже были безобразны или вредоносны, бессмысленны, несчастны, замучены всяческими сложными болезнями и до жалости не приспособлены к постоянно меняющимся условиям Природы. После долгих столетий борьбы мы сумели подавить ее наиболее отвратительные фантазии, умыли ее, причесали и научили уважать и почитать последнее дитя ее распутства — Человека. С Человеком в мир вошел Логос — Слово и Воля, чтобы наблюдать вселенную, страшиться ее, познавать и утрачивать страх, чтобы постичь ее, осмыслить и покорить. И вот теперь мы люди Утопии, уже перестали быть забитыми, голодными детьми Природы — мы теперь ее свободные и взрослые сыновья. Мы взяли на себя управление именем нашей родительницы. Каждый день мы добиваемся все новой власти над нашей маленькой планетой. Каждый день наши мысли со все большей уверенностью устремляются к нашему наследию — к звездам. И к безднам за звездами и под ними.

— Вы уже достигли звезд? — воскликнул мистер Барнстейпл.

— Пока еще нет. Мы не побывали даже на соседних планетах. Но уже близко время, когда эти колоссальные расстояния станут доступными для нас... — Он помолчал. — Многим из нас придется отправиться в глубины пространства... Чтобы никогда не вернуться... Отдать жизнь... И в эти непознанные пространства бесчисленные мужественные люди...

Эрфред повернулся к мистеру Кэтскиллу и обратился прямо к нему:

— Ваши откровенно изложенные мысли показали нам наиболее интересными из всего, что мы слышали сегодня. Они помогут нам яснее понять прошлое нашего собственного мира. Они помогут нам разрешить важнейшую проблему, о которой мы сейчас вам расскажем. В нашей древней литературе двух-трехтысячелетней давности содержатся мысли и идеи, подобные вашим, — та же самая проповедь своекорыстного насилия как некоей добродетели. Однако даже тогда умные люди понимали всю ее ошибочность, как

могли бы понять и вы, если бы не цеплялись упрямо за неверные взгляды. Но ваша манера держаться и говорить ясно показывает, что, произвольно признав что-либо истиной, вы будете настаивать на ней вопреки очевидности. Вы должны признать, что ваша внешность не слишком красива, и, возможно, ваши удовольствия и самая манера жить также не очень красивы. Но вы наделены бурной энергией, и естественно, что вы любите волнения, связанные с риском, что лучшим даром жизни вы считаете ощущение борьбы и победы над противником. Кроме того, экономический хаос мира, подобного вашему, означает необходимость бесконечного и тяжелого труда — причем труда настолько неприятного, что всякий не совсем бесхарактерный человек старается, насколько возможно, избавиться от него и требует для себя исключения, ссылаясь на благородство происхождения, заслуги или богатство. Люди вашего мира, несомненно, легко внушают себе, что они имеют полное право на подобную привилегию, — это внушили себе и вы. Вы живете в классовом мире. Вашему плохо тренированному уму не пришлось самому отыскивать оправдания вашему привилегированному положению: класс, в котором вы родились, давно приготовил их для вас. И поэтому вы без малейших угрызений совести забираете себе все самое лучшее и пускаетесь во всевозможные рискованные авантюры, в основном за счет чужих жизней, причем ваше сознание, сформированное окружающей его средой, упорно отказывается допустить даже мысль о возможности обеспеченного и упорядоченного и в то же время деятельного и счастливого человеческого общества. Вы всю свою жизнь боролись против такой идеи, словно видели в ней своего личного врага. Она и была вашим личным врагом: она безоговорочно осуждает ваш образ жизни, она лишает ваши авантюры какого-либо оправдания. И теперь, своими глазами увидев прекрасную жизнь, сотворенную сознательно и последовательно, вы по-прежнему сопротивляетесь; вы сопротивляетесь, чтобы не впасть в отчаяние; вы пытаетесь доказать, что наш мир неромантичен, лишен деятельной энергии, упадочен, слаб. Ну... что касается вопроса о физической силе, пожмите руку юноши, который сидит рядом с вами.

Мистер Кэтскилл взглянул на протянутую ему ру-

ку и покачал головой с видом человека, которого не проведешь.

— Нет, лучше я послушаю вас, — сказал он.

— И все же, когда я говорю вам, что и наша воля и наши тела гораздо сильнее ваших, ваше сознание упрямо сопротивляется этому. Вы не хотите этому верить. Если на мгновение ваше сознание и признает это, оно тут же прячется за систему взглядов, предназначенную для защиты вашего самоуважения. Только один из вас приемлет наш мир, но и это объясняется тем, что его отталкивает ваш мир, а не тем, что его влечет наш. Я прихожу к заключению, что это неизбежно. Ваше сознание — это сознание Века Хаоса, воспитанное на противоречиях, на неуверенности в завтрашнем дне и на тайном своекорыстии. Так Природа и ваше государство научили вас жить, и так вы будете жить до самой смерти. Такие уроки могут быть забыты только через сто поколений, после трех тысячелетий правильного воспитания. И нас смущает вопрос: что с вами делать? Если вы будете уважать наши законы и обычаи, мы постараемся сделать для вас все, что в наших силах. Но мы понимаем, что это будет нелегко. Вы даже не представляете себе, насколько трудно будет вам преодолеть ваши привычки и предубеждения. Вы, здесь присутствующие, до сих пор вели себя очень разумно и корректно — если не в мыслях, то по крайней мере в поступках. Но сегодня нам пришлось узнать землян и с другой стороны — знакомство это было гораздо более трагичным. Ваше предсказание о вторжении к нам более жестоких и варварских миров уже сегодня нашло гротескное воплощение в реальности. Это правда: в людях Земли есть что-то хищное, крысиное и опасное. Вы не единственные земляне, проникшие в Утопию через дверь, которая на мгновение распахнулась сегодня. И другие тоже...

— Ну конечно же! — воскликнул мистер Барнстейпл. — И как это я раньше не догадался? Третий экипаж!

— В Утопию попала еще одна из этих ваших странных самодвижущихся машин.

— Серый автомобиль! — сказал мистер Барнстейпл мистеру Берли. — Он был впереди вас ярдов на сто, не больше.

— Старался обойти нас от самого Хайнслоу, — заметил шофер мистера Берли. — Машина — зверь!

Мистер Берли повернулся к мистеру Фредди Машу.

— Кажется, вы тогда узнали кого-то из пассажиров этого автомобиля?

— Я уверен, что видел лорда Барралонга, сэр, и, по-моему, мисс Гриту Грей.

— Там были еще двое,— добавил мистер Барнстейпл.

— Они осложнят положение, — заметил мистер Берли.

— Они его уже осложнили, — сказал Эрфред. — Они убили человека.

— Утопийца?

— Эти другие земляне — их пятеро, — чьи имена вы, по-видимому, знаете, попали в Утопию перед вашими двумя экипажами. Вместо того, чтобы остановиться, как сделали вы, оказавшись на незнакомой странной дороге, они, насколько можно судить, значительно увеличили скорость своего передвижения. Они обогнали нескольких прохожих, нелепо размахивая руками и издавая отвратительные звуки с помощью инструмента, специально для этого предназначенного. Затем на дорогу перед ними вышел серебристый гепард — они повернули прямо на него, переехали его и сломали ему позвоночник. И даже не задержались, чтобы поглядеть, что с ним случилось. Юноша, по имени Золото, выбежал на дорогу попросить их остановиться, но их машина сконструирована удивительно нелепо: она крайне сложна и нерациональна. Оказалось, что она не способна остановиться сразу. Она не обладает единым, полностью контролируемым двигателем. Она работает на каком-то сложном внутреннем противоречии, и экипаж движется вперед с помощью громоздкой зубчатой передачи на оси задних колес, на которых, как и на передних, расположены неуклюжие останавливающие устройства, основанные на принципе трения. По-видимому, можно, развив на этой машине предельную скорость, тут же заклинить колеса, чтобы помешать им вращаться. Когда юноша встал перед ними на дороге, они не были в состоянии остановиться. Возможно, они пытались это сделать. Так они, во всяком случае, утверждают. Их машина сделала опасный рывок в сторону и ударила его боком.

— И убила его?

— На месте. Его труп был страшно изуродован... Но даже это их не остановило. Они уменьшили скорость и начали торопливо совещаться, однако, заметив, что к дороге сбегаются люди, они вновь рванулись вперед и скрылись. По-видимому, ими овладела паника, страх перед лишением свободы и наказанием. Мотивы их поступков разгадать очень трудно. Как бы то ни было, они поехали дальше. Несколько часов они ехали все вперед и вперед, не останавливаясь. Один аэроплан был немедленно послан следовать за ними, а другой — расчищать им дорогу. Это было очень трудно, так как ни наши люди, ни наши животные не привыкли к подобным экипажам... и к подобному поведению. К середине дня они оказались в горах, и, по-видимому, наши дороги были слишком скользкими и трудными для их машины. Она испускала странные звуки, словно лязгала зубами, и за ней тянулся синий парок с отвратительным запахом. На одном из поворотов, где ей следовало резко замедлить ход, она заскользила, пошла боком, сорвалась с обрыва и с высоты примерно в два человеческих роста упала в горный поток.

— И они были убиты? — спросил мистер Берли с некоторым облегчением, как показалось мистеру Барнстейплу.

— Все остались в живых.

— А-а! — протянул мистер Берли. — Ну и что же было потом?

— Один из них сломал руку, а другой разбил лицо. Двое остальных мужчин и женщина остались целы, если не считать нервного шока. Когда наши люди подошли к ним, четверо мужчин подняли руки над головой. По-видимому, они опасались, что их убьют тут же на месте, и таким образом просили пощады.

— И как вы с ними поступили?

— Мы намерены доставить их сюда. Нам кажется, будет лучше, если вы, земляне, будете находиться в одном месте. В данный момент мы не представляем, что с вами делать. Мы многое хотим узнать от вас и хотели бы относиться к вам по-дружески, если это окажется возможным. Выдвигалось предложение вернуть вас в ваш мир. В конечном счете это, пожалуй, наилучший выход. Но в настоящее время мы знаем еще слишком мало, чтобы осуществить это без всякого риска. Арден и Гринлейк, предпринимая попытку

повернуть часть нашей материи в измерении F, предполагали, что она пройдет через пустое пространство. То, что вы оказались там и были увлечены в нашу вселенную,— это самое невероятное происшествие, какое только случилось в Утопии за многие тысячелетия.

Глава седьмая

ПРИБЫТИЕ КОМПАНИИ ЛОРДА БАРРАЛОНГА

1

На этом беседа закончилась, но лорд Барралонг и его спутники были доставлены в Сады Советаний, только когда уже давно стемнело. Все это время наши земляне могли ходить, куда им угодно, и делать, что им заблагорассудится, без всяких помех. Мистер Берли в обществе леди Стеллы и психолога, которого звали Лев, направился к озеру, задавая вопросы и отвечая на вопросы утопийца. Шофер мистера Берли с унылым видом бродил неподалеку по дорожкам, не выпуская из виду своего хозяина. Мистер Руперт Кэгскилл удалился с мистером Машем, держа его под руку, словно желая дать ему кое-какие инструкции.

Мистеру Барнстейплу хотелось погулять в одиночестве, чтобы припомнить и хорошенько обдумать все удивительные откровения этого дня, а также чтобы свыкнуться с этим удивительно прекрасным миром — таким прекрасным и таким таинственным теперь, в сумерках, когда его деревья и цветы превращались в смутные и бесформенные переливы более прозрачного и более густого мрака, а четкие и стройные очертания его зданий растворялись в надвигающейся тьме.

Его слишком земные спутники стояли между ним и этим миром — если бы не они, казалось ему, он был бы принят здесь как свой. А пока он в этом мире только непрощеный и неуместный пришелец. И все же он уже любил его, тянулся к нему и страстно желал стать его частью. Ему все время чудилось, что если только он сумеет ускользнуть от своих спутников, если только он каким-то образом сумеет освободиться от своего земного одеяния и от всего того, что было в нем от Земли и связывало его с Землей, то через са-

мый этот акт освобождения он станет для Утопии родным, и тогда его перестанет томить эта щемящая тоска, это гнетущее ощущение неприкаянности. Он внезапно преобразился в подлинного утопийца, и Земля, а не Утопия станет невероятным сном, который постепенно изгладится из его памяти и будет забыт навсегда.

Однако потребность отца Эмертона в слушателе на некоторое время сделала невозможным подобное отрешение от земных мыслей и предметов. Священник ни на шаг не отходил от мистера Барнстейпла, оглушая его непрерывным потоком вопросов и рассуждений, придававших утопийскому саду странное сходство с выставкой в Эрлкорте, которую они вместе осматривают и которая им обоим не нравится. Для него все это было, очевидно, настолько условным и нереальным, что, как казалось мистеру Барнстейплу, он нисколько не удивился бы, если бы через какую-нибудь щель до них вдруг донесся шум Эрлкортской железнодорожной станции и за кустом блеснул готический шпиль церкви Святого Варнавы.

Вначале мысли отца Эмертона были в основном поглощены тем фактом, что на следующий день им обещали «заняться» из-за его выходки во время беседы.

— Как это они могут мной заняться? — спросил он в четвертый раз.

— Прошу прощения? — отозвался мистер Барнстейпл.

На каждый вопрос отца Эмертона мистер Барнстейпл упорно отзывался этой фразой, желая показать священнику, что он мешает ему думать. Но каждый раз, когда мистер Барнстейпл говорил свое «прошу прощения», отец Эмертон только рассеянно советовал: «Вам следовало бы обратиться к специалисту, чтобы проверить слух», — и продолжал свою тираду.

— Как мной могут заняться? — осведомился он у мистера Барнстейпла и окружающей мглы. — Как это мной могут заняться?

— Ну, вероятно, с помощью чего-нибудь вроде психоанализа, — сказал мистер Барнстейпл.

— Чтобы играть в эту игру, нужны двое! — возразил отец Эмертон, но в его тоне мистеру Барнстейплу послышалось облегчение. — О чем бы они меня ни спрашивали, что бы они мне ни внушали, я не отступлю, я буду свидетельствовать...

— Не сомневаюсь, что им будет нелегко подавить ваше красноречие, — с горечью заметил мистер Барнстейпл.

Некоторое время они в молчании прогуливались среди высоких душистых кустов, усыпанных белыми цветами. Мистер Барнстейпл то убыстрял шаги, то замедлял их в надежде незаметно удалиться от отца Эмертона, но тот машинально следовал его примеру.

— Свальный грех, — вскоре вновь заговорил он. — Какое другое слово могли бы вы употребить?

— *Прошу прощения?* — почти огрызнулся мистер Барнстейпл.

— Какое другое слово мог бы я употребить вместо «свальный»? Чего еще можно ожидать от людей, разгуливающих в столь поразительно скудных костюмах, кроме нравов обезьянника? Они не отрицают, что у них практически не существует института брака.

— Это же другой мир, — с раздражением ответил мистер Барнстейпл. — Совсем другой мир.

— Законы нравственности обязательны для любого возможного мира.

— Даже для мира, где люди размножались бы почкованием и где не существовало бы полов?

— Требования нравственности были бы там проще, но суть их осталась бы прежней...

Вскоре мистер Барнстейпл вновь привычно попросил прощения.

— Я сказал, что это погибший мир.

— Он не похож на погибший, — возразил мистер Барнстейпл.

— Он отверг и забыл принесенное ему Спасение.

Мистер Барнстейпл сунул руки в карманы и начал тихонько насвистывать баркаролу из «Сказок Гофмана». Неужели отец Эмертон так и не оставит его в покое? Неужели нет способа избавиться от отца Эмертона? На выставках в Эрлкорте имелись проволочные корзины для бумажек, окурков и другого ненужного мусора. Вот если бы можно было запихнуть отца Эмертона в такое полезное приспособление!

— Им было даровано Спасение, а они его отвергли и почти забыли. Вот потому-то мы и были ниспосланы к ним. Мы были посланы к ним, чтобы напомнить им о Единственной Истинно Важной Вещи, о Единственной Забытой Вещи. Вновь надлежит нам воздвигнуть целительный символ, как Моисей воз-

двиг его в пустыне. И долг, возложенный на нас, не-легок. Мы были посланы в этот ад чувственного материализма...

— О господи! — простонал мистер Барнстейпл и вновь принялся насвистывать баркаролу...— Прошу прощения! — вскоре воскликнул он вновь.

— Где Полярная звезда? Что случилось с Большой Медведицей?

Мистер Барнстейпл взглянул на небо.

Он как-то не задумывался о здешних звездах и, подминая голову, был готов увидеть в этой новой вселенной самые непривычные созвездия. Однако как сама планета, как жизнь на ней, так и они оказались сходными с земными, и мистер Барнстейпл увидел над собой давно знакомые звездные узоры. Но точно так же, как утопийский мир все же не был абсолютно параллелен земному, так и эти созвездия были словно немного искажены. Орион, решил мистер Барнстейпл, расползлся вширь, и с одного его края виднелась огромная незнакомая туманность, а Большая Медведица действительно расплющилась и вместо Полярной звезды указывала на темный провал в небесах.

— Их Полярная звезда исчезла! Большая Медведица перекосилась! В этом заложен глубочайший символический смысл, — сказал отец Эмертон.

Да, в этом, несомненно, можно было усмотреть глубочайшую символику: мистер Барнстейпл понял, что отец Эмертон вот-вот разразится новым ураганом красноречия. Он почувствовал, что пойдет на все, лишь бы избавиться от этой чумы.

2

На Земле мистер Барнстейпл всегда был безропотной жертвой всевозможных докучных собеседников, так как деликатность заставляла его всячески считаться с умственной ограниченностью, лежавшей в основе их бесцеремонной навязчивости. Но вольный воздух Утопии уже ударил ему в голову и освободил стремления, которые его укоренившаяся привычка в первую очередь считаться с другими до сих пор держала в железной узде. Он был по горло сыт отцом Эмертоном; отца Эмертона нужно было отпугнуть, и

он приступил к этой операции с прямолинейностью, которая удивила его самого.

— Отец Эмертон, — сказал он, — я должен сделать вам одно признание.

— О! — воскликнул отец Эмертон. — Пожалуйста... я к вашим услугам.

— Вы прогуливались со мной и кричали у меня над ухом столько времени, что я испытываю сильнейшее желание убить вас.

— Если мои слова попали в цель...

— Они не попали в цель. Они сливались в утомительный, бессмысленный, оглушительный шум. Я невыразимо от него устал. Он мешает мне сосредоточить внимание на окружающих нас чудесах. Мне не надо объяснять, какой символический смысл вы вкладываете в то, что здесь нет Полярной звезды. Вам незачем продолжать: этот символ напрашивается сам собой, но это натянутый и абсолютно неверный символ. Однако вы принадлежите к числу тех упрямых душ, которые вопреки очевидности верят в то, что вечные горы действительно вечны, а неизменные звезды останутся неизменными во веки веков. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько мне чужда и противна вся эта ваша ерунда. Право, в вас воплотилось все неверное, безобразное и невозможное, что только существует в католической религии. Я согласен с утопийцами: в вашем восприятии пола есть что-то болезненное — вероятно, какое-то неприятное впечатление вашего детства оставило уродливый след в вашем сознании — и все ваши непрерывные утверждения и намеки на якобы царящий здесь разврат возмутительны и гнусны. И точно такое же отвращение, злость и досаду вызываете вы у меня, когда начинаете рассуждать о религии как таковой. В ваших устах она превращается в мерзость, как превращается в мерзость плотская любовь. Вы грязный ханжа. То, что вы зовете христианством, — не более, как темное и уродливое суеверие, всего лишь предлог для мракобесия и гонений. Это надругательство над Христом. И если вы христианин, то я со всей страстью заявляю, что я не христианин. Но христианство имеет и другие толкования, кроме того, которое навязываете ему вы, и в определенном смысле эта Утопия — лучшее воплощение его заветов. И абсолютно недоступное вашему пониманию. Мы попали в этот великолепный

мир, который по сравнению с нашим — то же, что хрустальная ваза по сравнению с ржавой жестянкой, и у вас хватает наглого бесстыдства утверждать, будто мы посланы сюда в качестве миссионеров, чтобы учить их бог знает чему!

— Да, бог знает, чему, — ответил несколько растерявшийся отец Эмертон, с честью выходя из положения.

— А...э... — и, поперхнувшись, мистер Барнстейпл на несколько секунд онемел.

— Прислушайтесь к моим словам, друг мой! — возопил отец Эмертон, вцепляясь в его рукав.

— Ни за что на свете! — воскликнул мистер Барнстейпл, отшатываясь. — Поглядите! Вон там, на берегу озера, видны темные фигуры. Это мистер Берли, мистер Маш и леди Стелла. Они привезли вас сюда. Они для вас свои, и вы для них свои. Если бы ваше общество было для них нежелательно, вы не ехали бы в их автомобиле. Идите к ним. Я требую, чтобы вы оставили меня в покое. Я отвергаю вас и не желаю иметь с вами ничего общего. Вот ваша дорога. А эта — в сторону беседки — моя. Не смейте идти за мной, или я прибегну к физическому воздействию, и утопийцам придется нас разнимать... Простите мою откровенность, мистер Эмертон. Но уйдите от меня! Уйдите!

Мистер Барнстейпл повернулся и, заметив, что отец Эмертон поглядывает на разветвление дорожек весьма нерешительно, опромстыю кинулся бежать.

Он пробежал по аллее, окаймленной высокой живой изгородью, свернул вправо, а потом влево, миновал изогнутый мостик над водопадом, обдавшем брызгами его лицо, нарушил уединение двух пар влюбленных, нежно шептавшихся во мраке, помчался зигзагами по цветочному газону и наконец устало опустился на ступени лестницы, поднимавшейся к террасе, откуда открывался вид на озеро и горы, а вдоль балюстрады тянулся ряд каменных статуй, изображавших, насколько можно было судить в смутном свете, сидящих животных и людей, которые настороженно чего-то ждут.

— О милосердные звезды! — воскликнул мистер Барнстейпл. — Наконец-то я один!

Он долго сидел на ступенях, устремив взгляд на

озеро и упиваясь сознанием, что хотя бы на краткий промежуток времени он и Утопия оказались лицом к лицу и между ними не стоит ничто земное.

3

Он не мог назвать этот мир миром своих грез, ибо никогда не осмеливался даже грезить о мире, который с такой точностью соответствовал бы самым заветным его желаниям и мечтам. Но тем не менее образ именно этого мира — или во всяком случае, его точного подобия — стоял за мыслями и мечтами тысяч разумных, охваченных тревогой людей в мире хаоса и противоречий, из которого он попал сюда. Нет, Утопия не была местом застывшего покоя, безмятежного пресыщения, золотого декаданса, как пытался изобразить ее мистер Кэтскилл; мистер Барнстейпл видел, что этот мир был миром воинствующей энергии, побеждающей и стремящейся к победам, подчиняющей себе упрямые силы природы и самую материю, покоряющей безжизненные пустыни межзвездных пространств, торжествующей над всеми враждебными тайнами бытия.

В далеком прошлом Утопии, заслоняемые внешне блестящей, но пустопорожней возней политиканов вроде Берли или Кэтскилла и бешеной конкуренцией торгашей и эксплуататоров, во всех отношениях столь же гнусных и пошлых в своих устремлениях, как и их земные собратья, в этой Утопии без устали трудились незаметные и терпеливые мыслители и наставники, закладывая основы этой теперешней напряженной и благотворной деятельности. И как мало этих пионеров было вознаграждено хотя бы минутным провидением неизреченной прелести справедливого мира, который без них не возник бы!

Но даже и в дни Хаоса, во мраке ненависти, смятения и бед должно было существовать достаточно свидетельств прекрасных и благородных возможностей, которые таила в себе жизнь. Над самыми отвратительными трущобами сиял солнечный закат, взывая к людскому воображению, и снежные вершины, просторы долин, горные утесы и ущелья, вечно меняющееся грозное величие морей хоть на миг открывали людям великолепие вполне достижимого бытия. Каждый цветочный лепесток, каждый пронизанный солн-

цем лист, жизнерадостность юности, мгновения счастья, претворенные человеческим духом в произведения искусства, — все это должно было стать пищей для надежды, призывом к подвигу. И вот, наконец, этот мир!

Мистер Барнстейпл молитвенно простер руки к мириадам ласковых звезд над его головой.

— Мне было дано увидеть! — прошептал он. — Мне было дано увидеть...

То тут, то там в садах, спускающихся к озеру, в легких зданиях загорались огоньки, вспыхивали пятнышки золотистого света. Над головой, тихо жужжа, кружил аэроплан — еще одна звездочка.

Мимо него по ступеням сбежала тоненькая девушка, но, заметив его, остановилась.

— Вы ведь один из землян? — уловил он вопрос: неяркий луч, вырвавшийся из ее браслета, скользнул по его лицу.

— Я попал сюда сегодня, — ответил мистер Барнстейпл, щурясь и стараясь рассмотреть ее в темноте.

— Вы тот, который был один в жестяной машине с резиновыми воздушными мешками на колесах, очень ржавой снизу и выкрашенной в желтый цвет. Я ее видела.

— Это вовсе не такой уж плохой автомобильчик, — сказал мистер Барнстейпл.

— Сначала мы подумали, что жрец тоже ехал с вами.

— Он мне не друг.

— Давным-давно в Утопии тоже были такие жрецы. Они приносили людям много бед.

— Он был с остальными, — объяснил мистер Барнстейпл. — Они ехали отдыхать, и я сказал бы, что, пригласив его... они сделали ошибку.

Она уселась на ступеньку выше него.

— Как это странно, что вы вдруг попали из вашего мира сюда, к нам. А вам наш мир кажется удивительным? Наверное, очень многое из того, что для меня привычно и обыденно, потому что я знаю это с рождения, вам должно представляться удивительным.

— Вам ведь еще не так много лет?

— Одиннадцать. Я сейчас изучаю историю Века Хаоса, а в вашем мире, говорят, еще продолжается Век Хаоса. Вы словно явились к нам из прошлого, из истории. Я была в Месте Совещаний, и я наблюдала

за вашим лицом. Вам очень нравится наш сегодняш-
ний мир, во всяком случае, гораздо больше, чем дру-
гим вашим соплеменникам.

— Я хотел бы прожить здесь всю свою остальную
жизнь.

— Но возможно ли это?

— Почему же нет? Оставить меня тут будет легче,
чем отослать обратно. Я не был бы особенно большой
обузой. Я ведь прожил бы здесь только двадцать, ну,
самое большее, тридцать лет и постарался бы нау-
читься всему, чему мог, и делал бы все, что мне гово-
рили бы.

— Но разве в вашем собственном мире вас не ждет
никакая работа?

Мистер Барнстейпл ничего не ответил. Он словно
не расслышал. Через одну-две минуты девочка снова
заговорила:

— Говорят, что пока мы, утопийцы, юны, пока на-
ше сознание и характер еще полностью не сформи-
ровались и не созрели, мы очень похожи на людей Века
Хаоса. Мы в этот период бываем более эгоистичны —
так нам объясняли; жизнь, окружающая нас, еще по-
лна для нас стольких тайн, что нам бывает присуща
тяга к приключениям, к романтике. Наверное, я пока
еще эгоистична... и меня тянет к приключениям. И
мне по-прежнему кажется, что в этом прошлом, не-
смотря на множество ужасов и жестокостей, все же
было немало такого, от чего дух захватывало, самого
замечательного... В нашем прошлом, которое так по-
хоже на ваше настоящее... Что должен был чувство-
вать полководец, вступая в покоренный город? Или
король на своей коронации? Или богач, изумлявший
людей своей властью, своими благодеяниями? Или
мученик, когда он шел на казнь во имя благородней-
шего дела, которое его слепым соплеменникам пред-
ставлялось злом?

— В романах или исторических книгах такие вещи
выглядят гораздо более заманчивыми, чем в жизни, —
подумав, ответил мистер Барнстейпл. — Вы слушали
мистера Руперта Кэтскилла, последнего из выступав-
ших землян?

— Мысли его были романтичными, но вид у него
совсем не романтичный.

— О, он прожил чрезвычайно романтичную жизнь.
Он не раз доблестно сражался на войне. Его взяли в

плен, а он бежал вопреки всем трудностям. Его буйное воображение принесло смерть тысячам людей. Скоро нам предстоит увидеть еще одну романтическую фигуру — лорда Барралонга, которого должны привезти сюда. Он сказочно богат — и он старается поражать людей своим богатством... совсем, как в ваших местах.

— Но это ему не удастся?

— Трезвая действительность не похожа на романтические мечты, — ответил мистер Барнстейпл. — Он принадлежит к кучке богачей, бессмысленно прожигающих жизнь и разлагающих своим примером других. Они скучная обуза для самих себя и вредная помеха для всего остального мира. Они живут напоказ, и выдумки их всегда пошлы и вульгарны. Этот человек, Барралонг, в молодости был помощником фотографа и актером-любителем, но тут в нашем мире появилось изобретение, которое называли кинематографом. Отчасти по воле случая, отчасти потому, что он бессовестно присваивал себе чужие изобретения, ему удалось стать одним из воротил в этом новом деле. Потом он занялся спекуляциями и прибрал к рукам торговлю замороженным мясом, которое мы в нашем мире должны привозить из далеких стран. Он заставил одних людей платить за пищу дороже, а других — у которых было мало денег — лишил ее вовсе и таким путем разбогател. Ведь в нашем мире богатства людям приносит не служение обществу, а цепкость и жадность. Разбогатев таким нечестным путем, он оказал кое-какие своевременные услуги некоторым нашим государственным деятелям, и они дали ему благородный титул лорда. Вам понятно то, что я говорю? Насколько ваш Век Хаоса был похож на нашу эпоху? Вы ведь не знали, что он был настолько безобразен. Простите, что я разрушаю ваши иллюзии относительно Века Хаоса и его романтического духа. Но ведь я только что покинул его пыль, шум и сумятицу, его ограниченность, жестокость и горе, его уныние, в котором гибнут надежды... Быть может, если мой мир влечет вас, вам когда-нибудь доведется, покинув все это, отправиться на поиски приключений среди его хаоса... это, бесспорно, будет замечательным приключением!.. Кто знает, как сложатся отношения между нашими мирами?.. Но он вам, боюсь, не понравится. Вы даже представить себе не можете всю его грязь.

Грязь и болезни — они, как шлейф, тянутся за всякой романтикой...

Наступила тишина. Мистер Барнстейпл погрузился в размышления, а девочка смотрела на него и удивлялась.

Наконец он снова повернулся к ней.

— Сказать вам, о чем я думал, когда вы заговорили со мной?

— Скажите.

— Ваш мир — это воплощение того, о чем со времен древности грезили миллионы. Он удивителен. Он чудо, огромное, как небо. Но мне горько, что здесь со мной нет двух моих лучших друзей и они не могут увидеть того, что вижу я. Странно, что я все время думаю о них! Один уже ушел за пределы всех вселенных, но другой еще живет на нашей Земле. Вы учитесь, дорогая моя; у вас, мне кажется, учатся все. Но у нас такие люди, студенты, составляют особый мирок. Нам троим было хорошо вместе, потому что мы были студентами и еще не попали в тиски бессмысленного, изнуряющего труда, и нас нисколько не тревожило, что мы были отчаянно бедны и часто все трое голодали. Мы разговаривали, мы спорили между собой и в нашем студенческом дискуссионном клубе, обсуждая пороки нашего мира и средства покончить с ними. Существовала ли в вашем Веке Хаоса такая увлеченная, полная надежд нищенская студенческая жизнь?

— Продолжайте, — сказала девочка, не отводя взгляда от его профиля, казавшегося в темноте смутным пятном. — В старинных романах я читала именно о таком мире голодных студентов-мечтателей.

— Мы все трое были согласны в том, что больше всего наш мир нуждается в просвещении. Мы были согласны, что это — самое благородное дело, какое мы только можем избрать. И мы все трое, каждый по-своему, старались служить ему, и от меня было меньше всего пользы. Пути моих друзей и мой несколько разошлись. Они издавали замечательный ежемесячный журнал, который помогал объединению мира науки, а кроме того, этот мой друг редактировал для весьма осмотнительной и прижимистой издательской фирмы школьные учебники, возглавлял учительскую газету и обследовал школы для нашего университета. Он не думал ни о жалованье, ни о доходах и так и ос-

тался бедняком, хотя фирма неплохо наживалась на его работе; вся его жизнь была служением делу просвещения, за всю свою жизнь он не выбрал времени, чтобы отдохнуть хотя бы месяц. Пока он был жив, я не слишком высоко ценил его деятельность, но после его смерти мне не раз доводилось слышать от учителей, чьи школы он обследовал, и от авторов, чьи книги он редактировал о том, как талантливо он работал, каким он всегда был терпеливым и доброжелательным. Вот на жизнях таких людей, как он, и возникла эта Утопия, где сейчас свободно расцветает ваша юная жизнь, моя дорогая; на таких жизнях и наш земной мир еще построит свою Утопию. Но жизнь моего друга оборвалась внезапно и настолько трагично, что мне и сейчас нестерпимо больно думать об этом. Последнее время он работал слишком напряженно, а обстоятельства не позволяли ему взять отпуск. Его нервная система с жестокой внезапностью сдала, он утратил ясность духа, им овладела острая меланхолия, и он... умер. Да, это правда: старуха Природа не знает ни справедливости, ни жалости. Это произошло несколько недель назад. Другой мой старый друг, я и его жена, которая всегда была его неутомимой помощницей, вместе провожали его в последний путь. И вот сейчас я вспоминаю все это с необычайной живостью. Я не знаю, как вы здесь поступаете со своими мертвецами, но на Земле их чаще всего погребают в земле.

— Нас сжигают, — сказала девочка.

— Наиболее свободомыслящие в нашем мире тоже предпочитают сожжение. К ним принадлежал и наш друг. После того, как закончился погребальный ритуал нашей древней религии, в которую мы больше не веруем, и его гроб, совсем скрытый под венками, медленно двинулся и исчез за воротами печи крематория, унося с собой такую огромную часть моей юности, я увидел, что второй мой друг рыдает, и сам еле удержался от слез при мысли, что такая мужественная, отданная служению идее, исполненная трудов жизнь закончилась как будто столь бесславно и ненужно. Священник читал длинные поучения богословского писателя по имени Павел, полные путанных доказательств по аналогии и неубедительных утверждений. А я жалел, что мы вынуждены слушать мысли этого хитроумного писателя древности,

вместо того чтобы услышать речь о глубоком благородстве нашего друга, о его замечательной и неутомимой работе, о его презрении ко всякой корысти. Всю свою жизнь он героически трудился во имя мира, подобного вашему, и все же не думаю, что он когда-либо подозревал о той более светлой, более благородной человеческой жизни, которую его жизнь, исполненная труда, и жизни других людей, таких же как он, сделали возможной в грядущем. Он жил верой. Он слишком напряженно жил верой. В его жизни было слишком мало солнечного света. Если бы я мог позвать его сюда — его и второго нашего друга, который так горько его оплакивал, — если бы я мог позвать их обоих сюда, мог бы обменяться с ними местом, чтобы и они увидели, как вижу я, истинное величие их жизни, отраженное в замечательных свершениях, ставших возможными благодаря людям, жившим, как жили они, — вот тогда, тогда радость, которую дарит мне Утопия, была бы поистине безграничной... А сейчас у меня такое чувство, словно я присвоил сбережения моего старого друга и трачу их на себя...

Мистер Барнстейпл внезапно вспомнил о возрасте своей собеседницы.

— Простите, милое дитя, что я позволил себе увлечься. Но ваш голос был таким добрым...

Вместо ответа девочка наклонилась, и его протянутой руки коснулись нежные губы.

Но она тут же вскочила, воскликнув:

— Взгляните на этот огонек среди звезд!

Мистер Барнстейпл тоже поднялся и встал рядом с ней.

— Это аэроплан, который везет лорда Барралонга и его спутников: лорда Барралонга, который сегодня убил человека! Скажите, он высокий и сильный, необузданный и замечательный?

Мистер Барнстейпл, охваченный внезапным сомнением, посмотрел на милое запрокинутое личико рядом с собой.

— Я никогда его не видел. Но, насколько мне известно, он довольно моложавый, плешивый низенький человек с больной печенью и почками. Благодаря этому последнему обстоятельству он не растратил свою юношескую энергию на забавы и развлечения, а всю ее посвятил приобретению собственности. И в конце концов смог купить высокий титул, который

так поражает ваше воображение. Пойдемте со мной, и вы его сами увидите.

Девочка посмотрела ему в глаза. Ей было одиннадцать, но она была одного роста с ним.

— Неужели в прошлом не было никакой романтики?

— Только в юных сердцах. И она умерла.

— А теперь ее нет совсем?

— Романтика неисчерпаема — и она еще вся впереди. Она ждет вас.

4

После такого чудесного дня прибытие лорда Барралонга и его спутников было для мистера Барнстейпла неприятной разрядкой. Он устал, и вторжение в Утопию этих людей почему-то его раздражало.

Обе группы землян встретились в ярко освещенном зале, вблизи лужайки, на которую сел аэроплан, доставивший Барралонга. Новоприбывшие вошли тесной кучкой, растерянно мигая, измученные, испуганные. Несомненно, встреча с другими землянами их очень обрадовала: ведь они еще никак не могли понять, что, собственно, произошло. Они не присутствовали на спокойной и исчерпывающе ясной беседе в Месте Совещаний. Их прыжок в этот чужой мир по-прежнему оставался для них неразрешимой загадкой.

Лорд Барралонг оказался тем самым состарившимся эльфом, которого успел заметить мистер Барнстейпл, когда большой серый автомобиль обогнал его на Мейденхедском шоссе. Его приплюснутый череп напомнил мистеру Барнстейплу плоскую стеклянную пробку от флакона из-под лекарств. Раскрасневшееся лицо лорда Барралонга выглядело утомленным, костюм его был сильно помят, словно после драки, а одна рука висела на лубке; он хитро и настороженно поглядывал по сторонам карими глазками, словно беспризорный мальчишка, которого держит за шиворот полицейский. По пятам за ним, как тень, следовал щуплый, похожий на жокея шофер, которого он называл Ридли. Лицо Ридли также хранило выражение железной решимости вопреки трудным обстоятельствам, в которых он очутился, не выдавать своих подлинных чувств. Его левая щека и ухо, пострадавшие при падении автомобиля, были все в полосках

липкого пластыря. Мисс Грита Грей, дама из серого автомобиля, оказалась вызывающе красивой блондинкой в очень дорогом белом костюме спортивного покроя. Странные события, участницей которых она оказалась, как будто не произвели на нее ни малейшего впечатления. Она словно не замечала их необычайности. Держалась она с привычным высокомерием женщины, для которой недостойные посягательства на ее особу составляют почти профессиональный риск, где бы она ни находилась.

С ними вошли еще двое: американец с серым лицом и в сером костюме, тоже хитро и настороженно поглядывавший по сторонам, — кинокороль Ханкер, как сообщил мистеру Барнстейплу мистер Маш, — и взъерошенный француз, щегольски одетый брюнет, довольно скверно говоривший по-английски, — несомненно, случайный гость в обычном окружении лорда Барралонга. Мистер Барнстейпл пришел к выводу (который в дальнейшем ничем не был опровергнут), что этот господин каким-то образом связан с кинематографией, благодаря чему оказался в радиусе гостеприимства лорда Барралонга и, будучи иностранцем, неосмотрительно согласился участвовать в поездке, не отвечавшей его вкусам и привычкам.

Пока лорд Барралонг и мистер Ханкер здоровались с мистером Берли и мистером Кэтскиллом, француз осведомился у мистера Барнстейпла, говорит ли тот по-французски.

— Я не понимаю, — сказал он. — Мы должны были ехать в Вилтшир... Уилтшир, и вдруг одна ужасная вещь следует за другой. Куда мы прибыли? И какие это здесь люди, столь превосходно говорящие по-французски? Это шутка лорда Барралонга, или сон, или что это?

Мистер Барнстейпл попытался растолковать ему, что произошло.

— Другое измерение... — протянул француз. — Другой мир. Это весьма мило. Но меня ждет дело в Лондоне. Не надо было меня возвращать таким способом во Францию, в подобие Франции, в другую Францию в другом мире. Это шутка не самого лучшего вкуса.

Мистер Барнстейпл пустился в дальнейшие объяснения, но недоумение на лице француза сказало ему, что он оперирует не слишком понятными словами.

Он растерянно оглянулся на леди Стеллу и увидел, что она готова прийти к нему на помощь.

— Эта дама, — сказал он, — все вам объяснит. Леди Стелла, позвольте представить вам мосье...

— Эмиля Дюпона, — поклонился француз. — Я, как у вас говорят, журналист и публицист. Меня интересует кинематограф как средство просвещения и пропаганды. Вот почему я здесь с милордом Барралонгом.

Отличный французский язык составлял главный светский талант леди Стеллы. И теперь она с большой охотой пустила его в ход. Она принялась рассеивать недоумение мосье Дюпона и прервала это занятие только для того, чтобы сказать мисс Грите Грей, как ей приятно в этом чужом мире встретить другую женщину.

Освободившись от мосье Дюпона, мистер Барнстейпл отошел в сторону и оглядел землян в центре зала и стоящих вокруг внимательно слушающих, но каких-то обособленных утопийцев. Мистер Берли чуть-чуть свысока, но любезно беседовал с лордом Барралонгом, а мистер Ханкер как раз доканчивал фразу о том, как он рад познакомиться с «виднейшим государственным деятелем Англии». Мистер Кэтскилл стоял, дружески положив руку на плечо лорда Барралонга (они были давно знакомы), а отец Эмертон обменивался любезностями с мистером Машем. Ридли и Пенк минуту холодно посматривали друг на друга, а затем удалились в угол, чтобы шепотом обсудить техническую сторону происшествий этого дня. Никто не обращал внимания на мистера Барнстейпла.

Это было как встреча на вокзале. Как официальный прием. Это было совершенно невероятно и в то же время до ужаса обыденно. Как он устал! Он был невыносимо измучен непрерывным изумлением.

— Пойду спать! — Он неожиданно зевнул. — Пойду в свою кроватку!

Он прошел мимо дружески смотревших на него утопийцев и вновь оказался в тиши звездной ночи. Он кивнул неведомой туманности на краю Ориона, как замученный заботами отец может кивнуть шаловливому отпрыску. Этим он займется завтра. И, засыпая на ходу, он побрел через сад к отведенному ему домику.

Не успел он раздеться, как погрузился в глубокий сон, словно набегавшийся за день ребенок.

РАННЕЕ УТРО В УТОПИИ

1

Мистер Барнстейпл никак не мог очнуться от сладкой дремоты.

У него было смутное ощущение, что вот-вот оборвется чудесный сон. Он не открывал глаз, надеясь его продлить. Это был сон о замечательном мире красивых людей, избавившихся от тысяч земных бедствий. Но сновидения смешались, и мистер Барнстейпл забыл о них. Давно уже ему не снилось никаких снов. Он лежал не двигаясь, не открывая глаз, стараясь оттянуть минуту возвращения в обычную дневную колею.

Им уже вновь овладели заботы и тревоги последних двух недель. Удастся ли ему все-таки уехать отдохнуть в одиночестве? Тут он вспомнил, что уже спрятал саквояж с вещами в багажник Желтой Опасности. Но ведь это же было не вчера, а позавчера? И он уже отправился в путь — он вдруг вспомнил минуту отъезда и радостную дрожь, пробежавшую по его спине, когда он выехал за ворота, а миссис Барнстейпл так ничего и не заподозрила. Он открыл глаза и уставился в белый потолок, пытаясь сообразить, что было дальше. Он вспомнил, как свернул на Камберуэлл-нью-роуд, каким солнечным и пьянящим было утро... Потом Воксхолл-бридж и чудовищный затор у Гайд-парк Корнер. Он всегда говорил, что по западной части Лондона передвигаться на автомобиле куда труднее, чем по восточной. А что потом? Он поехал в Оксбридж? Нет. Он вспомнил поворот на Слау, но дальше в его памяти был провал.

Какой прекрасный потолок! Ни трещинки, ни пятнышка!

Но все-таки как он провел остальную часть дня? Он, несомненно, куда-то приехал. Ведь сейчас он лежит в удобной постели — в превосходной постели. И слушает песенку малиновки. Он всегда утверждал, что хорошая малиновка поет лучше любого соловья, но эта была настоящим Карузо. Вот ей ответила другая! В июле-то! Пангборн и Кейвершем — чудесные

соловьиные места. В июне. Но ведь сейчас июль... и вдруг малиновки... Но тут, заслоня эти сонные призрачные мысли, в его мозгу всплыла фигура мистера Роберта Кэтскилла — руки уперты в бока, голова и подбородок выставлены вперед: он говорит... и говорит удивительные вещи. Он обращается к сидящему перед ним нагому человеку с серьезным внимательным лицом. А рядом с ним еще такие же фигуры. У одной — лицо Дельфийской Сивиллы. И тут мистер Барнстейпл припомнил, что каким-то образом оказался в обществе людей, отправившихся на воскресенье в Тэплоу-Корт. Может быть, эта речь была произнесена в Тэплоу-Корт? Но в Тэплоу-Корт люди ходят одетыми. Хотя, может быть, аристократия в тесном кругу...

Утопия?.. Но возможно ли это?

Мистер Барнстейпл привскочил на постели вне себя от изумления.

— Невозможно! — отрезал он.

Он лежал в небольшой полуоткрытой лоджии. Между витыми стеклянными колонками он увидел цепь снежных гор, а совсем рядом — чашу высоких растений с кистями темно-красных цветов. Птичка по-прежнему распевала свою песенку — облагороженная малиновка в облагороженном мире. Теперь он вспомнил все. Теперь все стало ясно. Внезапный рывок автомобиля, звук лопнувшей скрипичной струны и... Утопия! И все, что было дальше, от мертвой красавицы Гринлейк до появления лорда Барралонга под чужими незнакомыми звездами. Это был не сон. Он взглянул на свою руку, лежавшую на удивительно легком одеяле. Он пощупал свой колючий подбородок. Этот мир был настолько реален, что в нем приходилось думать о бритве... и испытывать настоящую потребность в обильном завтраке.. Весьма настоящую (ведь он вчера не ужинал). И, словно в ответ на эти мысли, на лестнице, ведущей в его спальню, появилась улыбающаяся девушка с подносом в руках. Нет, в пользу мистера Берли можно было бы сказать очень многое! Ведь это его быстрой государственной мысли мистер Барнстейпл обязан желанной чашкой утреннего чая.

— Доброе утро, — сказал мистер Барнстейпл.

— А почему бы и нет? — отозвалась юная утопийка, отдала ему поднос и, улыбнувшись материнской улыбкой, ушла.

— А почему бы утру и не быть хорошим — вот что, вероятно, она имела в виду, — пробормотал мистер Барнстейпл и на несколько секунд погрузился в размышления, упираясь подбородком в колени. Затем он воздал должное чаю и хлебу с маслом.

2

Маленькая туалетная, где его одежда валялась так, как он бросил ее накануне, была одновременно и очень просто обставлена и очень интересна для мистера Барнстейпла. Шлепая босыми ногами и что-то напевая себе под нос, он бродил по ней и внимательно все осматривал.

Ванна была гораздо менее глубокой, чем обычные земные ванны; по-видимому, у утопийцев не было привычки нежиться в горячей воде. И форма всех других предметов была необычна — они были проще и изящнее земных. На Земле, размышлял мистер Барнстейпл, искусство во многом сводилось к удачному выходу из трудного положения. Художник выбирал из очень ограниченного количества неподатливых материалов и подчинялся определенным потребностям, так что его труд сводился к остроумному примирению неподатливости и потребности, конкретных особенностей материала и эстетических представлений, укоренившихся в человеческом сознании. Какую изобретательность приходилось, например, проявлять земному столяру, умело использующему текстуру и свойства того или иного сорта дерева! Но здесь у художника был неограниченный выбор материалов, и элемент остроумного приспособления к необходимости исчез из его творчества. Он учитывал только потребности человеческого сознания и тела. В этой небольшой комнате не было ничего эффектного, но каждый предмет оказывался очень удобным и прямо говорил о своем назначении. Если вы начинали плескаться в ванне, продуманный желоб на ее краю спасал пол от воды.

В корзиночке над ванной лежала отличная и очень большая губка. Значит, утопийцы либо, как в старину, ныряют за губками, либо выращивают их искусственно, а может быть (тут всего можно ждать!), выдрессировали их добровольно всплывать на поверхность.

Расставляя свои туалетные принадлежности, мистер Барнстейпл смахнул со стеклянной полочки стаканчик, но он не разбился. Мистер Барнстейпл не мог удержаться от эксперимента и снова его уронил. Стаканчик опять не разбился.

Сперва он никак не мог отыскать кранов, хотя в комнате, помимо ванны, был и большой умывальник. Затем он увидел в стене несколько кнопок с черными значками, которые могли быть утопийскими буквами. Он начал экспериментировать. В ванну потекла сначала горячая, а потом ледяная вода; еще одна кнопка включала теплую и, по-видимому, мыльную воду, а две другие — какую-то жидкость, пахнущую сосной, и жидкость, чуть-чуть отдающую хлором. Утопийские буквы на этих кнопках дали ему новую пищу для размышлений — это были первые надписи, которые он здесь увидел. Судя по всему, каждая буква обозначала целое слово, но изображали ли они звуки или были упрощенными пиктограммами, он решить не мог. Тут он задумался совсем о другом: единственным металлом в комнате было золото. Оно тут виднелось повсюду. Стены были инкрустированы золотом. Светло-желтые полосы блестели и переливались. Золото в Утопии, по-видимому, было очень дешево. Возможно, они умели его делать. Он заставил себя очнуться и занялся своим туалетом. В комнате не было зеркала, но когда он дернул то, что принял за ручку стенового шкафа, перед ним открылось трехстворчатое трюмо. Впоследствии он узнал, что в Утопии все зеркала закрывались. Утопийцы, как ему удалось выяснить, считали неприличным такое напоминание человеку о его образе. У них было принято утром внимательно осматривать себя, убеждаясь, что все в порядке, а потом забывать о своей особе до конца дня.

Мистер Барнстейпл неодобрительно оглядел свою пижаму и небритый подбородок. Почему уважаемым пожилым людям положено носить такие омерзительные розовые пижамы в полосочку? Когда он достал из саквояжа щеточку для ногтей, зубную щетку, бритвенную кисточку и резиновую рукавицу для мытья, они показались ему грубыми, как площадные шутки. Особенно непристойный вид имела зубная щетка. Ну почему он не купил новую в аптеке у вокзала Виктория?

А какая неприятная, странная штука — его одежда.

На мгновение он поддался нелепому желанию последовать утопийской моде, но взгляд в зеркало отрезвил его. Тут он вспомнил, что захватил с собой теннисные брюки и шелковую рубашку. Так он, пожалуй, и оденется — не надо ни запонок, ни галстука; а ходить можно будет босиком.

Он посмотрел на свои ступни. С земной точки зрения они были даже очень недурны. Но на Земле их красота пропадала втуне.

3

Вскоре из домика навстречу утопийской заре вышел необыкновенно чистый и сияющий мистер Барнстейпл — одетый в белое, с расстегнутой верхней пуговицей рубашки и босой. Он улыбнулся, вскинул руки над головой и глубоко вдохнул душистый воздух. И вдруг на лице его появилась мрачная решимость.

Из другого спального домика, всего ярдах в двухстах от него, вышел отец Эмертон. Шестое чувство подсказало мистеру Барнстейплу, что преподобный отец намерен либо простить вчерашнюю ссору, либо быть за нее прощенным. Выберет ли он роль оскорбителя или жертвы, зависело от случайности, но, как бы то ни было, он испортит унылой жвачкой личных эмоций и взаимоотношений алмазную ясность и блеск этого утра. Чуть справа и впереди мистер Барнстейпл увидел широкую лестницу, ведущую к озеру. Три быстрых шага — и он уже мчался по ней вниз, прыгая через две ступеньки. Может быть, виной тому был испуг, но, во всяком случае, ему казалось, что за его спиной раздается голос кинувшегося в погоню отца Эмертона:

— Мистер Ба-а-арнстейпл!

Мистер Барнстейпл, петляя, как заяц, выскочил на мостик, перекинутый через глубокий овраг, — мостик, сложенный из огромных камней, с крышей, которую со стороны озера поддерживали легкие хрустальные колонки. Солнечные лучи дробились в их призматических гранях и рассыпались красными, синими и золотыми бликами. Затем в зеленом уголке, расцвеченном голубыми горечавками, он чуть было не сбил с ног мистера Руперта Кэтскилла. На мистере Кэтскилле был тот же костюм, что и накануне, только

без серого цилиндра. Он прогуливался, заложив руки за спину.

— Ого! — сказал он. — Куда это вы так торопитесь? Мы ведь как будто встали первыми...

— Я увидел отца Эмертона...

— Все понятно. Предпочли избежать заутрени, обедни или как он их там называет? И скрылись. Мудро, мудро. Он помолился за нас всех. Включая и меня.

Не дожидаясь ответа мистера Барнстейпла, он продолжал:

— Вам хорошо спалось? Как вам показался ответ старичка на мою речь? А? Избитые увертки! Когда не знаешь, что сказать, ругай адвоката истца. Мы с ним не согласны потому, что у нас дурные сердца.

— О каком старичке вы говорите?

— О почтенном джентльмене, который выступал после меня.

— Об Эрфреде? Но ведь ему нет и сорока!

— Ему семьдесят три года. Он нам потом сказал. Они тут живут долго — прозябают, вернее сказать. Наша жизнь, с их точки зрения, — бурная лихорадка. Но, как сказал Теннисон: «Лучше двадцать лет в Европе, чем в Китае двести лет!» А? Он уклонился от ответа на мои доводы. Это Страна Золотого Покоя, Страна Заката; нам не скажут спасибо за то, что мы потревожили ее дремоту.

— Я не сказал бы, что они тут дремлют.

— Значит, и вас укусила муха социализма. Да-да, я вижу, так оно и есть. Поверьте мне, более полную картину декаданса и вырождения трудно себе представить. Налицо все признаки. И мы нарушим их сон, можете не сомневаться! Ведь, как вы еще убедитесь, Природа — наша союзница, и поможет она нам самым неожиданным образом.

— Но я не вижу никаких признаков вырождения, — сказал мистер Барнстейпл.

— Нет слепоты хуже слепоты тех, кто не хочет видеть! Да они повсюду! Это их избыточное, раздутое псевдоздоровье. словно откормленный скот. А их поведение в отношении Барралонга? Они не понимают, что с ним надо делать. Они даже не арестовали его. Они уже тысячу лет никого не арестовывали. Он очертя голову мчится по их стране, убивая, давя, пугая, нарушая общественное спокойствие, а они впада-

ют в отупение, поверьте мне, сэр, в полнейшее отупение. словно взбесившаяся собака бесчинствовала в овечьем стаде. Если бы его автомобиль не перевернулся, он и сейчас, наверное, носился бы по стране, трубя, гремя и убивая людей. Они утратили инстинкт защиты общества.

— Сомневаюсь.

— Весьма похвальное состояние ума. Если им не злоупотреблять. Но когда вы кончите сомневаться, вы убедитесь в моей правоте. А? Позвольте! Вон там, на террасе... По-моему, это милорд Барралонг и его приятель-француз? Да, это они. Дышат свежим воздухом. С вашего разрешения, я пойду поболтать с ними. Как вы сказали, где сейчас может быть отец Эмертон? Я не хочу мешать его молитвам. Ах, вон там! Ну, так если я возьму правее...

И он удалился, дружески подмигнув через плечо.

4

Продолжая прогулку, мистер Барнстейпл увидел двух садовников-утопийцев.

Они срезали сухие веточки и осыпавшиеся цветы с колючего кустарника, который тянулся по каменному склону, весь в багряно-алой пене огромных роз. На садовниках были большие кожаные рукавицы и фартуки из дубленой кожи. Они орудовали крючками и ножницами. Рядом стояли две легкие серебристые тачки.

Мистеру Барнстейплу никогда не приходилось видеть таких роз. Воздух вокруг был напоен их благоуханием. И чтобы махровые розы росли так высоко в горах? В Швейцарии он на довольно большой высоте видел обыкновенные, красные розы, но не таких пышных гигантов. Рядом с этими цветами листья на кустах казались совсем крохотными. Длинные, усаженные шипами красноватые стебли змеились среди огромных камней, служивших им опорой, а большие лепестки, словно красная метель, словно алые бабочки, словно капли крови, падали на рыхлую землю между бурых камней.

— Вы первые утопийцы, которых я вижу за работой, — сказал он.

— Это не работа, — с улыбкой отозвался садовник, стоявший ближе к нему, белокурый, веснушчатый,

голубоглазый юноша. — Но раз мы отстаиваем эти розы, нам приходится о них заботиться.

— Это ваши розы?

— Очень многие считают, что с махровыми горными розами слишком много возни, а их ползучие стебли и шипы вообще неприятны. Другие находят, что на такой высоте следует выращивать простые розы, а эта прелесть пусть вымирает! А вы за наши розы?

— За эти розы? Всею душой! — отозвался мистер Барнстейпл.

— Вот и хорошо! В таком случае пододвиньте-ка, пожалуйста, мою тачку поближе сюда, чтобы удобнее было складывать мусор. Мы отвечаем за хорошее поведение всей этой чащи, а она тянется вниз почти до самого озера.

— И вы должны сами о ней заботиться?

— А кто это сделает за нас?

— Но не могли бы вы нанять кого-нибудь... заплатить, чтобы кто-нибудь другой взялся ухаживать за кустами?

— О окаменевший реликт седой старины! — ответил юноша. — О ископаемый невежда из варварской вселенной! Или тебе непонятно, что в Утопии нет класса тружеников? Он вымер полторы тысячи лет назад. Насемное рабство, паразитизм — со всем этим давно покончено. Мы читаем о таких вещах в книгах. Тот, кто любит розу, должен служить розе... своими руками.

— Но ведь вы работаете.

— Не ради денег. Не потому, что кто-то другой что-то там любит или чего-то желает, но по лени не хочет служить этому сам или добыть для себя желаемое. Мы работаем — частица разума и частица воли всей Утопии.

— Могу ли я спросить, в чем заключается ваша работа?

— Я исследую недра нашей планеты и изучаю химию высоких давлений. А мой друг...

Он, очевидно, окликнул своего друга, и над цветочной пеной внезапно возникло смуглое лицо с карими глазами.

— Я занимаюсь пищей.

— Вы повар?

— В некотором роде. В данное время я занимаюсь едой для вас, землян. Ваши блюда чрезвычайно интересны и забавны, но, я бы сказал, довольно вредны. Я планирую ваше кормление... Вы как будто встрево-

жились? Но вашим завтраком я занимался вчера. — Он взглянул на крохотные часы под раструбом кожаной рукавицы. — Он будет готов через полчаса. Как вам понравился утренний чай?

— Он был превосходен, — ответил мистер Барнстейпл.

— Отлично, — сказал смуглый юноша. — Я старался, как мог. Надеюсь, что завтрак вам тоже понравится. Мне вчера вечером пришлось слетать за двести километров, чтобы раздобыть свинью, и самому заколоть ее, разделать тушу и научиться ее коптить. В Утопии уже давно не едят копченой грудинки. Надеюсь, моя поджарка придется вам по вкусу.

— Вам, очевидно, пришлось заниматься копчением в большой спешке, — заметил мистер Барнстейпл. — Мы обошлись бы и без грудинки.

— Но ваш оратор — тот, кто говорил от имени всех вас, — очень настаивал на ней.

Белокурый юноша выбрался из кустов и покатил свою тачку по дорожке. Мистер Барнстейпл пожелал смуглолицему доброго утра.

— А почему бы и нет? — удивленно спросил смуглый юноша.

5

Тут мистер Барнстейпл заметил, что к нему приближаются Ридли и Пенк. Пластырь по-прежнему украшал щеку и ухо мистера Ридли, и весь его вид говорил о настороженности и тревоге. Пенк шел в нескольких шагах позади него, прижимая руку к щеке. Оба были одеты в свои профессиональные костюмы — кепи с белым верхом, кожаные куртки, черные гетры; никаких уступок утопийским вольностям.

Ридли заговорил еще издалека:

— Вы случайно не знаете, мистер, куда эти самые декаденты загнали наш автомобиль?

— Но ведь он разбился?

— «Роллс-ройс»?! Как бы не так! Ветровое стекло, может, и разбилось, крылья там помялись, подножки. Мы ведь опрокинулись набок. Надо бы на него поглядеть. И я ведь не перекрыл бензопровод. А карбюратор малость течет. Моя вина. Не прочистил отстойник. А если бензин весь вытечет, в этом чертовом эдеме другого, небось, не достанешь! Что-то тут с заправочными

станциями не густо. А если машина не будет на ходу, когда лорд Барралонг ее спросит, жди грома.

Мистер Барнстейпл не имел ни малейшего представления о том, где могут находиться автомобили.

— А ведь вы вроде как на своей машине были? — спросил Ридли с упреком.

— Да. Но я о ней ни разу не вспомнил.

— Владелец-водитель, одно слово, — ядовито сказал Ридли.

— Но как бы то ни было, я ничем не могу вам помочь. А вы спрашивали про автомобили у кого-нибудь из утопийцев?

— Еще чего! Нам не нравятся их рожи.

— Но они вам сказали бы.

— И стали бы поглядывать, как там и что. Не так-то часто им выпадает случай заглянуть в «роллс-ройс». Не успеешь оглянуться, как они их угонят. Мне это место не нравится. И эти люди тоже. Они все тут тронутые. И про всякий стыд забыли. Его сиятельство говорит, что они дегенераты, все до единого, и, на мой взгляд, так оно и есть. Я сам не пуританин, а все-таки на людях нагишом расхаживать — это уж чересчур. Куда они только могли запрятать машины?

Мистер Барнстейпл поглядел на Пенка.

— Вы ушибли лицо? — спросил он.

— Так, немножко, — ответил Пенк. — Пойдем, что ли?

Ридли поглядел на Пенка и перевел взгляд на мистера Барнстейпла.

— Его маленько контузило, — заметил он, и выражение его лица стало не таким кислым.

— Пошли, а то мы так машин и не отыщем, — перебил его Пенк.

Губы Ридли расползлись в веселую улыбку.

— Он напоролся мордой на кое-что.

— Да ну, заткнись! — пробормотал Пенк.

Но шутка была слишком хороша, чтобы Ридли мог не поделиться ею.

— Одна из здешних девок съездила его по роже.

— Как же это? — спросил мистер Барнстейпл. — Неужели вы позволили себе...

— Ничего я не позволял! — огрызнулся Пенк. — Но раз уж мистеру Ридли захотелось языком потрепать, так уж лучше я сам расскажу, как все было. Отсюда и видно, что, попав к психованным дикарям, вот как мы теперь, так и жди чего угодно.

Ридли ухмыльнулся и подмигнул мистеру Барнстейплу.

— Ох, и въехала же она ему! Он сразу кувыркнулся. Он ей руку на плечо, а она — раз! И он уже валяется. В жизни такого не видел.

— Очень неприятное происшествие, — сказал мистер Барнстейпл.

— Да случилось-то все за одну секунду.

— Очень жаль, что это вообще случилось.

— А вы, мистер, не воображайте того, чего не было, а разберитесь, прежде чем говорить, — отрезал Пенк. — Я лишних разговоров не хочу... мистер Берли мне этого так не спустит. Жалко, конечно, что мистер Ридли не мог придержать язык. И чего она взъелась, я не знаю. Влезла ко мне в комнату, когда я одевался, а на самой-то и вообще ничего, и по виду — девчонка свойская, ну, и приди мне в голову сказать ей кое-что — так, пошутить. За своими мыслями-то не уследишь, так ведь? Мужчина — это все-таки мужчина. И если от мужчины требовать, чтобы он и в мыслях себе ничего не позволял с девками, которые расхаживают в чем мать родила, так уж... Дальше некуда, одно слово! Это значит идти поперек человеческой природы. Я ведь вслух не сказал... того, о чем подумал. Мистер Ридли — свидетель. Я ей ни словечка не сказал. Рта не раскрыл, а она драться. С ног сшибла, как кеглю. А сама вроде даже не рассердилась. Дала мне по скуле ни с того ни с сего. Я больше от удивления свалился.

— Но Ридли говорит, что вы прикоснулись к ней.

— Ну, может, положил ей руку на плечо, по-братски, так сказать, когда она повернулась уходить, — я ведь не отказываюсь, что хотел с ней заговорить. И вот вам! А если мне еще терпеть придется за то, что меня же избили без всякого повода с моей стороны!..

И Пенк завершил свою фразу выразительным жестом глубочайшего отчаяния и негодования.

Подумав, мистер Барнстейпл сказал:

— Я не собираюсь навлекать на вас неприятности. Но тем не менее мне кажется, что мы должны быть очень осторожны с утопийцами. Их обычаи не похожи на наши.

— И слава богу! — вставил Ридли. — Чем скорее я уберусь из этой дыры назад в старушку Англию, тем приятней мне будет. — Повернувшись, чтобы уйти, он бросил через плечо: — Послушали бы вы его сиятель-

ство! Он говорит, что это не мир, а сборище чистых дегенератов... паршивых дегенератов, а уж если правду сказать, то, с вашего разрешения, Х! Х! Х! Х! дегенератов. Э? Лучше про них не скажешь.

— Рука этой девушки как будто не была слишком уж дегенеративной, — заметил мистер Барнстейпл, с честью выдержав залп.

— Да? — злобно пробурчал Ридли. — Как бы не так! Самый что ни на есть первый признак дегенерации — это когда баба сшибает человека с ног. Это уж значит идти наперекор закону природы. В мире, где живут приличные люди, такого и быть не может. Это уж так.

— Это уж так, — подтвердил Пенк.

— В нашем мире такую девчонку научили бы, как следует себя вести. И скоро! Ясно?

Но в эту минуту рассеянно блуждавший взгляд мистера Барнстейпла упал на отца Эмертона, который торопливо шагал к ним по лужайке, жестами убеждая подождать его. Мистер Барнстейпл понял, что нельзя терять ни секунды.

— А! Вот идет тот, кто сумеет помочь вам отыскать автомобили, если только захочет. Отец Эмертон — это человек, который всегда готов прийти на помощь. И его взгляд на женщин совпадает с вашим. Вы с ним, несомненно, отлично поладите. Если вы остановите его и изложите все дело ясно и обстоятельно.

И мистер Барнстейпл быстрым шагом направился к озеру.

Где-то поблизости должно было находиться маленькое шале и пристань с пестрыми лодками.

Если ему удастся уплыть на одной из них на середину озера, он сильно затруднит отцу Эмертону его задачу. Даже если эта святая душа последует его примеру. Гоняясь по озеру за другой лодкой, трудно произносить душещипательные речи с надлежащим чувством.

6

Мистер Барнстейпл уже отвязывал облюбованную им белоснежную байдарку, на носу которой был нарисован большой синий глаз, когда на пристани появилась леди Стелла. Она вышла из беседки, стоявшей у самой воды, и торопливость ее походки заставила

мистера Барнстейпла заподозрить, что она там пряталась. Оглянувшись, леди Стелла поспешно сказала:

— Вы собираетесь покататься по озеру, мистер Барнстейпл? Можно мне с вами?

Он заметил, что ее костюм представляет собой компромисс между земной и утопийской модами. На ней был не то чрезвычайно простой домашний туалет, не то весьма замысловатый купальный халат кремового цвета. Ее тонкие красивые руки были совсем обнажены, если не считать золотого браслета с янтарями, а босые ножки — очень хорошенькие ножки — обуты в сандалии. Она была без шляпы, а просто уложенные черные волосы покрывала черная с золотом сетка, очень шедшая к ее тонкому умному лицу. Мистер Барнстейпл отнюдь не был знатоком в дамских нарядах, но и он с одобрением заметил, что она сумела уловить утопийский стиль.

Он помог ей спуститься в лодку.

— Давайте скорее отплывем... и подальше, — сказала она, вновь оглядываясь через плечо.

Некоторое время мистер Барнстейпл прилежно греб прямо вперед, так что он видел перед собой только сверкающую на солнце воду, небо, невысокие холмы, уходящие вдоль берегов озера к большой равнине, могучие быки далекой плотины и леди Стеллу. Она, словно замороженная красотой видов Места Сожвещаний позади него, не отводила взгляда от садов, изящных домиков и террас, но мистер Барнстейпл скоро заметил, что она не столько любит всю картину, сколько напряженно отыскивает какой-то определенный предмет или определенное лицо. Леди Стелла, чтобы нарушить невежливое молчание, обронила несколько фраз о прелести утра и о том, что птицы поют и в июле.

— Но ведь здесь сейчас не обязательно июль, — сказал мистер Барнстейпл.

— Как глупо с моей стороны не подумать об этом! Ну конечно же!

— Здесь, по-моему, сейчас чудесный май.

— Кажется, еще очень рано, — заметила она. — Я забыла завести свои часы.

— В наших двух мирах, как ни странно, время суток, кажется, совпадает, — сообщил мистер Барнстейпл. — На моих часах семь.

— Нет, — сказала леди Стелла, по-прежнему устре-

мив взгляд на удалявшиеся сады и отвечая на свои мысли. — Это утопия. Вы встречали кого-нибудь еще... из наших... сегодня утром?

Мистер Барнстейпл повернул байдарку так, чтобы тоже видеть сады.

Отсюда они могли рассмотреть, с каким совершенством массивные террасы, стены, сдерживающие лавины, и водостоки вписываются в окружающий горный пейзаж, перемежаясь и сливаясь с отрогами и утесами вздымающегося позади могучего пика. Выше на склонах кустарник сменялся лепившимися по обрыву соснами, бурные потоки и водопады, питаемые вечными снегами, перехватывались плотинами и направлялись к изумрудным лужайкам и садам Места Совещений. Террасы, которые удерживали почву и составляли основу всего парка, тянулись вправо и влево, теряясь в голубой дали, а в глубине смыкались с горными обрывами; они были сделаны из многоцветного камня — от темно-красного до белого с лиловыми прожилками — и переливались гигантскими арками, перекинутыми через потоки и ущелья, огромными круглыми отверстиями водостоков, из которых били мощные струи, и каскадами лестниц. На этих террасах и на травянистых склонах, которые они поддерживали, поодиночке и группами были разбросаны стросния — лиловые, синие, белые, такие же легкие и изящные, как окружавшие их горные цветы. Несколько секунд мистер Барнстейпл созерцал эту картину в немом восхищении и только потом ответил на вопрос леди Стеллы.

— Я говорил с мистером Рупертом Кэтскиллом и двумя шоферами, — сказал он, — а кроме того, издали видел отца Эмертона, лорда Барралонга и мосье Дюпона. Мистера Маша и мистера Берли я не видел совсем.

— О, мистер Сесиль встанет еще не скоро. Он будет спать до десяти или одиннадцати часов. Он всегда проводит в постели все утро, если ему днем предстоит большое умственное напряжение.

Леди Стелла помолчала, а потом нерешительно спросила:

— А мисс Гриту Грей вы не видели?

— Нет, — ответил мистер Барнстейпл. — Я не искал общества наших соотечественников. Я просто гулял... и уклонялся от встречи...

— С блюстителем нравов и цензором костюмов?

— Да... Собственно говоря, потому-то я и решил покататься по озеру.

После минутного размышления леди Стелла, очевидно, решила быть с ним откровенной.

— Я тоже кое от кого спасалась.

— Не от нашего ли проповедника?

— От мисс Грей.

И, сказав это, леди Стелла, казалось, уклонилась от темы:

— Нам будет трудно в этом мире. У его обитателей очень тонкий вкус. Нам так легко оскорбить их!

— Они умны и поймут.

— А действительно ли достаточно понять, чтобы простить? Эта пословица никогда не внушала мне доверия.

Мистеру Барнстейплу не хотелось, чтобы их разговор перешел на широкие обобщения, поэтому он ничего не ответил и только усерднее заработал веслом.

— Видите ли, мисс Грей в одном ревю исполняла роль Фрины.

— Что-то припоминаю. Кажется, в прессе поднялась буря возмущения.

— Возможно, это воспитало у нее определенную привычку.

Весло опустилось в воду и второй раз и третий.

— Во всяком случае, сегодня утром она пришла ко мне и сказала, что собирается выйти в полном утопийском костюме.

— То есть?

— Немножко румян и пудры. Он нисколько ей не идет, мистер Бастейпл. Это очень легкомысленно. Это неприлично. А она разгуливает по садам... Неизвестно, кто может попасться ей навстречу. К счастью, мистер Сесиль еще не встал. Если она встретит отца Эмертона!.. Но об этом лучше не думать. Видите ли, мистер Бастейпл, утопийцы такие загорелые... и вообще... они гармонируют с обстановкой. Их вид не вызывает у меня неловкости. Но мисс Грей... Когда земная цивилизованная женщина раздета, она *выглядит* раздетой. Облупленной. Какой-то выбеленной. Эта милая женщина, которая, кажется, взяла на себя заботу о нас, Ликнис, рекомендуя мне, во что одеться, ни разу даже не намекнула... Но, разумеется, я не настолько близко знакома с мисс Грей, чтобы давать

ей советы, а кроме того, никогда нельзя знать заранее, как женщина такого сорта воспримет...

Мистер Барнстейпл внимательно осмотрел берег, но чересчур открытой взглядам мисс Гриты Грей нигде не было видно.

— Ликнис примет меры, — убежденно сказал он после секундного раздумья.

— Будем надеяться. Быть может; если мы покатаемся подольше...

— О ней позаботятся, — сказал мистер Барнстейпл. — Но, по-моему, мисс Грей и вообще компания лорда Барралонга может навлечь на нас много неприятностей. Очень жаль, что они проскочили сюда вместе с нами.

— Мистер Сесиль придерживается того же мнения, — сказала леди Стелла.

— Естественно, мы будем вынуждены почти все время проводить вместе, и судить будут о нас в целом.

— Естественно, — согласилась леди Стелла.

Некоторое время они молчали, но нетрудно было заметить, что она высказала далеко не все. Мистер Барнстейпл неторопливо греб.

— Мистер Бастейпл... — вскоре начала она.

Весло в руках мистера Барнстейпла замерло.

— Мистер Бастейпл... вам страшно?

Мистер Барнстейпл проанализировал свои ощущения.

— Я был слишком восхищен, чтобы бояться.

Леди Стелла решила довериться ему.

— А я боюсь, — сказала она. — Сначала мне не было страшно. Все, казалось, шло так легко и просто. Но среди ночи я проснулась... вне себя от страха.

— Нет, — задумчиво произнес мистер Барнстейпл. — Нет. Я этого еще не испытал — пока... Но, может быть, мне и станет страшно.

Леди Стелла наклонилась к нему и заговорила доверительным тоном, внимательно наблюдая, какое впечатление производят на него ее слова.

— Эти утопийцы... Сначала мне казалось, что они всего только простодушные здоровые люди, артистичные и наивные натуры. Но они совсем не такие, мистер Бастейпл. В них есть что-то жестокое и сложное, что-то недоступное и непонятное нам. И мы им не нравимся. Они глядят на нас холодными глазами.

Ликнис добра, но остальные нет. И мне кажется, мы вызываем у них раздражение.

Мистер Барнстейпл взвесил услышанное.

— Возможно, вы правы, — сказал он. — Я был настолько полон восторга — здесь столько сказочно чудесного, — что не задумывался над тем, какое впечатление производим на них мы. Но... да, пожалуй, они заняты чем-то своим и не слишком интересуются нами. За исключением тех, кто, очевидно, приставлен наблюдать за нами и изучать нас. Ну, а безрассудное поведение лорда Барралонга и его спутников, которые мчались вперед, не разбирая дороги, несомненно, должно было вызвать у них раздражение.

— Он задавил человека.

— Я знаю.

И, задумавшись, они умолкли на несколько минут.

— И еще другое, — заговорила леди Стелла. — Они мыслят не так, как мы. По-моему, они уже презирают нас. Я заметила одну вещь... Вчера вечером вас не было с нами у озера, когда мистер Сесиль начал расспрашивать об их философии. Он рассказывал им про Гегеля, Бергсона, лорда Холдейна, про свой собственный замечательный скептицизм. Он дал себе волю, что для него большая редкость. И это было очень интересно — мне. Но я следила за Эрфредом и Львом и в самый разгар его объяснений увидела (я убеждена, что не ошиблась), что они переговариваются — без слов, как это у них принято, — о чем-то совсем другом. Они только *делали вид*, что слушают. А когда Фредди Маш попытался заинтересовать их грузинской поэзией и влиянием войны на литературу и сказал, что был бы счастлив, если бы в Утопии нашлось что-нибудь хоть наполовину равное «Илиаде», хотя он должен признаться, что не рассчитывает на это, — они и притворяться перестали. Они ему вовсе ничего не ответили... Наша культура их нисколько не интересуется.

— В этих аспектах. Они же на три тысячи лет впереди нас. Но мы можем представлять для них интерес как ученики.

— А так ли уж интересно было бы водить по Лондону какого-нибудь готтентота и объяснять ему тонкости цивилизации? После того, разумеется, как его невежество перестанет казаться забавным! Впрочем, может быть... Но я убеждена, что мы им ни к чему и

что мы им не нравимся, и я не знаю, как они с нами поступят, если мы начнем причинять им слишком много хлопот. И поэтому мне страшно.

Она продолжала как будто о другом — и все о том же:

— Ночью я вдруг вспомнила обезьянок моей сестры, миссис Келлинг. Это для нее пункт помешательства. Обезьяны свободно бегают по саду и по дому и вечно попадают в беду. Бедняжки никак не могут разобраться, что им можно делать, а чего нельзя; у них у всех недоумевающий и испуганный вид, и их то и дело шлепают, выбрасывают за дверь и всячески наказывают. Они портят мебель, а гостям их присутствие неприятно. Ведь никогда не знаешь заранее, что может взбрести в голову обезьяне. И у всех они вызывают досаду и раздражение — у всех, кроме моей сестры. А она без конца выговаривает им: «Немедленно спустись, Джако! Немедленно положи, Сэди!»

Мистер Барнстейпл засмеялся.

— Ну, это нам не грозит, леди Стелла. Мы все-таки не обезьяны.

Она тоже рассмеялась.

— Возможно, вы правы. И тем не менее... ночью... я подумала, что так может быть и с нами. Мы же стоим на низшей ступени развития. Этого отрицать нельзя.

Она сдвинула брови. На ее красивом лице отразилось сильное умственное напряжение.

— А вы отдаете себе отчет, насколько мы отрезаны от нашего мира?.. Возможно, вам это покажется глупым, мистер Барнстейпл, но вчера вечером, перед тем как ложиться, я уже села писать письмо сестре, чтобы рассказать ей про случившееся, пока все подробности были еще свежи в моей памяти. И вдруг я поняла, что с тем же успехом я могла бы писать... Юлию Цезарю.

Мистеру Барнстейплу это в голову не приходило.

— Это гнетет меня, не переставая, мистер Бастейпл. Ни писем, ни телеграмм, ни газет, ни железнодорожных расписаний... Ничего из того, к чему мы привыкли... Никого из тех, для кого мы живем. Полностью отрезаны... И неизвестно, насколько. Совсем-совсем отрезаны... Долго ли они собираются держать нас здесь?..

Мистер Барнстейпл задумался.

— А вы уверены, что они когда-нибудь сумеют отослать нас обратно? — спросила она.

— Это как будто не вполне ясно. Но они удивительно талантливые люди.

— Попасть сюда было так легко! Словно мы просто завернули за угол... Но, разумеется, мы... как бы это сказать... вне времени и пространства... Даже больше, чем умершие... Северный полюс или дебри Центральной Африки на целую вселенную ближе к нашему дому, чем мы... Это трудно представить себе. Сейчас, при солнечном свете, все кажется таким безмятежным и знакомым... Но вчера ночью были минуты, когда мне хотелось кричать от ужаса...

Она вдруг умолкла и посмотрела на берег. А потом с большим интересом понюхала воздух.

— Да, — сказал мистер Барнстейпл.

— Это жареная грудинка к завтраку! — воскликнула леди Стелла, и ее голос почти перешел в восторженный писк.

— Точно по рецепту, сообщенному мистером Берли, — отозвался мистер Барнстейпл, машинально поворачивая байдарку к берегу.

— Жареная грудинка! Это меня почти успокаивает... Может быть, все-таки было глупо так пугаться. Вот они зовут нас! — Она помахала в ответ. — Грита в белом одеянии... как вы и предсказали... а с ней разговаривает мистер Маш в чем-то вроде тоги... Где он сумел раздобыть эту тогу?

До них снова донесся зов.

— Сейча-а-ас! — крикнула в ответ леди Стелла. — Мне очень жаль, — добавила она, — если я была слишком пессимистична. Но ночью я чувствовала себя просто ужасно!

КНИГА ВТОРАЯ

КАРАНТИН НА УТЕСЕ

Глава первая

ЭПИДЕМИЯ

Второй день пребывания группы землян в Утопии был омрачен тенью вспыхнувшей там страшной эпидемии. Утопийцы уже более двадцати столетий не знали никаких эпидемий и вообще инфекционных заболеваний. Из жизни людей и животных исчезли не только злокачественные лихорадки, различные кожные болезни, но были победены даже самые легкие недуги, вроде простуды, кашля, инфлюэнцы. Строгий карантин, контроль над бациллоносителями и другие меры помогли справиться с болезнетворными микробами, и они были обречены на вымирание.

Но это привело и к соответствующим изменениям в организме утопийцев. Деятельность желез и других органов, помогающих организму сопротивляться инфекциям, ослабела; энергия, которая расходовалась на это, нашла другое, более полезное применение. Физиология утопийцев, освобожденная от чисто защитных функций, упростилась, стала более устойчивой и жизнедеятельной.

Это великое очищение от заразных болезней было для Утопии настолько далекой древностью, что только специалисты по истории патологии еще имели какое-то понятие о страданиях, которые причиняли

эпидемии их расе; но даже эти специалисты, видимо, очень смутно представляли себе, насколько утопийцы утратили сопротивляемость заразным болезням. Из землян первым об этом подумал мистер Руперт Кэтскилл. Мистер Барнстейпл вспомнил, как они встретились утром в Садах Сопещаний, и Кэтскилл намекнул, что сама Природа — союзница землян и каким-то таинственным образом поможет им.

Если наделить кого-либо вредными свойствами означает быть союзником, тогда Природа действительно была союзницей землян. Уже к вечеру второго дня их пребывания в Утопии почти у всех, кто с ними соприкасался, кроме Ликнис, Серпентина и трех-четырех утопийцев, еще сохранивших в какой-то мере наследственный иммунитет, начался жар с кашлем, воспалилось горло, появилась ломота в костях, головная боль и такой упадок сил и душевная подавленность, каких Утопия не знала уже два тысячелетия. Первым обитателем Утопии, погибшим от этой болезни, оказался леопард, который понюхал руку мистера Руперта Кэтскилла. Леопарда нашли бездыханным на другое утро после его знакомства с землянами. К вечеру того же дня неожиданно заболела и вскоре умерла одна из девушек, помогавших леди Стелле распаковывать ее чемоданы.

Утопию это нашествие губительных микробов застало врасплох — даже в большей мере, чем появление самих землян. В последний Век Хаоса на планете было огромное множество общих и инфекционных больниц, врачей и аптек; но все это давно уже исчезло и изгладилось из памяти утопийцев. Медики оказывали только хирургическую помощь при несчастных случаях, наблюдали за физическим развитием подрастающего поколения и местами отдыха для дряхлых стариков, где им предоставлялся необходимый уход, но почти ничего не осталось от санитарной службы, которая в далеком прошлом ведала борьбой с эпидемиями. Теперь ученым Утопии вдруг пришлось решать давно решенные проблемы, наскоро конструировать забытую аппаратуру, создавать специальные дезинфекционные отряды и пункты помощи заболевшим и, наконец, возродить стратегию войны с микробами, составившей некогда целую эпоху в жизни планеты. Правда, в одном отношении эта война оставила Утопии в наследство и некоторые преимущества.

Были истреблены почти все насекомые — носители инфекций: крысы, мыши, — и неопрятные, разносящие заразу птицы тоже перестали быть проблемой санитарии. Это весьма ограничило распространение эпидемических болезней и самые способы заражения. Утопийцы могли воспринять от землян только такие болезни, которые передаются через дыхание или через прямое соприкосновение с носителем инфекции. Ни один из пришельцев не был болен, но вскоре стало ясно, что кто-то из них был носителем кори, а двое или трое других — приглушенной лекарствами инфлюэнцы. У землян была достаточная сопротивляемость, чтобы не заболеть самим, но они стали очагом обеих инфекций; а их жертвы, кашляя, чихая, целуясь и перешептываясь, разнесли заболевания по всей планете. Только к вечеру второго дня после появления землян Утопия поняла, что произошло, и принялась бороться с этим рецидивом бедствий эпохи варварства.

2

Мистер Барнстейпл, вероятно, последним из землян узнал об эпидемии, потому что в то утро отправился на прогулку в одиночестве.

Ему с самого начала стало ясно, что утопийцы не собираются тратить много времени и сил на то, чтобы просвещать гостей, прибывших с Земли. После вечерней беседы в день их вторжения хозяева больше не пытались знакомить гостей с устройством и образом жизни Утопии и почти не спрашивали их о положении дел на Земле. Землян большей частью оставляли одних с тем, чтобы они обсуждали интересующие их вопросы в собственном кругу. Некоторым утопийцам было, очевидно, поручено заботиться об их удобствах и благоустройстве, но те как будто не считали себя обязанными просвещать землян. Мистера Барнстейпла раздражало многое в суждениях и мнениях его спутников, и поэтому он отдался естественному желанию — изучать Утопию в одиночку. Огромная равнина за озером, которую он успел заметить, прежде чем их аэроплан спустился в Долину Совещаний, поразила его воображение, и на второе утро он пошел к озеру, взял маленькую лодку и поплыл к за-

мыкавшей озеро плотине, чтобы осмотреть с нее заинтересовавшую его равнину.

Озеро оказалось намного шире, чем он подумал, а плотина гораздо массивнее. Вода в озере была кристально прозрачной и очень холодной, в нем, видимо, водилось мало рыбы. Мистер Барнстейпл вышел из дому сразу после завтрака, но лишь около полудня добрался до гребня гигантской плотины и смог наконец посмотреть с ее высоты на нижнюю часть Долины Сопещаний и на бескрайнюю равнину за ней.

Плотина была сооружена из огромных глыб красного камня с прожилками золота. Несколько лестниц вели к шоссе на ее гребне. Гигантские сидячие фигуры из камня, высившиеся на ней, казалось, были созданы каким-то легкомысленным и веселым художником. Фигуры словно стерегли что-то или думали о чем-то, огромные, грубо вытесанные изваяния, не то скалы, не то люди. Мистер Барнстейпл на глаз определил их высоту примерно в двести футов; он промерил шагами расстояние между двумя фигурами, потом пересчитал их все и пришел к выводу, что длина плотины — семь — десять миль. Со стороны равнины плотина круто уходила вниз футов на пятьдесят и тут покоилась на мощных опорах, почти незаметно сливавшихся со скальным основанием. В пролетах между опорами гудели целые рои гидротурбин. Выполнив свою первую задачу, вода, яростно пенясь, низвергалась в другое широкое озеро, перегороженное новой большой плотиной — милях в двух дальше и примерно на тысячу футов ниже, еще дальше виднелось третье озеро и третья плотина, за ней наконец простиралась низменность. Среди всех этих титанических сооружений виднелись только три-четыре крохотных фигурки утопийцев.

Мистер Барнстейпл, песчинка рядом с одним из каменных колоссов, вглядывался в туманные просторы по-прежнему далекой равнины.

Что за жизнь течет там? Соседство равнинного и горного ландшафта напоминало ему Альпы и низменность Северной Италии, где он не раз бродил в годы юности, завершая этим свои путешествия в летние каникулы. Но лежавшая сейчас перед его глазами далекая равнина была бы в Италии застроена городами и деревнями и покрыта тщательно обработанными, заботливо орошаемыми полями. В этой густонаселен-

ной местности люди трудились бы с истинно муравьиным усердием, чтобы добыть себе пропитание; население все возрастало бы, пока болезни и эпидемии — обычный результат перенаселения — не создали бы определенного равновесия между площадью этих земель и числом семей, которые на них работают, чтобы прокормиться. И поскольку труженик способен вырастить больше хлеба, чем сам может съесть, а добродетельная женщина — произвести на свет больше детей, чем требуется рабочих рук, излишек безземельного населения стал бы скапливаться в сильно разросшихся и без того перенаселенных больших и малых городах; впоследствии одни занимались бы там законодательной или финансовой деятельностью, направленной против земледельца, другие изготовляли бы различные изделия, кое-как отвечающие своему назначению.

Девяносто девять из каждой сотни этих людей на всю жизнь — с детства до старости — были бы обречены делать одно и то же тяжелое дело: зарабатывать себе на хлеб. И повсюду стали бы расти питаемые суевериями храмы и часовни, кормя паразитические орды священников, монахов, монахинь. Еда и продолжение рода — простейшие формы общественной жизни, возникшие вместе с человеческим обществом, сложность добывания пищи, ухищрения, стяжательства и дань страху — такова была бы картина жизни людей на Земле, на любом сколько-нибудь солнечном и плодородном ее клочке. Конечно, и там слышались бы иногда взрывы смеха, веселые шутки, бывали бы редкие праздники, цвела бы кратковременная юность, быстро угасающая в труде зрелых лет; но подневольная работа, злоба и ненависть, порождаемые скученностью населения, неуверенность бедняка в завтрашнем дне — вот что господствовало бы над всем. Дряхлость настигала бы человека в шестьдесят лет, к сорока годам женщины выглядели бы изнуренными и старыми.

Но равнина Утопии, лежащая там, внизу, такая же солнечная и плодородная, по-видимому, живет по совершенно иным законам. Прежняя человеческая жизнь с ее древними обычаями, старинными сказаниями и шутками, повторяемыми из поколения в поколение, с ее зимними и летними праздниками,

благочестивыми страхами и редкими удовольствиями, с ее мелкими, упрямыми и по-детски жалкими надеждами, с ее вездесущей нищетой и трагической безысходностью — такая жизнь здесь отошла в прошлое. Она навсегда исчезла из этого более зрелого мира. Великий поток примитивного человеческого существования здесь отступил и иссяк, а почва осталась все такой же благодатной и солнце — таким же ярким.

Мистер Барнстейпл почувствовал нечто вроде благоговейного трепета, подумав о гигантском размахе этого полного очищения человеческой жизни за два десятка столетий и о том, как смело и бесстрашно разум человека подчинил себе плоть, душу и судьбы своей расы. Теперь мистеру Барнстейплу стало особенно ясно, что сам он существо переходного периода, глубоко погрязшее в отживших привычках, хотя он всегда смутно мечтал о новом мире, заря которого едва-едва занималась над Землей. С давних пор он ненавидел и презирал смрадную крестьянскую жизнь, это прошлое человечества; но только теперь он впервые понял, как сильно опасался он и той строгой и чистой жизни, которая человечеству предстоит в будущем, — такой жизни, как здесь, в Утопии. Мир, который предстал сейчас перед ним, казался очень чистым и в то же время пугающим.

Что они делают там, на этой далекой равнине? Как течет там повседневная жизнь? Он уже достаточно знал об Утопии, чтобы предположить, что вся она превращена в сплошной сад и что малейший проблеск красоты встречает здесь поддержку и получает развитие, а врожденное уродство исправляется и преодолевается. Он понимал, что здесь все готовы трудиться, не жалея сил, просто во имя красоты — пример двух утопийцев, ухаживавших за розами убедил его в этом. И всюду здесь трудятся: и те, кто приготовляет пищу, и те, кто строит дома, и те, кто направляет общий ход жизни, — все они помогают машине экономики работать плавно, без того скрипа, дребезжания, без тех внутренних поломок, которые составляют основную мелодию социальной жизни на Земле. Века экономических диспутов и экспериментов отошли здесь в прошлое; найден правильный путь развития общества. Население Утопии, одно время сократившееся до каких-нибудь двухсот миллионов,

теперь снова растет вместе с постоянным ростом ресурсов планеты. Освободившись от тысячи зол — а их при других условиях становилось бы все больше по мере роста населения, — утопийцы создали здоровую основу для этого роста.

Там, внизу, на равнине, окутанной голубой дымкой, почти все те, кто не занят производством продуктов питания, строительством, здравоохранением, образованием или координацией всех сторон жизни общества, отдаются творческому труду; они неустанно исследуют мир, окружающий человека, и его внутренний мир путем научных изысканий и художественного творчества. И так же непрерывно укрепляется их коллективная власть над природой и накапливаются познанные ценности бытия.

Мистер Барнстейпл привык думать, что жизнь на Земле — это бурный поток технических новшеств и научных открытий; но теперь он понял, что весь прогресс, достигнутый на Земле за целое столетие, — ничто по сравнению с тем, что успевают сделать за один год эти миллионы сплоченных единым стремлением умов. Знания здесь распространялись с неудержимой быстротой, тьма рассеивалась и исчезала, как исчезает тень от облака в ветреный день. Там, на равнине, они, вероятно, достают минералы из самого сердца своей планеты и плетут невода, в которые собираются поймать солнце и звезды. Жизнь идет здесь вперед... даже страшно подумать, какими гигантскими шагами! Страшно подумать потому, что в глубине сознания мистера Барнстейпла, как и многих мыслящих землян, притаилось убеждение, что научное познание мира близится к завершению и скоро уже нечего будет познавать. А потом мы будем жить счастливо до скончания веков.

Мистер Барнстейпл всегда бессознательно опасался прогресса. Утопия с первого дня показалась ему воплощением безмятежности, где все определено и установлено раз и навсегда. Вот и сегодня все выглядит мирным и спокойным под ровной, мягкой дымкой, окутывающей эти просторы. Но он знал, что это спокойствие скорее напоминает мнимую неподвижность водяной струи, которая приводит в движение мельничное колесо, — до тех пор, пока какой-нибудь пузырек, клочок пены, щепка или листок не про-

скользнут по струе и не напомним о стремительности падающей воды.

Как же все-таки живется в Утопии? Жизнь ее обитателей, должно быть, чем-то похожа на жизнь талантливых художников и ученых в земном мире: что ни день, то бодрящее открытие новых вещей и явлений, постоянные путешествия в неизведанное и неиспытанное. Когда приходит время отдохнуть они путешествуют по своей планете, и жизнь их всегда полна веселого смеха, дружбы, любви и непринужденного и тесного общения с себе подобными. Игры, не способствующие физическому развитию, эти суррогаты умственной тренировки для тупиц, видимо, полностью исчезли здесь, но сохранилось много подвижных игр, в которые играют ради веселья, чтобы дать выход избыточной энергии... Должно быть, это хорошая жизнь — для тех, кто подготовлен к ней, жизнь, которой, право же, можно позавидовать...

И все здесь, наверное, пронизано радостным ощущением осмысленности жизни, ее непрерывного развития и совершенствования... В Утопии, несомненно, существует любовь, утонченная и красивая, может быть, немного суровая. На этих равнинах вряд ли часто проявляются жалость и нежность. Здесь живут одаренные и красивые, но отнюдь не жалостливые существа, у них просто нет нужды в таком чувстве...

Правда, та, которую зовут Ликнис, показалась ему доброй и отзывчивой.

Сохранилась ли у них верность в любви, нужна ли она им, как влюбленным там, на Земле? Какая она вообще, любовь утопийцев? Влюбленные и здесь шепчутся в темноте, но в чем суть их любви? Чувство предпочтения, приятная гордость, восхитительное чувство обретенного дара, чудесная умиротворенность души и тела!..

Какое бы это было ощущение — полюбить и быть любимым женщиной Утопии? Чувствовать ее пылающее лицо рядом с твоим, слышать, как сильнее забилося твое сердце от ее поцелуев...

Мистер Барнстейпл, в легком костюме, босой, сел в тени у подножия каменного коллоса. Он казался себе крохотным заблудившимся насекомым, влетевшим на эту гигантскую плотину. Он уже не допускал воз-

возможности, чтобы торжествующая раса утопийцев когда-нибудь отказалась от своего величественного наступления на окружающие миры. Да, они воспарили на потрясающую высоту и продолжают подниматься все выше. И, конечно, достигнутое ими теперь уже незыблемо. А ведь всю эту поразительную незыблемость, все это безраздельное владычество над природой они завоевали на протяжении каких-нибудь трех тысячелетий!..

Утопийцы, конечно, не могли коренным образом измениться за такой короткий промежуток времени. По существу, они все те же люди каменного века: ведь не прошло и двадцати тысячелетий с тех времен, когда они ничего не знали о металлах и не умели читать и писать. Где-то в глубине их натуры должны до сих пор таиться скованные, непроросшие семена злобы, страха, розни. Наверное, и в Утопии есть много непокорных душ. Евгеника здесь, по-видимому, в самом зачатке... Он вспомнил умное, милое лицо девочки, которая разговаривала с ним при свете звезд в ночь их появления в Утопии, нотку романтического любопытства, прозвучавшую в ее голосе, когда она спросила: правда ли, что лорд Барралонг — очень сильный и жестокий человек?

Что же, дух романтики все еще тревожит воображение утопийцев? Или только воображение подростков?

И вдруг этот всеобъемлющий порядок еще может быть нарушен каким-нибудь сильным потрясением или внезапной полосой раздоров и волнений? А вдруг их система воспитания и образования станет жертвой каких-нибудь беспокойных экспериментаторов, которым прискучат ее дисциплинирующие цели? А вдруг эту расу подстерегает еще что-то непредвиденное? А что, если религиозное рвение отца Эмертона или неизлечимое тяготение мистера Руперта Кэтскилла ко всяким фантастическим предприятиям окажутся для утопийцев заразительными?

— Нет! Это невероятно. Достижения этого мира слишком надежны и полны спокойного величия.

Мистер Барнстейпл встал и спустился по ступеням громадной плотины — туда, где далеко внизу, как крохотный лепесток, покачивался на прозрачной воде его маленький ялик.

Внезапно он заметил какое-то волнение и суету в Садах Совещаний.

В воздухе кружилось больше трех десятков аэропланов — одни спускались, другие взлетали, а по дороге, ведущей к перевалу, мчались большие белые машины. Между зданиями сновали люди — правда, на таком расстоянии нельзя было различить, что они делают. Мистер Барнстейпл с минуту стоял, вглядываясь, потом сел в свою маленькую лодку.

Пересекая озеро, он не мог видеть, что происходит на берегу, потому что сидел к нему спиной, но внезапно очень близко от него пролетел аэроплан, и он заметил, что авиатор внимательно на него смотрит. В другой раз, отдыхая от гребли, он обернулся и увидел двух человек, которые несли что-то вроде носилок.

Когда он стал подплывать к берегу, ему навстречу вышел катер. Мистера Барнстейпла удивило, что пассажиры катера были в стеклянных шлемах с белым остроконечным забралом. Все это его озадачило.

Катер приблизился, и в сознании мистера Барнстейпла прозвучали слова:

— Карантин! Вам нужно отправиться в карантин. Вы, земляне, занесли к нам эпидемию, и вас необходимо отправить в карантин.

Значит, эти стеклянные шлемы — нечто вроде противогазов!

Когда катер подошел вплотную к лодке, мистер Барнстейпл убедился, что это так и есть. Противогазы были изготовлены из какого-то очень гибкого и прозрачного материала...

Мистера Барнстейпла провели мимо лоджий-спален, где в кроватях лежали утопийцы; те, кто за ними ухаживал, были в противогазах. Оказалось, что всех землян со всем их имуществом, кроме автомобилей, собрали в тот самый зал, где происходила первая беседа. Ему сообщили, что землян перевезут вскоре на новое место, где они будут изолированы и где их будут лечить.

При землянах дежурили двое утопийцев в противогазах. Они стояли на открытой галерее в позах, вы-

зывавших неприятное подозрение, что это не то часовые, не то стража.

Земляне расположились на сиденьях амфитеатра, и только мистер Руперт Кэтскилл расхаживал по апсиде и, не умолкая, ораторствовал. На нем не было его цилиндра, волосы его растрепались, он был красен и возбужден.

— Все идет так, как я предвидел, — твердил он. — Разве я не говорил вам, что сама Природа — наша союзница? Разве я не утверждал этого?

Мистер Берли был возмущен и протестовал.

— Право, не могу уловить логики в том, что происходит! — объявил он. — Мы здесь единственные, кто обладает полным иммунитетом, а нас, именно нас, сочли нужным изолировать.

— Они говорят, что мы их заражаем, — заметила леди Стэлла.

— Отлично! — возразил мистер Берли, делая выразительный жест длинной белой рукой. — Отлично! Тогда пусть их изолируют. Нет, это какая-то китайщина. Все шиворот-навыворот! Я совершенно разочаровался в них.

— Поскольку они здесь хозяева, — заметил мистер Ханкер, — нам приходится считаться с их порядками.

Мистер Кэтскилл обратился к лорду Барралонгу и двум шоферам.

— А я даже рад, что они так обращаются с нами, — сказал он. — Я рад этому.

— Что вы имеете в виду, Руперт? — удивился лорд Барралонг. — Они ведь лишают нас свободы действия.

— Нисколько, — отпарировал мистер Кэтскилл, — нисколько. Наоборот, мы выигрываем. Нас хотят изолировать. Нас поселят на каком-нибудь острове или горе. Великолепно! Это только начало наших приключений. Мы еще посмотрим, что будет дальше!

— А что же именно?

— Не спешите — подождите до тех пор, пока мы сможем разговаривать совершенно свободно... Их действия свидетельствуют о панике. Эпидемия только начинается. Все только начинается. Поверьте мне.

Мистер Барнстейпл сидел, насупившись, у своего чемодана, старательно избегая торжествующего взгляда мистера Кэтскилла.

ЗАМОК НА УТЕСЕ

1

Карантин, куда отправили землян, находился, видимо, на весьма значительном расстоянии от Садов Совещений, так как перелет продолжался около шести часов, а летели они на большой высоте и очень быстро. Теперь все они летели на одном воздушном корабле, просторном и удобном, рассчитанном, вероятно, на вчетверо большее число пассажиров. Их сопровождало около трех десятков утопийцев в противогазах, в том числе две женщины. На авиаторах были одеяния из белого пушистого материала, вызвавшего зависть у обеих дам — мисс Грей и леди Стеллы. Воздушный корабль пролетел над ущельем, над большой равниной, пересек узкий морской залив, пронесся над страной со скалистым побережьем и густыми лесами, а потом долго шел над огромным, совершенно пустынным морем. На этом море не было заметно почти никакого судоходства — мистер Барнстейпл подумал, что ни один океан на земле не был бы таким пустынным, только раз или два он заметил большие дрейфующие корабли, совершенно непохожие на земные суда и скорее напоминавшие плоты или плавучие платформы; потом встретились еще два-три судна, очевидно, грузовые пароходы, — на одном из них он разглядел мачты и паруса. В воздухе было так же пустынно: после того, как исчезла из виду суша, и вплоть до приземления корабля навстречу им попались всего три аэроплана.

Воздушный корабль миновал густонаселенную живописную прибрежную полосу и понесся дальше над безводной пустыней, где, видимо, находились рудники и шло какое-то промышленное строительство. Далеко впереди маячили высокие, покрытые снегом горные вершины, но корабль, не долетев до них, стал снижаться. Некоторое время земляне неслись над огромными отвалами породы — целыми горами, очевидно, извлеченными из гигантского колодца, уходящего в самые далекие, неизведанные глубины. Из этой бездны доносился оглушительный грохот машин и валил густой дым. То там, то тут попадались боль-



шие группы рабочих — видимо, они жили в палатках среди всего этого хаоса. Рабочие явно находились здесь временно: нигде не было никаких признаков постоянного жилья. Воздушный корабль обогнул эту территорию и теперь летел над скалистой, почти лишенной растительности пустыней, прорезанной глубокими, похожими на каньоны ущельями. Люди попадались редко, хотя повсюду было заметно, что и здесь ведется большое строительство. На каждом горном потоке, на каждом речном пороге работали турбины, вдоль скалистых ущелий и над пустынями тянулись кабели. Там, где ущелья были шире, виднелись сосновые леса и густой кустарник.

На развилке двух каньонов, выступая вперед, как отделившийся от берега мыс, высилась огромная скала. Это и было место их карантина. Скала взметнулась в высоту не меньше чем на две тысячи футов над пенящимся хаосом потоков, внизу — гигантское нагромождение бледно-зеленых и лиловых утесов, остинившихся острыми зубцами, пересеченных пластами других пород, испещренных сетью белых прожилок горного хрусталя. С одной стороны скала была гораздо круче, чем с другой, и это ущелье с нависшими над ним утесами казалось туннелем; через ущелье, примерно в ста футах от его начала, был переброшен легкий металлический мост. В нескольких ярдах над ним виднелись выступы — возможно, остатки более древнего каменного моста. Задняя сторона скалы круто обрывалась вниз на сотни футов и переходила в длинный, покрытый скудной растительностью склон, поднимавшийся к горному массиву — сплошному нагромождению скал, увенчанному плоской вершиной.

Вот на этот-то склон и опустился их воздушный корабль, а рядом с ним три или четыре машины поменьше. На вершине утеса виднелись развалины старинного замка. Между стенами развалин лепилось несколько строений, где жила недавно группа ученых-химиков. Их исследования в области структуры атома, совершенно непонятные для мистера Барнстейпла, как раз недавно были закончены, и здания пустовали. В лабораториях еще оставалось множество всяких аппаратов и материалов; к ним были подведены водопроводные трубы и электрические провода. Были здесь и достаточные запасы провизии. Когда

земляне сошли с воздушного корабля, они увидели несколько утопийцев, которые спешно приспособили здания к их новому назначению.

Появился Серпентин. Его сопровождал человек в противогазе, назвавшийся Кедром. Он оказался ученым-цитологом, и ему была поручена организация этого импровизированного санатория.

Серпентин объяснил, что он прилетел сюда заранее, так как знает местные условия и работу, которая здесь велась; наконец, он уже знаком с землянами, и его сравнительно стойкий иммунитет к инфекциям позволяет ему выступать посредником между ними и врачами, которые займутся их лечением. Все эти объяснения он давал мистеру Берли, мистеру Барнстейплу, лорду Барралонгу и мистеру Ханкеру. Остальные земляне стояли в стороне, у воздушного корабля, с которого только что сошли, и с явным недовольством разглядывали развалины на вершине утеса, жалкий кустарник на унылом склоне и торчащие над каньонами скалы.

Мистер Кэтскилл отошел в сторону, почти к самому краю обрыва, и остановился там, погруженный в раздумье, заложив руки за спину, — в почти наполеоновской позе, глядя вниз на эти пропасти, никогда не озарявшиеся солнцем. Шум невидимых потоков, то громкий, то почти затихающий, дрожал в воздухе.

Мисс Грита Грей неожиданно вытащила фотоаппарат «Кодак». Она вспомнила о нем, когда укладывала вещи для полета сюда, и теперь стала снимать всю группу.

Кедр сказал, что он сейчас объяснит метод лечения, к которому собирается прибегнуть. Лорд Барралонг крикнул: «Руперт!», — приглашая и мистера Кэтскилла послушать.

Кедр говорил так же сжато и ясно, как Эрфред на первой беседе. Совершенно очевидно, начал он, что земляне носят в себе самые разнообразные инфекционные организмы, деятельность которых подавляется антителами; утопийцы же не обладают больше необходимой защитой против болезнетворных микробов и смогли бы приобрести иммунитет только в результате тяжелой и опустошительной эпидемии. Чтобы предотвратить распространение этой грозной эпидемии по всей планете, есть только один путь — надо прежде всего изолировать и лечить всех заболевших, что уже

и делается, — место Совещаний превращено в огромный лазарет, а землян пришлось изолировать и держать в карантине до тех пор, пока они не будут очищены от живущей в них инфекции. Разумеется, признал Кедр, это не очень гостеприимно по отношению к землянам, но, очевидно, другого выхода нет: пришлось доставить их в не совсем обычное место — в высокогорную засушливую пустыню и здесь найти способы, с помощью которых будет достигнуто полное очищение их организма. Если только такое лечение окажется возможным, оно будет проведено, и тогда земляне снова смогут свободно передвигаться по Утопии.

— Предположим, однако, что ваше лечение окажется невозможным? — перебил его мистер Кэтскилл.

— Я надеюсь, что оно возможно.

— А если вы все-таки потерпите неудачу?

Кедр с улыбкой взглянул на Серпентина.

— Наши физики продолжают сейчас исследования, которые вели Арден и Гринлейк. Пройдет немного времени — и мы будем в состоянии повторить их эксперимент. А затем и провести его в обратном направлении.

— При нашем участии в качестве подопытных животных?

— Мы сделаем это не раньше, чем полностью убедимся, что для вас это будет совершенно безопасно.

— Вы хотите сказать... — спросил м-р Марш, подошедший к землянам, окружавшим Кедра и Серпентина, — что собираетесь... отослать нас обратно?

— Если не сможем продолжать оказывать вам гостеприимство здесь, — ответил, улыбаясь, Кедр.

— Прелестная перспектива! — негодуяще воскликнул мистер Маш. — Тобой выстреливают из пушки в космическое пространство. Да еще в виде опыта.

— А можно ли спросить, — раздался голос отца Эмертона. — Можно ли спросить: каков характер этого вашего *лечения*, этих опытов, для которых мы будем, так сказать, служить морскими свинками? Это будет нечто вроде вакцинации?

— Инъекции, — пояснил мистер Барнстейпл.

— Я еще не решил, — сказал Кедр. — Тут встает множество сложных проблем, о которых наш мир давным-давно забыл.

— Я сразу должен заявить, что являюсь убежденным противником вакцинации, — сказал отец Эмертон. — Решительным противником. Вакцинация — это оскорбление Природы. Если у меня были еще некоторые сомнения до того, как я попал в этот мир... пороков, то теперь мои сомнения исчезли. Исчезли бесследно! Если бы господь пожелал, чтобы наши тела содержали все эти сыворотки и ферменты, он создал бы для этого более естественные и пристойные средства, чем ваш шприц!

Кедр не стал спорить с ним. Он продолжал извиняться. Он вынужден просить землян на некоторое время ограничить свои передвижения — не уходить за пределы утеса дальше нижнего склона и скал у подножия горы. Он не может также поручить заботу о них молодежи, как это было до сих пор. Им придется самим готовить еду и вообще заботиться о себе. Все необходимое они найдут на вершине утеса, а он и Серпентин помогут им всеми нужными разъяснениями. Провизии здесь для них вполне достаточно.

— Значит, нас оставят здесь одних? — спросил мистер Кэтскилл.

— Временно. Когда мы найдем решение задачи, мы придем к вам и скажем, что собираемся делать дальше.

— Отлично! — сказал мистер Кэтскилл. — Отлично!

— Как жаль, что я послала свою горничную поездом! — вздохнула леди Стелла.

— У меня остался всего один чистый воротничок, — добавил мосье Дюпон с шутливой гримасой. — Не так-то просто отдыхать в обществе лорда Барралонга!

Лорд Барралонг вдруг повернулся к своему шоферу.

— Мне кажется, Ридли может стать очень недурным поваром.

— Что ж, я не против взяться за это, — ответил Ридли. — Чем я только не занимался, даже паровым автомобилем управлял!

— Человек, который имел дело с такой... такой штукой, может справиться со всем, — с глубоким чувством подхватил Пенк. — Я не возражаю стать на время подручным при мистере Ридли. Я начинал кухонным мальчиком и не стыжусь этого.

— Если этот джентельмен покажет нам посуду и прочую дребедень... — сказал Ридли, тыкая пальцем в Серпентина.

— Вот именно, — поддержал Пенк.

— И если все мы не будем слишком капризничать... — храбро добавила мисс Грита.

— Я полагаю, мы как-нибудь справимся, — заявил мистер Берли, обращаясь к Кедру. — Если вначале вы не откажете нам в совете и некоторой помощи.

2

Кедр и Серпентин оставались с землянами на Карантинном утесе до сумерек. Они помогли им приготовить ужин и сервировать его во дворе замка. Затем они улетели, обещав вернуться на следующий день, и земляне проводили глазами поднявшиеся в воздух аэропланы.

К своему удивлению, мистер Барнстейпл почувствовал, что очень расстроен отъездом утопийцев. Он уже видел, что его спутники затевают что-то недоброе, а отъезд утопийцев развязывает им руки. Он помог леди Стелле приготовить омлет, затем отнес блюдо и сковородку на кухню и поэтому сел за стол последним. И тут он увидел, что его опасения оправдываются.

Мистер Кэтскилл уже кончил есть и теперь, поставив ногу на скамью, держал речь перед остальным обществом.

— Я спрашиваю вас, леди и джентельмены, — говорил он. — Я спрашиваю вас: разве события сегодняшнего дня не указующий перст судьбы?.. Недаром это место в древние времена было крепостью. И вот оно уже готово снова превратиться в крепость... м-да... именно в крепость. Здесь будет положено начало деяниям, перед которыми померкнут подвиги Кортеса и Писарро!

— Дорогой Руперт! — воскликнул мистер Берли. — Что еще взбрело вам в голову?

Мистер Кэтскилл эффектно помахал двумя пальцами.

— Завоевание целой планеты!

— Боже правый! — воскликнул мистер Барнстейпл. — Да вы сумасшедший?

— Такой же сумасшедший, — ответил мистер Кэтскилл, — как Клайв или султан Бабер, когда он пошел на Панипат!

— Предложение довольно смелое, — заметил мистер Ханкер, хотя чувствовалось, что в душе он уже подготовился к подобным планам. — Однако я склонен думать, что оно заслуживает обсуждения. Альтернатива, насколько я понимаю, может быть только одна: нас почистят и выбелят изнутри и снаружи, а потом выстрелят нами в сторону Земли, причем не исключено, что по пути мы можем обо что-нибудь ушибиться. Говорите, говорите, мистер Кэтскилл.

— Да, да, говорите! — поддержал лорд Барралонг, который, видимо, тоже заранее все обдумал. — Я полагаю, здесь есть некоторый риск. Но бывают случаи, когда идти ва-банк необходимо, иначе тебя самого обыграют. Я целиком за решительные действия.

— Да, безусловно, здесь есть риск, — подтвердил мистер Кэтскилл. — Но, сэр, на этой узенькой скале, на территории в одну квадратную милю, должна решиться судьба двух миров! Сейчас не время для малодушия и для расслабляющей осторожности. Быстро выработать план — и немедленно действовать!..

— Просто дух захватывает! — воскликнула мисс Грита Грей, обхватив руками колени и ослепительно улыбаясь мистеру Машу.

— Эти люди, — заговорил мистер Барнстейпл, — впереди нас на три тысячи лет. А мы уподобляемся кучке готтентотов из эрлкортского балагана, которые задумали бы завоевать Лондон.

Мистер Кэтскилл, упершись руками в бока, повернулся к мистеру Барнстейплу и посмотрел на него с полнейшим благодушием.

— На три тысячи лет *старше* нас — да! На три тысячи лет *впереди* нас — нет! Вот в чем мы расходится с вами. Вы говорите, это сверхлюди... М-м... Как сказать!.. А я говорю: это вырождающиеся люди. Разрешите изложить вам мои основания для такого мнения, несмотря на внешнюю красоту этих людей, их значительные материальные и духовные достижения и прочее. Идеальная раса, допустим!.. Ну, а дальше?.. Я утверждаю, что они достигли вершины и уже прошли ее, а теперь движутся по инерции, утра-

тив не только способность сопротивляться болезням — эта их слабость будет, как мы увидим, все больше сказываться, — но и вообще бороться против любой непривычной угрозы! Они кроткий народ. Даже слишком кроткий. Они ни на что не способны. Они не знают, что им делать... Вот перед вами отец Эмертон. Он грубо оскорбил их во время первой нашей беседы с ними. (Да, да, отец Эмертон, вы не можете этого отрицать. Я не виню вас. Вы весьма чувствительны в вопросах морали, и у вас были причины для возмущения.) Так вот, они угрожали отцу Эмертону, как старая бабушка грозит маленькому внуку. Они собирались что-то сделать с ним. И что же? Разве они выполнили свое намерение?

— Приходили мужчина и женщина и беседовали со мной, — сообщил отец Эмертон.

— А что сделали вы?

— Просто-напросто опроверг их. Возвысил голос и опроверг.

— А что говорили они?

— Что они могли сказать?

— А мы с вами, — продолжал мистер Кэтскилл, — думали, что отца Эмертона ожидает нечто ужасное!.. Но возьмем более серьезный случай. Наш друг лорд Барралонг мчался, не разбирая дороги, в своем автомобиле — и убил одного из них. М-м-да... Даже у нас, как вы знаете, за это лишили бы права управлять автомобилем. И оштрафовали бы шофера. А здесь?.. Они и не упоминали больше об этом. Почему? Потому что не знают, что об этом сказать и как поступить... А теперь они упрятали нас сюда и просят быть паиньками — пока они не явятся и не станут устраивать над нами всякие эксперименты, вливать в нас всякую всячину и делать с нами бог знает что еще. Если мы этому подчинимся, сэр, если мы подчинимся, мы потеряем одно из самых сильных наших преимуществ над ними: способность заражать бациллами других, самим же оставаться здоровыми, а заодно, пожалуй, и нашу инициативность, возможно, связанную с этой физиологической стойкостью, которой нас лишат... Как знать, не станут ли они воздействовать на наши железы внутренней секреции? Но наука говорит, что в этих железах сосредоточена индивидуальность каждого. Мы исчезнем интеллектуально и

морально, то есть если мы подчинимся этому, сэр, если только мы подчинимся! Но предположим, мы не подчинимся, что тогда?

— Вот именно, что тогда? — спросил лорд Барралонг.

— Они не будут знать, что делать! Только не давайте себя обмануть всей этой показной красотой и процветанием. Эти люди живут так, как жили древние перуанцы времен Писарро, — в каких-то расслабляющих грезах. Они вволю наглопались этого одурманивающего питья, именуемого социализмом, и теперь у них, как у древних перуанцев, не осталось больше ни физического здоровья, ни силы воли. Горстка решительных и смелых людей может не только бросить вызов такому миру, но и восторжествовать над ним. Поэтому-то я и излагаю перед вами свой план.

— Вы собираетесь овладеть всей этой планетой? — осведомился мистер Ханкер.

— Нелегкое дело, — заметил лорд Барралонг.

— Я собираюсь, сэр, утвердить права более активной формы общественной жизни над менее активной! Мы в крепости. Это настоящая крепость, которую можно оборонять. Пока вы все распаковывали чемоданы, Барралонг, Ханкер и я осмотрели ее. В крепости есть крытый колодец — в случае необходимости мы сможем доставать воду из ущелья внизу. В скале вырублены помещения и укрытия; стена задняя прочная, высокая и совершенно гладкая, по ней не взберешься. Большие ворота можно при нужде легко забаррикадировать. Лестница в скале ведет к тому легкому мостику — его можно разрушить. Мы еще не осмотрели все помещения в скале. В лице мистера Ханкера мы имеем химика — то есть он был химиком до того, как кинопромышленность провозгласила его своим королем, — и он утверждает, что в лабораториях достаточно материалов для изготовления большого запаса бомб. Наша группа, как я убедился, располагает пятью револьверами с достаточным количеством патронов. Это лучше, чем я ожидал. Что же касается продовольствия, — его хватит надолго.

— Как это нелепо! — воскликнул мистер Барнстейпл, вскакивая с места и тут же садясь снова. — Совершеннейший абсурд! Выступить против этих гос-

теприимных людей! Да стоит им захотеть — они разнесут вдребезги всю эту жалкую скалу!

— А! — вскричал мистер Кэтскилл и указал на него пальцем. — Мы и об этом подумали. Мы можем по-следовать примеру Кортеса: он в самом сердце Мехико держал взаперти Монтецуму в качестве пленника и заложника. У нас тоже будет заложник. Прежде чем начинать действовать, сперва заложник...

— А бомбы с аэропланов?

— А есть ли они в Утопии? Имеют ли они понятие о них? И опять-таки — у нас ведь будет заложник!

— Надо только, чтобы это была какая-нибудь важная персона, — сказал мистер Ханкер.

— Кедр и Серпентин — оба достаточно значительные люди, — сказал мистер Берли тоном беспристрастного наблюдателя.

— Неужели, сэр, и вы станете поддерживать эти мальчишеские пиратские фантазии! — воскликнул глубоко возмущенный мистер Барнстейпл.

— Мальчишеские! — вознегодовал отец Эмертон. — Перед вами член кабинета, пэр Англии и крупный промышленник!

— Дорогой сэр, — сказал мистер Берли, — мы ведь в конце концов только рассматриваем всякие возможные случаи. Право же, я не вижу, почему нам нельзя обсудить эти возможности. Хотя я молю небо, чтобы нам не пришлось ими воспользоваться... Итак, вы говорили, Руперт, что...

— Мы должны утвердиться здесь, и заявить о своей независимости, и заставить утопийцев с нами считаться.

— Правильно! — крикнул от всего сердца мистер Ридли. — Кое с кем из этих утопийцев я сам с удовольствием посчитаюсь!

— Мы должны, — продолжал мистер Кэтскилл, — превратить эту тюрьму в наш Капитолийский холм, где твердо станет нога земного человека. Это будет нога, всунутая в дверь, чтобы она осталась навсегда открытой для нашей расы!

— Дверь закрыта наглухо, — сказал мистер Барнстейпл. — Только по милости утопийцев мы можем надеяться снова увидеть наш земной мир. Да и это еще сомнительно.

— Эта мысль не дает мне уснуть по ночам, — пожаловался мистер Ханкер.

— Эта мысль, видимо, приходит в голову всем нам, — заметил мистер Берли.

— И мысль эта чертовски неприятна, настолько, что о ней не хочется говорить, — заявил лорд Барралонг.

— А я как-то об этом до сих пор не подумал! — пробормотал Пенк. — Неужто и вправду, сэр, мы... мы *не сможем выбраться отсюда?*

— Будущее покажет, — сказал мистер Берли. — Именно поэтому я с большим интересом жду дальнейшего изложения идей мистера Кэтскилла.

Мистер Кэтскилл снова упер руки в бока и заговорил очень торжественно:

— В одном я согласен с мистером... мистером Барн... Барнаби... Я считаю, что у нас мало шансов снова увидеть когда-нибудь столь милые нашему сердцу города родной планеты.

— Я чувствовала это, — прошептала леди Стелла поблсднсвшими губами. — Я это *знала* еще два дня назад.

— Подумать только, что мой воскресный отдых растянется на целую вечность! — добавил мосье Дюпон.

Несколько мгновений все молчали.

— Так как же это... — начал наконец Пенк. — Это же... Выходит, что мы вроде как померли?

— Но я непременно должна вернуться туда! — внезапно разразилась мисс Грита Грей, словно отмахиваясь от бреда сумасшедшего. — Это нелепо! Я должна выступать в «Альгамбре» второго сентября. Это совершенно обязательно! Мы сюда попали без всякого труда — почему же вы говорите, что я не могу вернуться тем же путем обратно?

Лорд Барралонг посмотрел на нее и сказал с нежным злорадством:

— Вам придется подождать.

— Но я должн-а-а! — пропела она.

— Бывают вещи, невозможные даже для мисс Гриты Грей.

— Закажите специальный аэроплан! — настаивала она. — *Делайте что хотите!*

Он снова посмотрел на нее с усмешкой состарившегося эльфа и покачал головой.

— Милый мой, — сказала она, — вы до сих пор

видели меня только во время отдыха. Работа — это серьезное дело.

— Деточка, ваша «Альгамбра» так же далеко от нас сейчас, как дворец царя Навуходоносора... Это невозможно.

— Но я должна! — повторила она с обычным царственным видом. — И больше говорить не о чем.

3

Мистер Барнстейпл встал из-за стола, подошел к пролому в стене замка, откуда открывался вид на погружающийся в темноту дикий ландшафт, и сел там. Глаза его перебежали от маленькой группы людей, разговаривающих за столом, к озаренным лучами заходящего солнца утесам над краем ущелья и к утрюмым склонам горы, раскинувшимся под скалой. В этом мире ему, возможно, придется провести остаток своих дней...

А ведь этих дней будет не так много, если мистер Кэтскилл настоит на своем. Сайденхем, жена, сыновья — все это действительно так же далеко, «как дворец царя Навуходоносора».

Он почти не вспоминал о семье с тех пор, как опустил письмо жене. Сейчас у него мелькнуло смешное желание — подать им весточку о себе, хоть какой-нибудь знак, если бы только это было возможно! Как странно, что они никогда больше не получают от него письма и ничего не узнают о его судьбе! Как они будут жить без него? Наверное, у них будут затруднения с его счетом в банке. И со страховой премией? Он давно собирался завести с женой совместно-раздельный банковский счет, но почему-то решил не делать этого... Совместно-раздельный... Так должен бы поступать каждый муж и глава семьи... Он снова стал прислушиваться к речи мистера Кэтскилла, развивавшего свои планы.

— Мы должны привыкнуть к мысли, что наше пребывание здесь будет долгим, очень долгим. Давайте же не будем обманываться на этот счет. Пройдет много лет, возможно, даже сменится много поколений.

Это поразило Пенка.

— Я что-то не пойму, — сказал он. — Как это может быть — «много поколений»?

— Я еще скажу об этом, — ответил мистер Кэтскилл.

— Да уж! — заметил мистер Пенк и погрузился в глубокую задумчивость, устремив взгляд на леди Стеллу.

— Нам придется оставаться на этой планете небольшой самостоятельной общиной до тех пор, пока мы не покорим ее, как римляне покорили греков, пока не овладеем ее наукой и не подчиним ее нашим целям. Это потребует длительной борьбы. Да, очень длительной борьбы. Мы должны оставаться замкнутой общиной, считать себя колонией, если угодно, гарнизоном, пока не наступит день воссоединения. Мы должны иметь заложников, сэр, и не только заложников. Возможно, для нашей цели будет необходимо — а если необходимо для нашей цели, то и быть посему! — залучить сюда и других утопийцев, захватить их в юном возрасте, пока здешнее так называемое образование не сделает их непригодными для нашей цели — для воспитания их в духе великих традиций нашей империи и нашей расы.

Мистер Ханкер хотел что-то сказать, но воздержался.

Мосье Дюпон резко поднялся из-за стола, сделал несколько шагов, вернулся и продолжал стоя слушать мистера Кэтскилла.

— Поколений? — повторил мистер Пенк.

— Да, — сказал мистер Кэтскилл. — Поколений! Потому что здесь мы чужеземцы, такие же, как другой отряд искателей приключений, который двадцать пять столетий назад воздвиг свою цитадель на Капитолийском холме у вод стремительного Тибра. Наш Капитолийский холм здесь, и он намного величественнее, как и наш Рим величественнее и обширнее того, старого. И, подобно этому отряду римских искателей приключений, мы должны увеличить наши небольшие силы за счет окружающих нас сабинян — захватывать себе слуг, помощников и подруг! Нет жертвы слишком великой, если она будет принесена ради великих возможностей, которые таятся в нашем начинании.

Судя по виду мосье Дюпона, он уже готов был принести эту жертву.

— Но с обязательным бракосочетанием! — изрек отец Эмертон.

— Да, да, с бракосочетанием, — согласился мистер Кэтскилл и продолжал: — Итак, сэр, мы укрепимся, и утвердимся здесь, и будем держать в руках эту пустынную область, и будем внедрять наш престиж, наше влияние и наш дух в инертное тело этой вырождающейся Утопии. Мы будем делать это до тех пор, пока не овладеем секретом, которого искали Арден и Гринлейк, и не найдем путь обратно, к нашему собственному народу, открыв тем самым миллионам людей нашей перенаселенной империи доступ...

4

— Одну минуту, — перебил мистер Ханкер. — Одну минуту. Я насчет империи...

— Вот именно! — подхватил мосье Дюпон, словно вдруг очнувшись от каких-то романтических грез наяву. — Относительно вашей империи!

Мистер Кэтскилл задумчиво и несколько смущенно взглянул на них.

— Я употребил слово «империя» в самом широком смысле.

— Вот именно! — воинственно бросил мосье Дюпон.

— Я имел в виду... э... нашу Атлантическую цивилизацию вообще...

— Сэр, прежде чем вы начнете рассуждать об англосаксонском единстве и о народах, говорящих на английском языке, — заявил мосье Дюпон со все возрастающим раздражением, — позвольте напомнить вам, сэр, об одном важном факте, который вы, вероятно, упустили из виду. Язык Утопии, сэр, — французский язык! Я хотел бы напомнить вам об этом. Я хотел бы, чтобы вы удержали это в памяти. Я не стану здесь подчеркивать, сколько жертв понесла и сколько мук претерпела Франция во имя цивилизации...

Его прервал мистер Берли:

— Вполне естественное заблуждение. Простите меня, но я должен указать: язык Утопии не французский язык.

«Ну, конечно, — подумал мистер Барнстейпл, —

мосье Дюпон ведь не слышал объяснений относительно языка».

— Позвольте мне, сэр, верить свидетельству своих собственных ушей, — ответил с надменной учтивостью француз. — Эти утопийцы, смею вас заверить, говорят по-французски, именно по-французски, это прекрасный французский язык!

— Они не говорят ни на каком языке, — сказал мистер Берли.

— Даже на английском? — насмешливо прищурился мосье Дюпон.

— Даже на английском.

— И даже на языке Лиги Наций? Ба, да зачем я спорю? Они говорят по-французски. Даже бош не посмел бы отрицать этого. Надо быть англичанином, чтобы...

«Очаровательная перепалка», — подумал мистер Барнстейпл. Поблизости не было ни одного утопийца, чтобы разубедить мосье Дюпона, и тот твердо отстаивал свое убеждение... Со смешанным чувством жалости, презрения и гнева мистер Барнстейпл слушал, как кучка людей, затерянных в сумерках огромного, чужого и, быть может, враждебного мира, все больше и больше распаляется, споря о том, какая из их трех наций имеет «право» на господство над Утопией, «право», основанное исключительно на алчности и недомыслии. Голоса то переходили в крик, то понижались до судорожного полусшепота по мере того, как разгорался привычный национальный эгоизм. Мистер Ханкер твердил, что не знает никаких империй; мосье Дюпон повторял, что право Франции превыше всего. Мистеру Кэтскилл лавировал и изворачивался. Мистеру Барнстейплу это столкновение патриотических пристрастий казалось дракой собак на тонущем корабле. В конце концов упорный и находчивый мистер Кэтскилл сумел умиротворить своих противников.

Стоя во главе стола, он объяснил, что употребил слово «империя» в переносном смысле, извинился за то, что вообще употребил его, и указал, что под «империей» он подразумевал всю западную цивилизацию.

— Когда я произнес это слово, — сказал он, обращаясь к мистеру Ханкеру, — я имел в виду общее наше братство и согласие. Я имел в виду, — добавил он,

поворачиваясь к Дюпону, — и наш испытанный и нерушимый союз.

— По крайней мере, здесь нет русских, — сказал мосье Дюпон. — И немцев тоже.

— Правильно, — подтвердил лорд Барралонг. — Мы опередили здесь бошей и не допустим их сюда.

— Я надеюсь, что японцы тоже полностью устранятся, — сказал мистер Ханкер.

— Не вижу причин, почему бы нам сразу не установить цветной барьер, — задумчиво произнес лорд Барралонг. — Мне кажется, мы нашли здесь уже готовый мир белого человека.

— И все-таки, — холодно и настойчиво добавил мосье Дюпон, — вы извините меня, но я попрошу вас несколько уточнить наши теперешние отношения и закрепить их соответствующими гарантиями, эффективными гарантиями, дабы величайшие жертвы, которые принесла и продолжает приносить Франция на алтарь цивилизации, могли получить надлежащее признание и соответствующее вознаграждение в предпринимаемом нами деле... Я прошу только справедливости, — заключил мосье Дюпон.

5

Негодование придало смелости мистеру Барнстейплу. Он спустился со своего насеста на стене и подошел к столу.

— Кто из нас сошел с ума? — спросил он. — Вы или я? Вся эта грызня вокруг флагов, престижа своей страны, фантастических притязаний, заслуг и прочего — безнадежная чепуха. Неужели вы до сих пор не понимаете, в каком мы положении?

На мгновение у него перехватило дыхание, но он справился с собой и продолжал:

— Неужели вы не способны разговаривать о человеческих делах иначе, как на языке войны, захватов, грабежа, национальных флагов? Неужели вы не ощущаете подлинную меру вещей, не видите, в какой мир мы с вами попали? Я уже говорил, мы похожи на кучку дикарей из эрлкортского балагана, задумавших покорить Лондон. Да, мы — как эти жалкие каннибалы в сердце гигантской столицы, мечтающие возро-

дить в Утопии нашу старую мерзость, давно здесь забытую. На что мы можем рассчитывать в этой дикой затее?

Мистер Ридли укоризненно заметил:

— Вы забыли то, что вам только что сказали. Забыли начисто. Половина их населения валяется в инфлюэнце и кори. Во всей Утопии уже некому сопротивляться.

— Вот именно, — подтвердил мистер Кэтскилл.

— Хорошо, — не сдавался мистер Барнстейпл. — Предположим, что у вас есть какие-то шансы на успех, но тогда ваш план еще более отвратителен. Сейчас мы вырваны из тревог и волнений нашего земного века, и перед нами видение, вернее, реальность другой цивилизации, которую наш мир может обрести только через много десятков столетий! Здесь мир спокойствия, сияющий, счастливый, мудрый, полный надежды! А мы — если только наши хилые силенки и низкое коварство нам позволяют — хотим его разрушить! Мы собираемся уничтожить целый мир! Я говорю вам: это отнюдь не славное деяние. Это преступление. Это гнусность. Я не желаю участвовать в этом. Я протестую против вашей затеи.

Отец Эмертон попытался было возражать, но мистер Берли остановил его движением руки.

— А что предлагаете вы? — спросил он мистера Барнстейпла.

— Довериться их науке. Научиться у них всему, чему сможем. Возможно, мы очень быстро будем очищены от того яда, что носим в себе, и нам будет позволено снова вернуться из этой отдаленной пустыни, где одни шахты, турбины и скалы, в города-сады, которые мы даже и не разглядели по-настоящему. Там мы тоже кое-что узнаем о подлинной цивилизации... А в конце концов мы, вероятно, вернемся в собственный хаотичный мир с приобретенными знаниями, принесем ему надежду и помощь, как миссионеры нового социального порядка.

— Но позвольте!.. — начал отец Эмертон.

Его снова опередил мистер Берли.

— Все, что вы говорите, — заметил он, — опирается на недоказанные предпосылки. Вам угодно смот-

реть на эту Утопию сквозь розовые очки. Все остальные... — он пересчитал присутствующих, — все одиннадцать против вас одного, смотрят на вещи без такой благожелательной предвзятости.

— И могу ли я спросить, сэр! — воскликнул отец Эмертон, вскочив с места и так ударив по столу, что задрезжали все стаканы. — Могу ли я спросить, кто вы такой, чтобы брать на себя роль судьи и цензора над мнением всего человечества? Ибо я говорю вам, сэр, что перед нами отверженный, безнравственный и чуждый мир, а мы — все двенадцать — представляем здесь человечество. Мы авангард, пионеры в этом новом мире, который даровал нам господь, точно так же, как он даровал Ханаан своему избранному народу — Израилю — три тысячи лет тому назад... Я спрашиваю, кто вы такой...

— Вот именно? — подхватил Пенк. — Кто вы такой?

— Кто вы такой, черт побери? — поддержал его мистер Ридли.

Мистер Барнстейпл был слишком неопытным оратором и не знал, как встретить такую лобовую атаку. Он беспомощно молчал. К его удивлению, на выручку ему пришла леди Стелла.

— Это нечестно, отец Эмертон, — заметила она. — Мистер Барнстейпл, кем бы он ни был, имеет полное право высказать свое мнение.

— А высказав свое мнение, подхватил Кэтскилл, который все время ходил взад и вперед, по другую сторону стола, — м-да, высказав его, он даст нам возможность продолжать обсуждение стоящих перед нами вопросов. Я полагаю, неизбежно должно было случиться, чтобы даже здесь, в Утопии, среди нас оказался человек, уклоняющийся от воинской повинности из принципиальных соображений. Остальные же, я уверен, единодушны в своем мнении относительно положения, в котором мы находимся.

— Да, единодушны! — подтвердил мистер Маш, смерив мистера Барнстейпла злобным взглядом.

— Очень хорошо, — сказал мистер Кэтскилл. — Тогда мы должны следовать тем прецедентам, которые уже имели место в подобных случаях. От мистера... мистера Барнстейпла мы не станем требовать, чтобы он разделил

с нами опасности и славу воинов. Мы попросим его нести какую-нибудь полезную вспомогательную службу.

Мистер Барнстейпл протестующе поднял руку.

— Нет, — сказал он, — я не собираюсь быть вам чем-либо полезным. Я отказываюсь признать эту аналогию с мировой войной, но так или иначе я решительно против вашего плана разгромить целую цивилизацию. Вы не можете назвать меня принципиально уклоняющимся от воинской обязанности, потому что я не отказываюсь воевать за правое дело. Но ваша авантюра не правое дело... Я умоляю вас, мистер Берли, вас, не только политика, но и человека высокой культуры, философа, еще и еще раз взвесить то, на что нас толкают: на акты насилия и разбой, после чего возврата уже не будет!

— Мистер Барнстейпл! — сказал мистер Берли с большим достоинством и легким упреком. — Я все взвесил. И осмелюсь сказать, у меня есть некоторый опыт, традиционный опыт в общественных делах. Я, может быть, не во всем согласен с моим другом мистером Кэтскиллом. Более того, в некоторых отношениях я с ним совершенно не согласен. Если бы я обладал единоличной властью, я сказал бы, что мы должны сопротивляться этим утопийцам, сопротивляться из уважения к себе, однако не путем насилия и агрессии, как предлагает мистер Кэтскилл. Я считаю, что нам следовало бы быть более гибкими, более осмотрительными, и тогда мы могли бы рассчитывать на больший успех, чем может надеяться мистер Кэтскилл, но это — мое личное мнение. Ни мистер Ханкер, ни лорд Барралонг, ни мистер Маш, ни мосье Дюпон не разделяют его. И мистер... словом, наши друзья... э-э-э... наши друзья из технической службы тоже, кажется, его не разделяют. Но что, по моему мнению, абсолютно необходимо нашей группе землян, попавших в этот чуждый мир, — это единство действия. Что бы ни случилось, мы не должны пасть жертвами разногласия между нами. Нам надо держаться вместе и действовать как единое целое. Обсуждайте, если желаете — когда есть время обсуждать, — но в конце концов решайте. А решив, лояльно выполняйте это решение... Что же касается необходимости взять одного-двух заложников — я ее не отрицаю. В этом мистер Кэтскилл совершенно прав.

Мистер Барнстейпл был плохим спорщиком.

— Но ведь эти утопийцы такие же люди, как и мы, — возразил он. — Все, что есть в нас разумного, цивилизованного, говорит о необходимости признать их превосходство...

Его подчеркнуто грубо перебил мистер Ридли.

— О господи! — воскликнул он. — Долго мы еще будем болтать! Уже вечер, а мистер... вот этот джентельмен уже все сказал, даже больше, чем надо. Мы должны распределить обязанности, чтобы до наступления ночи каждый знал, что ему делать. Я предлагаю избрать мистера Кэтскилла нашим командующим с вручением ему всей полноты военной власти.

— Я поддерживаю предложение, — с внушительным смирением проговорил мистер Берли.

— Может быть, — сказал мистер Кэтскилл, — мосье Дюпон согласится быть моим заместителем, как представитель своей великой страны, нашего главного союзника?

— Только за неимением кого-нибудь более достойного, — согласился мосье Дюпон, — и для того, чтобы интересы Франции должным образом уважались...

— А мистер Ханкер, возможно, согласится быть моим лейтенантом?.. Лорд Барралонг будет нашим квартирмейстером, а отец Эмертон — нашим капелланом и блюстителем нравов. Мистер Берли, само собой разумеется, станет нашим гражданским главой.

Мистер Ханкер кашлянул и нахмурился с видом человека, которому предстоит нелегкое объяснение.

— Я не буду лейтенантом, — сказал он. — Я не хотел бы занимать никакого определенного поста. Я не люблю брать на себя... международные обязательства. Я буду наблюдателем. Наблюдателем, который помогает. И вы убедитесь, господа, что на меня можно рассчитывать во всех случаях, когда моя помощь окажется необходимой.

Мистер Кэтскилл уселся во главе стола и указал на стул рядом с собой мосье Дюпону. По другую сторону мистера Кэтскилла, между ним и Ханкером, села Грита Грей. Мистер Берли остался на своем месте — через два стула от Ханкера. Остальные подошлись поближе и стали вокруг командующего, за исключением леди Стеллы и мистера Барнстейпла.

Мистер Барнстейпл почти демонстративно повернулся спиной к этому штабу. Он заметил, что леди Стелла осталась сидеть у дальнего конца стола, с большим сомнением посматривая на маленькую груп-

пу людей у другого конца; потом она перевела взгляд на мрачный горный кряж позади них.

Она вздрогнула и поднялась.

— После захода солнца здесь будет очень холодно, — сказала она, ни к кому не обращаясь. — Я пойду и достану накидку.

Она медленно направилась в отведенную ей комнату и больше не появлялась.

6

Мистер Барнстейпл всячески старался показать, что не слушает того, о чем говорят на военном совете. Он отошел к стене старого замка, поднялся по каменным ступеням и прошел вдоль парапета до самой верхушки скалы. Здесь грозный шум потоков в двух сходящихся каньонах был слышен очень отчетливо.

Скалы напротив были еще позолочены солнцем, но все остальное уже обволакивалось синими тенями; курчавый белый туман клубился в каньонах, скрывая бурные потоки. Туман подымался все выше и почти достиг маленького мостика, перекинутого через более узкий каньон к огороженной перилами лестнице на противоположной стороне. Впервые после того, как он попал в Утопию, мистер Барнстейпл почувствовал холод и одиночество, мучившие, как приступ боли.

В отдалении, в более широком каньоне, шли какие-то работы, и наползающий туман время от времени озарялся вспышками света. Высоко над горами плыл одинокий аэроплан, временами сверкая в лучах заката и отбрасывая вниз ослепительные золотые отблески. Потом он повернул и пропал в сгущающихся сумерках.

Мистер Барнстейпл посмотрел вниз, на широкий двор старинного замка. Современные здания среди этих массивных каменных построек казались в сумерках какими-то сказочными беседками. Кто-то принес фонарь, и командующий Руперт Кэтскилл, новый Кортес, принялся писать приказы, а его отряд стоял вокруг него.

Свет фонаря падал на лицо и руки мисс Гриты Грей; она наклонилась через плечо командующего, стараясь разглядеть, что он пишет. Мистер Барнстейпл заметил, что она вдруг подняла руку, прикрывая невольный зевок.

МИСТЕР БАРНСТЕЙПЛ
ПРЕДАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

1

Мистер Барнстейпл почти всю ночь просидел на своей кровати, размышляя о том, какими неисчислимыми сложностями чревато положение, в котором он очутился.

Что он может сделать? Что он должен сделать? И в чем заключается его долг? Из-за варварских обычаев Земли и ее болезней эта удивительная встреча с новым миром так внезапно породила уродливый и опасный антагонизм, что он не успел еще разобраться в своих мыслях. Теперь он видел только две возможности: либо утопийцы окажутся намного сильнее и мудрее их, и тогда он и все его спутники-пираты будут раздавлены и уничтожены, как вредные насекомые, либо безумные замыслы мистера Кэтскилла осуществятся, и земляне станут язвой, разъедающей здоровое тело этой благородной цивилизации, шайкой грабителей и разрушителей, которая станет год за годом, век за веком тянуть Утопию назад, к земному хаосу. Для него самого был только один выход: бежать из крепости к утопийцам, рассказать им о плане землян и отдать себя и своих спутников на их милость. Но сделать это надо поскорее — раньше, чем земляне успеют захватить заложников и начнется кровопролитие.

Однако ускользнуть от шайки землян будет, видимо, нелегко. Мистер Кэтскилл, наверное, уже расставил своих дозорных, а покинуть утес так, чтобы они не заметили, невозможно. Кроме того, в душе мистера Барнстейпла жило воспитанное с детства отвращение к ябедничеству и раскольническим действиям. Школа приучила его хранить верность той группе или организации, частью которой он был, — своему классу, своей команде, своему школьному отделению, своей школе, своему клубу, своей партии и так далее. Однако его ум и безграничная любознательность всегда боролись в нем с этой узкой отгороженностью от остального мира. И поэтому вся его жизнь была мучительным внутренним бунтом. Он питал отвращение к политическим партиям и политическим лидерам,

презирал и отвергал национализм, «служение империи» и все связанные с ним мишурные традиции патриотического долга; он ненавидел агрессивного завоевателя, хищного финансиста, напористого дельца — так же, как ненавидел ос, крыс, гиен, акул, блох, крапиву и тому подобное; всю свою жизнь он, по существу, был гражданином Утопии, прозябающим на Земле. И по-своему он всегда старался служить Утопии. Почему же он не должен служить ей сейчас? Пусть эта шайка землян мала и решилась на все — это еще не причина, чтобы служить делу, которое тебе ненавистно! Пусть они полны решимости, но тем не менее они носители зла! Нельзя низводить либерализм до болезненного почитания меньшинства!

Из землян только двое, леди Стелла и мистер Берли, вызывали в нем симпатию. Впрочем, в отношении мистера Берли он был не так уж уверен. Мистер Берли принадлежал к тем странным людям, которые как будто все понимают, но ничего не чувствуют. Он производил на мистера Барнстейпла впечатление интеллектуальной безответственности. А это, пожалуй, еще хуже, чем быть таким антиинтеллектуальным авантюристом, как мистер Ханкер или Барралонг? Мысль мистера Барнстейпла вернулась от абстрактных этических норм к реальной действительности. Завтра он еще раз обдумает все, выработает план действий и, возможно, в сумерках постарается ускользнуть.

Это было в его характере — откладывать намеченное действие на следующий день. Вся его жизнь почти с самого начала состояла из таких отложенных действий.

2

Но события не собирались ждать мистера Барнстейпла.

На рассвете его разбудил Пенк, объяснивший, что отныне гарнизону будет даваться по утрам побудка электрической сиреной, которую изготовили они с Ридли. Не успел Пенк договорить, как оглушительный вой этого механизма возвестил начало новой эры. Пенк протянул мистеру Барнстейплу вырванный из записной книжки листок бумаги, на котором мистер Кэтскилл написал:

«Нестроевой Барнеби. Помогать Ридли готовить завтрак, обед и ужин, вывешивать меню на стене столовой, убирать и мыть посуду; в остальное время быть в распоряжении лейтенанта Ханкера в химической лаборатории для проведения опытов и изготовления бомб. Содержать лабораторию в полной чистоте».

— Вот ваши обязанности, — сказал Пенк. — Ридли ждет вас.

— Ну что ж, — сказал мистер Барнстейпл и встал. Не было смысла вступать в пререкания, раз он все равно собирался бежать. Он отправился к исцарапанному и забинтованному Ридли, и они вместе приготовили несколько недурных блюд британской кухни образца 1914 года, великого года сухоядения.

По второму воплю сирены все ровно в половине седьмого собрались к завтраку. Мистер Кэтскилл произвел смотр своего гарнизона: мосье Дюпон стоял рядом с ним, мистер Ханкер несколько в стороне, а все остальные выстроились в шеренгу, кроме мистера Берли, который нес обязанности гражданского главы Утопии и по этой причине пребывал в постели, и мистера Барнстейпла, как нестроевого. Мисс Грита Грей и леди Стелла сидели в солнечном уголке и шили флаг. Это должен был быть голубой флаг с белой звездой, не похожий ни на один из существующих национальных флагов, чтобы не задевать ничьих патриотических чувств. Этот флаг должен был символизировать Лигу Наций землян.

После смотра маленький гарнизон разошелся по своим постам, мосье Дюпон принял на себя главное командование, а мистер Кэтскилл, бодрствовавший всю ночь, отправился спать. Подобно Наполеону, он умел засыпать на часок в любое время дня.

Мистер Пенк поднялся на башню замка, где была установлена сирена, и занял там наблюдательный пост.

У мистера Барнстейпла выдалось несколько свободных минут после того, как он уже кончил помогать Ридли, а мистер Ханкер еще не позвал его, и эти свободные минуты он использовал для осмотра стены замка над обрывом. Пока он стоял на парапете, обдумывая, удастся ли ему сбежать сегодня вечером, над Карантинным утесом появился аэроплан и спустился на соседнем склоне. Из машины вышли двое утопий-

цев, они что-то сказали своему авиатору и повернулись лицом к крепости землян.

Сирена коротко рывкнула, и на парашюте рядом с мистером Барнстейплом появился мистер Кэтскилл. Он вытащил полевой бинокль и стал разглядывать приближающихся утопийцев.

— Серпентин и Кедр, — сказал он, опуская бинокль. — Они идут сюда одни. Прекрасно.

Он обернулся, сделал знак Пенку, и сирена рывкнула дважды. Это был сигнал общего сбора.

Внизу, во дворе замка, появилось остальное Союзное войско и мистер Ханкер. Все выстроились, почти как настоящие солдаты.

Мистер Кэтскилл прошел мимо мистера Барнстейпла, не обратив на него никакого внимания, и, спустившись к Дюпону, Ханкеру и своим подчиненным, принялся объяснять им, как вести себя, когда наступит решительный момент. Мистер Барнстейпл не слышал, о чем шла речь. Он только отметил с ироническим неодобрением, что каждый, получив инструкции мистера Кэтскилла, щелкал каблуками и отдавал честь. Затем по команде все разошлись по своим постам.

С нижнего склона во двор замка можно было попасть через большие сводчатые ворота, к которым вела полуразрушенная каменная лестница. Ридли и Маш спустились по лестнице и притаились справа от нее, за каменным выступом, — так, чтобы их не мог увидеть человек, поднимающийся снизу. Отец Эмертон и мистер Ханкер спрятались с левой стороны. Отец Эмертон, как заметил мистер Барнстейпл, держал в руках свернутую веревку; затем он взглянул на мистера Маша и увидел в его руке револьвер, который тут же был спрятан в карман. Лорд Барралонг занял позицию несколькими ступенями выше, сжимая револьвер в здоровой руке. Мистер Кэтскилл, тоже с револьвером, стоял на верху лестницы. Он повернулся к башне замка, несколько мгновений изучал позицию Пенка, а затем сделал ему знак присоединиться к остальным. Мосье Дюпон, вооруженный массивной ножкой от стола, встал справа от мистера Кэтскилла.

Некоторое время мистер Барнстейпл глядел на все эти маневры, не понимая, что они означают. Потом его взгляд упал на двух ничего не подозревающих утопийцев, которые спокойно поднимались к воротам

замка, где притаились земляне. Только тогда мистер Барнстейпл сообразил, что через несколько минут Серпентин и Кедр будут биться в руках своих врагов.

Он понял, что надо немедленно действовать. Однако всю жизнь он был только созерцателем и не умел мгновенно принимать решения и выполнять их.

Он дрожал, как в лихорадке.

3

Даже в эти роковые последние мгновения у мистера Барнстейпла оставалась смутная надежда, что все можно уладить. Он поднял руку и крикнул «Эй!», обращаясь больше к землянам в замке, чем к утопийцам за его пределами. Но никто не обратил внимания ни на его жест, ни на слабый возглас.

Тогда его воля словно освободилась от пут, и у него мелькнула самая простая мысль. Нельзя допустить, чтобы Серпентина и Кедра схватили! Ему уже было стыдно за свои колебания. Конечно же, этого нельзя допустить! Это безумие должно быть немедленно предотвращено. В несколько прыжков он очутился на стене над воротами и закричал громко и отчетливо.

— Берегитесь! — кричал он. — Опасность! Берегитесь!

Он услышал удивленный возглас мистера Кэтскилла, и тут же в воздухе рядом с ним просвистела пуля.

Серпентин резко остановился, посмотрел вверх, дотронулся до плеча Кедра и показал на стену.

— Земляне хотят захватить вас в плен! Не ходите сюда! Берегитесь! — кричал мистер Барнстейпл, размахивая руками.

«Щелк-щелк-щелк!» — Это мистер Кэтскилл лишний раз убеждался, какое ненадежное оружие револьвер.

Серпентин и Кедр повернули и пошли назад, но как-то медленно и нерешительно.

Несколько мгновений мистер Кэтскилл не знал, что делать. Потом он бросился вниз по лестнице, крича:

— За ними! Остановить их! Вперед!

— Уходите! — кричал мистер Барнстейпл вслед утопийцам. — Уходите! Скорее! Скорее!

Снизу до него донесся топот, и восемь человек —

вся боевая сила землян в Утопии — появилась из-под арки ворот и побежали к двум изумленным утопийцам. Впереди, целясь из револьвера и что-то крича, мчался мистер Маш, за ним по пятам следовал мистер Ридли. Далее с весьма старательным и деловитым видом следовал мосье Дюпон. Отец Эмертон, размахивая своей веревкой, был в арьергарде.

— Уходите! — надрывался, почти лишившись голоса, мистер Барнстейпл.

Потом он замолк и стал глядеть, сжимая кулаки.

На помощь Серпентину и Кедру бежал вниз по склону от своей машины авиатор. В это время в небе появились еще два аэроплана.

Оба утопийца не желали бежать, и через несколько секунд преследователи настигли их. Атакующих возглавляли теперь Ханкер, Ридли и Маш. Мосье Дюпон, размахивая ножкой от стола, забирал вправо, видимо, намереваясь отрезать утопийцев от авиатора. Мистер Кэтскилл и Пенк несколько отстали от передней тройки; однорукий Барралонг был шагах в десяти позади них, а отец Эмертон и вовсе остановился, чтобы распутать свою веревку.

Несколько секунд они как будто переговаривались, затем Серпентин сделал быстрое движение, словно желая схватить Ханкера. Раздался выстрел, потом еще три подряд.

— О боже! — воскликнул мистер Барнстейпл. — О боже!

Он увидел, как Серпентин, раскинув руки, упал навзничь, Кедр схватил мистера Маша, поднял его в воздух и швырнул в Кэтскилла и Пенка, свалив их всех в одну кучу. Мосье Дюпон с диким воплем подскочил к Кедру, но тот оказался проворнее. Он выбил из его рук дубину, схватил его за ногу, опрокинул и, завертев в воздухе, словно кролика, ударил им мистера Ханкера.

Лорд Барралонг отбежал на несколько шагов и принялся стрелять в приближающегося авиатора. Из клубка рук и ног, корчившегося на земле, снова возникли три человека. Мистер Кэтскилл, выкрикивая распоряжения, ринулся на Кедр, за ним Пенк и Маш и мгновением позже — Ханкер и Дюпон. Все они вцепились в Кедр, как собаки в кабана. Раз за разом он отбрасывал их прочь. Отец Эмертон со своей веревкой бестолково топтался рядом.

На несколько секунд внимание мистера Барнстейпла было поглощено этой свалкой вокруг Кедр. И тут он увидел, что по склону горы бегут другие утопийцы. Два аэроплана успели опуститься.

Мистер Кэтскилл заметил это подкрепление почти одновременно с мистером Барнстейплом. Он закричал:

— Назад! Назад! В замок!

Земляне отбежали от высокой, взъерошенной фигуры, несколько мгновений колебались и начали отступать к замку — сначала шагом, а потом бегом.

Вдруг Ридли обернулся и, прицелившись, выстрелил в Кедр; тот схватился за грудь и сел на землю.

Земляне отступили к подножию лестницы, ведущей через ворота в замок, и там остановились, запылавшись, потирая ушибленные места. В пятидесяти шагах от них неподвижно лежал Серпентин, корчился и стонал авиатор, которого ранил Барралонг, и сидел Кедр с окровавленной грудью, ощупывая спину. Пятеро других утопийцев спешили к ним.

— Что это за стрельба! — спросила леди Стелла, внезапно появляясь рядом с мистером Барнстейплом.

— Взяли они заложников? — осведомилась Грита Грей.

— Боже мой! — воскликнул мистер Берли, который тоже поднялся на стену. — Этого не должно было случиться! Каким образом... все сорвалось, леди Стелла?

— Я предупредил утопийцев, — сказал мистер Барнстейпл.

— Вы... их предупредили? — не веря своим ушам, воскликнул мистер Берли.

— Вот уж не думал, что возможно такое предательство! — донесся из-под арки ворот гневный голос мистера Кэтскилла.

4

Несколько секунд мистер Барнстейпл не делал никаких попыток спастись от нависшей над ним угрозы. Он всегда жил в условиях полной личной безопасности, и, как у многих цивилизованных людей, у него был почти атрофирован инстинкт самосохранения. И по темпераменту, и по воспитанию он был наблюдателем. И сейчас он увидел себя словно со стороны —

главным персонажем какой-то страшной трагедии. О бегстве он подумал не сразу и неохотно, словно в чем-то перед собой оправдываясь.

— Расстрелян как предатель, — сказал он вслух. — Расстрелян как предатель.

Он посмотрел на мостик через узкое ущелье. Можно было и сейчас еще перебежать его, если только сразу броситься туда. Надо только оказаться проворнее их. Но он был слишком благоразумен и не побежал туда опрометью — ведь тогда они сразу же кинулись бы в погоню. Он двинулся вдоль стены неторопливой походкой прогуливающегося человека и прошел мимо мистера Берли. Тот был слишком цивилизован, чтобы помешать ему. Все ускоряя шаг, мистер Барнстейпл дошел до лестницы, которая вела в башню. Там он на мгновение остановился, чтобы оглядеться. Кэтскилл был занят: расставлял часовых у ворот. Возможно, он еще не вспомнил о мостике или решил, что мистером Барнстейплом можно будет заняться и позже. Утопийцы несли вверх по склону своих убитых или только раненых.

Мистер Барнстейпл стал подниматься вверх по ступенькам, словно погруженный в задумчивость, и несколько секунд простоял наверху, заложив руки в карманы и делая вид, что любит ландшафт. Потом он повернул к винтовой лестнице, которая вела вниз, к чему-то вроде кордегардии. Как только он оказался вне поля зрения землян, он стал думать и двигаться гораздо быстрее.

В кордегардии он растерянно остановился. Тут было целых пять дверей, и любая из них, кроме той, через которую он вошел, могла вести к нужной лестнице. Одна из дверей была загорожена штабелем аккуратно составленных ящиков. Оставалось три двери, из которых надо было выбирать. Он распахнул их одну за другой. Каждая выходила на каменную лестницу с площадкой, за которой был поворот. Он стоял в нерешительности перед третьей дверью, как вдруг почувствовал, что оттуда потянуло холодным воздухом. Ну, разумеется, эта дверь ведет вниз, к обрыву, иначе откуда тут быть сквозняку? Несомненно это так.

Закрывать остальные двери? Нет, лучше пусть все три останутся открытыми.

Он уже слышал топот шагов по лестнице, ведущей из башни. Бесшумно и быстро он сбежал по ступень-

кам и на секунду задержался на площадке — послушать, что делают преследователи.

«Вот дверь, которая ведет к мосту, сэр!» — услышал он голос Ридли. В ответ Кэтскилл сказал: «Тарпейская скала!» «Совершенно верно, — откликнулся Барралонг, — зачем тратить патрон? А вы уверены, что эта дверь ведет к мосту, Ридли?» Шаги слышались уже в кордегардии, потом ниже, на соседней лестнице.

— Всего лишь короткая передышка! — прошептал мистер Барнстейпл и замер на месте.

Он попал в западню! Лестница, по которой спускались сейчас преследователи, и была та, которая ведет к мосту!

Теперь они спустятся до самого моста и сразу увидят, что его нет ни там, ни на другой стороне ущелья, и, следовательно, он еще в крепости. Теперь этот путь закрыт: они либо запрут ведущую туда дверь, либо поставят на лестнице часовых, а потом вернутся и начнут, не торопясь, искать его.

Что сказал Кэтскилл?.. «Тарпейская скала»?

Ужасно!

Нет. Живым он не сдастся!..

Он будет драться, как крыса, загнанная в угол, и заставит их пристрелить его...

Он стал спускаться дальше по лестнице. Становилось все темнее, потом вдруг снова забрезжил свет. Лестница кончалась в обыкновенном большом погребе, который когда-то был, вероятно, арсеналом или казематом. Погреб был довольно хорошо освещен двумя бойницами, прорубленными в скале. Теперь в нем хранились запасы всякой провизии. Вдоль одной стены тянулись полки со стеклянными флягами, в которых обычно хранилось вино в Утопии; вдоль другой стены были нагромождены ящики и какие-то бруски, обернутые в листовое золото. Он поднял за горлышко одну из фляг. Она могла сойти за недурную дубинку. А что, если соорудить баррикаду из ящиков поперек входа, стать сбоку и бить преследователей флягой по голове? Как будут разлетаться брызгами стекло и вино на их черепах!.. Но на сооружение баррикады потребуется время... Он выбрал и поставил у входа три самые большие фляги, чтобы они были под рукой. Потом его осенила новая мысль, и он посмотрел на бойницу.

Некоторое время он выжидал, прислушиваясь. Сверху не доносилось ни звука. Он подошел к бойнице, влез в нее и пополз вперед, пока не смог выглянуть наружу. Внизу был отвесный обрыв — мистер Барнстейпл мог бы плюнуть в поток, бурлящий в полутора тысячах футов прямо под ним. Скала состояла здесь из почти вертикальных слоев породы, то выступавших вперед, то уходивших внутрь; большой каменный контрфорс заслонял почти весь мостик, за исключением его дальнего конца: сам мостик был футов на сто ниже амбразуры, из которой выглядывал мистер Барнстейпл.

На мосту появился мистер Кэтскилл, казавшийся совсем крохотным, — он разглядывал лестницу в скале за мостиком; мистер Барнстейпл поспешно убрал голову. Затем он осторожно выглянул снова. Мистера Кэтскилла больше не было видно; видимо, он возвращался назад.

За дело! Медлить больше было нельзя.

В молодости, до того, как мировая война сделала путешествия дорогими и неудобными, мистер Барнстейпл лазил на скалы в Швейцарии, а кроме того, занимался этим в Камберленде и Уэльсе. Теперь он осмотрел соседние скалы взглядом опытного человека. Они были прорезаны почти горизонтальными пластами какой-то белой кристаллической породы — он решил, что это известковый шпат. Порода эта выветривалась быстрее, чем остальная масса скалы, образуя неровные горизонтальные борозды. Если ему повезет, он сможет пробраться по этим бороздам вдоль обрыва, обогнуть контрфорс и вскарабкаться на мост.

Но тут ему показалось, что есть более надежный план. Он ведь легко может пробраться вдоль утеса до первой выемки, притаиться там и подождать, пока земляне не обыщут погреб. А когда они уйдут, он проберется обратно в погреб. Даже выглянув в окно, они не увидят его, а если он оставил в амбразуре какие-то следы, они все равно решат, что он либо выпрыгнул, либо сорвался в каньон. Правда, чтобы пробраться по обрыву, потребуется много времени... И, кроме того, он лишится своего единственного оружия — фляг...

И все-таки мысль о том, чтобы спрятаться на утесе, захватила его воображение. Он очень осторожно

вылез из бойницы, нащупал опору для рук, нашел ногами выступ и начал пробираться по направлению к намеченному им углублению.

Но тут же возникло неожиданное препятствие: примерно на протяжении шести шагов скала на уровне его рук была совершенно гладкой, и держаться было не за что, оставалось только прижаться к скале и довериться ногам. Несколько секунд он стоял неподвижно.

Дальше он наступил на выветрившийся кусок породы и с ужасом почувствовал, что и нога лишилась опоры, но, к счастью, он сумел ухватиться за выступ и твердо стал другой ногой. Обломки зашуршали по обрыву, и тут же все стихло: они полетели в бездну. Некоторое время он стоял не двигаясь, словно парализованный.

— Нет, я не в форме, — прошептал мистер Барнстейпл. — Не в форме.

Все также, не шевелясь, он стал молиться.

Потом, сделав над собой усилие, он заставил себя двинуться дальше.

Он уже был у самой впадины, когда какой-то слабый шорох заставил его покоситься на бойницу, из которой он вылез. Из бойницы медленно и осторожно высовывалась голова Ридли. Глаза его под белой повязкой горели яростным огнем...

5

В первый момент он не заметил мистера Барнстейпла. Потом, увидев его, крикнул: «Ух, черт!» — и поспешно спрятался.

Изнутри донесся невнятный шум голосов.

Повинуясь какому-то смутному инстинкту, мистер Барнстейпл замер на месте, хотя он мог бы уже скрыться в выемке раньше, чем из бойницы выглянул мистер Кэтскилл с револьвером в руке.

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга.

— Вернитесь, или я буду стрелять, — сказал мистер Кэтскилл, но это прозвучало как-то неубедительно.

— Стреляйте! — ответил мистер Барнстейпл после некоторого размышления.

Мистер Кэтскилл вытянул шею и посмотрел вниз, на окутанные синими тенями глубины каньона.

— В этом нет нужды, — сказал он. — Нам надо сберечь патроны.

— Просто смелости не хватает, — сказал мистер Барнстейпл.

— Не в этом дело, — возразил мистер Кэтскилл.

— Да, не совсем в этом, — согласился мистер Барнстейпл, — все-таки вы цивилизованный человек.

Мистер Кэтскилл нахмурился, но поглядел на него без всякой враждебности.

— У вас очень богатое воображение, — задумчиво продолжал мистер Барнстейпл. — Вся беда в вашем проклятом воспитании. В чем ваша беда? Вы пропитаны духом Киплинга. Империя, англосаксонская раса, бойскауты, сыщики — вот каким мусором начинена ваша голова. Если бы я учился в Итоне, я, наверное, был бы таким же, как вы.

— В Хэрроу, — поправил мистер Кэтскилл.

— Самая мерзкая из этих школ. Пригородное заведение, где ученики носят кок и соломенные шляпы. Можно было догадаться, что вы из Хэрроу. Но, как ни странно, я не питаю к вам ненависти. Если бы вас прилично воспитывали, вы, наверное, были бы совершенно другим. Будь я вашим школьным учителем... Но теперь поздно об этом говорить.

— Да, конечно, — подтвердил мистер Руперт Кэтскилл, любезно улыбаясь и поглядывая вниз, в каньон.

Мистер Барнстейпл начал ощупывать одной ногой уступ в выемке.

— Погодите еще одну минутку, — сказал мистер Кэтскилл. — Я не буду стрелять.

Изнутри донесся голос, возможно, лорда Барралонга, советовавшего сбросить на мистера Барнстейпла обломок скалы. Кто-то — должно быть, Ридли — свирепо одобрил это предложение.

— Только после судебного разбирательства, — сказал через плечо мистер Кэтскилл. Лицо его было непроницаемо, но у мистера Барнстейпла появилась фантастическая мысль: а вдруг мистер Кэтскилл не хочет его смерти! Может быть, он обдумал положение и теперь предпочел бы, чтобы мистер Барнстейпл спасся, добрался до утопийцев и как-нибудь уладил дело.

— Мы собираемся судить вас, сэр! — сказал мистер Кэтскилл. — Да, мы намерены судить вас. Мы предлагаем вам явиться в суд.

Мистер Кэтскилл облизнул губы и помолчал, как бы размышляя о чем-то.

— Заседание суда начнется немедленно, — продолжал он; его умные карие глаза быстро оценили положение мистера Барнстейпла; он вытянул шею и посмотрел на мост. — Мы не станем тратить время на долгие процедуры. Не сомневаюсь, каков будет приговор. Мы приговорим вас к смерти. Вот так обстоит дело, сэр. Думаю, что не пройдет и четверти часа, как ваша судьба будет решена на законном основании.

Он посмотрел вверх на скалы.

— Возможно, что мы сбросим на вас обломок скалы, — сказал он.

— *Moriturus te saluto*¹, — ответил мистер Барнстейпл тоном удачно сострившего человека. — Если позволите, я сейчас продвинусь вперед, чтобы устроиться немного поудобнее.

Мистер Кэтскилл по-прежнему пристально смотрел на него.

— Я нисколько на вас не в претензии, — сказал мистер Барнстейпл. — Будь я вашим школьным учителем, все было бы совсем по-иному. Благодарю вас за лишние пятнадцать минут, которые вы мне дадите... И если случится так, что...

— Вот именно, — сказал мистер Кэтскилл.

Они поняли друг друга.

Когда мистер Барнстейпл обогнул уступ и забрался в свое убежище, мистер Кэтскилл все еще глядел из бойницы, а едва слышный голос лорда Барралонга настаивал, чтобы обломки скалы были пущены в ход немедленно.

6

Пути человеческого познания неисповедимы. Отчаяние в душе мистера Барнстейпла сменилось теперь радостным возбуждением. Тошнотворный страх, вызванный карабканьем по утесу на огромной высоте, уступил место почти мальчишеской самоуверенности. Мысль о неминуемой смерти исчезла. Ему уже нрави-

¹ «Идущий на смерть приветствует тебя» (*лат.*) — перефразировка приветствия, с которым обращались в Древнем Риме к императору выходившие на арену гладиаторы.

лось это приключение, он даже наслаждался им, совершенно не задумываясь о том, чем оно может кончиться.

Он довольно быстро добрался до контрфорса, хотя у него сильно болели руки... И вдруг он снова похолодел. Теперь, когда он мог видеть полностью весь мост и узкое ущелье, оказалось, что карниз, по которому он пробирался, проходит футов на тридцать ниже моста. И что еще хуже — между ним и мостом были две расселины неизвестной глубины. Сделав это открытие, он впервые пожалел, что не остался в погребке и не дал там боя своим преследователям.

Несколько минут он не мог ни на что решиться. Боль в руках все усиливалась.

Из оцепенения его вывела какая-то мелькнувшая на скале тень — он сначала принял ее за тень пролетевшей мимо птицы. Тень промелькнула снова. Он надеялся, что на него хотя бы не нападут птицы, — он читал такой рассказ... впрочем, неважно.

Тут над головой у него раздался громкий треск; подняв глаза, он увидел, как камень, ударившись о выступ над ним, разлетелся в куски. Из этого он сделал два вывода: во-первых, суд вынес приговор раньше, чем предполагал мистер Кэтскилл, а во-вторых, его видно сверху. Он начал с лихорадочной энергией продвигаться в сторону расселины.

Расселина оказалась более удобной, чем он ожидал, — это был «камин». Мистер Барнстейпл подумал, что по нему было бы нелегко подниматься, но спуститься будет возможно. Сверху расселина была прикрыта выступами скал. Примерно в ста футах ниже виднелось что-то вроде ниши, образовавшей довольно широкую площадку, где, вероятно, можно было прилечь, чтобы дать отдохнуть рукам. Не теряя времени, мистер Барнстейпл пополз к «камину», спустился туда и предался восхитительному ощущению: ему не надо было больше ни за что цепляться! Теперь он был недосыгаем и невидим для своих преследователей-землян.

По стенке ниши текла струйка воды. Он напился, подумал о том, что недурно было бы подкрепиться, и пожалел, что не захватил с собой немного еды из запасов, хранившихся в погребке, — можно было бы вскрыть один из обернутых в золото брусков и сунуть в карман маленькую фляжку с вином. Как подбодрил

бы его сейчас глоток вина! Но об этом не приходилось и думать. Он долго, как ему показалось, просидел, не двигаясь, в этой уютной нише, внимательно разглядывая уходящий вниз «камин». Мистеру Барнстейплу показалось, что здесь была возможность для дальнейшего спуска. Правда, стенки «камина» были гладки, как отполированные, но они сходились достаточно близко — можно было упереться спиной в одну, а ногами в другую.

Он посмотрел на ручные часы. Было всего без десяти девять. Ридли вызвал его к себе в половине шестого. В половине седьмого он подавал завтрак во дворе, Серпентин и Кедр, должно быть, появились около восьми. Через десять минут Серпентин был убит. А потом — бегство и преследование. Как быстро произошло все это!

У него впереди еще целый день. Спускаться дальше он начнет в половине десятого. А до тех пор отдохнет. И незачем внушать себе, что он уже проголодался.

Около половины десятого мистер Барнстейпл уже продолжал спуск. Первые сто футов дались ему легко. А потом расселина начала незаметно расширяться. Он понял это только тогда, когда стал соскальзывать вниз. Он скользил, ожесточенно пытаясь уцепиться, наверное, около двадцати футов, потом пролетел футов десять, ударился о скалу и оказался на новом выступе, более широком, чем прежний. Он сильно ушибся и покатился, к счастью, внутрь ниши. Он был покрыт синяками, но серьезных повреждений не оказалось.

«Мне везет, — сказал он себе. — Счастье мне не изменяет».

Снова он некоторое время отдыхал, потом, уже твердо уверовав, что дальше все пойдет хорошо, стал рассматривать следующий этап спуска. Он долго не мог поверить, что дальнейший спуск абсолютно невозможен. Расселина совершенно вертикально уходила на двадцать ярдов вниз, и стенки ее отстояли друг от друга по меньшей мере на шесть футов. С таким же успехом он мог бы просто прыгнуть с обрыва. Тут же он убедился, что невозможно и вернуться назад. Он отказывался верить этому — настолько это было нелепо. Он даже рассмеялся, как человек, которого собственная мать не узнала после однодневной отлучки.

Потом он перестал смеяться.

Он снова все внимательно осмотрел. Он даже провел пальцами по гладкому камню.

— Но это просто бессмысленно, — сказал он, и холодный пот выступил у него на спине. Значит, из этой западни, куда он с таким трудом и усердием сам себя загнал, нет выхода! Он не может ни продолжать спуск, ни вернуться назад. Конеч! Счастье изменило ему.

7

Когда стрелка на его часах показала полдень, он все еще сидел в своей нише, как бессильный, страдающий неизлечимой болезнью инвалид сидит в кресле, отдыхая между приступами боли, обреченный на бездействие и безнадежность. Не было и одного шанса на десять тысяч, что какой-нибудь счастливый случай сможет выволить его из этой мышеловки. Рядом тоже текла струйка воды, но подкрепить силы было нечем — не было даже травинки, чтобы пожевать. Если он не бросится в пропасть, то умрет от голода. По ночам здесь холодно, хотя не настолько, чтобы холод мог убить его...

Так вот к какому концу привела его унылая работа в редакции лондонской газеты и семейная жизнь в Сайденхеме! Странную прогулку совершили они с Желтой Опасностью... Камберуэлл, Виктория, Хайнслоу, Слау, Утопия, горный рай, сотни захватывающих, дразнящих мимолетных впечатлений от мира подлинного счастья и порядка... долгий-долгий полет на аэроплане почти на другую сторону планеты... И вот теперь — смерть.

Мысль о прыжке вниз, который разом прекратил бы все мучения, была ему неприятна. Нет, он останется здесь и вытерпит все, что ему, возможно, придется вытерпеть перед концом. А в каких-нибудь трехстах ярдах отсюда его спутники-земляне тоже будут ждать свершения своей судьбы... Как все это удивительно! И как обыденно!..

Но ведь в конце концов такой или подобный исход уготован почти всем людям... Рано или поздно человеку приходится лечь на смертное ложе и думать, думать все лихорадочнее, а потом все туманнее, пока мысль не угаснет окончательно.

«Вообще говоря, — размышлял мистер Барнстейпл, — лучше умереть так, чем внезапно; ведь это чего-нибудь да стоит — глядеть некоторое время прямо в лицо смерти, успеть еще мысленно написать «конец» в своем сознании, подумать о жизни вообще и о жизни, которую прожил ты сам, оценить ее со стороны беспристрастно, твердо зная, что эту жизнь уже не изменишь ни на йоту».

Его мозг работал сейчас четко и спокойно; безмятежность, холодная, как ясное зимнее небо, охватила все его существо. Впереди будут страдания — он знал это, но он не верил в то, что эти страдания будут невыносимы. А если и так — что ж, внизу разверзает свою пасть каньон. В этом отношении его выступ не такое уж плохое смертное ложе, пожалуй, даже более удобное, чем другие. На одре болезни человеку дается большой срок, — он успевает узнать и изучить болезнь во всех ее подробностях. А голодная смерть не так страшна, он где-то читал об этом; голод особенно мучителен на третий день, а после этого человек слабеет и страдает уже меньше. Должно быть, это намного легче, чем мучения от некоторых форм рака или воспаления мозга. Голодная смерть и на десятую долю не так страшна, как это... Одиночество? Но разве человек менее одинок, когда умирает дома в собственной постели? К нему приходят, говорят: «Ну, полно, полно» — ухаживают, оказывают всякие услуги, но этим и исчерпывается твое общение с другими. Ты уже вступил на свою последнюю, одинокую стезю, от тебя уходят речь, движения, даже желание говорить или двигаться, и голоса людей постепенно замирают и исчезают для тебя. Нет, смерть повсюду — мгновение подлинного одиночества, человек уходит в небытие один.

Более молодого человека это полное одиночество над глубоким ущельем, наверно, ужаснуло бы, но мистер Барнстейпл давно уже вышел из того возраста, когда питают иллюзии относительно возможности близкого общения друг с другом. Он хотел бы в последний раз поговорить с сыновьями, ободрить жену, но даже это было скорее смутным сентиментальным самовнушением, чем реальным желанием. В разговорах с сыновьями он всегда как-то робел. По мере того как начинала складываться их индивидуальность и характеры и из подростков они превращались в юно-

шей, он все больше приходил к выводу, что задушевные беседы с ними были бы посягательством на их право складываться в самостоятельную личность. Да и они, казалось ему, тоже были застенчивы с ним, как бы защищаясь. Может быть, позднее сыновья снова сблизятся с отцом, но этого «позднее» у него уже никогда не будет. И все-таки ему хотелось бы дать им знать о том, что с ним случилось. Это его беспокоило. Тогда они думали бы о нем с уважением и он не нанес бы им душевной травмы, как нанесет теперь: ведь они почти наверное будут думать, что он просто сбежал от них, или помешался, или даже связался с преступниками и те его убили. И они будут очень тревожиться, стыдиться, хотя для этого нет никаких причин, или, что будет еще хуже, начнут его разыскивать, бесполезно тратя деньги...

Все люди смертны. Многие умерли той смертью, которой умрет и он: в странной и необычной обстановке, заблудившись в темной пещере, высаженные на необитаемый остров, затерявшись в австралийских зарослях, брошенные в тюрьму и оставленные там умирать. Хорошо умереть без тяжелых мук, без оскорблений! Он подумал о несчетном числе людей, распятых на кресте в Дневном Риме... сколько их было, воинов Спартака, распятых вдоль Аппиевой дороги, — восемь тысяч или десять? Он вспомнил о неграх, подвешенных на цепях и оставленных умирать от голода, о бесконечном разнообразии таких смертей. Все это потрясло его воображение, но в мыслях они страшнее, чем в действительности... Немного больше мук, немного меньше — бог ведь не станет расточать напрасно лишние страдания. Крест, колесо, электрический стул или койка в больнице — суть одна: человек мертв, и с ним покончено.

Было даже какос-то приятное чувство в том, что он так мужественно размышляет обо всем. Он попал в западню и все-таки не обезумел от ужаса — в этом тоже есть что-то хорошее! К удивлению мистера Барнстейпла, его нисколько не заботил сейчас вопрос о бессмертии его души. Он вполне допускал мысль, что окажется бессмертным или по крайней мере часть его. Нелепо быть догматичным и отрицать, что эта частица — какое-то отражение его сознания или даже воли — может продолжать существовать самостоятельно. И в то же время он не мог представить себе, как

это будет. Это было выше человеческого понимания. Этого нельзя было вообразить. Он не испытывал страха перед таким продолжением своего существования. Он не думал и о возможности суровой кары и не боялся ее. Ему часто казалось, что вселенная создана довольно небрежно, но он никогда не допускал, что она творение злобного глупца. Мир представлялся ему чем-то весьма беспорядочным, но вовсе не порождением злобы и жестокости. Сам он всегда оставался тем, чем был, — слабым, ограниченным человеком, иногда глупым, но ведь наказанием за такие недостатки являются они сами...

Мистер Барнстейпл перестал думать о своей собственной смерти. Он принялся размышлять о жизни вообще, о том, как убога она теперь, но какие благородные цели в ней заложены. Глубокую горечь вызывала в нем мысль, что он больше никогда не увидит этого мира Утопии, который во многом был прообразом того, чем мог бы стать его собственный мир. Его радовала мысль о том, что он увидел воплощение лучших человеческих стремлений и идеалов; и в то же время ему горько было подумать, что это видение отняли у него раньше, чем он мог к нему приглядеться. Он вдруг обнаружил, что задает себе вопросы, на которые у него нет ответа, — об экономике Утопии, о любви утопийцев, об их борьбе. Но все равно он счастлив, что увидел хотя бы столько, сколько ему удалось. Все-таки как хорошо, что он прошел через это очищение и навсегда вырвался из трясины унылой безнадежности, в которую его вверг мистер Пиви, и впервые увидел жизнь в ее подлинной перспективе!..

Страсти, конфликты и бедствия тысяча девятьсот двадцать первого года — все это было не более как лихорадкой не получившего оздоровительной прививки мира. Век Хаоса на Земле тоже в свое время изживет себя — об этом позаботится та смутная, но неодолимая правда, которая живет в крови человека. И эта мысль служила утешением для странно устроенного ума мистера Барнстейпла, когда он, скорчившись, сидел в расселине огромной скалы, среди недоступных вершин и бездонных пропастей, продрогший, голодный, измученный.

Утопия открывала перед ним великолепные возможности, и какими жалкими и ничтожными показали себя он и его товарищи! Ни один из них даже не

попытался развеять мальчишеские фантазии мистера Кэтскилла и твердой рукой обуздать животную агрессивность его единомышленников. Как беспрепятственно взял на себя отец Эмертон роль обличающего, ненавидящего, проклинаящего, сеющего рознь жреца! Каким безнадежно слабым и бесчестным оказался мистер Берли. Впрочем, и сам он, Барнстейпл, немногим лучше! Вечно что-то не ободряющий и вечно пребывающий в бездейственной оппозиции. Как глупа эта по-коровьи красивая женщина Грита Грей — жадная, требовательная, чуждая любой мысли, кроме мыслей самки о своей привлекательности. Леди Стелла — существо более тонкое, но обречена на полную бездеятельность. «Женщины, — подумал он, — не очень удачно представлены в этой случайной экспедиции: одна — полное ничтожество, другая — вялая посредственность. Нет, по ним нельзя справедливо судить о женщинах Земли».

Зрелище достижений Утопии вызвало у землян одно единственное желание: вернуть ее как можно скорее вспять — к насилию, завоеваниям, жестокостям Века Хаоса, в котором жили они сами. Серпентина и Кедр, ученого и врача, они хотели превратить в заложников, чтобы утвердить свое право разрушать, а когда это им не удалось, они убили их или пытались убить.

Они хотят вернуть Утопию к тому, чем живет сейчас Земля, а между тем, если бы не их глупость, злоба и ничтожество, Земля была бы Утопией. Да, наша старая Земля уже сейчас — Утопия, прекрасный сад, земной рай, но ее попирают, превращая все в прах и развалины, Кэтскиллы, Ханкеры, Барралонги, Ридли, Дюпоны и им подобные. И этому их злобному духу разрушения в земном мире не противостоит ничто, кроме жалкого повизгивания мистеров Пиви, снисходительного неодобрения мистеров Берли и нескончаемых бесплодных протестов таких людей, как он сам. И еще несколько писателей и учителей, чья деятельность пока не приносит видимых результатов...

Мистер Барнстейпл снова вспомнил о своем старом друге, школьном инспекторе и авторе учебников, который работал с величайшим упорством, но, не выдержав, умер так бессмысленно. Он всю свою жизнь трудился во имя Утопии! Быть может, на Земле есть еще сотни или тысячи таких утопийцев? Какая непонятная сила поддерживает их?

Ведь хотя сам он должен умереть голодной смертью, как сорвавшийся в пропасть зверь, Утопия победила и будет побеждать. Стяжатели и завоеватели, тираны и шовинисты, линчеватели и гонители и все остальные порождения близорукой людской жажды насилия сгрудились вместе перед окончательной гибелью. Даже когда они живут так, как им хочется, они не знают счастья, они мечутся от одного наслаждения к другому, от довольства к полному истощению. Все их предприятия и успехи, их войны и подвиги вспыхивают и гаснут, исчезая в небытии. Только настоящая правда растет непреодолимо, только ясная идея год за годом, век за веком растет медленно и непобедимо, как растет алмаз во мраке под страшным давлением земной толщи или как заря, разгораясь, затмевает мерцание гаснущих свеч какой-либо еще не окончившейся оргии.

Каков будет конец этих ничтожных людей там, наверху? Их жизнь находится в еще большей опасности, чем его собственная, потому что он будет лежать и умирать от голода медленно, долгими неделями, пока его сознание не угаснет совсем; они же бросили открытый вызов мощи и мудрости Утопии, и сейчас эта упорядоченная сила уже нависает над их головами и готова их уничтожить. Вопреки логике ему по-прежнему было немного неловко, что он выдал засаду, устроенную Кэтскиллом. Сейчас он уже не мог вспомнить без улыбки свою наивную мысль о том, что если Кэтскиллу удастся захватить заложников, то Земля возобладает над Утопией. Именно эта мысль и побудила его действовать с излишней поспешностью. Как будто один его слабый крик мог предотвратить эту чудовищную катастрофу. Ну, а если бы его там не было? Или если бы он поддался инстинкту товарищества, который побуждал его сражаться вместе с остальными? Что было бы тогда?

Он вспомнил, как Кедр одним толчком, словно назойливую собачонку, отбросил от себя мистера Маша; представил себе высокий рост, широкие плечи Серпентина и подумал, что земляне даже в своей засаде на ступеньках лестницы вряд ли одолели бы двух утопийцев. Все равно были бы пущены в ход револьверы, как это и случилось на склоне, и Кэтскилл получил бы не заложников, а только двух убитых.

Как невыразимо глуп был весь план Кэтскилла!

Впрочем, не глупее, чем поведение Кэтскилла, Берли и всех остальных государственных мужей Земли за последние несколько лет. Иногда в эти годы, когда мир корчился в муках мировой войны, ему казалось, что Утопия вот-вот придет на Землю. Черные тучи и дым этих лет были пронизаны проблесками смутных надежд на возрождение обетованного мира. Но националисты, финансисты, священники, патриоты не дали этим надеждам осуществиться. Они положились на старый яд, на бациллы прошлого и на низкую сопротивляемость цивилизованного сознания. Они подсчитывали силы, устраивали засады и поручали своим женщинам шить флаги розни и войны...

Они убили Надежду, но только на время. Ибо Надежда, эта искупительница рода человеческого, возрождается снова и снова.

— Утопия победит! — сказал мистер Барнстейпл и стал прислушиваться к звуку, который возник уже довольно давно, — к глухому рокоту в скале над ним, словно там катилась какая-то огромная машина, — этот звук все нарастал, потом стал стихать и замер.

Мысли его снова вернулись к его недавним спутникам. Ему хотелось надеяться, что они там, наверху, не так уж напуганы и несчастны. Он был бы особенно рад, если бы что-нибудь подбодрило леди Стеллу. Он искренне беспокоился о ней. Что же касается остальных, для них будет лучше, если они сохранят свой боевой дух. Сейчас они все, наверно, трудолюбиво приводят в исполнение какой-нибудь нелепый и безнадежный план обороны, придуманный Кэтскиллом. Все, за исключением мистера Берли, который, несомненно, отдыхает, убежденный, что для него, во всяком случае, найдется какой-нибудь достойный выход из положения. И мысль о том, что такого выхода не окажется, тоже, вероятно, его не пугает. Эмертон и, возможно, Маш скорее всего впали в религиозный экстаз, а остальных это, наверно, немного раздражает, но зато отвлекает мысли леди Стеллы и мисс Гриты Грей. Ну, а для Пенка есть вино в подвале...

Они, конечно, будут подчиняться законам своего существа и делать то, чего требует от них их натура и привычки. И разве возможно что-нибудь другое?

Мистер Барнстейпл погрузился в метафизические рассуждения...

И вдруг он поймал себя на том, что смотрит на часы. Было двадцать минут первого. Он смотрит на часы все чаще и чаще или время вдруг стало идти медленней?.. Завести часы? Или дать им остановиться? Сейчас его уже начинает мучить голод. Впрочем, это еще не настоящий голод; просто у него разыгралось воображение.

Глава четвертая

КОНЕЦ КАРАНТИННОГО УТЕСА

1

Мистер Барнстейпл просыпался медленно и неохотно: ему снилась кухня. Он был Сойером, знаменитым поваром Реформ-клуба. Он изобретал и пробовал новые блюда. Однако по чудесным законам, управляющим страной снов, он был не только Сойером, но в то же время еще и очень талантливым утопийским биологом и, наконец, самим богом. Он мог не только готовить новые блюда, но и создавать новые овощи, новые виды мяса, которые могли пригодиться для этих блюд. Его особенно занимала новая порода кур, так называемая шатобриановская порода. Она сочетала в себе сочность хорошего бифштекса с нежным и тонким вкусом куриной грудки. Он собирался начинить кур стручковым перцем, грибами и луком, хотя грибы тут не совсем подходили. Грибы... он попробовал их, нужно было немножко подправить! И вот в сон вступил поваренок, несколько поварят, все обнаженные, как утопийцы; они принесли из кладовой кур, говорили, что куры эти лежалые, и, чтобы они не залежались совсем, начали подбрасывать их вверх, а затем сами полезли по стенам кухни, которые были скалистыми и для кухни чересчур близко сходились. Фигуры поварят вдруг потемнели, они казались черными силуэтами на фоне светящегося пара, валившего из котла с кипящим супом. Суп кипел, но все-таки это был холодный суп и холодный пар.

Мистер Барнстейпл проснулся.

Вместо светящегося пара он увидел заполнивший ущелье туман, освещенный яркой луной. На его фоне фигуры двух утопийцев казались черными силуэтами...

Как... утопийцы?

Его сознание металось между сном и реальностью. Он глядел вверх с напряженным вниманием. Да, утопийцы двигались, непринужденно жестикулируя, совершенно не подозревая, что он находится так близко от них. Очевидно, они уже закрепили где-то наверху веревочную лестницу, но как они это сделали, он не знал. Один все еще стоял на его уступе, другой, повиснув над ущельем, раскачивался на веревочной лестнице, упираясь ногами в скалу. Над краем уступа появилась голова третьего. Голова покачивалась из стороны в сторону: утопиец, видимо, поднимался вверх по второй веревочной лестнице. Они что-то обсуждали. Мистер Барнстейпл понял, что третий предлагает остановиться здесь, а стоящий наверху настаивает, чтобы они поднялись еще выше. Через несколько мгновений спор был улажен.

Верхний утопиец рывком подтянулся и исчез из поля зрения мистера Барнстейпла. Его товарищи последовали за ним и один за другим тоже исчезли; теперь мистер Барнстейпл видел только судорожно раскачивающуюся веревочную лестницу да еще какой-то длинный канат, который они, казалось, поднимали на вершину утеса.

Напряженные мышцы мистера Барнстейпла расслабились. Он беззвучно зевнул, потянулся, расправляя затекшие руки и ноги, и осторожно встал. Потом он выглянул из своего убежища. Утопийцы как будто добрались до верхнего уступа и что-то там делали. Свободно висевший канат вдруг натянулся. Утопийцы начали медленно поднимать что-то снизу. Это был большой узел — возможно, инструменты, или оружие, или какие-то материалы, завернутые во что-то для смягчения ударов о скалу. Узел внезапно возник перед мистером Барнстейплом, несколько секунд покружился на месте, и затем утопийцы рывком подтянули его к себе. Несколько минут стояла полная тишина.

Потом он услышал какое-то металлическое позвякивание, затем — тук-тук-тук! — глухие удары молотка. Он отпрянул назад: тонкая веревка, видимо, бегущая по блоку, едва не задела его. Теперь сверху доносилось что-то вроде скрежета пилы, потом несколько обломков скалы пролетели мимо него и исчезли в пустоте.

Он не знал, что ему делать. Он боялся окликнуть утопийцев и тем раскрыть свое присутствие. После убийства Серпентина он не мог быть уверен в том, как поведут себя утопийцы, обнаружив одного из землян, притаившегося в этом укромном местечке.

Он стал разглядывать веревочную лестницу, по которой утопийцы поднялись до его убежища. Она держалась на большом костыле, конец которого был забит в скалу рядом с расселиной. Возможно, что этим заостренным костылем выстрелили из какого-то аппарата снизу, когда он спал. Сама лестница состояла из колец, соединенных веревкой на расстоянии примерно двух футов друг от друга, и была сделана из такого легкого материала, что мистер Барнстейпл не поверил бы, что она может выдержать вес человека, если бы не видел, как по ней поднимались утопийцы... Ему пришло в голову, что и он может спуститься по этой лестнице и сдать на милость утопийцев, которые, наверное, находятся внизу. Что касается тех троих, работающих наверху, то их внимание он может привлечь разве только каким-нибудь внезапным движением, которое, пожалуй, вызовет неприятные действия с их стороны, а если утопийцы внизу увидят, как он тихо и медленно спускается к ним сверху, у них будет достаточно времени, чтобы обдумать, как поступить. А кроме того, ему очень хотелось поскорее покинуть этот мрачный уступ.

Он крепко ухватился за кольцо, стоя спиной к обрыву, нащупал ногой второе нижнее кольцо, несколько мгновений прислушивался к слабым звукам наверху и начал спускаться.

Это был невероятно долгий спуск. Вскоре мистер Барнстейпл пожалел, что не стал считать кольца лестницы. Он, наверно, уже миновал сотню их. Но когда он, вытянув шею, заглянул вниз, там все еще зияла темная пропасть. В ущелье царила непроницаемая мгла. Свет луны не мог добраться до самых глубин каньона, и только слабые его отблески на клочьях тумана боролись с темнотой. Да и в вышине лунный свет становился все слабее.

Мистер Барнстейпл то прижимался вплотную к скале, то она словно отодвигалась, и тогда казалось, что лестница уходит куда-то в черную бездонную пус-

тоту. Ему приходилось нащупывать каждое кольцо — его руки и босые ноги были теперь натерты до крови. Вдруг ему в голову пришла новая и очень неприятная мысль. А что, если кто-нибудь из утопийцев вздумает подниматься снизу по этой же лестнице? Но нет, это будет сразу заметно: лестница натянется, задрожит, и он успеет крикнуть: «Я землянин. Я опускаюсь вниз! Я безобидный землянин!»

Он попробовал крикнуть это в виде опыта. Из ущелья отозвалось эхо, но никакого другого, ответного звука он не услышал.

Он продолжал молча, упорно спускаться, стараясь двигаться как можно быстрее. Нетерпеливое желание поскорее оставить эту проклятую лестницу, дать отдохнуть пылающим рукам и ногам преобладало над всеми другими чувствами.

Бум, бум!.. И вспышка зеленого света!

Он оцепенел и посмотрел вниз, на дно каньона. Снова зеленая вспышка! Глубина ущелья на мгновение осветилась, и ему показалось, что расстояние до дна все еще огромно. И над ущельем тоже что-то происходит, но за короткое мгновение вспышки он не успел уловить, что именно. Сначала ему показалось, что по ущелью ползет какая-то гигантская змея. Потом он сообразил, что это, вероятно, толстый кабель, и его тянут несколько утопийцев. Но как те три-четыре человека, которых он смутно разглядел, умудряются тащить этот огромный кабель, он не мог понять. Змеевидный кабель, казалось, полз вверх самостоятельно, наискось поднимаясь по скале. Может быть, его тянут вверх тросами, которых он не заметил? Он ждал третьей вспышки, но ее не было. Он прислушался, однако различил только рокочущий звук, который он уже отметил раньше, похожий на гул ровно работающей машины.

Он стал спускаться дальше.

Когда мистер Барнстейпл добрался наконец до выступа, куда можно было бы стать, его ожидал неприятный сюрприз. Веревоочная лестница спускалась ниже этой площадки всего на несколько ярдов и там кончалась. По тому, как лестница все больше и больше раскачивалась, он еще раньше почувствовал это... Но тут он вдруг разглядел в темноте что-то вроде горизонтальной галереи, вырубленной в скале. Он вынул ногу из кольца, нащупал выступ и тут же откач-

нулся обратно. Он так устал и измучился, что долгое время не мог перебраться с лестницы на площадку. Наконец он сообразил, как это можно сделать. Повиснув на руках, он оттолкнулся ногами от скалы и, качнувшись к выступу, секунду держался над ним. Он проделал это дважды, потом собрался с духом и прыгнул на выступ, отпустив лестницу. Она откачнулась, пропала в темноте, потом качнулась обратно и, словно играя, внезапно хлопнула его по плечу.

Галерея, в которой очутился мистер Барнстейпл, была проложена в большой кристаллической жиле какого-то минерала. Вглядываясь во мрак, он ощупью побрел по галерее. Если это была выработка, то, несомненно, она как-то соединялась с дном каньона. Шум потока сейчас был намного громче, и мистер Барнстейпл решил, что спустился с утеса примерно на две трети его высоты. Он решил, что лучше подождать утра. Он взглянул на светящийся циферблат часов: было четыре часа. Скоро наступит рассвет. Он выбрал удобное место и сел, прислонившись спиной к камню. Рассвет, казалось, наступил мгновенно, но на самом деле мистер Барнстейпл на некоторое время забылся: на часах было уже половина шестого.

Он подошел к краю галереи и посмотрел вверх, туда, где он видел в расселине кабель. В утреннем сумраке все предметы казались серыми либо белыми или черными, но очень отчетливыми. Стены каньонов, казалось, поднимались на бесконечную высоту и пропадали где-то в облаках. Внизу мелькнул утопиец, но его тотчас же заслонил выступ скалы. Мистер Барнстейпл подумал, что огромный кабель прижат вплотную к обрыву Карантинного Утеса и поэтому отсюда его не видно.

Он не нашел ступенек, которые вели бы вниз из галереи, но ярдах в тридцати — сорока он увидел пять тросов, которые под острым углом уходили к противоположной стене каньона. Тросы вырисовывались очень отчетливо. Он подошел к ним. По каждому тросу ходила маленькая вагонетка с большим крюком под ней. Это была маленькая подвесная дорога. Три троса были пусты, а на остальных двух вагонетки находились на этой стороне. Мистер Барнстейпл осмотрел вагонетки и отыскал тормоза, которые их удерживали на тросе. Он отпустил один тормоз, и вагонетка рванулась вперед, чуть не столкнув его в пропасть. Он

спасся, ухватившись за другой трос. Он видел, как вагонетка полетела вниз, как птица опустилась на песчаный берег по ту сторону потока и там остановилась. Спуститься, по-видимому, было можно. Весь дрожа, он повернулся к последней вагонетке.

Его нервы были настолько истерзаны и воля настолько ослабела, что потребовалось некоторое время, прежде чем он заставил себя повиснуть на крюке и отпустить тормоз. Но вот он мягко и быстро полетел через ущелье на песчаный берег...

Там лежали большие груды кристаллического минерала. Откуда над ними висел канат? Должно быть, от невидимого в тумане подъемного крана. Но ни одного утопийца вокруг не было. Мистер Барнстейпл разжал руки и спрыгнул на песок. Песчаный берег расширялся вниз по течению, и он пошел вдоль потока.

Свет становился все ярче. Мир перестал быть миром серого и черного. Предметы обрели краски. Все вокруг было покрыто обильной росой. А он был голоден и невыносимо измучен. Песок стал каким-то другим, он сделался мягче, ноги в нем вязли. Мистер Барнстейпл почувствовал, что не в состоянии больше идти, и решил ждать чьей-нибудь помощи. Он уселся на камень и посмотрел на громаду Каменного Утеса.

3

Огромный утес уходил ввысь и торчал почти вертикально, словно нос гигантского корабля, разделившего два синих каньона. Ключья и полосы тумана все еще скрывали от мистера Барнстейпла вершину и мостик, перекинутый через более узкий каньон. Небо, проглядывавшее между полосами тумана, было густого синего цвета. Пока он всматривался, туман рассеялся, и в лучах восходящего солнца старый замок засверкал ослепительным золотом; крепость землян была отчетливо видна.

Мост и замок были бесконечно далеко, и вся верхняя часть скалы казалась маленьким шлемом на голове гигантского воина. Ниже моста, примерно на той высоте, на которой работали или еще продолжали работать три утопийца, тянулась темная змеевидная лента. Мистер Барнстейпл решил, что это и есть кабель, который он заметил ночью в свете зеленых

вспышек. Потом он увидел какое-то странное сооружение — ближе к вершине, возле более широкого каньона. Это было нечто вроде огромной плоской спирали, поставленной у края обрыва, напротив утеса. Немножко ниже, над более узким каньоном, отчасти заслоненная выступом, виднелась вторая такая же спираль — почти возле самых ступенек, которые вели вверх от мостика. Двое или трое утопийцев, выглядевших на огромной высоте крохотными и приплюснутыми, копошились у края обрыва — они держали в руках какой-то аппарат, имевший отношение к двум спиральям.

Мистер Барнстейпл глядел на эти приготовления, ничего не понимая, как дикарь, никогда не слышавший выстрела, глазел бы на человека, заряжающего ружье.

Послышался знакомый звук, слабый и далекий. Это сирена на Карантинном Замке дала сигнал к подъему. И почти одновременно на фоне голубого неба появилась маленькая наполеоновская фигура мистера Руперта Кэтскилла. Рядом с ним показались голова и плечи, очевидно, вытянувшегося перед ним Пенка.

Командующий вооруженными силами землян вытащил полевой бинокль и принялся разглядывать спирали.

— Интересно, понимает ли он, что это такое, — пробормотал мистер Барнстейпл.

Мистер Кэтскилл повернулся и что-то приказал Пенку; тот отдал честь и исчез.

Какой-то треск в более узком каньоне заставил мистера Барнстейпла обратить внимание на мостик. Его больше не было. Мистер Барнстейпл быстро посмотрел вниз и еще успел заметить падающий мост в нескольких ядрах от воды. Потом он увидел, как всплеснулась вода и металлическая рама, ударившись о камни, подпрыгнула и разлетелась на части. Только через несколько мгновений до ушей мистера Барнстейпла донесся грохот падения.

— Кто же это сделал? — спросил он самого себя.

На его вопрос ответил мистер Кэтскилл: он торопливо побежал к углу замка и стал глядеть вниз. Он был явно удивлен. Значит, мост обрушили утопийцы.

Возле мистера Кэтскилла почти тотчас же появились мистер Ханкер и лорд Барралонг. Судя по их жестам, они что-то взволнованно обсуждали.

Солнечные лучи все ниже скользили по Карантинному Утесу. Теперь они осветили кабель, окружавший подножие вершины, и при этом свете он засверкал, словно начищенная медь. Мистер Барнстейпл вновь увидел трех утопийцев, разбудивших его ночью, — они торопливо спускались по веревочной лестнице. И снова раздался рокот, который он не раз слышал ночью. Но теперь этот звук был гораздо громче, он словно доносился отовсюду и отдавался в воздухе, в воде, в скалах, в его костях.

Внезапно рядом с маленькой группой землян возник какой-то темный копьевидный предмет. Этот предмет словно выпрыгнул откуда-то — он подпрыгнул еще на высоту роста человека, потом выше и снова выше. Это был флаг; его поднимали на флагштоке, который мистер Барнстейпл заметил только сейчас. Флаг поднялся до конца флагштока и повис.

Затем ветерок на мгновение развернул его. Открылась белая звезда на голубом фоне, потом флаг опять повис.

Это был флаг Земли, флаг крестового похода за возвращение Утопии к конкуренции, хаосу и войнам.

Под флагом появилась голова мистера Берли — он тоже рассматривал в бинокль спирали утопийцев.

4

Рокот и гудение отдавались в ушах мистера Барнстейпла все громче и вдруг стали оглушительными. Внезапно над каньонами, между спиралями замаячили фиолетовые молнии, пронзая насквозь Карантинный Замок с такой легкостью, словно его там и не было.

Однако он там был еще одно мгновение.

Флаг запылал, и клочья его свалились с флагштока. С головы мистера Берли слетела шляпа. Мистер Кэтскилл, фигура которого возвышалась до половины над парашютом, безуспешно боролся с полами сюртука, задрывшимися и окутавшими ему голову. И в то же мгновение мистер Барнстейпл увидел, как замок стал поворачиваться вокруг оси, словно невидимый великан сжал пальцами верхушку утеса и стал ее откручивать. И тут же замок исчез.

На его месте поднялся огромный столб пыли; над потоками в каньонах взлетели фонтаны воды. Оглу-

шительный грохот ударил в уши мистера Барнстейпла. Невидимая сила подняла его в воздух и отбросила на несколько шагов. Он упал среди града камней, тучи брызг и облака пыли, избитый и оглушенный.

— Боже мой! — простонал он. — Боже мой!

С трудом, едва преодолевая отчаянную тошноту, он поднялся на колени.

Он бросил взгляд на вершину Карантинного Утеса — она была срезана аккуратно, как верхушка сыра острым ножом. Истощение и усталость окончательно одолели его, он упал ничком и потерял сознание.

КНИГА ТРЕТЬЯ

НЕОФИТ В УТОПИИ

Глава первая

МИРНЫЕ ХОЛМЫ У РЕКИ

1

«Бог создал больше миров, чем страниц в книгах всех библиотек; и среди множества божьих миров человек может познавать новое и становиться все совершеннее вечно».

У мистера Барнстейпла было ощущение, что он плывет от звезды к звезде через бесконечное многообразие чудес мироздания. Он перешагнул границы бытия; долгими столетиями он спускался по обрывам несчетных утесов; переходил от вечности к вечности в потоке неисчислимых малых звезд... Наконец наступила полоса глубочайшего покоя. Явилось небо с легкой пеленой облаков, озаренных лучами заходящего солнца, пологие холмы на горизонте с вершинами, покрытыми золотистой травой, с темно-лиловыми лесами и рощами и бледно-желтыми полями по склонам. То там, то тут были разбросаны увенчанные куполами строения террасы, цветущие сады, уютные виллы, большие бассейны с сверкающей на солнце водой.

Поблизости все склоны поросли деревьями вроде эвкалиптов, только листья у них были потемнее; весь этот ландшафт уходил вниз, к широкой долине, по

которой лениво петляла светлая река, исчезая в вечерней дымке.

Мистер Барнстейпл, заметив какое-то легкое движение, перевел взгляд — рядом с ним сидела Ликнис. Она улыбнулась ему и приложила палец к губам. Ему смутно захотелось что-то ей сказать, но он только слабо улыбнулся в ответ и повернул к ней голову. Она встала и скользнула куда-то мимо его изголовья. Он был еще настолько слаб и безразличен ко всему, что не смог даже посмотреть, куда она пошла. Все-таки он заметил, что она сидела за белым столиком, на котором стоит серебряная ваза с синими цветами, — их яркая окраска приковывала его взор, и он сосредоточил на них все то вялое любопытство, которое пробудилось в нем. Он старался понять, действительно ли в Утопии краски ярче или чистота и прозрачность воздуха так обостряют его зрение.

Стол стоял у белых колонн спальни лоджии, а между ними низко свесилась ветвь похожего на эвкалипт дерева с темно-бронзовыми листьями.

Зазвучала музыка. Звуки сочились тонкой струйкой, падали каплями, текли — ненавязчивый ручеек маленьких, ясных нот. Музыка звучала где-то на пороге его сознания — вроде песни какого-нибудь Дебюсси из волшебной страны... Покой...

2

Мистер Барнстейпл снова проснулся.

Теперь он изо всех сил старался вспомнить...

Что-то швырнуло его и оглушило. Что-то слишком огромное и мощное, чтобы можно было удержать это в памяти.

Потом какие-то люди окружили его и что-то говорили: он видел только их ноги — должно быть, он лежал ничком, уткнувшись лицом в землю. Потом его перевернули, и он был ослеплен яркими лучами восходящего солнца.

В ущелье, у подножия высокого утеса, две милые богини дали ему выпить какого-то лекарства. Потом женщина несла его на руках, как ребенка... Какие-то туманные, отрывочные воспоминания о долгом полете по воздуху... И тут ему представился огромный сложный механизм, не имевший к остальному никакого отношения. Он попытался было разобраться, в

чем тут дело, но сознание сразу устало работать... Чьи-то голоса о чем-то совещались. Боль от укола. Потом он вдыхал какой-то газ. И беспробудный сон. Вернее, сон, перемежающийся какими-то видениями...

Но что же это было за ущелье? Как он попал туда?

Да, ущелье, только в каком-то другом освещении, при вспышке зеленого света. Утопийцы тащат огромный, тяжелый кабель.

И вдруг перед его глазами четко встал Карантинный Утес на фоне яркого синего утреннего неба. Он вновь увидел, как вершина начала медленно поворачиваться вместе с развевающимся флагом, растрепанными фигурками, словно большой корабль, выходящий с флагами и пассажирами из гавани, увозя их в невидимое и неведомое... И вдруг мистер Барнстейпл вспомнил все свое невероятное, чудесное приключение от начала и до конца.

3

Он приподнялся на своем ложе. Лицо его выражало нетерпеливый вопрос, и тут же появилась Ликнис.

Она села рядом с ним, немного взбила подушки и стала его убеждать лежать спокойно. Она сообщила, что его вылечили от какой-то болезни и что он больше не носитель инфекции, но пока еще он очень слаб. «После какой же болезни?» — спросил он себя. Тут он вспомнил новые подробности недавнего прошлого.

— У вас вспыхнула эпидемия, — сказал он. — Какая-то смесь из всех наших инфекций.

Она улыбнулась успокаивающе. Эпидемия кончилась. Организованность и наука Утопии уничтожили опасность в самом зародыше. Сама Ликнис не участвовала в профилактических и санитарных работах, так быстро прервавших распространение вторгшихся микробов; она занималась другим — ухаживала за больными. Что-то сказало мистеру Барнстейплу, что Ликнис даже огорчена тем, что эта милосердная деятельность больше уже не нужна. Он поднял голову и посмотрел в ее красивые, добрые глаза, в которых светилось ласковое сострадание. Конечно, она огорчена не тем, что Утопия избавилась от эпидемии, это было бы невероятно; видимо, она опечалена тем, что

больше не может отдавать всю себя страждущим, и рада хотя бы тому, то он еще нуждается в ее помощи.

— А что стало с этими людьми на Утесе? — спросил он. — Что стало с остальными землянами?

Она не знала, но думала, что их изгнали из Утопии.

— Назад на Землю?

Нет, она не думает, чтобы они вернулись на Землю. Возможно, они попали в другую вселенную. Но она не знает точно. У нее никогда не было призвания к математическим или физико-химическим наукам, и сложные теории о пространственных измерениях, которыми интересовалось в Утопии столько людей, были ей недоступны. По ее мнению, вершина Карантинного Утеса была выброшена за пределы утопийской вселенной. Множество утопийцев сейчас заинтересовалось проблемой иных измерений, но все это только пугало ее. Она отшатывалась от этого, как отшатывается очутившийся на самом краю пропасти.

Ей не хотелось думать о том, куда девались земляне, над какими безднами они проносятся, в какие необозримые пространства они погружаются. Когда она думала об этом, словно черные пропасти разверзались у нее под ногами и ее покидала спокойная уверенность в незыблемости мира. У нее был консервативный склад мышления; она любила жизнь такой, как она есть и какой была всегда. Она посвятила себя уходу за мистером Барнстейплом, когда выяснилось, что он избежал судьбы остальных землян; ее не очень занимали подробности того, что с ними произошло. Она просто не думала об этом.

— Но где же они? Куда они исчезли?

Этого она не знала.

Постепенно она рассказала ему, но как-то запинаясь и бессвязно, о своем смутном несочувствии этим новым открытиям, которые воспламенили сейчас воображение утопийцев. Толчком к этому энтузиазму был опыт Ардена и Гринлейк, благодаря ему земляне попали в Утопию. Это была первая брешь, пробитая в непреодолимом ранее барьере, который удерживал их мир в трехмерном пространстве. Их опыт открыл путь к этим безднам. Он положил начало исканиям, заполнившим сейчас всю Утопию. Он был первым практическим результатом целой сложной системы теорий и научных выводов. Мистер Барнстейпл вспомнил о

более скромных окрытиях, сделанных на Земле: о Франклине, поймавшем воздушным змеем молнию, и о Гальвани с его дергающей лапками лягушкой — они оба размышляли над этим чудом, и в итоге электричество стало служить людям. Но потребовалось полтора столетия, чтобы электричество вызвало ощутительные перемены в человеческой жизни: ищущих умов на Земле было мало, а общественная система была враждебна ко всему новому. В Утопии сделать новое открытие значило воспламенить умы. Сотни тысяч экспериментаторов в свободном и открытом сотрудничестве работали теперь, следуя тем плодотворным путем, который открыли Арден и Гринлейк. Ежедневно, даже ежечасно открываются все новые, казавшиеся до сих пор фантастическими возможности взаимоотношения вселенных, лежащих в разных пространственных измерениях.

Мистер Барнстейпл потер рукой лоб и глаза, откинулся на спину и, прищурившись, стал смотреть на лежавшую внизу долину — закат медленно одевал ее золотом. Чувство какой-то безопасности и устойчивости охватывало его: ему казалось, что он в самом центре сферы, сияющей величием и безмятежностью. И все же это ощущение безграничного спокойствия было иллюзорным заблуждением: этот тихий вечер слагался из миллиардов и миллиардов спешащих и сталкивающихся атомов.

Весь этот покой и неподвижность, доступные человеку, не что иное, как мнимоспокойная поверхность потока, мчащегося с невероятной скоростью от водопада к водопаду. Было время, когда люди говорили о вечных горах. Теперь всякий школьник знает, что горы выветриваются от мороза, ветра и дождя и уносятся в море ежедневно и ежечасно. Было время, когда люди считали Землю у себя под ногами неподвижной. Теперь они знают, что Земля, кружась, мчится в пространстве, влекомая слепой силой, среди мириад звезд. Вся эта праздничная завеса перед глазами мистера Барнстейпла — тихая и мягкая роскошь заката и огромная пелена звездного пространства, висящая за синевой неба, — все теперь должно быть пронизано человеческим разумом, разъято и познано...

Его еще вялые мысли вернулись к тому, что занимало его больше всего.

— Но где же они, мои соотечественники? — спро-

сил он.— Где их тела? А может быть, они все-таки не погибли?

Ликнис ничего не могла сказать ему.

Он лежал и думал... Естественно, что его поручили заботам несколько отсталой женщины. Более действенные умы Утопии нуждаются в нем не больше, чем мыслящий человек на Земле в собаке или кошке. Она не хотела и думать о связях различных вселенных; этот предмет был слишком труден для нее; она представляла собой одну из редких неудач утопийской системы образования. Она сидела рядом с ним с какой-то божественной мягкостью и спокойствием на лице, и он почувствовал, что его суждения о ней — что-то вроде предательства. Но он все-таки хотел получить ответ на свой вопрос.

Он решил, что вершина Карантинного Утеса была повернута и выброшена в пространство иного измерения. И маловероятно, что на этот раз земляне тоже попадут на какую-нибудь пригодную для жизни планету. Скорее всего их выбросили в пустоту, в межзвездное пространство еще одной неизвестной вселенной...

Что с ними произойдет? Они замерзнут. Или воздух будет мгновенно выжат из них, и их собственная тяжесть вдруг сплющит их... По крайней мере мучения их будут недолгими. Только один раз захватит дыхание, как у человека, внезапно брошенного в ледяную воду...

Он обдумал эти возможности.

— Выброшены! — сказал он вслух.— Словно клетка с мышами за борт судна...

— Не понимаю,— сказала Ликнис, поворачиваясь к нему.

Он умоляюще смотрел на нее.

— Но скажите мне, что будет со мной?

4

Некоторое время Ликнис молчала. Она сидела, устремив кроткие глаза на голубоватую дымку, постепенно окутывающую реку и долину. Потом повернулась к нему и ответила вопросом:

— Хотите вы остаться в нашем мире?

— Конечно! Любой землянин пожелал бы остаться здесь. Мое тело очищено. Почему бы мне не остаться?

— Наш мир вам нравится?

— Красота, порядок, здоровье, энергия, ищущая мысль — разве это не все то лучшее, во имя чего мучается и страдает мой мир?

— И однако наш мир все еще не удовлетворен.

— Мне этого достаточно.

— В вас говорят усталость, слабость...

— Этот воздух быстро вернет мне здоровье и силы. Я даже смог бы помолодеть в вашем мире. По вашей оценке возраста я еще далеко не стар.

Снова она некоторое время молчала. Огромная долина заполнилась смутной синевой, и только на горизонте темные силуэты деревьев на холмах ясно рисовались на фоне желто-зеленого вечернего неба. Никогда в жизни мистер Барнстейпл не видел такого мирного прихода ночи. Но слова Ликнис разрушили впечатление.

— Здесь, — сказала она, — нет покоя. Каждый день мы просыпаемся и спрашиваем себя: «Что нового сделаем сегодня? Что нам предстоит изменить?»

— Они превратили пустынную планету, полную болезней и беспорядка, в мир красоты и благополучия. Они заставили дикие джунгли человеческих инстинктов отступить перед союзом людей, перед знанием и властью над природой...

— Но наука никогда не успокаивается на достигнутом. Любознательность, жажда все нового и нового могущества снедают наш мир...

— Это здоровый аппетит, — возразил мистер Барнстейпл. — Я теперь устал. Я слаб и беспомощен, как только что родившийся младенец, но когда я окрепну, быть может, я тоже разделю эту любознательность, приму участие в великих открытиях, которые вдохновляют сейчас утопийцев. Кто знает!

Он улыбнулся и поглядел в ее добрые глаза.

— Вам придется многому учиться, — сказала она.

Казалось, она думала о своей собственной неполноценности, когда произносила эти слова.

Мистер Барнстейпл вдруг смутно почувствовал, что тысячелетия прогресса должны были внести в идеи, в способы мышления этого человечества глубочайшие изменения. Он внезапно вспомнил, что в об-

щении с утопийцами воспринимает лишь то, что способен понять, а все, что находится вне круга его земных идей и представлений, он просто не слышит. Пропасть непонимания, возможно, была даже шире и глубже, чем ему казалось. Неграмотный негр с Золотого Берега, пытающийся постигнуть принципы термоэлектричества, и тот был бы, несомненно, в гораздо более выгодном положении по сравнению с ним.

— В конце концов меня влечет вовсе не участие в этих открытиях,— сказал он.— Вполне возможно, что они мне не по плечу; я просто хочу жить этой совершенной, красивой, повседневной жизнью, воплотившей в себе лучшие мечты моего собственного века. Я просто хочу жить здесь. Этого было бы для меня достаточно.

— Вы еще слабы и больны,— повторила Ликнис.— Когда вы окрепнете, у вас, возможно, появятся другие мысли.

— Какие же?

— Вы вспомните ваш собственный мир, вашу собственную жизнь.

— Вернуться обратно на Землю?!

Ликнис поглядела на сгущающиеся сумерки.

— Вы землянин по рождению и по сути. Чем же еще вы можете быть?

— Чем еще могу я быть?

Мистер Барнстейпл лежал и уже не размышлял больше, отдавшись охватившему его неопределенному чувству, а в сгущающейся синеве уже вспыхивали огоньки Утопии, образуя цепи, кольца, расплываясь светлыми пятнами.

Он мысленно боролся против той правды, которая таилась в словах Ликнис. Этот величественный мир Утопии, совершенный, уверенный в себе, готовящийся к грандиозным прыжкам в иные вселенные, был миром благородных великанов и недоступной красоты — миром планов и свершений, в которых жалкий, малоразвитый, слабовольный землянин никогда не сможет принять участия. Они уже взяли от своей планеты все, что она могла им дать — как человек, вытряхивающий из кошелька последние монеты. И теперь они намерены испробовать свои силы среди звезд...

Они добры. Они очень добры. Но они совсем другие...

БЕЗДЕЙСТВИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОМ МИРЕ

1

Через несколько дней мистер Барнстейпл совершенно выздоровел — телом и душой. Он больше не лежал в своей лоджии, полный жалости к себе, безучастный к красоте окружающего; он уже свободно передвигался и совершал длительные прогулки по долине, искал знакомств и открывал для себя все больше чудес и осуществленных человеческих чаяний.

Утопия казалась ему именно страной чудес. Почти все, что портит и искажает человеческую жизнь, было здесь преодолено; войны, эпидемии и болезни, голод и нищета — от всего этого человечество было освобождено. Мечты художников — о совершенном, прекрасном человеческом теле, о мире, преображенном гармонией и красотой, — эти мечты стали здесь действительностью; дух порядка и организации царил безраздельно. Все стороны человеческой жизни коренным образом изменились.

Климат Долины Отдыха, мягкий и солнечный, напоминал южную Европу, но здесь не было почти ничего характерного для пейзажа Италии или Испании. Не было дряхлых старух, согбенных под тяжестью ноши. Не было назойливых попрошайек, ни рабочих в лохмотьях, сидящих на обочинах дорог. Вместо жалких, крохотных террасок, вспаханных вручную, вместо корявых оливковых деревьев, искромсанных виноградных лоз, крохотных полей или фруктовых садов, вместо скудных, примитивных оросительных каналов, предмета вечных споров и тяжб, здесь, в Утопии, все говорило о широких планах сохранения растительного мира, об умном и дальновидном использовании всей почвы, всех горных склонов, всех солнечных лучей. Здесь не было детей, пасущих среди камней тощих коз и овец, не было коров на привязи, пасущихся на жалких полосках травы; не было и лачуг вдоль дороги, ни часовен с кровоточащими распятиями, ни бездомных собак, ни ослов, которые, изнывая под тяжестью перегруженных корзин, задыхаясь, останавливаются перед крутым участком дороги, изрезанной рытвинами, усыпанной камнями и наво-

зом. Вместо всего этого ровные и прочные дороги, без единого крутого подъема или спуска, пролегающие по широким виадукам над ущельями и долинами, ведущие сквозь горы, через туннели, подобные приделам собора, через скалы, заслоняющие пейзаж. Множество мест для отдыха, живописных убежищ, лестниц, взбирающихся к уютным верандам и беседкам, где друзья могли встретиться и поговорить, а влюбленные — найти уединение. Мистер Барнстейпл любовался рощами и аллеями — таких деревьев он никогда не видал, потому что на Земле редко встречаются совершенно здоровые взрослые деревья: почти все они источены паразитами, поражены гнилью и наростами, еще более изуродованы, искалечены и изъедены болезнями, чем само человечество.

Чтобы создать такой пейзаж, потребовался терпеливый и продуманный труд утопийцев на протяжении двадцати пяти столетий. В одном месте мистер Барнстейпл увидел большие строительные работы: заменяли мост, но не потому, что он обветшал и стал ненадежным, а потому, что кто-то сумел создать более смелый и более изящный проект.

Некоторое время мистер Барнстейпл не замечал отсутствия телефонной и телеграфной связи; нигде не было видно характерных для современной сельской местности столбов и проводов. Причину этого он узнал позднее. Не замечал он вначале и отсутствия железных дорог, станций, придорожных гостиниц. Он обратил внимание на то, что многие здания, видимо, имеют какое-то особое назначение, что люди входят туда и выходят из них с выражением интереса и деловой сосредоточенности. Из некоторых зданий доносится гудение и жужжание: здесь шла какая-то разнообразная работа; но его представления об индустрии этого нового мира были слишком туманны и отрывочны, чтобы пытаться угадать назначение того или другого здания. Он гулял, озираясь по сторонам, словно дикарь, очутившийся в роскошном цветнике.

Он не видел ни одного города. Причины возникновения этих нездоровых людских скоплений исчезли. Как он узнал, существовали места, где люди собирались для научных занятий, для взаимного обогащения знаниями, для обмена мыслями, — для этой цели и строились специальные комплексы зданий; но мистер Барнстейпл ни разу не побывал в этих центрах.

По всему этом миру двигались рослые люди Утопии, необыкновенно красивые утопийцы, они улыбались или дружески кивали ему, проходя мимо, но не давали ему даже возможности задать вопрос или вступить в беседу. Они мчались в машинах по дорогам или шли пешком, а над ними то и дело беззвучно проносилась тень аэроплана. Мистер Барнстейпл немного побаивался их и благоговел перед ними, чувствуя себя какой-то нелепой диковиной, когда встречался с ними взглядом. Ибо, подобно богам Греции и Рима, они были облагороженными и совершенными людьми, и ему казалось, что они и в самом деле боги. Даже ручные звери, которые свободно расхаживали по этому миру, носили на себе отпечаток какой-то божественности, и это сковывало желание мистера Барнстейпла выразить им свои дружеские чувства.

2

Вскоре он нашел спутника для своих прогулок. Это был мальчик тринадцати лет, родственник Ликнис по имени Кристалл, кудрявый подросток, с такими же карими глазами, как у нее; он изучал историю — предмет, который он выбрал для самостоятельных занятий.

Насколько удалось понять мистеру Барнстейплу, главной частью учебных занятий мальчика была не история, а математика, связанная с физикой и химией. Но все это выходило за круг сведений, доступных землянам. Над основными предметами Кристалл работал вместе с другими мальчиками, и эти занятия носили исследовательский характер, как сказали бы о них на Земле. Мистер Барнстейпл не был в состоянии понять характер и других предметов — например, того, что называлось культурой выражения мыслей. Однако история их сблизила. Мальчик как раз изучал сейчас возникновение социальной системы Утопии из первых ее зачатков, утверждавшихся еще в Век Хаоса. Воображение мальчика было занято этой трагической борьбой, из которой родился нынешний строй Утопии; у него были сотни вопросов к мистеру Барнстейплу, а сам он мог служить источником всяческих сведений, которые затем должны были стать само собой разумеющейся основой его зрелого мышления. Мистер Барнстейпл был для него чем-то вроде книги,

а он для Барнстейпла — своего рода гидом. И они гуляли вместе, беседуя, как равные, этот обладающий незаурядным умом землянин и утопийский мальчик, который был выше его ростом на целый дюйм.

Основные факты истории Утопии Кристалл знал назубок. Он с увлечением объяснял, что нынешний порядок мира и красоты до сих пор поддерживается в Утопии во многом искусственно. Утопийцы, по его словам, в основном остались теми же, что и их далекие предки начала нового каменного века, тысяч пятнадцать или двадцать лет назад. Во многом утопийцы еще подобны землянам того же периода. С тех времен сменилось всего 600 или 700 поколений — срок очень малый для коренных изменений биологического вида. Не произошло даже сколько-нибудь серьезного смешения рас: в Утопии, как и на Земле, были белые и цветные народы, и они до сих пор сохранили свои различия. Расы уравнились в социальном отношении, но почти не смешивались, скорее каждая раса культивировала свои особенности и дарования. Часто бывает, что люди разных рас страстно любят друг друга, однако они редко решаются иметь детей... В Утопии произведено сознательное уничтожение уродливых, злобных, ограниченных, глупых и угрюмых типов характера, и это длилось примерно около десяти столетий; но средний житель Утопии, если не считать более полного выявления заложенных в нем способностей, мало чем отличается от деятельного и способного человека позднего каменного века или раннего бронзового. Утопийцы, разумеется, бесконечно лучше питаются, несравненно более развиты умственно и тренированы физически, они ведут здоровую и чистую жизнь, но плоть у них была в конечном счете такой же, как у нас.

— Неужели,— сказал мистер Барнстейпл, не в силах сразу освоиться с этой мыслью,— по-вашему, добрая половина детей, рождающихся сейчас на Земле, могли бы вырасти такими богами, каких я вижу здесь?

— Если бы они жили в нашем воздухе, в нашем окружении...

— И если бы у них была такая наследственность...

— И наша свобода...

Мальчик напомнил мистеру Барнстейплу, что в

Век Хаоса каждый человек вырастал с изуродованной и искалеченной волей, был опутан всякими бессмысленными ограничениями или подпадал под власть обманчивых иллюзий. Утопия и сейчас помнит, что людская натура была низменной и дикой и ее нужно было приспособлять к условиям общественной жизни; но Утопия сумела найти наилучшие методы этого приспособления — после многих неудач и попыток добиться этого принуждением, жестокостью и обманом.

— На Земле мы укрощаем зверей раскаленным железом, а себе подобных — насилием и обманом, — заметил мистер Барнстейпл, и он принялся рассказывать своему изумленному спутнику о школах и книгах, газетах и публичных диспутах начала XX века. — Вы не можете себе представить, как на Земле подчас забиты и боязливы даже порядочные люди. Вы изучаете сейчас Век Хаоса вашей истории, но вы не знаете, что такое эта атмосфера смятенных умов, недействительных законов, ненависти, суеверий. Когда ночь спускается на Землю, сотни тысяч людей лежат без сна, охваченные страхом перед грубой силой, жестокой конкуренцией, боясь, что они не смогут свести концы с концами, мучимые непонятными болезнями, удрученные какой-нибудь бессмысленной ссорой, доведенные почти до безумия неутоленными желаниями, подавленными извращенными инстинктами...

Кристалл признался, что ему трудно представить себе печали и горести Века Хаоса. Многие из теперешних страданий на Земле он тоже не может вообразить. Очень медленно Утопия создавала нынешнюю гармонию между законом, обычаем и воспитанием. Люди больше не подвергаются принуждению, которое только уродует и принижает их; было признано, что человек является животным, и его повседневная жизнь должна вращаться в кругу удовлетворенных потребностей и освобожденных инстинктов. Повседневное существование в Утопии состоит из бесконечного многообразия вкусной еды и напитков, разнообразных и увлекательных физических упражнений, труда, спокойного сна, счастливой любви, не знающей страха и злобы. Запреты были сведены к минимуму. Только тогда, когда животное начало в человеке получило полное удовлетворение, оно стало сходить на нет — тут вступила в свои права власть воспитания, приня-

того в Утопии. Драгоценным алмазом в голове змеи, лучи которого вывели Утопию из хаоса этого примитивного существования, была любознательность, стремление к игре, которые у взрослых перерастали в ненасытную жажду знаний, в привычную тягу к творчеству. Все утопийцы, как дети, — одновременно учатся и творят.

Было удивительно слышать, как просто и ясно этот мальчик рассуждает о процессе воспитания, которому подчинен он сам, и в особенности как откровенно он рассуждает о любви.

Земная застенчивость чуть было не помешала мистеру Барнстейплу задать вопрос: «Но вы... Неужели вы уже любили?»

— Я испытывал определенное любопытство, — сказал мальчик, по-видимому, отвечая так, как его учили. — Но желанию любить не следует слишком рано поддаваться. Молодых это только расслабляет, если они легко уступают желаниям, от которых часто уже нелегко избавиться. Это портит и калечит воображение. А я хочу хорошо работать, как работал до меня мой отец.

Мистер Барнстейпл искоса поглядел на красивый профиль юноши и вдруг поморщился, вспомнив темную комнату номер четыре для самостоятельных занятий и некий отвратительный период своего отрочества, душную, темную комнату и горячее и уродливое, что там произошло. Он вновь остро ощутил себя грязным землянином.

— Ах! — вздохнул он. — Ваш мир чист, как звездный свет, и приятен, как холодная вода в жаркий день!

— Я люблю многих, — ответил мальчик, — но не чувственно. Когда-нибудь придет и это. Не надо быть нетерпеливым и беспокойным и спешить навстречу чувственной любви; иначе можно обмануться и обмануть других... Торопиться незачем. Никто не помешает мне, когда придет моя пора. Все приходит в свое время... Только труда нельзя просто дожидаться, — своему призванию, поскольку это касается только тебя самого, надо идти навстречу.

Кристалл много размышлял о той работе, которой он сможет заняться. И мистеру Барнстейплу показалось, что труд в смысле непривлекательной и нелюбимой работы исчез в Утопии. И в то же время вся

Утопия трудилась. Каждый выполнял работу, которая соответствовала его естественным склонностям и была ему интересна. Каждый трудился радостно и увлеченно — как те люди, которых на Земле мы называем гениями.

И вдруг мистер Барнстейпл стал рассказывать Кристаллу о счастье настоящего художника, подлинного ученого или мыслителя, возможном и на нынешней Земле. Они тоже, подобно утопийцам, делают дело, которое становится частью их души, высокой целью их жизни. Из всех земель только им и можно позавидовать.

— А если даже такие люди несчастливы на Земле,— добавил мистер Барнстейпл,— так это потому, что они еще не до конца избавились от людской пошлости, еще сохранили свойственную вульгарным людям жажду дешевого успеха и почестей и все еще слишком чувствительны к невниманию или притеснениям, хотя это не должно было бы их волновать. Но для человека, который увидел, как сияет солнце над Утопией, самые высшие почести и самая громкая земная слава означали бы не больше и были бы не более желательны, чем награда от какого-нибудь вождя дикарского племени — поощрительный плевок или нитка бус.

3

Кристалл был еще в том возрасте, когда хочется похвастаться своим жизненным опытом. Он показал мистеру Барнстейплу свои книги и рассказал о наставниках и занятиях.

В Утопии все еще употреблялись печатные книги; книги по-прежнему оставались простейшим способом довести до сосредоточенного ума какую-нибудь истину. Книги Кристалла были великолепно переплетены в мягкую кожу, которую искусно приготовила для него его мать, и напечатаны на бумаге, изготовленной ручным способом. Буквы представляли собою какие-то скорописные фонетические письмена, Барнстейпл не мог их понять. Они напоминали арабские. Почти на каждой странице были чертежи, схематические карты и диаграммы. Домашним чтением Кристалла руководил наставник, которому он готовил нечто вроде отчета о своих упражнениях; чтение дополнялось

посещением музеев. Однако в Долине Отдыха не было ни одного учебного музея, который мистер Барнстейпл мог бы посетить.

Кристалл уже прошел начальную ступень обучения; как он рассказал, оно проводилось в учебных центрах, всецело приспособленных для этой цели. В Утопии детей до одиннадцати-двенадцати лет, видимо, воспитывали значительно заботливее, чем на Земле. Со всякого рода душевными травмами, детскими страхами или дурными привычками здесь боролись со всей настойчивостью, как борются с инфекцией или стихийным бедствием; к восьми или девяти годам уже прочно закладывались основы утопийского характера, навыки чистоты, правдивости, искренности, доброжелательности, доверие к окружающим, бесстрашие и сознание своего участия в общевеликом деле всего человечества Утопии.

Только после девяти или десяти лет ребенок выходил из сада, где он рос, и вступал в повседневную жизнь. До этого возраста забота о нем возлагалась на воспитательниц и учителей, а затем все больше усиливалось влияние родителей. Родители обычно старались быть поближе к ребенку, посещать его в яслях или детском саду; но если на Земле родители обычно отдалялись от детей в тот период, когда ребенок отправлялся в школу или начинал работать, то в Утопии родители как раз в этот период становились ближе к детям. В Утопии исходят из той идеи, что между родителями и ребенком обязательно существует определенная внутренняя связь. Подрастающий ребенок мечтал о дружбе и обществе родителей, а родители мечтали о том, как они помогут формированию интересов подростка, и хотя родители в Утопии практически не имеют власти над сыном или дочерью, они естественно играют роль защитников, советчиков, добрых друзей. Эта дружба была тем искреннее и теснее, что она не основывалась на родительской власти, как это имеет место на Земле. И дружба эта тем легче завязывается, что утопийцы одного возраста с землянами были намного моложе их телом и духом.

Кристалл, по всей видимости, был очень привязан к матери. Он очень гордился отцом, который был замечательным художником и декоратором, но сердцем мальчика владела мать. Во время второй прогулки с мистером Барнстейплом он сказал, что собирается

сейчас получить весточку от матери. И тут мистер Барнстейпл увидел то, что заменило в Утопии почтовую переписку. У Кристалла была с собой маленькая связка проводов и какие-то легкие стержни; подойдя к колонне, стоявшей посреди лужайки, он собрал свой аппарат — получилось что-то вроде рамы. Потом постучал по маленькой кнопке в колонне ключом, который носил на шее на тонкой золотой цепочке. Затем он взял приемник, прикрепленный к его аппарату, и что-то громко сказал, потом прислушался, и вскоре раздался чей-то голос.

Это был приятный женский голос. Женщина некоторое время что-то говорила Кристаллу. Кристалл ответил, а потом раздались и другие голоса. Одним из них мальчик отвечал, других просто выслушивал. Наконец он сложил свой аппарат.

Так мистер Барнстейпл узнал, чем заменены в Утопии письма и телефон. Оказалось, что утопийцы не разговаривают по телефону, разве только по особому уговору. Нужное сообщение попросту передается на районную станцию, где известен адресат; там сообщения хранятся, пока получатель не пожелает их услышать. Если ему захочется, чтобы сообщение повторили, он может прослушать его еще раз. Потом он отвечает своему корреспонденту и передает ему все, что пожелает. Все эти передачи беспроводные. Колонны дают электрическую энергию для таких передач, а также и для других потребностей. Например, садовники пользуются ими, чтобы пустить в ход механическую косилку, копатель, грабли, каток и прочее.

Кристалл показал рукой куда-то на край долины — там находилась окружная станция, на которой собирается и откуда передается корреспонденция. Станцию обслуживает всего несколько человек: все виды связи автоматизированы. Сообщения можно получить из любого места Утопии.

Это вызвало у мистера Барнстейпла целый ряд вопросов.

Он узнал, что служба связи в Утопии располагает сведениями о местонахождении каждого жителя планеты. Она следит за их передвижением и всегда знает, в каком округе связи они находятся. Каждый зарегистрирован и отмечен.

Мистер Барнстейпл, привыкший к грубым при-

емам, к бесчестности земных правительств, даже испугался.

— На Земле все это превратилось бы в средство шантажа и насилия,— сказал он.— Каждый мог бы стать жертвой слежки. В нашем Скотленд-Ярде служил один человек. Попади он в вашу службу связи, он за неделю сделал бы жизнь в Утопии невыносимой. Вы не можете себе представить, что это было за вредное существо...

Тут мистеру Барнстейплу пришлось подробно объяснять Кристаллу, что такое шантаж. Кристалл сказал, что когда-то и в Утопии было все это. Так же, как на Земле, здесь старались использовать осведомленность и силу во вред своим ближним, и поэтому люди ревниво оберегали свою частную жизнь. Когда в Утопии был каменный век, жители держали в тайне свои настоящие имена и отзывались только на клички. Они боялись злых чар...

— Некоторые и сейчас поступают так на Земле,— заметил мистер Барнстейпл.

Медленно и постепенно утопийцы учились доверять врачам и дантистам, и опять-таки прошло много времени, пока те стали заслуживать доверие. Это продолжалось десятки столетий, но наконец злоупотребление доверием и правдивостью, свойственное современной организации общества, было повсеместно преодолено.

Каждый молодой утопиец должен был усвоить Пять Принципов свободы, без которых невозможна истинная цивилизация.

Первым был Принцип уважения к частной жизни. Это означало, что факты, относящиеся к отдельному индивидууму, являются его личной собственностью и тайной между ним и общественной организацией, которой он их доверил; эти факты могут быть использованы только для его блага и с его согласия. Разумеется, подобные факты могут быть использованы для целей статистики, но без указания источника.

Вторым принципом был Принцип свободы передвижения. Гражданин, выполнив определенные обязательства перед обществом, может отправиться без всяких разрешений или объяснений в любую часть Утопии. Все средства транспорта предоставляются ему бесплатно. Каждый утопиец может по своей воле менять местожительство, климат и общественную

среду. Третьим был Принцип неограниченного знания. Все, что известно в Утопии, кроме фактов личной жизни, регистрируется и записывается, и доступ к ним открыт каждому, кто пожелает воспользоваться полнейшим каталогом, библиотеками, музеями и справочными бюро. Все, что утопиец желает знать, он может узнать с полнотой и точностью, соответствующими его способностям и трудолюбию. Ничто не может быть скрыто от него или представлено ему в ложном свете. Отсюда, как узнал мистер Барнстейпл, вытекал четвертый Принцип свободы, объявлявший ложь самым черным из всех преступлений. Определение лжи, которое дал ему Кристалл, было всеохватывающим: ложь — это неточное изложение фактов или даже умолчание.

— Там, где есть ложь, не может быть свободы.

Мистера Барнстейпла глубоко захватила эта идея. Она показалась ему необычайно новой и в то же время давно знакомой и привычной.

— Хорошая половина различий между Утопией и земным миром, — сказал он, — заключается именно в этом: наша атмосфера насыщена и отравлена ложью и притворством.

— Стоит подумать, и это становится ясно! — воскликнул мистер Барнстейпл и принялся рассказывать Кристаллу, на какой системе лжи строится жизнь людей на Земле.

Все основные начала, которыми руководствуются земные людские сообщества, — это все еще в значительной мере ложь. Тут и лживые теории о неизбежности различий между нациями и странами, и лицемерное распределение функций и власти при монархии, и всякие ложные научные теории, религиозные и моральные догмы и прочий обман. И человеку приходится жить среди всего этого, быть частицей всего этого! Его изо дня в день ограничивают, сковывают, мучают, убивают все эти бессмысленные фикции...

Ложь — высшее преступление! Как это просто! Как это верно и необходимо! В этой мысли — основное отличие научно организованного всемирного государства от всех ему предшествовавших.

Отправляясь от этой мысли, Барнстейпл разразился длинной тирадой против дезориентации и фальсификации, которыми занимаются земные газеты.

Это была тема, которая всегда задевала его за жи-

вое. Лондонские газеты давно перестали быть объективными передатчиками информации; они умалчивали о фактах, искажали их, просто лгали. Они ничем не отличались от бульварных листков. Журнал «Природа» в пределах своей тематики блистал точностью и полнотой, но ведь это был чисто научный журнал, и он не касался повседневных дел! Пресса, утверждал он, была единственной солью, возможной для современной жизни, но что поделаешь, если эта соль потеряла свою силу!..

Бедный мистер Барнстейпл ораторствовал так, словно вернулся в Сайденхем и сидел за завтраком, раздосадованный только что прочитанной утренней газетой.

— В далекие времена и Утопия была в таком же тяжелом положении, — сказал Кристалл, стараясь его утешить. — Но есть пословица: «Правда возвращается туда, где она уже раз побывала». Не надо так огорчаться. Когда-нибудь и ваша печать будет чистой.

— А как у вас здесь обстоит с газетами, с критикой? — спросил мистер Барнстейпл.

Кристалл объявил, что в Утопии проводится строгая граница между информацией и дискуссиями. Есть здания — вот там как раз виднеется одно из них, — где устроены читальные залы. Туда ходят узнавать всевозможные новости. В эти залы поступают сообщения обо всем, что случается в Утопии, об открытиях, о том, что придумано и сделано. Сообщения составляются по мере необходимости; не существует никаких рекламных обязательств, заставляющих ежедневно сообщать строго определенный объем новостей. Кристалл добавил, что в течение некоторого времени поступало очень подробное и забавное сообщение о попавших в Утопию землянах, но сам он уже давно не читал газет, так как появление землян пробудило в нем интерес к истории. В газете всегда можно найти увлекательные новости о последних научных открытиях, огромный интерес обычно вызывают сообщения, излагающие какой-нибудь план значительной научно-исследовательской работы. Особенно большой шум вызвала информация об опытах по проникновению в другие измерения, во время этих опытов погибли Арден и Гринлейк. Когда в Утопии кто-нибудь умирает, принято сообщать историю его жизни...

Кристалл обещал проводить мистера Барнстейпла

в читальный зал и позабавить его, прочитав описание жизни на Земле, составленное утопийцами со слов землян. Мистер Барнстейпл сказал, что хотел бы узнать что-нибудь и про Ардена и Гринлейк, которые были не только великими первооткрывателями, но и любили друг друга, а также о Серпентине и Кедре, которые внушили ему глубокое уважение и восхищение.

Утопийские новости, разумеется, были лишены того перца, которым сдабриваются земные газеты, — сенсационных отчетов об убийствах или забавных скандалах, о смешных следствиях, неосведомленности и неопытности в вопросах пола, раскрытых мошенничествах, о судебных разбирательствах по искам о клевете, о торжественном появлении членов королевской фамилии на улицах столицы, и о захватывающих дух колебаниях цен на бирже, и о спорте. Но если информации в Утопии не хватало пикантности, это восполнялось оживленнейшими спорами. Ибо пятым Принципом свободы в Утопии был Принцип свободного спора и критики.

Каждый утопиец свободен обсуждать и критиковать все что угодно, разумеется, при условии, что он не будет лгать ни прямо, ни косвенно; он может уважать или не уважать кого-либо или что-либо, как ему угодно. Он может вносить любые предложения, даже самые подрывные. Может обличать в стихах или в прозе, как ему понравится. Он вправе выражать свои мысли в любой удобной для него литературной форме или с помощью рисунка или карикатуры. Единственно, что требуется, — это воздерживаться от лжи, это — единственное правило любого спора. Всякий вправе требовать, чтобы сказанное им было напечатано или разослано в центры информации. А будут ли читать его сообщения, зависит от того, согласен с ним посетитель или нет. Если прочитанное понравилось, можно взять с собою копию. Среди книг Кристалла было несколько научно-фантастических романов об исследовании космического пространства — увлекательные повести, очень нравившиеся мальчишкам, страниц в тридцать — сорок, напечатанные на красивой бумаге, которая делалась, как сообщил Кристалл, из чистого льна и некоторых видов тростника. Библиотекари отмечают, какие книги и газеты читаются или уносятся посетителями; унесенное заменяется новыми экземп-

лярами. Из груды книг или газет, которые не находят читателей, оставляются лишь одиночные экземпляры, остальные отсылаются для переработки. Но произведения поэтов, философов и беллетристов, творчество которых не находит широкого отклика, тем не менее сохраняются в библиотеках, и преданные этим авторам немногие почитатели заботятся о том, чтобы память о них не угасла.

4

— Мне все-таки не совсем понятна одна вещь, — сказал мистер Барнстейпл. — Я не видел здесь монет и вообще ничего похожего на деньги. Может показаться, что тут существует какая-то форма коммунизма, как он изображен в книге, очень ценимой нами на Земле, — книга эта называется «Вести ниоткуда». Написал ее один землянин по имени Уильям Моррис. Это очаровательная книга о невозможном. В этой фантазии каждый трудился из-за радости самого труда и получал все, что ему было нужно. Но я никогда не верил в коммунизм, потому что признаю, как признали и вы в Утопии, что человек от природы жаден и воинствен. Разумеется, есть радость творчества на пользу другим, однако невозмещенная услуга не может вызвать естественной радости. Себялюбие говорит в человеке сильнее, чем желание служить другим. Очевидно, вы установили какое-то равновесие между работой, которую каждый делает для Утопии, и тем, что он потребляет или уничтожает. Как вы этого достигли?

Кристалл на мгновение задумался.

— В Утопии в последний Век Хаоса были коммунисты. В некоторых местах нашей планеты они пытались внезапно и насильственно уничтожить деньги и вызвали глубокое экономическое расстройство, нужду и нищету. Эта попытка сразу установить коммунизм потерпела неудачу, и очень трагическую. И тем не менее в сегодняшней Утопии практически осуществлен коммунизм. Если я и брал в руки монеты, то только как исторические редкости.

Он объяснил дальше, что в Утопии, так же как и на Земле, деньги явились великим открытием, средством к достижению свободы. В древние времена, до того как были изобретены деньги, услуги между

людьми осуществлялись в форме рабства или путем натурального обмена. Сама жизнь превратилась в рабство, и выбор был крайне узок. Деньги открыли новую возможность: работающему был предоставлен выбор в использовании платы за свой труд. Утопии потребовалось более трех тысяч лет, чтобы достигнуть истинного осуществления этой возможности. Идея денег была чревата опасностями и легко извращалась, Утопия с трудом пробивала себе дорогу к более разумному экономическому строю через долгие столетия кредита и долгов, фальшивых и обесцененных денег, невероятного ростовщичества, всякого рода спекуляций и злоупотреблений. Деньги больше, чем какая-либо область жизненного обихода, порождали коварство, подлое стремление хищнически наживаться на нужде ближних. Утопия, как сейчас Земля, несла на себе тяжелый груз всяких паразитических элементов: биржевых дельцов, перекупщиков, шулеров, хищных ростовщиков — шейлоков, использующих любые мыслимые способы извлечения прибыли из слабостей денежной системы. Чтобы оздоровить ее, потребовались столетия. И только тогда, когда в Утопии установились начатки общепланетарного единства, когда был проведен полный точный учет ресурсов и производительных сил планеты, общество смогло наконец обеспечить каждому отдельному работающему деньги, которые и сегодня, и завтра, и в любое время имели одну и ту же неизменную ценность. И поскольку на всей планете воцарились мир и общественная стабильность, проценты — это мерило всякой шаткости и несуверенности — наконец ушли в небытие. Банки стали в силу вещей обыкновенными общественными учреждениями, поскольку уже невозможной была прибыль для отдельного банкира.

— Класс рантье, — сказал Кристалл, — никогда не был постоянным элементом какого-либо общества. Это — порождение переходного периода от эры неустойчивости и высоких процентов к эре полной обеспеченности без всяких процентов. Рантье — это явление преходящее, как предрассветные сумерки.

Мистер Барнстейпл долго размышлял над этими объяснениями Кристалла, которым в первый момент не мог поверить. Задав еще несколько вопросов молодому утопийцу, он убедился, что Кристалл действительно имел довольно правильное представление о

классе рантье — о его нравственной и умственной ограниченности и роли, которую он может сыграть в интеллектуальном развитии человечества, порождая класс независимых умов.

— Жизнь не терпит никаких независимых классов, — сказал Кристалл, видимо, повторяя прописную истину. — Либо вы зарабатываете на жизнь, либо вы грабите... Но мы избавились от грабежа.

Мальчик, все еще придерживаясь своих учебников, продолжал объяснять, как постепенно исчезали деньги. Это было результатом создания прогрессивной экономической системы, замены конкурирующих предприятий коллективными, розничной торговли — оптовой. Было время, когда в Утопии оплачивалась деньгами каждая мелкая сделка или услуга. Человек платил деньги за газету, спички, букетик цветов или за право воспользоваться средствами передвижения. У всех карманы были набиты мелкой монетой, которая непрерывно расходовалась. С успехами экономической науки получили распространение методы, применяемые в клубах или при различных подписках. Люди получили возможность покупать билеты, годные для проезда на всех видах транспорта в течение года, десятилетия, всей жизни. Государство переняло у клубов и отелей метод снабжения спичками, газетами, письменными принадлежностями, транспортом за определенное ежегодное возмещение. Из отдельных и случайных областей это распространилось на более важные стороны жизни: обеспечение жилищем, продовольствием, даже одеждой. Государственная почтовая система, располагающая сведениями о местонахождении каждого гражданина Утопии, теперь могла вместе с общественной банковской системой гарантировать ему кредит в любой части планеты. Люди перестали получать наличными деньгами за проделанную работу; различные учреждения по обслуживанию населения, экономические, образовательные и научные органы стали кредитовать каждого через общественные банки и предоставлять ему в долг все необходимое под обеспечение его заработка.

— Нечто вроде этого есть на Земле уже сейчас, — сказал мистер Барнстейпл. — Мы пользуемся наличными деньгами в крайних случаях, а большая часть коммерческих сделок — это уже просто дело бухгалтерии.

— Сотни лет, которые протекли в обстановке единства и упорного труда, дали Утопии полный контроль над источниками природной энергии планеты,— это стало наследством, получаемым каждым новорожденным. Родившись, он получал кредит, достаточный для того, чтобы получать воспитание и полное содержание до 20—25-летнего возраста, а затем он должен был избрать какое-либо занятие и возмещать эти затраты.

— А если он не захочет? — спросил Барнстейпл.

— Этого не бывает.

— А если все-таки случится?

— Тогда ему трудно будет жить. Я ни разу не слышал о подобном случае. Я думаю, что это стало бы предметом обсуждения. Им занялись бы психологи... Каждый должен что-то делать.

— Но предположим, что Утопия не может дать ему работу!

Кристалл не мог себе этого представить.

— Работа всегда есть.

— Но ведь в Утопии когда-то, в старое время, была безработица?

— Да, это было следствием хаоса. Мир был опутан сетью долгов, вызвавших нечто вроде паралича. Ведь одновременно с отсутствием работы существовала неудовлетворенная потребность в жилье, еде, одежде. Безработица — и рядом нужда. Этому трудно поверить.

— У вас каждый получает примерно одну и ту же плату за свой труд?

— Энергичные, творчески активные люди часто получают большой кредит, особенно если им нужны помощники или какие-либо редкие материалы... Художники тоже иногда становятся богатыми, если их произведения имеют большой успех.

— Такие золотые цепочки, как эта у вас на шее, приходится покупать?

— Да, у мастера, который ее сделал. Мне ее купила мама.

— Значит, у вас есть магазины?

— Вы увидите некоторые из них. Это места, куда люди ходят, чтобы увидеть какие-либо новые и красивые вещи.

— А если художник становится богатым, что он может сделать на свои деньги?

— Он может не торопясь делать особенно красивые вещи из самых дорогих материалов, чтобы оставить по себе память, может собирать коллекции или помогать другим художникам. Или тратить эти деньги на то, чтобы учить утопийцев пониманию прекрасного. Или вообще ничего не делать... Утопия может себе это позволить — если он выдержит безделье...

5

— Кедр и Лев, — сказал мистер Барнстейпл, — объясняли нам, что ваше правительство, так сказать, создано среди тех, кто имеет специальные познания в какой-либо области. Равновесие между различными интересами, как мы поняли, поддерживается теми, кто изучает общественную психологию и воспитательную систему Утопии. Вначале для наших земных умов показалось странным отсутствие в Утопии всемогущего органа, сосредоточившего в себе все знание и всю реальную власть, какого-либо лица или собрания лиц, чье решение могло бы быть окончательным. Мистер Берли и мистер Кэтскилл убеждены, что это абсолютно необходимо, и я всегда тоже так полагал. Кому принадлежит право решать — вот что они пытались выяснить. Они предполагали, что их пригласят на прием к президенту или в Высший Совет Утопии. Вероятно, вам кажется вполне естественным, что у вас нет ничего подобного и что любой вопрос должен решаться теми, кто наиболее сведущ в нем...

— Но и их можно подвергнуть свободной критике, — добавил Кристалл.

— Значит, всякий подвержен тому самому процессу, который сделал его выдающимся и ответственным. Но разве люди и здесь не стараются выдвинуться хотя бы из тщеславия? Разве у вас нет таких, которые стараются оттеснить лучших из зависти?

— Зависти и тщеславия еще много в душе каждого утопийца, — сказал Кристалл. — Но все привыкли к откровенности друг с другом, а критика очень глубока и свободна. Поэтому мы всегда стараемся хорошо обдумать наши побуждения, прежде чем хвалить или порицать кого-либо.

— Истинная ценность всего того, что вы говорите и делаете, очевидна, — сказал мистер Барнстейпл. — У вас невозможно обливать кого-либо грязью испод-

тишка или, улучив удобную минуту, очернить человека ложными обвинениями.

— Несколько лет назад был у нас один художник, — сказал Кристалл, — который всячески мешал работе моего отца. В области искусства критика у нас бывает очень острой, но у этого человека она носила ожесточенный характер. Он рисовал карикатуры на моего отца и все время оскорблял его. Он следовал за ним по пятам. Он пытался даже добиться, чтобы отцу отказали в материалах для работы. Но все это было впустую. Некоторые отвечали ему, но большинство не обращало внимания на его выпады...

Мальчик вдруг осекся и замолчал.

— Ну и что же?

— Он покончил с собой. Он уже не мог избежать последствий своей глупости. Ведь всем было известно, что он говорил и делал...

Мистер Барнстейпл решил вернуться к главной теме разговора.

— У вас в Утопии были когда-то и короли, государственные советы и разные конгрессы?

— Мои книги учат меня, что другим путем наше государство не могло бы и возникнуть. Нельзя было обойтись без всех этих профессиональных посредников между людьми: политиков, юристов — это был неизбежный этап в политическом и социальном развитии. Так же, как нужны были солдаты и полиция, чтобы удерживать людей от насилия друг над другом. Правда, потребовалось много времени, чтобы и политики и юристы поняли, что даже для их деятельности нужны какие-то знания. Политики проводили на карте границы, не имея элементарных знаний в этнологии и экономической географии, юристы решали вопросы о человеческой воле и намерениях, не смысля ничего в психологии. Они с серьезным видом выработывали нелепые, ни к чему не пригодные правила и законы.

— Все равно как приходский бык в Тристреме Шенди, который попробовал заложить в Версале основу всеобщего мира, — вставил мистер Барнстейпл.

Кристалл поглядел на него в недоумении.

— Это сложный и непонятный вам намек на чисто земную проблему, — объяснил мистер Барнстейпл. — Полное растворение политических и правовых профессий в массе людей, обладающих действительными

знаниями, — это одно из самых интересных для меня явлений в вашем мире. Такой процесс начинается и на Земле. Например, люди, разбирающиеся в вопросах общественной охраны здоровья, решительно выступают против существующих политических и законодательных методов так же, как и наши лучшие экономисты. А большинство людей никогда не бывает в судах по своей воле и не знает их от колыбели до могилы... Но что же стало с вашими политиками и юристами? Они пытались бороться?

— По мере того как распространялись знания, эти профессии потеряли смысл. В дальнейшем люди этих профессий стали собираться изредка только для того, чтобы назначить каких-либо экспертов по определенной отрасли, но потом и это потеряло смысл. Все слилось в общей системе критики и обсуждения. Кое-где сохранились старые здания, где помещались совещательные палаты или суды. Последний профессиональный политик, избранный в законодательное собрание, умер около тысячи лет назад. Это был эксцентричный и болтливый старик; он оказался единственным кандидатом в собрание, и за него голосовал всего один человек. Однако он заседал в единственном числе и требовал, чтобы велась стенограмма всех его речей. Мальчики и девочки, учившиеся стенографии, охотно ходили записывать все это. В конце концов им занялись психиатры.

— А последний судья?

— Этого я не знаю, — сказал Кристалл. — Надо будет расспросить моего наставника. Наверное, последний судья был, но он вряд ли уже судил кого-нибудь. Так что ему пришлось найти себе более разумное занятие.

6

— Я начинаю постигать повседневную жизнь этого мира, — сказал мистер Барнстейпл. — Это жизнь полубогов, очень свободная и индивидуализированная, где каждый следует своим личным склонностям и каждый вносит вклад в великое дело всей расы. Жизнь эта не только чиста, радостна и прекрасна, но она еще исполнена достоинства. Да, я вижу, что практически это коммунизм, заранее когда-то задуманный и осуществленный после долгих столетий подготовки,

просвещения и воспитания всех в духе коллективной дисциплины. Я никогда раньше не думал, что коммунизм может возвысить и облагородить человека, а индивидуализм сделать его хуже, но теперь убеждаюсь, что здесь это доказано на деле. В вашем счастливом мире — и в этом я вижу венец всех его совершенств и счастья — не существует Толпы. Старый мир, к которому принадлежу я, был и, увы, еще остается миром Толпы, миром отвратительных скоплений, безликих, зараженных бесчисленными болезнями индивидов... Вы никогда не видели Толпы, Кристалл, и за всю свою счастливую жизнь не увидите. Вы никогда не видели, как Толпа устремляется на футбольный матч, на скачки, бой быков, на публичную казнь или подобные зрелища, услаждающие ее. Вы не наблюдали, как Толпа теснится и задыхается в какой-нибудь узкой загородке и улюлюкает и ревет, словно в припадке безумия. Вы не видели, как Толпа медленно течет по улицам, чтобы поглазеть на короля, криками требовать войны или — с таким же шумом — мира. Наконец, вам не довелось видеть Толпу, охваченную паникой, мгновенно превратившуюся в Чернь, начинающую все крушить и искать жертв. Зрелища, устраиваемые для Толпы, ушли в прошлое на вашей планете — все, что сводит с ума Толпу: скачки, спорт, военные смотры, коронации, торжественные похороны и подобные зрелища. Только ваши маленькие театры... Счастливый Кристалл! Вы ведь никогда не видели Толпы!

— Но ведь я видел Толпы! — возразил Кристалл.

— Где?

— Я видел синематографические картины, где были Толпы, снятые более трех тысяч лет назад, их показывают в наших исторических музеях. Я видел, как Толпа расходится после скачек — ее фотографировали с аэроплана; и Толпы, бушующие на площади, — их разгоняла полиция. Тысячи и тысячи сбившихся вместе людей. Но то, что вы сказали, верно. У нас нет больше Толп и стадного инстинкта Толпы.

7

Когда через несколько дней Кристаллу пришлось уехать — настало время занятий математикой, — мистер Барнстейпл почувствовал себя совсем одиноким.

Другого собеседника он так и не нашел. Ликнис всегда была где-нибудь поблизости, чтобы составить ему компанию, но отсутствие у нее широких духовных интересов, столь необычное в этом мире интенсивнейшей умственной жизни, заставляло его сторониться ее. Он встречал и других утопийцев, очень дружелюбных, веселых, учтивых, но они целиком были поглощены своими занятиями. Они с любопытством расспрашивали его, отвечали на два-три вопроса, заданные им, и тут же уходили, словно куда-то торопясь.

Ликнис — он все больше в этом убеждался — была непохожа на остальных утопийцев. Она принадлежала к еще не совсем исчезнувшему романтическому складу и таила в душе неизбывную скорбь. У нее когда-то было двое детей, и она их страстно любила. Они были на редкость бесстрашны, и из глупой материнской гордости она уговорила их заплыть подальше в море; их захватило быстрое течение, и они утонули. Вместе с ними утонул и отец, который пытался их спасти, да и сама Ликнис чуть не разделила их участи. Но ее спасли. Однако вся ее эмоциональная жизнь с этого времени кончилась, словно застыла. Она жила только этой трагедией. Она отворачивалась от смеха и счастья и тянулась к скорби. В ней снова проснулось утраченное утопийцами чувство жалости — сначала к себе самой, а затем и к другим. Ее больше не привлекали мощные и цельные натуры: единственным утешением для нее было утешать других. Она пыталась излечиться, излечивая других. Ей не хотелось разговаривать с мистером Барнстейплом о счастье Утопии; она предпочитала, чтобы он рассказывал ей о горестях Земли и своих собственных страданиях, — этому она могла бы сочувствовать. Но и он не рассказывал ей о своих страданиях: таков уж был склад его характера, что он не страдал, а лишь сердился или сожалел о чем-нибудь.

Он заметил, что она мечтает о том, чтобы очутиться на Земле и отдать свою красоту и нежность больным и бедным. Ее сердце жаждало облегчить людские страдания и немощи, тянулось к страждущим жадно и ненасытно...

Прежде чем он уловил ее умонастроение, он все-таки успел рассказать ей кое-что о болезнях и нищете людей. Но говорил он об этом не с соболезнованием,

а скорее с возмущением, как о том, чего не должно быть. И когда он заметил, как жадно она впивает его рассказы, он стал говорить об этом меньше или в оптимистическом тоне, как о вещах, которые обязательно скоро исчезнут.

— Но до тех пор люди еще будут страдать,— говорила она.

Ликнис всегда была рядом, и она поневоле начала занимать непропорционально большое место в его представлениях об Утопии. Она омрачила их, как некая тень. Он часто думал о ней, о ее жалостливости и о том отвращении ко всему жизнелюбивому и сильному, которое воплощалось в ней. В мире страха, слабостей, эпидемий, темноты и бесправия жалость, то есть акты милосердия, все эти приюты и убежища, вся эта благотворительность могли еще казаться привлекательными, но в мире Утопии, в этом мире нравственного здоровья и смелой предприимчивости, жалость оказывалась пороком. Кристалл, юный утопиец, был тверд, как его имя. Когда однажды он споткнулся о камень и вывихнул щиколотку, он хромал, но все время смеялся. А когда мистер Барнстейпл однажды задохнулся, поднимаясь по крутой лестнице, Кристалл держался скорее вежливо, чем сочувственно. Ликнис не находила единомышленников в своем стремлении посвятить жизнь несчастным; даже у мистера Барнстейпла она не встречала отклика. Он даже решил, что по характеру он, пожалуй, стоит ближе к утопийцам, чем она. Он, как и утопийцы, считал, что смерть детей и мужа, показавших свое бесстрашие, могла служить скорее поводом для гордости, чем для горя. Пусть они погибли, но смерть их была прекрасна, и волны моря все так же сверкают на ярком солнце. По-видимому, эта утрата разбудила в ней какие-то атавистические черты, нечто весьма древнее, еще не окончательно изжитое в Утопии — темное стремление к жертвенности. Мистеру Барнстейплу казалось странным, хотя, возможно, и не случайным, что он столкнулся в Утопии с человеческой душой, которая так часто подается на Земле,— с душой, которая отворачивается от Царства Небесного, чтобы поклоняться терниям и гвоздям, этим излюбленным атрибутам, превращающим бога Воскресенья и Жизни в жалкого, поверженного мертвеца.

Она иногда заговаривала с ним о Его сыновьях,

словно завидуя ему, — ведь это еще сильнее подчеркивало ее потерю; ему же это только напоминало о несовершенстве земного школьного воспитания, о жалком будущем его сыновей и о том, насколько более содержательной, красивой и радостной могла бы быть их жизнь здесь. Он бы рискнул утопить их десять раз, лишь бы спасти от превращения в клерков, в жалких прислужников. Он чувствовал теперь, что даже по земной мерке не дал детям того, что должен был дать; многое в их жизни, да и в своей собственной и в жизни жены, он и вовсе пустил плыть по течению. Если бы он мог начать жизнь сначала, он, наверное, постарался бы пробудить в сыновьях интерес к политике, к наукам, не дал бы им целиком погрузиться в мелочи жизни пригорода — игру в теннис, любительские спектакли, пустой флирт и прочее. Они, в сущности, хорошие мальчики, казалось ему теперь, но он их полностью передоверил матери. А ее слишком уж предоставил самой себе, вместо того чтобы переубеждать, прививать ей свои идеи. Они жили серенькой жизнью, в тени великой катастрофы, не уверенные в том, что за ней не последует другая; они жили в мире пустых трат и мелких нехваток. Вся его собственная жизнь была пустой тратой сил.

Эта жизнь в Сайденхеме мучила его теперь, как кошмар.

«Я все осуждал, но не изменил ничего, — говорил он себе. — Я был таким же, как Пиви. Был ли вообще от меня какой-нибудь прок на Земле? Или и там я был таким же никчемным, как здесь? Впрочем, все мы на Земле были расхитителями самих себя...»

Он стал избегать Ликнис, скрывался от нее на день или два и в одиночку бродил по долине. Он заглядывал в читальный зал, перелистывал книги, которые не мог прочесть; ему позволяли постоять в какой-нибудь мастерской, наблюдая, как скульптор делает из золота фигуру обнаженной девушки — несравненно более прекрасную, чем любое земное изваяние, — а потом бросает статуэтку в печь и расплавляет ее, недовольный своим творением; он видел людей, возводивших здания, работающих на полях, в глубоких шахтах, прорытых в холмах, где что-то сверкало и рассыпалось искрами, — туда ему не разрешали входить; он сталкивался с тысячей других вещей, недоступных его пониманию. Мистер Барнстейпл начал

чувствовать себя так, как, наверное, чувствует себя умный пес в обществе людей; только у него не было хозяина, не было и инстинктов, которые могли бы послужить утешением в его собачьей сиротливости. В дневное время утопийцы занимались своим делом, улыбались ему, когда он проходил мимо, и это вызывало в нем непереносимую зависть. Они знали, что им делать. Они были у себя. В вечерний час они гуляли по двое, по трое, о чем-то беседовали, иногда пели. Проходили влюбленные, близко склонившись друг к другу. И тогда его одиночество становилось мучительным из-за неосуществленных надежд.

Ибо, как бы ни боролся с этим Барнстейпл, как ни старался спрятать это в самой глубине своего сознания, ему хотелось любить и быть любимым в Утопии. И понимание того, что никому не нужна близость с ним, еще больше унижало его, чем ощущение своей бесполезности. Красота утопийских девушек и женщин, поглядывавших на него с любопытством или проходивших мимо со спокойным безразличием, растаптывала его уважение к себе и делала для него мир Утопии совершенно невыносимым. Молча, бессознательно эти богини Утопии вызывали в нем жгучее ощущение кастовой и расовой неполноценности. Эти мысли о любви преследовали его. Ему казалось, что каждый любит в этом мире Утопии, а для него любовь была здесь чем-то недоступным и невозможным...

Однажды ночью, когда он лежал без сна, сверх всякой меры измученный этими мыслями, ему пришел в голову план, как восстановить свое достоинство и завоевать нечто вроде прав гражданства в Утопии. Добиться того, чтобы утопийцы хотя бы вспоминали и говорили о нем с интересом и симпатией.

Глава третья

ЗЕМЛЯНИН ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГУ

1

После некоторых расспросов Барнстейпл отправился побеседовать к человеку, которого звали Золотой Луч. Видимо, он был стар: вокруг его глаз и на

красивом лбу лежали морщины, в широкой темно-каштановой бороде пробивалась седина. Глаза под густыми бровями были карие и живые, но ниспадавшие гривой, почти не поредевшие волосы утратили уже свой былой медно-красный оттенок. Он сидел у стола за разложенными бумагами и делал на них какие-то пометки. Он улыбнулся мистеру Барнстейплу — видимо, ждал его — и указал на стул движением крепкой, веснушчатой руки. Потом с той же улыбкой стал ждать, когда гость заговорит.

— Ваш мир — это торжество порядка и красоты, о которой мечтают люди, — начал мистер Барнстейпл. — Но в нем нет места для единственной бесполезной души. Здесь все заняты плодотворной деятельностью. Все, кроме меня... Я здесь чужой. У меня нет своего дела. И нет... никого близких.

Золотой Луч наклонил голову, показывая, что он все понял.

— Землянину с его слабыми земными знаниями трудно найти себе место в вашем обществе. Найти какую-либо обычную работу или обрести какие-нибудь обычные отношения с другими. Словом, я тут чужак... А еще тяжелее быть никому не нужным. Но мне кажется, что я мог бы оказаться полезен не меньше утопийцев, — в новых научных работах, в которых, мне рассказывали, вы осведомлены больше, чем кто-либо другой, и во главе которых вы, собственно говоря, стоите. Да, я хотел бы быть вам полезен, если возможно. Быть может, вам понадобится человек, готовый пойти на смертельный риск, ну, скажем, отправиться в какое-нибудь неизведанное место... Человек, который хочет служить Утопии... но не обладает особыми знаниями и умением, красотой или талантами...

Мистер Барнстейпл осекся и замолчал.

Золотой Луч ответил, что он хорошо понял мысль своего собеседника.

Мистер Барнстейпл сидел, дожидаясь ответа, а Золотой Луч некоторое время размышлял.

Потом в мозгу мистера Барнстейпла начали вновь складываться фразы.

Золотой Луч спросил, представляет ли себе мистер Барнстейпл весь размах великих открытий, которые совершаются сейчас в Утопии, все связанные с ними трудности.

— Утопия,— объяснил он,— переходит в фазу мощного интеллектуального подъема. Новые виды энергии и новые возможности воспламенили воображение ее человечества. И естественно, что необученный, неспособный обучиться и растерявшийся землянин чувствует себя подавленным и не находит себе места в той обширной и непонятной ему деятельности, которая сейчас начинается. Даже многие из самих утопийцев, наиболее отсталые, охвачены возбуждением. В течение столетий философы и ученые Утопии критиковали, пересматривали и перестраивали прежние инстинктивные и традиционные представления о пространстве и времени, о форме и сущности; сейчас новые представления становятся все более ясными и простыми и уже приносят плоды в самых неожиданных практических областях. Преграды, которые ставило мировое пространство и которые казались раньше непреодолимыми, теперь уже можно переступить, они устраняются, в необычной и поразительной форме, но они устраняются. Теперь не только доказано теоретически, но и быстро становится возможным практически перенестись с планеты Утопии, к которой пока были прикованы утопийцы, в другие точки их вселенной, то есть достичь других планет и далеких звезд... Таково нынешнее положение.

— Я не могу представить себе этого,— сказал мистер Барнстейпл.

— Вы не можете этого себе представить,— приветливо согласился Золотой Луч.— Но это так. Сто лет назад это было бы и здесь чем-то невообразимым.

— Вы попадете туда как бы с черного хода, через другое измерение? — спросил мистер Барнстейпл.

Золотой Луч помолчал, обдумывая его догадку.

— Это курьезный образ,— заметил он,— но, с точки зрения землянина, он годится. Во всяком случае, он передает некоторые стороны открытия. На деле все это гораздо более удивительно. Новая, потрясающая воображение эра началась в нашей жизни. Мы на нашей планете давно уже разгадали главные секреты счастья. Жизнь в нашем мире хороша. Вы ведь считаете ее хорошей?.. И в течение тысячелетий этот мир по-прежнему будет нашей опорой и нашим домом. Но ветер новых исканий и замыслов веет над Утопией. Вся она напоминает зимний лагерь геологов, когда уже близится весна...

Он перегнулся через свои бумаги к мистеру Барнстейплу, поднял палец и заговорил вслух, словно стараясь получше довести свои мысли до сознания слушателя. Мистеру Барнстейплу казалось, что каждое слово переводится как бы само. Во всяком случае, он все понимал.

— Соприкосновение планеты Утопии с планетой Земля было довольно любопытной случайностью. Но случайностью весьма незначительной. Я хотел бы, чтобы вы это поняли. Ваш мир и наш — это всего лишь два мира среди гигантского количества мирозданий, существующих во времени и тяготении и объединяемых неисчерпаемой бесконечностью бога. Наши миры схожи, но ни в чем не идентичны. Ваша планета и наша находятся, так сказать, рядом друг с другом, но они движутся совсем не с одинаковой скоростью и не по строго параллельным орбитам. И вскоре они вновь разойдутся и будут следовать каждая своему предназначенному пути. Когда Арден и Гринлейк осуществили свой эксперимент, возможность того, что они нащупают что-нибудь в вашей вселенной, была бесконечно мала. И они не учли этого, они просто вывели часть нашей материи за пределы нашего мироздания и затем заставили вернуться обратно. Так попали к нам вы — столь же неожиданно для нас, как и для вас... Однако главное применение наши открытия найдут в нашей вселенной, а не в вашей. Мы не собираемся проникать в вашу вселенную, ни снова допускать вас к нам. Вы слишком похожи на нас и слишком темны и беспокойны, вы носите в себе болезни, а мы, мы пока не можем помочь вам, потому что мы не боги, а люди.

Мистер Барнстейпл молча кивнул.

— Что могли бы мы, утопийцы, делать с землянами? У нас нет достаточно сильного инстинкта поучать другие зрелые существа и тем более властвовать над ними. Этот инстинкт давно исчез в результате долгих веков равенства и свободного сотрудничества. И вас слишком много для того, чтобы нам вас учить; у большинства из вас сложившиеся характеры и дурные привычки. Ваши нелепости мешали бы нам, ваши споры, зависть, традиции, ваши национальные флаги и религии, закоренелая злоба, деспотизм — все это создавало бы нам помехи во всех наших начинаниях. И мы стали бы нетерпеливыми по отношению к вам,

несправедливыми, а затем и деспотичными. Вы слишком похожи на нас, чтобы мы могли терпеть вашу неумелость. Нам было бы трудно постоянно помнить о том, что вы плохо воспитаны. Мы уже очень давно убедились в Утопии, что не может быть расы настолько великой, умной и сильной, чтобы она могла думать и действовать за другую расу. Возможно, что и вы на Земле убеждаетесь в этом по мере того, как ваши расы вступают в более тесное соприкосновение. Но тем более это применимо к отношениям между Утопией и Землей. Из того, что мне известно о ваших соплеменниках, об их невежестве и упрямстве, ясно следует, что мы стали бы презирать вас, а презрение есть первопричина всякой несправедливости. Могло бы кончиться тем, что мы истребили бы вас... Зачем же рисковать подобной возможностью? Нам лучше не соприкасаться с вами, раз мы не можем положиться на себя... Поверьте мне, для нас это единственно разумный путь.

Мистер Барнстейпл так же молча выразил согласие.

— Другое дело — вы и я, два индивида: мы можем быть друзьями и понимать друг друга.

— Все то, что вы говорите, — правда, — сказал мистер Барнстейпл. — Да, правда. Но мне горько, что это так... Очень горько... И все же, если я правильно понял, лично я мог бы чем-то быть полезен Утопии.

— Да.

— Но чем?

— Тем, что вернетесь в свой мир.

Мистер Барнстейпл несколько секунд обдумывал этот ответ. Случилось то, чего он боялся. Но ведь он уже предложил свои услуги.

— Я сделаю это.

— Мне следовало бы сказать — попытайтесь вернуться. Это связано с риском. Вы можете погибнуть.

— Я готов рискнуть.

— Мы хотим проверить имеющиеся у нас данные о соотношении нашей вселенной и вашей. Мы хотим провести эксперимент, обратный тому, который проделали Арден и Гринлейк, — выяснить, можем ли мы вернуть живое существо в ваш мир. Сейчас мы уже почти уверены, что можем сделать это. И этот человек должен настолько любить и нас и свой мир, чтобы вернуться туда и дать нам знак, что он вернулся.

— Я сделаю это,— внезапно охрипшим голосом сказал мистер Барнстейпл.

— Мы поместим вас в вашу машину и оденем в ту одежду, которую вы носили. Вы будете выглядеть снова совершенно таким, каким оставили ваш мир.

— Да-да. Я понимаю.

— Ваш мир порочен, его раздирают неурядицы, но в нем, как ни странно, встречаются поразительно одаренные умы. И мы не хотим, чтобы ваши люди знали о том, что мы так близко от вас, ибо мы останемся вашими соседями по крайней мере еще несколько сотен лет; мы не хотим, чтобы они узнали про нас, ибо опасаемся, что они ворвутся к нам с помощью какого-нибудь неразумного гения, ворвутся жадными, тупыми, бесчисленными ордами, станут грубо стучаться в наши двери, угрожать нашим жизням, мешать нашим высоким исканиям, и мы в конечном счете будем вынуждены истребить их, как нашествие крыс или паразитов.

— Да,— сказал Барнстейпл.— Люди смогут быть допущены в Утопию не раньше, чем они научатся жить так, как живут здесь. Утопия, насколько я понял,— дом только для тех, которые научились этому.

Он помолчал, потом сказал, отвечая на свои мысли:

— Когда я вернусь, смогу ли я забыть Утопию?

Золотой Луч улыбнулся и промолчал.

— До конца моих дней меня будет томить воспоминание об Утопии.

— Оно будет поддержкой для вас.

— Я снова буду продолжать мою земную жизнь — с того самого момента, на котором ее оставил; но на Земле... я буду утопийцем, ибо чувствую, что, предложив свои услуги и получив согласие, я уже больше не отщепенец Утопии. Я здесь дома...

— Помните, что эксперимент может кончиться вашей гибелью.

— Пусть.

— Что ж, хорошо, брат!

Дружеская рука пожала руку мистеру Барнстейплу, а умные глаза улыбнулись.

— После того, как вы вернетесь и подадите нам знак, некоторые из ваших спутников-землян тоже могут быть отправлены обратно.

Барнстейпл подскочил на стуле.

— Как? — крикнул он изменившимся от изумле-

ния голосом.— Я думал, что их вышвырнули куда-то в пространство другого мироздания и что все они погибли!

— Некоторые погибли. Они погубили себя, выбежав из крепости, когда скала вращалась. Погиб человек, одетый в кожу...

— Лорд Барралонг?

— Да. И еще француз, который все пожимал плечами и говорил: «Что поделаешь?» Остальные вернулись, после того как в конце дня вращение закончилось, задыхающиеся, замерзшие, но живые. Их вылечили, и теперь мы не знаем, что с ними делать... Они совершенно бесполезны на нашей планете. Они нам в тягость.

— Это само собой разумеется,— сказал мистер Барнстейпл.

— Человек, которого вы зовете Берли, видимо, важное лицо в ваших земных делах. Мы исследовали его разум. Сила его убеждений весьма невелика. Он верит только в одно — в жизнь цивилизованного богатого человека, занимающего скромное, но видное положение в законодательных учреждениях какой-то почти фиктивной империи. Мы сомневаемся, чтобы он серьезно поверил в то, что ему пришлось здесь испытать. Мы постараемся сделать так, чтобы все это показалось ему причудливым сновидением. Он будет думать, что о подобной фантастике рассказывать не стоит: он, очевидно, побаивается своего разыгранного воображения. Он вернется в ваш мир через несколько дней после вас и постарается незаметно проникнуть к себе домой. Он будет вторым после вас. Вы узнаете об этом, когда он возобновит свою политическую деятельность. Возможно, он станет мудрее.

— Возможно,— сказал мистер Барнстейпл.

— А тот... как звучит его имя? Да, Руперт Кэтскилл. Он тоже вернется. Его будет не хватать в вашем мире.

— Этот никогда не поумнеет,— убежденно сказал мистер Барнстейпл.

— Вернется и леди Стелла.

— Я рад, что она жива. Она не будет говорить об Утопии. Она не болтлива.

— Что касается священника, то он сумасшедший. Его поведение становится крайне буйным и вызывающим, и поэтому он содержится под надзором.

— А что он натворил?

— Он изготовил несколько черных шелковых передников и кинулся надевать эти передники на нашу молодежь, совершая это в непристойной форме.

— Вы могли бы вернуть его на Землю,— сказал мистер Барнстейпл после некоторого размышления.

— А на вашей планете разрешается вести себя так?

— Мы называем такого рода вещи целомудрием,— объяснил мистер Барнстейпл.— Но, конечно, если вам хочется, оставьте его здесь.

— Он тоже отправится назад,— сказал Золотой Луч.

— Остальных вы можете оставить,— сказал мистер Барнстейпл. Собственно, вам и придется их оставить — никто на Земле их не хватится. В нашем мире так много людей, что постоянно кто-нибудь теряется... А ведь возвращение даже тех немногих, которых вы назвали, может вызвать шум. Местные жители могут заметить странных путешественников, свалившихся неизвестно откуда и расспрашивающих на Мейденхедском шоссе, как им добраться до дома. Они могут проболтаться... Нет, остальных не следует возвращать. Устройте их на каком-нибудь острове или еще где-либо. Я посоветовал бы вам оставить и священника, но его отсутствие будет замечено многими. Его прихожане будут страдать от подавленной нравственности и начнут вести себя беспокойно. Кафедра церкви святого Варнавы удовлетворяет определенные инстинкты. Священника же будет легко убедить, что Утопия не более как сон и обманчивое видение. Любая Утопия, естественно, покажется священнику сном. А этот сочтет ее, если вообще про нее вспомнит, просто нравоучительным кошмарным испытанием,— наверное, так он и выразится.

2

Все было решено, но мистеру Барнстейплу не хотелось уходить.

Он посмотрел Золотому Лучу прямо в глаза и встретил все тот же добрый взгляд.

— Вы мне сказали о том, что мне предстоит сделать,— начал он.— И мне пора уходить, так как одно мгновение вашей жизни стоит больше, чем целый день моей. Но именно потому, что я скоро покорно

покину этот огромный сверкающий мир и вернусь в наш хаос, у меня хватает смелости просить, чтобы вы рассказали мне, по возможности просто, о великих свершениях, заря которых уже занялась над вашим миром. Вы говорите о том, что вскоре сможете выйти за пределы Утопии и отправиться в самые отдаленные уголки вашей вселенной. Это меня озадачивает. Возможно, я не в силах постичь такую идею, но она очень важна для меня. В нашем мире давно существует убеждение, что в конце концов жизнь на Земле должна прекратиться, поскольку наше Солнце и другие планеты остывают, и что нет никакой надежды спастись, переселившись куда-нибудь с нашей маленькой Земли. Мы зародились на ней и вместе с ней должны умереть. Это лишало многих из нас надежды и жизненной энергии. Ибо для чего же работать, добиваться прогресса в мире, который обречен на то, чтобы замерзнуть и погибнуть?

Золотой Луч рассмеялся.

— Ваши философы сделали слишком поспешный вывод.

Он снова наклонился через стол к своему слушателю и пристально посмотрел ему в лицо.

— Сколько времени существуют на Земле точные науки?

— Два-три столетия.

Золотой Луч поднял два пальца.

— А ученые? Сколько было у вас ученых?

— В каждом поколении несколько сот, достойных этого имени.

— А нашей науке примерно три тысячи лет. И более ста миллионов выдающихся умов были подобны гроздьям винограда — они выжаты прессом науки... И все-таки мы знаем теперь... что знаем очень мало. На каждое научное открытие приходится сто неудачных попыток, которые послужили ему лишь сырым материалом. Стоит провести измерение, и какая-нибудь важнейшая истина, как призрак, скроется в допустимой ошибке. Я представляю себе положение ваших ученых — всех им успехов, бедным дикарям, — так как я изучал истоки нашей собственной науки в далеком прошлом Утопии. Как могу я выразить разделяющее нас расстояние? С тех пор мы изучили, испробовали, проанализировали и снова и снова испробовали ряд новых путей осмысления мирового пространства, в

котором Время — лишь некая особая его форма. Мы не в силах сообщить вам те формы выражения, благодаря которым явления, казавшиеся нам трудными — а вам они, я полагаю, и сейчас кажутся невероятно трудными и парадоксальными, — утрачивают всю свою видимую сложность. Сообщить вам что-либо — тяжелая задача. Мы мыслим понятиями, в которых пространство и время образуют связное целое, а понятия, которыми мыслите вы, есть лишь частность этого целого. Наши и ваши чувства, инстинкты, повседневные привычки находятся в одной и той же системе; другое дело — наши знания и те виды энергии, которыми мы располагаем. Наше мышление ушло далеко за пределы нашего бытия. Так будет и с вами. Мы по-прежнему существа из плоти и крови, по-прежнему надеемся, желаем, мечемся из стороны в сторону; но то, что казалось бесконечно далеким, становится близким, недоступное склоняется перед нами, то, что было непостижимо, лежит у нас на ладони.

— И вы не думаете, что ваше человечество — и раз уж на то пошло — и наше должны будут когда-нибудь погибнуть?

— Погибнуть? Да мы ведь только начали!

Старик сказал это очень проникновенно. Бессознательно он почти цитировал Ньютона.

— Мы как маленькие дети, которых привели на берег необъятного океана. Все знание, накопленное нами за короткий ряд поколений с тех пор, как мы вообще начали приобретать знания, не более как горсть камешков, собранных детьми на берегу этого безбрежного океана... Перед нами, — продолжал Золотой Луч, — лежит бесконечное Знание, и мы можем черпать и черпать из него и, черпая, расти сами. Растет наша сила, растет наша смелость. Мы вновь и вновь обретаем юность, и, заметьте, наши миры все молодеют. У поколений обезьян и полулюдей, которые предшествовали нам, ум был дряхлый — вся их узкая неподвижная мудрость была скудным плодом бесчисленных жизней, плодом, тщательно хранимым, утратившим свежесть и кислым. Они боялись всего нового, потому что все старое далось им тяжелой ценой. Постигать новое — это, в сущности говоря, значит становиться моложе, освободить себя, начинать все вновь. Ваш мир по сравнению с нашим — это мир

неспособных к учению, заскорузлых душ, закоренелых, дряхлых традиций, ненависти, обид. Но когда-нибудь и вы снова уподобитесь детям и проложите себе путь к нам, и мы будем ждать вас. Два мира встретятся, и обнимутся, и породят новый, еще более величественный мир... Вы, земляне, даже еще и не начали понимать значение Жизни. Но и мы, утопийцы, ненамного ушли в этом дальше вас... Жизнь все еще останется лишь обещанием. Она еще только ждет подлинного своего рождения из того жалкого праха... Когда-нибудь здесь и повсюду проснется Жизнь, для которой вы и я — лишь ничтожные атомы-предвестники, крохотные завихрения атомной пыли. Она обязательно проснется, единая, целостная и прекрасная, как дитя, просыпающееся к сознательному бытию. Она откроет сонные глаза, потянется, улыбнется, глядя в лицо божественной тайне, как улыбаются восходу солнца... Там будем и мы, все непреходящее в нас... Но и это явится только началом, не более, чем началом...

Глава четвертая

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛЯНИНА

I

Скоро, слишком скоро, наступило то утро, когда мистеру Барнстейблу осталось только бросить последний взгляд на прекрасные холмы Утопии, а затем подвергнуться великому эксперименту, для которого он предложил себя. Ему не хотелось спать, и он провел бессонную ночь. На рассвете он вышел из дому, в последний раз надев сандалии и легкую белую одежду, которые стали уже привычными для него в Утопии. Через несколько часов ему придется напяливать на себя носки, ботинки, брюки, воротничок — всю эту нелепую амуницию. Он знал, как будет задыхаться в этом костюме; протянув обнаженные руки к небу, он полной грудью вдохнул воздух. Долина еще дремала под легким одеяльцем курчавого тумана; он поднялся на холм, чтобы скорее увидеть солнце.

Никогда еще он не выходил бродить среди цветов Утопии в такой ранний час: было занимательно ви-

деть сонно поникшие, огромные венчики, плотно сложенные лепестки пушистых шапок. Листья тоже казались съезжившимися, как только что покинувшие кокон бабочки. Пауки деловито ткали тонкую паутину, и все вокруг было окроплено росой. Из боковой дорожки вышел большой тигр и несколько мгновений смотрел на мистера Барнстейпла в упор круглыми желтыми глазами, может быть, пытаясь вспомнить давно забытые инстинкты своей породы.

Выше на склоне мистер Барнстейпл прошел под темно-красной аркой и стал подниматься по лестнице из каменных ступенек — это был кратчайший путь на вершину холма.

Его провожала стайка дружелюбных маленьких птичек в пестром оперении, и одна из них храбро вспорхнула ему на плечо; он поднял руку, чтобы приласкать ее, — она увернулась и улетела прочь. Он все еще поднимался по лестнице, когда взошло солнце. Склон холма словно сбросил с себя серо-голубое покрывало, обнажив сверкающее золотым загаром тело.

Мистер Барнстейпл остановился на площадке, следя за тем, как лучи восходящего солнца будят сонную глубину долины.

Далеко-далеко, словно, стрела, пущенная с востока на запад, обозначалась полоса ослепительного сияния — это было море.

2

— Безмятежность, — пробормотал он. — Красота... Все, что создано человеком, — в безукоризненной гармонии. Полная гармония духа...

По своей журналистской привычке он пробовал разные словесные обороты:

— Покой, насыщенный энергией... Рассеявшийся хаос... Мир кристально чистых душ...

Но что было толку в словах?

Несколько минут мистер Барнстейпл стоял неподвижно и прислушивался: со склона над ним взвился в небо жаворонок и рассыпал нежные трели. Он попытался разглядеть это крохотное поющее пятнышко, но его ослепила сверкающая голубизна неба.

Жаворонок слетел на землю и затих. Утопия молчала, и только где-то снизу раздавался детский смех.

Мистера Барнстейпла вдруг поразило то, как тих и

спокоен в Утопии воздух по сравнению с беспорядочным земным шумом. Здесь не было слышно лая усталых или обозленных собак, ослиного рева, мычания или визга встревоженных домашних животных, суеты скотного двора, перебранки, злобных ругательств, кашля; не было оглушительного стука молотков, визга пил, скрежета, воя, свиста и гудения всяческих машин; не грохотали издали поезда, не тарахтели автомобили и другие плохо сконструированные механизмы. Исчезли утомительные и безобразные звуки, издаваемые надоедливыми насекомыми. В Утопии ничто не раздражало ни зрения, ни слуха. Воздух, некогда загрязненный мешаниной всяческих шумов, был теперь прозрачен и тих. А звуки, которые все же ложились на эту тишину, напоминали четкие красивые буквы на большом листе прекрасной бумаги.

Он снова окинул взглядом весь пейзаж внизу — там уже рассивались последние ключья тумана. Бассейны, дороги, мосты, здания, набережные, колоннады, роци, сады, каналы, каскады, фонтаны — все это уже четко вырисовывалось в своем многообразии сквозь темную листву белоствольного дерева, росшего среди скал возле того места, где он стоял.

— Три тысячелетия назад этот мир еще был похож на наш... Только подумать: каких-нибудь сто поколений!.. За три тысячи лет мы тоже переделаем нашу запущенную, захламленную землю и превратим ее джунгли и пустыни, шлаковые отвалы и трущобы в такой же прекрасный и величественный рай.

...Да, два мира — схожих, но совсем разных...

...Если бы только я мог рассказать им о том, что видел!

...Если бы все люди могли увидеть Утопию!..

...Они не поверят, если я расскажу им... Нет...

...Они стали бы кричать на меня по-ослиному и лаять по-собачьи... Им не нужно другого мира, кроме их собственного. Им обидно даже думать о каком-либо другом мире. Ничто не может быть создано, кроме того, что уже создано. Думать иначе было бы унижительным... Смерть, муки, нищета — все, что угодно, только не унижение!.. И вот они сидят среди своих сорняков и отбросов, почесываются и мудро кивают друг другу, дожидаясь какой-нибудь доброй драки, злорадствуя по поводу чужих горестей и тяжелого труда, которые им неведомы, и твердо веря в то, что че-

ловечество смердело, смердит и должно всегда смердеть, и что этот запах, собственно, довольно приятен, и что нет ничего нового под луной...

Мистера Барнстейпла отвлекло от этих мыслей появление двух юных девушек, бежавших вверх по лестнице. Одна, смуглая до черноты, несла охапку голубых цветов; другая, бежавшая за ней следом, была на год или два моложе, светлая, с золотистыми волосами. В них играла неумемная радость расшалившихся котят. Первая была так занята своей преследовательницей, что, поравнявшись с мистером Барнстейплом и увидев его, удивленно вскрикнула. Она метнула на него быстрый вопросительный взгляд, улыбнулась с шаловливым лукавством, бросила ему в лицо два голубых цветка и помчалась вверх по ступенькам. Ее подруга, все еще стараясь ее поймать, бросилась за ней. Они промелькнули, как две бабочки, шоколадная и розовая, на мгновение остановились высоко над ним, что-то сказали друг другу о чужестранце, махнули ему рукой и исчезли.

Мистер Барнстейпл ответил на их приветствие, на душе у него стало весело.

3

Площадка для обозрения, куда Ликнис посоветовала мистеру Барнстейплу подняться, находилась на вершине кряжа, разделявшего большую долину, где он провел последние несколько дней, и дикое, обрывистое ущелье, на дне которого шумел поток, впадавший после сотни миль изгибов и поворотов в реку на равнине. Площадка находилась на вершине кряжа, она опиралась на кронштейны и нависала над излучиной потока; по одну сторону вздымались дикие горы, словно обрызганные зеленой пеной растительности в ущельях, по другую раскинулся пейзаж, облагороженный человеком. Несколько минут мистер Барнстейпл вглядывался в ущелье, которое видел впервые. Футов на пятьсот ниже, прямо под ним, парил сарыч — мистеру Барнстейплу казалось, что он мог бы бросить в него камешек.

Он решил, что большинство деревьев внизу фруктовые, но расстояние было слишком велико, чтобы утверждать это наверняка. То там, то здесь глаз различал тропинку, петляющую между деревьями и кам-

нями, а из гуши зелени выглядывали беседки,— он знал, что путник может там отдохнуть, приготовить чай и закусить, найти постель и книгу. Вся планета была усеяна такими вот легкими строениями и другими гостеприимными убежищами для путешественников...

Потом он подошел к другому краю площадки и снова стал глядеть на большую долину, простирающуюся до моря. В голове его мелькнуло слово «Фасги» — под ним и в самом деле была Обетованная Земля, венец человеческих стремлений. Здесь навсегда утвердились мир, сила, здоровье, радость творчества, долголетие, красота. Все, что ищем мы на Земле, здесь найдено, и любая мечта стала действительностью.

Сколько еще времени пройдет, сколько столетий или тысячелетий, пока человек сможет взойти на такую вот вершину на Земле и увидеть человечество торжествующим, единым, живущим в вечном мире!..

Он облокотился о парапет, скрестив на нем руки, и глубоко задумался.

В Утопии не было ни одной науки, зародыша которой не существовало бы на Земле, ни одного вида энергии, которым не пользовались бы земляне. Здесь была та же Земля — только без невежества, темноты, злобы, коварства, столь обычных в земной жизни...

К миру, подобному Утопии, мистер Барнстейпл стремился всю жизнь по мере своих слабых сил. Если опыт, в котором ему предстоит принять участие, окажется успешным и если он благополучно вернется на Землю, вся его жизнь будет посвящена Утопии. И в этом он не будет одиноким. На Земле, наверно, есть тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей, которые и мечтой и делом стремятся найти для себя и своих детей выход из беспорядка и злобы земного Века Хаоса; сотни тысяч, которые хотят положить конец войнам и разрушениям, хотят лечить, воспитывать, восстанавливать разрушенное, воздвигнуть знамя Утопии там, где царит обман и рознь, которые губят человечество.

— Да, но у нас ничего не получается,— сказал себе мистер Барнстейпл и, раздосадованный, принялся расхаживать взад и вперед.— Десятки и сотни тысяч мужчин и женщин! А мы сделали так мало! Ведь, наверно, у каждого юноши, у каждой девушки всегда бывает хотя бы мечта — посвятить себя улучшению,

усовершенствованию окружающего мира. Но мы разобщены и только губим себя по-пустому, и старые, прогнившие понятия, обычаи, заблуждения, привычки, ненаказуемое предательство, подлая повседневность — все это господствует над нами!..

Он снова подошел к парапету и остановился, поставив ногу на скамью, упершись локтем в колено и положив подбородок на ладонь. Он не мог оторвать взгляда от красоты этого мира, который он так скоро должен будет покинуть...

— А ведь мы могли бы сделать это!

И тут мистер Барнстейпл понял, что теперь он душой и телом принадлежит Революции — Великой Революции, которая уже зреет на Земле; которая уже началась и не прервется и не угаснет, пока старушка Земля не станет единым государством и на ней не воцарится Утопия. Он ясно видел теперь, что эта Революция и есть Жизнь, что все другие формы человеческого существования — лишь жалкая сделка между жизнью и смертью. Все это четко выкристаллизовалось в его мозгу, и он был убежден, что такие же мысли будут складываться в сознании тех сотен тысяч людей на Земле, души которых стремятся к Утопии.

Он выпрямился и снова принялся шагать взад и вперед.

— Мы сделаем это, — сказал он вслух.

Земное мышление еще даже не в силах охватить стоящие перед человечеством цели и возможности их осуществления. Вся земная история до сих пор была не более чем движениями, которые делает человек во сне, беспорядочно нарастающим недовольством, протестом против навязанных жизнью ограничений, неразумным бунтом неутоленного воображения. Вся борьба, восстания и революции, какие когда-либо видела Земля, были только смутным вступлением к Революции, которая еще впереди.

Мистер Барнстейпл понимал теперь, что, отправляясь в этот свой фантастический отпуск, он был в подавленном настроении и земные дела казались ему в высшей степени запутанными и непоправимыми; но, познакомившись с осуществленной Утопией, поздоровевший, он отчетливо видел, как неуклонно от неудачи к неудаче, человечество нащупывает путь к

грядущей последней Революции. Он и сам был свидетелем того, как его современники старались разорвать сети лжи, которыми их опутывала монархия или догматическая религия и догматическая мораль, и стремились утвердить подлинную гражданственность, чистоту духа и тела. Они боролись за международную помощь нуждающимся, за освобождение всей экономической жизни от окутывающей ее паутины махинаций, бесчестия и обмана. В любой борьбе бывают отступления и поражения; но отсюда, с этой мирной высоты Утопии, он видел, что человечество непреклонно и упорно продвигается вперед...

Случались на этом пути и грубые промахи и длительные задержки, ибо до сих пор силы Революции действовали в полутьме. Мистер Барнстейпл сам был свидетелем великой попытки социалистического движения создать новое общество и неудач этого движения. Социализм был евангелием его юности; он разделял надежды этого движения и его сомнения, участвовал в его острых внутренних раздорах. Он видел, как это движение в узких рамках марксистских формул теряет кротость, свежесть и набирает силу. Он видел, как социализм жертвовал своей созидательной энергией в пользу воинствующей активности. На примере России он увидел способность социализма ниспровергать и неспособность его планировать и строить. Как и всех либерально настроенных людей, его оглушила самонадеянность большевиков и их неудача. Некоторое время мистеру Барнстейплу казалось, что это явное банкротство большого творческого порыва есть победа реакции, что это снова открыло простор для обмана, мошенничества, коррупции, традиционной анархии и тирании, которые сковывают и калечат человеческую жизнь... Но теперь он видел ясно, что Феникс Революции сгорает и испепеляется только для того, чтобы возродиться снова. Революции возникают и умирают, но Великая Революция надвигается, неустанно и неотвратно.

Это время близится — и сколько бы ни осталось жить ему самому, он все-таки может помочь приблизить тот час, когда силы последней, подлинной Революции больше не будут блуждать в полумраке, а выйдут на яркий свет дня. Тысячи и тысячи людей, сейчас очень далеких друг от друга, разобщенных и

даже взаимно недоброжелательных, соберутся вместе, сплоченные видением вождя мира... Марксисты в течение полустолетия бесцельно растрачивали силы Революции; они не обладали предвидением, а лишь осуждали установившийся порядок вещей. Они оттолкнули от себя талантливых ученых своей чванной псевдоученостью, напугали их своей нетерпимой ортодоксальностью; их ошибочная уверенность, что все идеи обусловлены материальными обстоятельствами, заставила их пренебрегать воспитанием и критикой. Они пытались построить социальное единство на ненависти и отвергали всякую другую движущую силу, кроме ожесточенной классовой войны... Но теперь, в дни его сомнений и усталости, видение нового мира снова возвращается к социализму, и унылое зрелище диктатуры пролетариата снова уступает дорогу Утопии, требованиям общества справедливого и мирного, где все богатства будут создаваться и использоваться для общего блага, где каждый гражданин будет освобожден не только от принудительного труда, но и от невежества и где излишек энергии будет разумно направлен на развитие знаний и красоты. Проникновению этой идеи во все новые и новые умы сейчас уже нельзя помешать. Земля пройдет тот путь, который прошла Утопия. Земля доведет закон, долг и воспитание до такого совершенства, какого не знали люди. Они будут смеяться над тем, чего раньше боялись, отметут прочь обман, перед которым замирали в священном трепете, все нелепости, которые мучили их и уродовали их жизнь. И когда эта Великая Революция будет завершена и Земля вступит в свет дня, бремя человеческих страданий будет снято и мужество изгонит скорбь из людских сердец. Земля, которая сейчас только дикая пустыня, то страшная, то, в лучшем случае, живописная, пустыня, по которой разбросаны убогие поля, лачуги, трущобы и кучи шлама,— эта Земля тоже обретет сокровища красоты и станет такой же прекрасной, как Утопия. Сыны Земли, очищенные от болезней, умиротворенные, сильные и красивые, будут с гордостью шагать по своей вновь обретенной планете и устремят свои дерзания к звездам.

— Нужно только желание,— сказал мистер Барнстейпл.— Нужно только желание...

Откуда-то издалека донесся звон мелодичного колокола, отбивавшего время.

Пришла пора свершить обещанное, то, чему он посвятил себя. Теперь ему надо спуститься, и его увезут в то место, где должен быть осуществлен эксперимент.

Он бросил последний взгляд на ущелье и стал спускаться вниз, к долине, с ее озерами, бассейнами, террасами, с ее беседками, общественными зданиями и высокими виадуками, с ее широкими склонами и освещенными солнцем полями, с ее беспредельными и щедрыми благами.

— Прощай, Утопия! — сказал мистер Барнстейпл и сам удивился глубине своего волнения.

— Прекрасное видение надежды и красоты, прощай!

Он стоял неподвижно, охваченный чувством скорбного одиночества, слишком глубокого, чтобы он мог дать волю слезам.

Ему казалось, что душа Утопии, словно богиня, склонилась над ним, ласковая, восхитительная — и недоступная.

Мозг его оцепенел.

— Никогда, — прошептал он наконец, — никогда это не будет моим... Остается одно: служение... Только это...

Он начал спускаться по ступеням, уводящим вниз с площадки. Некоторое время он ничего не замечал вокруг себя. Потом его внимание привлек аромат роз. Он увидел, что идет между шпалерами кустов роз, смыкающихся над его головой, а среди крупных белых цветов весело порхают маленькие зеленые птички. Он резко остановился и стал глядеть на листья, пронизанные солнечным светом. Потом протянул руку, наклонил к себе один из больших цветков, и тот коснулся его щеки.

Мистера Барнстейпла переправили на аэроплане к тому месту на стеклянной дороге, где он впервые очутился в Утопии. С ним летели Ликнис и Кристалл: мальчику хотелось посмотреть эксперимент.

Мистера Барнстейпла ждала группа из двадцати — тридцати утопийцев, среди них был и Золотой Луч. Разрушенная лаборатория Ардена и Гринлейк уже была восстановлена, а по ту сторону дороги высилось новое здание; но мистер Барнстейпл легко узнал то место, где с ним заговорил мистер Берли, а мистер Кэтскилл подошел к леопарду. Расцвели здесь новые цветы, но голубые венчики, так очаровавшие его тогда, все еще преобладали. На дороге стоял его старый автомобиль, «желтая опасность», показавшийся ему невообразимо неуклюжим сооружением. Мистер Барнстейпл подошел к автомобилю и осмотрел его. Он был в отличном состоянии: заботливо смазан, и бак был полон бензина.

В маленьком павильоне стоял его чемодан и лежала его земная одежда. Она была тщательно вычищена, выглажена. Он переоделся. Рубашка как будто слишком плотно обтягивала грудь, воротничок был решительно узок, пиджак слегка резал под мышками. Может быть, одежда немножко села после дезинфекции? Он уложил чемодан, и Кристалл поставил его в машину.

Золотой Луч очень коротко и просто объяснил все, что должен был сделать мистер Барнстейпл. Поперек дороги, вблизи от восстановленной лаборатории, была протянута тонкая, как паутина, проволока.

— Направьте вашу машину на эту проволоку и разорвите ее, — сказал Золотой Луч. — Вот и все. Возьмите еще с собой этот красный цветок. Вы его положите на землю точно в том месте, где следы колес покажут вам границу перехода.

Мистер Барнстейпл остался один возле своего автомобиля. Утопийцы отступили на двадцать или тридцать ярдов, образовав круг, в центре которого находился он. Несколько мгновений все молчали.

6

Мистер Барнстейпл сел в автомобиль, запустил мотор, дал ему поработать с минуту, потом включил скорость. Желтая машина двинулась к пересекающей дорогу проволоке. Он помахал рукой остающимся, и ему ответила Ликнис. Золотой Луч и остальные тоже дружески подняли руки. Только Кристалл был так увлечен происходящим, что не помахал ему...

— Прощай, Кристалл! — крикнул мистер Барнстейпл, и мальчик, очнувшись, ответил ему.

Мистер Барнстейпл нажал на акселератор, крепко стиснул зубы и, хотя ему не хотелось делать этого, закрыл глаза как раз в то мгновение, когда автомобиль коснулся нити. Снова наступило ощущение невыносимого давления, и он услышал тот же звук, напоминающий звон лопнувшей струны. У него мелькнуло непреодолимое желание остановиться, повернуть назад. Он убрал ногу с акселератора, но автомобиль словно стал падать куда-то, потом остановился так внезапно и резко, что мистера Барнстейпла бросило вперед, на рулевое колесо. Давление прекратилось. Он открыл глаза и огляделся.

Автомобиль стоял на недавно скошенном лугу. Он накренился на один бок из-за покатости почвы. Живая изгородь, в которой виднелись раскрытые черные ворота, отделяла луг от шоссе. Вблизи торчала реклама какого-то Мейденхедского отеля. По ту сторону шоссе тянулись ровные поля, а за ними цепь невысоких лесистых холмов. Слева виднелась маленькая гостиница. Мистер Барнстейпл повернул голову — в отдалении, за лугами и одинокими тополями, виднелся Виндзорский замок. Утопийцы немного ошиблись: он покинул Землю не совсем точно на этом месте, но оно находилось ярдах в ста отсюда, не дальше.

Некоторое время он просидел молча, обдумывая, что ему делать. Потом снова завел мотор и подвел «желтую опасность» к черным воротам.

Он вышел из автомобиля и остановился, держа в руке красный цветок. Теперь надо было пройти немного назад, к той черте, на которой он снова вступил в свой мир, и положить цветок на землю. Черту было легко определить: там начинался след шин автомобиля. Но мистер Барнстейпл вдруг почувствовал сильнейшее желание нарушить полученные инструкции. Ему хотелось оставить цветок у себя. Ведь это было последнее, единственное, что оставалось у него от того золотого мира. Цветок — и слабое благоухание, которого еще не утратили его руки.

Почему он больше ничего не захватил оттуда? Он мог взять с собой целый букет цветов! Почему они ничего не уделили ему из необъятной Сокровищницы Красоты, которой владеют? Он уже подумал было заменить его веточкой жимолости из изгороди. Но по-

том вспомнил, что эта веточка¹ может занести к ним новую инфекцию. Нет, он поступит так, как ему сказано! Он сделал еще несколько шагов по следу шин, мгновение постоял в нерешительности, оторвал от цветка один-единственный лепесток, потом бережно положил цветок в самую середину следа. Лепесток он спрятал в карман и с тяжелым сердцем медленно вернулся к автомобилю и стал смотреть на сверкающую в колее красную звездочку.

Его скорбь и волнение были очень велики. Только сейчас ощутил он, как горько было ему расстаться с Утопией.

Видимо, здесь продолжалась великая засуха. Луг и изгородь совсем высохли и побурели. Это было для Англии редкостью. Над дорогой стояло облако пыли — ее беспрерывно поднимали проезжающие автомобили. Этот старый мир, казалось, весь состоял из некрасивых, уже наполовину забытых вещей, звуков, запахов. Доносились гудки автомобилей, грохот проезжавшего поезда, где-то жалобно мычала корова, видимо, прося пить; пыль раздражающе щекотала его ноздри, как и запах расплавленного гудрона; изгородь была увита колючей проволокой, она шла и по верхней части черных ворот. Под ногами валялся навоз, обрывки грязной бумаги. Прекрасный мир, из которого он был изгнан, свелся теперь лишь к этой сверкающей красной точке на лугу.

И вдруг что-то произошло. словно появилась на мгновение чья-то рука и забрала цветок. В одно мгновение он исчез. Поднялся только маленький фонтанчик пыли, опал и исчез...

Это был конец.

При мысли о движении на шоссе Барнстейпл сторбился, словно пряча лицо от проезжих. Несколько минут он не мог овладеть собой. Он так и стоял, закрыв руками лицо, прислонившись к облезлому коричневатому капоту своего автомобиля...

Наконец мистер Барнстейпл справился с приступом горя. Он снова сел за руль, завел мотор и выехал на шоссе. Он машинально повернул на восток. Черные ворота в изгороди он за собой не закрыл. Ехал он медленно, все еще не зная, куда же, собственно, ему направиться. Потом он сообразил, что в этом старом мире его, быть может, разыскивают, как исчезнувшего загадочным образом. В таком случае, если кто-ни-

будь его узнает, ему придется отвечать на тысячу всяких немыслимых вопросов. Это будет страшно утомительно и неприятно. В Утопии он не подумал об этом. Там ему казалось вполне вероятным, что он вернется на Землю никем не замеченный. Теперь, на Земле, эта уверенность казалась нелепой. Он увидел впереди вывеску скромного кафе и решил, что ему следует здесь остановиться, прочесть газету и осторожно разузнать, что произошло в мире за это время и замечено ли его отсутствие.

Он сел за накрытый столик у окна. В середине комнаты стоял стол и на нем большой зеленый вазон с азиатскими ландышами и куча старых газет и иллюстрированных журналов. Но здесь был и сегодняшней, угренний выпуск «Дейли экспресс».

Он схватил газету, заранее боясь, что она вся будет посвящена загадочному исчезновению мистера Берли, лорда Барралонга, мистера Руперта Кэтскилла, мистера Ханкера, отца Эмертона, леди Стеллы, не считая прочих, менее крупных светил. Но постепенно, по мере того как он листал газету, страх его испарялся. О них не было ни одного слова!

«Как же так! — мысленно заспорил он, не желая теперь отказываться от своего предположения.— Их друзья должны были заметить, что они исчезли».

Мистер Барнстейпл прочел всю газету. Но нашел упоминание лишь о том, о ком он как раз и не думал: о мистере Фредди Маше. Премия имени принцессы де Модена Фраскатти (урожденной Хаггинсботтом) за труды об английской литературе никому не была вручена мистером Грейсфулом Глоссом «ввиду того, что мистеру Фредди Машу понадобилось уехать за границу».

Мистер Барнстейпл еще долго терялся в догадках, почему никто не заметил отсутствия всех остальных. Затем его мысли снова обратились к сверкающему красному цветку, лежавшему на скошенном лугу, и к руке, которая словно убрала цветок. В это мгновение чудом открывшаяся дверь между прекрасным и удивительным миром Утопии и Землей опять захлопнулась навсегда.

И снова мистер Барнстейпл был охвачен изумлением. Утопия, мир честности и нравственного здоровья, лежала вне самых удаленных границ нашей вселенной; этот мир навсегда останется недостижи-

мым для него; и все-таки, как было ему сказано, это лишь один из бесчисленных миров, движущихся вместе во времени, находящихся бесконечно близко друг от друга, как листки книги. И Земля и Утопия — ничто в безграничной множественности космических систем и пространств, которые их окружают.

«Если бы я мог, вращая свою руку, разогнать ее за пределы, которые ей поставлены,— сказал ему кто-то из утопийцев,— я мог бы проткнуть ею тысячи миров...»

Подошедшая с чаем официантка вернула его к земной действительности.

Еда показалась ему безвкусной и какой-то нечистой. Он проглотил чай, потому что его мучила жажда. Но есть он не мог.

Случайно засунув руку в карман, он нащупал что-то мягкое. Это был лепесток, оторванный от красного цветка. Лепесток уже потерял свой огненно-красный цвет, а соприкоснувшись с душным воздухом комнаты, и вовсе свернулся, сморщился и почернел; его нежный аромат сменился неприятным сладковатым запахом.

— Ну, разумется,— сказал мистер Барнстейпл,— этого надо было ожидать.

Он бросил сгнивший лепесток на тарелку, потом снова взял его и положил в вазон с ландышами.

Он снова принялся за «Дейли экспресс». Перелистывая газету, он на этот раз старался пробудить в себе интерес к земным делам.

7

Долгое время мистер Барнстейпл просидел над «Дейли экспресс» в кафе в Колкбруке. Мысли его были сейчас очень далеко, и газета соскользнула на пол. Он вздохнул, очнулся и попросил счет. Расплачиваясь, вдруг увидел, что бумажник его по-прежнему полон фунтовыми банкнотами.

«Это самый дешевый отпуск, какой у меня был когда-либо,— подумал он.— Я не истратил ни одного пенни».

Он спросил, где почта, так как решил послать телеграмму...

Через два часа мистер Барнстейпл затормозил у ворот своей маленькой виллы в Сайденхеме. Он от-

крыл ворота; толстая палка, которой он обычно совершал эту операцию, была на своем месте. Как и всегда, он провел «желтую опасность» мимо полукруглой клумбы к дверям сарая. На крыльце появилась миссис Барнстейпл.

— Альфред! Наконец-то ты вернулся!

— Да, я вернулся. Ты получила мою телеграмму?

— Десять минут назад. Где же ты пропадал все это время? Ведь уже больше месяца прошло.

— О, просто ездил и мечтал. Я прекрасно провел время.

— Все-таки тебе следовало написать. Право же! Нет, Альфред, ты...

— Мне не хотелось. Доктор советовал мне избегать любого напряжения. Я ведь писал тебе. Нельзя ли выпить чаю? А где мальчишки?

— Мальчишки отправились на прогулку. Я сейчас заварю тебе свежего чая.— Она ушла на кухню, потом вернулась и уселась напротив него за чайным столиком.— Я так рада, что ты вернулся, хотя могла бы тебя побранить.

Ты прекрасно выглядишь,— продолжала она.— Никогда еще у тебя кожа не была такой свежей и загорелой.

— Я все время дышал чудесным воздухом.

— Ты побывал в Озерном крае?

— Нет, собственно говоря... Но и там, где я был, всюду воздух чудесный. Здоровый воздух.

— И ты ни разу не заблудился?

— Ни разу.

— Мне почему-то казалось, что ты потерял память. Такие вещи бывают. С тобой этого не случилось?

— Моя память ясна, как алмаз.

— Но где же ты был?

— Я просто путешествовал и мечтал. Грезил наяву. Часто я не спрашивал названия тех мест, где останавливался. Был в одном месте, потом в другом. Я не спрашивал названий. Я не затруднял этим свой мозг. Он у меня совершенно бездействовал. И я великолепно отдохнул от всего... Совершенно не думал ни о политике, ни о деньгах, ни о социальных вопросах, то есть о том, что мы называем социальными вопросами, ни о прочих неприятностях с той минуты, как пустился в путь... Это свежий номер «Либерала»?

Он взял газету, полистал ее и бросил на диван.

— Бедняга Пиви,— сказал он. — Конечно, я уйду

из этой газеты. Она, как обои на сырой стене: вся в пятнах, шуршит и никак не приклеится... От нее у меня ревматизм мозга...

Миссис Барнстейпл удивленно уставилась на него.

— Но я думала, что «Либерал» — это обеспеченная работа...

— Мне теперь больше не нужно обеспеченной работы. Я могу делать кое-что получше. Меня ждут другие дела... Но ты не беспокойся, после такого отдыха я управлюсь с любым делом... А как мальчики?

— Меня немного беспокоит Фрэнки.

Мистер Барнстейпл взял «Таймс». Ему бросился в глаза странный текст в колонке объявлений о пропажах. Текст гласил: «Сесиль! Твое отсутствие вызывает толки. Что сообщать посторонним? Пиши на шотландский адрес. Д. заболела от беспокойства. Все указания будут исполнены.»

— Прости, я не расслышал тебя, дорогая, — сказал он, откладывая газету.

— Я говорила всегда, что у Фрэнки нет деловой жилки. Его к этому не влечет. Я хотела бы, чтобы ты хорошенько с ним поговорил. Он растерян, потому что мало знает. Он говорит, что хочет изучать точные науки в политехническом институте — хочет продолжать учиться.

— Что ж, пусть будет так. Очень разумно с его стороны. Я не предполагал, что он настолько серьезен. Я и сам хотел поговорить с ним, но это облегчает мне задачу. Конечно, ему следует изучать точные науки...

— Но ведь мальчику придется зарабатывать на жизнь!

— Это придет. Если он хочет заниматься точными науками, пусть занимается.

Мистер Барнстейпл говорил тоном, совершенно новым для миссис Барнстейпл, — тоном спокойной и уверенной решимости. Это удивило ее тем больше, что делал он это вполне бессознательно.

Он откусил кусочек от ломтика хлеба с маслом, и она заметила, как он поморщился и с сомнением посмотрел на остаток ломтика в руке.

— Ну, конечно, — сказал он. — Лондонское масло. Трехдневной давности. Валялось где-нибудь. Забавно, как быстро меняется вкус у человека.

Он снова взял «Таймс» и принялся пробегать колонки.

— Нет, решительно наш мир склонен к ребячествам,— сказал он наконец.— Да, это так. А я было забыл... Воображаемые заговоры большевиков... Воззвания синфейнеров... Принц такой-то... Польша... Явная ложь насчет Китая... Явная неправда о Египте... Вечное подшучивание над Уикхэмом Стидом... Мнимо благочестивая статья о троицыном дне... Убийство в Хитчине... Гм!.. Довольно отвратительная история! Картина Рембрандта из коллекции Помфорта... Страховые компании... Письмо пэра Англии, возмущенного налогами на наследство... Унылые страницы спорта... Гребля... Теннис... Школьный крикет... Поражение команды Хэрроу!.. Будто это имеет хоть малейшее значение! Как все это глупо — все! Словно бранятся горничные и лепечут ребятишки.

Он увидел, что миссис Барнстейпл внимательно к нему приглядывается.

— Я не читал газет с того времени, как уехал,— объяснил Барнстейпл.

Он положил газету и встал. Несколько мгновений миссис Барнстейпл казалось, что у нее нелепая галлюцинация. Потом она поняла, что это реальный поразительный факт.

— Да,— сказала она.— Это именно так! Не двигайся. Стой на месте! Я знаю, это покажется смешным, Альфред, но ты стал выше ростом. Ты не просто перестал горбиться. Ты вырос — о! — на два или три дюйма!

Мистер Барнстейпл поглядел на нее, потом протянул вперед руку. Да, действительно, рукав был решительно коротковат. Он поглядел, не коротки ли брюки.

Миссис Барнстейпл приблизилась к нему даже с некоторым почтением. Она стала рядом, плечом к его плечу.

— Твое плечо всегда было на одном уровне с моим,— сказала она.— Посмотри, где оно теперь.

Она подняла на него глаза. Она очень рада его возвращению.

Но мистер Барнстейпл погрузился в размышления.

— Наверно, это все воздух. Я все время дышал удивительным воздухом. Удивительным!.. Но в моем возрасте — вырасти!.. Хотя я, право, чувствую, что действительно вырос. Душой и телом...

Миссис Барнстейпл принялась убирать чайную посуду.

— Ты, видно, избегал больших городов?

— Да.

— И держался больше проселочных дорог?

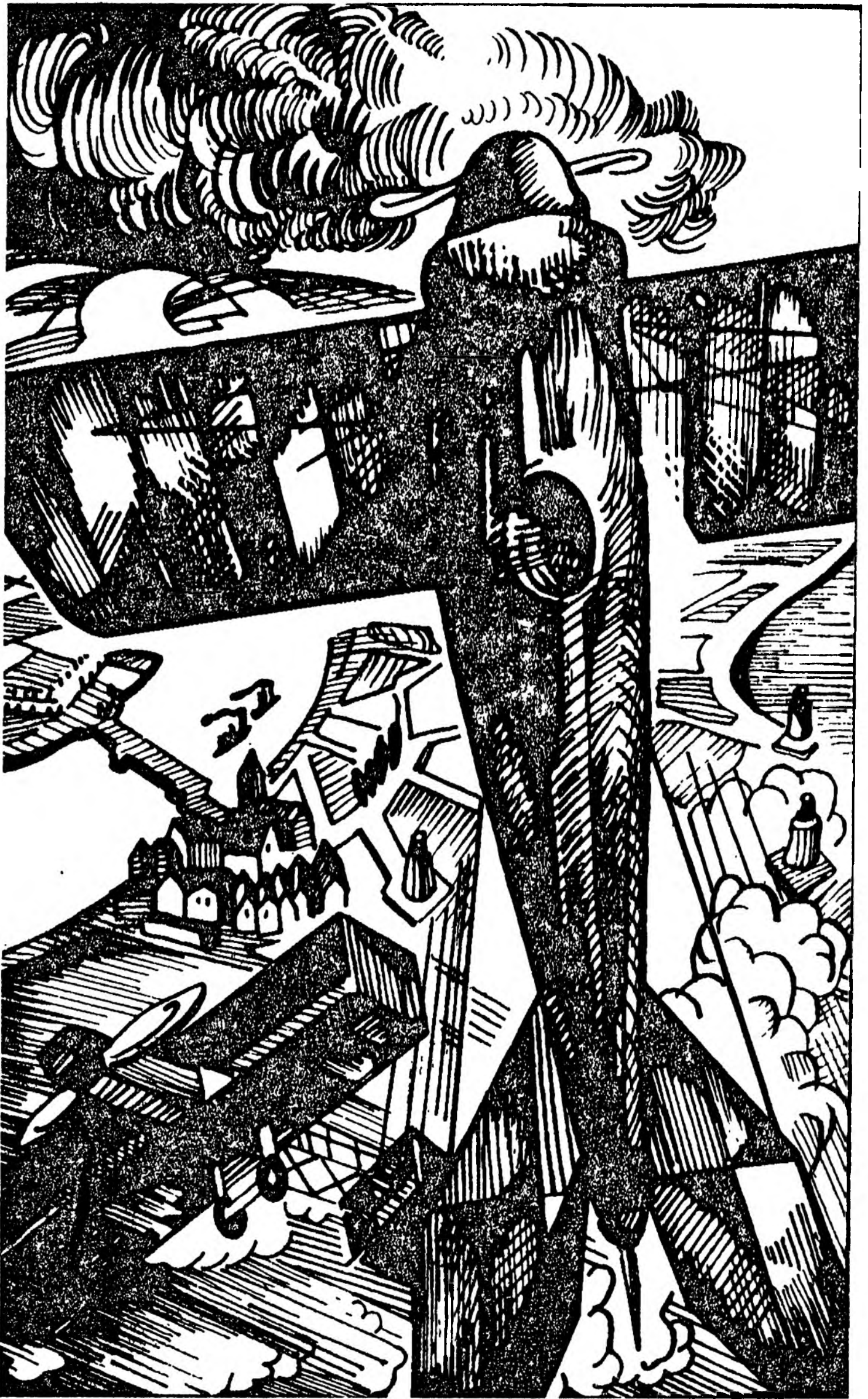
— Да, почти... Это были совершенно новые для меня места... Красивые... Изумительные...

Жена все так же приглядывалась к нему.

— Ты должен когда-нибудь взять туда и меня с собой,— сказала она.— Я вижу, что это принесло тебе пользу. Очень, очень большую пользу!..

Когда стальной
проснется







Глава I

БЕССОННИЦА

Однажды, в жаркий полдень, во время отлива мистер Избистер, молодой художник, проживавший в Боскасле, направлялся из этого местечка в живописной бухточке Пентарджена с тем, чтобы осмотреть тамошние пещеры. Он шел пешком вдоль берега моря и, спускаясь по крутой тропинке к Пентарджену, неожиданно наткнулся на какого-то человека, который сидел под навесом выступавшей в море скалы. Вся поза этого человека говорила о глубоком отчаянии. Он сидел согнувшись; его руки бессильно свесились с колен, красные воспаленные глаза тупо глядели в пространство, и все лицо было мокро от слез.

Он оглянулся, услышав шаги художника. Оба смутились, особенно Избистер. Он невольно остановился и, не зная, как выйти из неловкого положения, с глубокомысленным видом промямлил что-то такое о погоде, «жаркой не по сезону».

— Да, жарко, — коротко отозвался незнакомец. Он помолчал с секунду и добавил однозвучным, вялым тоном: — Я не могу спать.

Избистер резко остановился.

— В самом деле?

Вот все, что он нашелся сказать, но во всей его

манере сквозило искреннее желание помочь, насколько это в его власти.

— Это может показаться невероятным,— продолжал незнакомец, поднимая на него усталые глаза и подкрепляя свои слова вялым движением руки,— трудно поверить, но вот уже шесть ночей, как я не спал, совсем не спал, ни минуты.

— Советовались вы с докторами?

— Да. Ни одного путного совета. Микстуры, пилюли. А моя нервная система... Все эти лекарства, может быть, и хороши для большинства людей... Как бы это объяснить?.. Я не решаюсь принять достаточно сильную дозу.

— Это должно помочь,— заметил Избистер.

Он беспомощно стоял на узкой тропинке, недоумевая, что же делать дальше. «Бедняге хочется поговорить — это ясно»,— подумал он и, движимый естественным при данных обстоятельствах побуждением, поспешил поддержать разговор.

— Сам я бессонницей никогда не страдал,— заговорил он беспечным тоном светской болтовни,— но я знаю, что для таких случаев существуют средства...

Незнакомец сделала жест отрицания.

— Я боюсь делать эксперименты.

Он говорил устало, через силу. Оба опять помолчали.

— А моцион? Пробовали вы моцион? — нерешительно спросил Избистер, переводя взгляд с измученного лица своего собеседника на его костюм туриста.

— Пробовал, как раз в эти дни. И, кажется, глупо сделал. Я прошел пешком весь берег от самого Нью-Кея. Я иду уже несколько дней. К умственному утомлению прибавилась физическая усталость — вот и все. Да ведь и началась-то со мной эта история от переутомления и... от забот. Я, видите ли...

Он оборвал речь, точно у него не хватило сил продолжать, потом потер лоб своей тонкой, костлявой рукой и начал снова так, как будто говорил сам с собой:

— Я — одинокий волк, живу уединенно, всем чужой, не принимаю прямого участия в жизни. Нет у меня ни жены, ни детей... Кто это сказал про бездетных людей, что это мертвые сучья на древе жизни?.. У меня нет жены, нет детей, нет обязанностей. Даже желаний нет в моем сердце. Я долго не находил себе

задачи, цели в жизни. Но, наконец, нашел. Я решил сделать одно дело. Я сказал себе: я хочу это сделать и сделаю. И для того, чтоб сделать это, чтоб побороть инертность своего вялого тела, я прибегал к лекарствам. Боже ты мой! Сколько я их проглотил! Не знаю, все ли чувствуют то, что чувствовал я тогда. Сознаете ли вы, например, все неудобство иметь тело, ощущаете ли всю тяжесть его, чувствуете ли с отчаянием, как много времени оно отнимает у вашей души — времени и жизни?.. Жизнь! Да разве мы живем? Мы живем лишь урывками. Нам надо есть. Мы едим и получаем тупое пищеварительное удовлетворение или, наоборот, раздражение. Нам нужны движение, воздух, иначе наше мышление замедляется, ум тупеет, мысль отвлекается внешними и внутренними впечатлениями и забредает в тупики. А там наступает дремота и сон. Люди и живут-то, кажется, только затем, чтобы спать. Даже в лучшем случае человеку принадлежит такая ничтожная часть его дня. А тут еще приходят на подмогу эти наши друзья-предатели — алкалоиды, которые заглушают естественное чувство усталости и убивают покой. Черный кофе, кокаин...

— Да, да, понимаю, — вставил Избистер.

— Но я окончил свое дело, — сказал раздражительно бедный больной. — Я добился своего.

— Ценою бессонницы?

— Да.

С минуту оба молчали.

— Вы себе представить не можете, до чего я жажду покоя — алчу и жажду, — снова заговорил незнакомец. — Все эти шесть долгих суток, с той минуты, как я кончил работу, в моей несчастной голове кипит водоворот. Мысли вихрем кружатся на одном месте, быстро, непрерывно... несутся бешеным потоком неизвестно куда... — Он помолчал и кончил: — в бездну.

— Вам надо заснуть, — сказал Избистер с таким решительным видом, точно открыл радикальное средство. — Вам положительно необходимо заснуть.

— Мысли мои вполне ясны — яснее, чем когда-либо. И все-таки я знаю, чувствую, что меня захватил водоворот. Видали вы когда-нибудь, как в водоворот затягивает щепку? Разве она может бороться? Вот она кружится, кружится... все глубже, все ниже... прочь от света дня, прочь из счастливого мира живых... все дальше в пучину, на дно.

— Но позвольте...— возразил было Избистер.

Незнакомец вытянул руку решительным жестом.

— Я знаю, что я сделаю: я убью себя.— Глаза его сверкали безумием, голос звенел.— Я добьюсь покоя, если не где-нибудь еще, то там, у подножия этих скал, где зияет черная бездна где волны так зелены, где то вздымается, то падает белая пена прибоя, где дрожит легкой рябью вон та узкая полоска воды. Там я, во всяком случае, найду... сон.

— Ну, уж это совсем неразумно,— проговорил Избистер, пораженный истерическим волнением незнакомца.— Наркотики все-таки лучше.

— Там я найду сон,— повторил тот не слушая.

Избистер смотрел на него.

— Найдете сон, вы говорите? Ну, знаете, это еще вопрос. В Лалворт-коувс есть такая же скала, во всяком случае, не ниже этой. Так вот с нее упала девушка — с самой верхушки, и что ж бы вы думали? Цела и невредима. Живет и по сей день.

— А эти скалы внизу? Разве можно упасть на них и не разбиться?

— Разбиться-то разобьетесь, конечно, и будете лежать всю ночь с переломанными костями, дрогнуть под брызгами холодной воды, мучиться... Что, хорошо?

Их взгляды встретились.

— Мне жаль разочаровывать вас,— прибавил Избистер беспечно. «С дьявольской находчивостью»,— подумал он про себя.— Но бросаться с этой скалы, да и со всякой вообще... Такой род самоубийства,— я говорю с точки зрения художника (он засмеялся),— право, это уж чересчур по-любительски.

— Но что же мне делать? — прокричал почти с гневом незнакомец.— Когда ночь за ночью не спишь ни секунды... Ведь от этого с ума можно сойти!

— Скажите: всю эту длинную дорогу по берегу вы сделали один?

— Да.

— Неостроумно. Простите, что я так говорю. Один! Еще бы, как тут не свихнуться? Вы правильно тогда сказали: физическая усталость — плохое лекарство против переутомления мозга. И кто вам посоветовал это средство? Ходьба — хорошо говорить! Жара, солнцепек, одиночество — с утра до ночи, день за днем... А вечером вы, наверно, ложились в постель и силились заснуть, а?

Избистер замолчал, устремив на страдальца лукаво-проницательный взгляд.

— Посмотрите на эти скалы! — крикнул вдруг тот, не отвечая на вопрос. Он взволнованно и сильно жестикулировал руками. — Посмотрите на это море, которое вечно сверкает и волнуется, как сейчас! Видите, как плещет и рассыпается белая пена вон под тем высоким утесом и снова исчезает в темной глубине. А этот синий купол со своим ослепительным солнцем, которое нещадно льет на землю горячие лучи? Это ваш мир. Вы его любите, вы чувствуете себя в нем, как рыба в воде. Вас он согревает, живит, дает вам наслаждение. А для меня...

Он повернулся к своему собеседнику и показал ему свое истощенное, бледное лицо, тусклые, налитые кровью глаза и бескровные губы. Он говорил почти шепотом.

— Для меня все это, весь этот мир — лишь внешняя оболочка моего страдания... моего горя.

Избистер обвел глазами дикую красоту сверкавших в высоте, залитых солнцем вершин, потом взгляд его снова упал на поднятое к нему человеческое лицо, на котором было написано такое отчаяние, и он не нашелся, что сказать. Но вдруг он вскинул голову нетерпеливым движением.

— Вам надо выспаться — вот и все. Проспите как следует ночь, и все покажется вам в другом свете, — вот увидите.

Теперь он был уже убежден в предопределенности этой встречи. Каких-нибудь полчаса тому назад он не знал, куда деваться от скуки; и вот ему представлялось занятие, которое могло дать вполне законное удовлетворение всякому порядочному человеку. Одна мысль о предстоящей задаче поднимала его в собственных глазах, и он жадно ухватился за нее. Он решил, что этому несчастному прежде всего нужно общество, а потому, недолго думая, опустился на поросший травой выступ холма рядом с неподвижно сидевшей фигурой и принялся болтать о чем попало.

Но незнакомец, по-видимому, не слушал его: он снова погрузился в апатию. Угрюмым, неподвижным взглядом смотрел он на море, отвечая только на прямые вопросы, да и то не на все, но ничем, однако, не протестуя против непрошеного участия своего ново-явленного друга.

Бедняга был как будто даже благодарен ему — по-своему, безмолвно и апатично, — и когда Избистер, чувствуя, что его разговорные ресурсы, не встречая поддержки, скоро иссякнут, предложил снова подняться на кручу и вместе вернуться в Боскасль, тот спокойно согласился. Не прошли они и половины подъема, как незнакомец принялся говорить сам с собой, потом вдруг повернул помертвелое лицо к своему спутнику.

— Что это? Что это?.. Вертится, вертится — быстро-быстро, как веретено. Все вертится... и без конца.

Он показал рукою, как все вертится.

— Ничего, милейший, все вздор, — проговорил Избистер тоном старого друга. — Вы только не волнуйтесь. Положитесь на меня.

Тот опустил руку и пошел дальше. И все время, пока они огибали гребень горы по узкой тропинке, где можно было идти только гуськом, и потом, когда, миновав Пинолли, они подходили к плоскогорью, измученный человек размахивал руками, бессвязно бормоча все о том же — как у него вертится в мозгу. На мыске, перед выходом на плоскогорье, в том месте, откуда открывается вид на черную яму Блэкапита, они присели отдохнуть. Еще раньше, как только тропинка настолько расширилась, что можно было идти рядом, Избистер снова начал болтать. Только он стал распространяться о том, как трудно в непогоду войти в Боскасльскую гавань, как вдруг его спутник, перебив его на полуслове, опять заговорил:

— Положительно что-то странное творится с моей головой. — Он усиленно жестикулировал, должно быть оттого, что ему не хватало достаточно выразительных слов. — Раньше этого не было. Что-то давит мне мозг, точно гнет какой-то навалился... Нет, это не от бессонницы. Это не дремотное состояние. Хорошо, если бы так! Это как тень, как густая завеса, которая вдруг упадет и закроет от тебя главное, самое нужное, над чем ты хочешь подумать. И мысль твоя продолжает кружиться в темноте. О, какая сумятица мыслей, какой ужасный хаос! Кругом, кругом, все в одну сторону... все вертится и жужжит... Я не могу этого выразить... не могу сосредоточиться настолько, чтобы ясно выразить это в словах.

Он замолчал обессилен.

— Успокойтесь, голубчик, — сказал Избистер. — Я

вас, кажется, понимаю. Да, впрочем, и не стоит объяснять: право, это не так важно.

Незнакомец с усилием поднес руки к лицу и долго протирает глаза. Все это время Избистер, не умолкая, болтал. Вдруг его осенила новая мысль.

— Знаете что, зайдемте ко мне, — предложил он. — Выкурим по трубочке. Я покажу вам мои наброски Блэкапита. Хотите?

Больной послушно встал и последовал за ним по начинавшемуся спуску. Он шел очень тихо, нетвердыми шагами. Несколько раз Избистер слышал, как он спотыкался.

— Так, значит, решено: вы зайдете ко мне. Выкурите трубку или сигару. А заодно, может быть, захотите испробовать благодетельное действие алкоголя. Вы пьете вино?

Они стояли у садовой калитки перед домом, где жил Избистер.

Незнакомец не отвечал и не двигался с места. Он кажется, уже перестал сознавать, где он и что делает.

— Я не пью, — медленно выговорил он наконец, направляясь тем не менее к дому по садовой дорожке. Немного погодя он рассеянно повторил: — Нет, я не пью... А оно все вертится, все вертится...

В дверях он споткнулся и вошел в дом, как человек, который ничего не видит перед собой.

Он тяжело опустился, почти упал в кресло, нагнулся вперед, подпер голову руками и застыл в этой позе. Через несколько секунд послышались какие-то слабые звуки вроде хрипенья.

Избистер двигался по комнате с нервной торопливостью неопытного хозяина, роняя изредка отрывочные фразы, не требовавшие ответа. Он перешел комнату, достал свою папку с этюдами и положил ее на стол. Потом взглянул на часы, стоявшие на камине.

— Хотите, может быть, поужинать со мной? — проговорил он, держа в руках незакуренную сигару. В эту минуту он ломал голову над вопросом, нельзя ли как-нибудь незаметно подсунуть гостю хорошую дозу хлорала. — У меня ничего нет, кроме холодной баранины, — продолжал он. — Но баранина первый сорт — из Уэльса. Ах, да, есть еще, кажется, торт.

Выждав немного и не получив ответа, он повторил

эти слова. Но человек, сидевший в кресле, продолжал молчать. Избистер тоже замолчал и смотрел на него с зажженной спичкой в руке.

Тишина не прерывалась. Спичка догорела и погасла, незакуренная сигара была отложена в сторону. Гость был до странности неподвижен.

Избистер снова взялся за свою папку, раскрыл ее и задумался, собираясь что-то сказать.

— Может быть...— нерешительно начал было он пониженным голосом и замолчал. Взглянул на дверь, на неподвижную фигуру, сидевшую перед ним. Потом на цыпочках, стараясь ступать как можно осторожнее и беспрестанно оглядываясь на своего странного гостя, вышел из комнаты и бесшумно притворил за собой дверь.

Наружная дверь была не заперта. Он вышел в сад и встал у средней клумбы. Отсюда через открытое окно его комнаты ему была видна склоненная фигура в кресле. Незнакомец не изменил позы: он, видимо, не шелохнулся с тех пор, как его оставили одного.

Какие-то ребятишки, бежавшие гурьбой по дороге, остановились и с любопытством глазели на художника. Знакомый лодочник, проходя, поздоровался с ним. Ему становилось неловко торчать так, без всякого дела: он чувствовал, что его положение наблюдателя должно казаться публике странным и необъяснимым. Может быть, оно выйдет естественнее, если закурить? Он достал из кармана кисет с табаком и стал не спеша набивать трубку.

— Что же это будет, однако, хотел бы я знать? — пробормотал он уже с некоторым оттенком досады.— Ну, да уж пусть себе спит, не будить же его.— Он храбро чиркнул спичкой и закурил.

Вдруг он услышал за собой шаги своей хозяйки. Она шла с зажженной лампой из кухни в его комнату. Он обернулся и замахал на нее трубкой, шепча ей, чтоб она не входила к нему. Не без труда удалось ему объяснить ей положение дел: ведь она даже не знала, что у него сидит гость. Она отправилась обратно со своей лампой, видимо заинтригованная такой таинственностью, а он снова занял свой наблюдательный пост у клумбы, взволнованный и не в духе.

На дворе совсем стемнело. В воздухе замелькали летучие мыши. Он давно уже докурил свою трубку, а человек в кресле все не шевелился. Хорошо бы взгля-

нуть на него поближе... Но всякие сложные соображения удерживали его. Наконец любопытство превозмогло. Тихонько прокрался он в свою комнату, где теперь было совершенно темно, и остановился на пороге. Незнакомец сидел в прежней позе, выделяясь темным пятном на светлом квадрате окна. За окном стояла полная тишина; только со стороны гавани слабо доносилось пение: должно быть, матросы пели на одном из стоявших там мелких судов. Высокие стебли дельфиниума на клумбе слабо вырисовывались на буром фоне ближнего холма.

Вдруг Избистер вздрогнул: у него мелькнула одна мысль. Он нагнулся над столом и прислушался. Его подозрение окрепло. Мало-помалу оно превратилось в уверенность. Ему стало страшно... Если человек этот спит, так отчего же не слышно его дыхания?..

Бесшумно, осторожно, поминутно прислушиваясь, Избистер обошел вокруг стола. Вот он положил руку на спинку кресла и нагнулся над спящим, почти касаясь головой его головы. Потом нагнулся еще ниже, заглянул ему в лицо и откинулся назад с криком испуга: вместо глаз на него глядели белые стекляшки. «Глаза открыты, а зрачки закатились под лоб,— сообразил он, всмотревшись пристальнее.— Что же такое, наконец, с этим человеком?»

Его испуг превратился в ужас. Он взял незнакомца за плечо и принялся трясти его.

— Вы спите? — спросил он дрогнувшим голосом и, не получив ответа, повторил тоном ниже: — Вы спите?

Человек этот умер — теперь он был в этом убежден. Он вдруг засуетился: быстрыми шагами перешел комнату, наткнувшись при этом на стол, и сильно позвонил.

— Пожалуйста, свету! — крикнул он своей хозяйке в коридор.— С моим знакомым что-то случилось.

Потом он вернулся к своему неподвижному гостю и снова взял его за плечо. Он тряс его, кричал ему в ухо — напрасно. Комната вдруг осветилась желтым светом: хозяйка внесла лампу. На ее лице было написано изумление. Он повернулся к ней бледный, мигая от внезапного света.

— Я побегу за доктором,— сказал он.— С ним, должно быть, припадок, если только это... не смерть. Есть у вас доктор в деревне? Где он живет?

ТРАНС

Состояние каталепсического столбняка, в которое впал незнакомец, продолжалось беспримерно долгое время. Со временем его окоченелые члены приобрели прежнюю гибкость. Тогда стало возможным закрыть ему глаза, и он производил впечатление человека, спящего спокойным сном.

Из квартиры художника его перенесли в больницу в Боскасле, а из больницы через несколько недель отправили в Лондон. Но все усилия врачей вывести его из этого состояния оставались бесплодными. Спустя некоторое время по причинам, о которых речь впереди, было решено оставить эти попытки. Долго, очень долго пролежал он таким образом, инертный, недвижимый — не мертвый, не живой, остановившись, так сказать, на полдороге между жизнью и небытием. Спячка его была абсолютною тьмой, в которую не проникал ни один луч мысли или сознания: это был сон без сновидений, длительный, глубокий покой. Его душевная буря, все разрастаясь, достигла своего предела и сразу сменилась полной тишиной. Где был человек в это время? Где была его душа? Где витает вообще душа человека, когда он теряет сознание?

— Мне кажется, это было вчера, так ясно я это помню, — сказал Избистер. — Право, я не мог бы помнить яснее, если бы все это случилось вчера.

Это был тот самый молодой художник, с которым мы познакомились в прошлой главе, но теперь он уже не был молодым. Его когда-то густые темные волосы, которые были у него всегда немного длиннее, чем это принято у мужчин, теперь были острижены под гребенку и серебрились сединой. Его когда-то свежее, розовое лицо огрубело и стало красным. Теперь он носил бородку клином, и в ней было, по крайней мере, наполовину седых волос.

Он разговаривал с другим пожилым человеком в легком летнем костюме. Это был Уорминг, лондонский адвокат и ближайший родственник Грехэма — того самого больного, который впал в транс. Оба стояли в комнате рядом и смотрели на распростертое тело того, о ком они говорили.

Это было сухое желтое тело с вялыми членами и

непомерно отросшими ногтями, с осунувшимся лицом и щетинистой бородой. Прикрытое только длинной рубахой, оно лежало на налитом водою гуттаперчевом матрасе, в высоком ящике из тонкого стекла. Эти стеклянные стенки как будто отграничивали спящего от реальной жизни, отделяли его от мира живых, как аномалию, как диковинку, как странное уродство. Двое живых стояли у самого ящика, заглядывая в него.

— Признаюсь, я очень тогда испугался, — снова заговорил Избистер. — Меня и теперь бросает в дрожь когда вспомню эти белые глаза. Они у него, знаете, совсем закатились тогда, так что видны были только белки. Все это так живо мне вспоминается теперь... когда я смотрю на него.

— А вы с тех пор ни разу его не видали? — спросил адвокат.

— Много раз думал зайти посмотреть, да все дела мешали. Дела в наше время не много оставляют человеку досуга. Я ведь большей частью жил в Америке все эти годы.

— Вы, кажется, живописец, насколько я припоминаю? — спросил Уорминг.

— Был. Потом, когда я женился, я скоро понял, что мне надо распрощаться с искусством. Искусство — роскошь, по крайней мере для нашего брата — людей среднего дарования. Я занялся практическим делом, и успешно. Видали вы в Дувре на скалах рекламы? Все это работа моей мастерской.

— Хорошие рекламы, — сказал Уорминг, — хоть, признаюсь, мне неприятно было встретить их там.

— Работа прочная: продержится, пока стоят сами скалы, ручаюсь! — самодовольно воскликнул Избистер. — Эх, как меняется жизнь! Двадцать лет тому назад, когда он уснул, я проживал в Боскасле свободным художником. Благородное старомодное честолюбие да ящик с акварельными красками составляли все мое имущество. Не думал я тогда, что моим кистям выпадет со временем честь размалевать весь берег милой старой Англии от Лэндс-Энда вплоть до Лизарда. Да-а, удача часто приходит, откуда меньше всего ее ждешь.

У Уорминга, видимо, были кое-какие сомнения насчет такой удачи, но он сказал только:

— Помнится, мы тогда чуть-чуть не встретились в вами в Боскасле. Вы уехали за час до моего приезда.

— Да. Вы приехали тем самым дилижансом, который отвез меня на станцию. Это было в день юбилея Виктории: я помню, еще флаги развевались на Вест-министере и на улицах была страшная давка. Мой извозчик на кого-то наехал в Челси, и вышла целая история...

— Да, это был второй юбилей — бриллиантовый, — заметил Уорминг.

— Да, да. Во время первого, главного, когда праздновалось пятидесятилетие, я был еще мальчишкой и жил в провинции, так что ничего не видал... о господи — я опять возвращаюсь к Грехэму, — какой это был переполох тогда, если б вы знали! Моя хозяйка ни за что не хотела оставить его у себя. И в самом деле, он был такой страшный! Пришлось перенести его в гостиницу. Боскасльский доктор — не теперешний молодой, а прежний — старичок — провозился с ним до двух часов ночи. Мы с хозяином гостиницы помогали ему: держали свечи, подавали все нужное, бегали в аптеку... Ничего не помогло.

— Вначале это был, кажется, обыкновенный столбняк?

— Да. Он был деревянный: как ни согни, так и остается. Если б его на голову поставить, он и то бы стоял. Ничего подобного я никогда не видал. То, что вы теперь видите (он указал на распростертую фигуру движением головы), совершенно другое... А этот старикашка доктор... как бишь его звали?

— Смитерс?

— Да, Смитерс... Он просто ошибся. Он ведь надеялся очень скоро привести его в чувство. Чего он только не испробовал! Мороз по коже продирает, как вспомнишь. И горчицу, и нюхательный табак, и щипки. А потом притащил еще эту проклятую машинку... динамо не динамо, а как ее?

— Индукционную катушку?

— Да. И пустил ее в ход. Если бы вы видели, как его дергало.! Каждый мускул прыгал. Вы только представьте себе: полутемная комната... лишь у кровати горят две свечи, которые мы двое держим в руках... пламя колеблется... на стенах дрожат тени... маленький доктор нервничает, суется, а тот весь корчится под током, точно автомат на пружинах... Уф! мне и теперь часто снится эта картина.

Молчание.

— Да, странное явление,— сказал Уорминг.

— Очень странное. Человек в этом состоянии, можно сказать, отсутствует вполне. Остается только тело без души — не мертвое, но и не живое. Это все равно, как стул в каком-нибудь общественном месте — пустой, но на котором написано «занят». Ни ощущений, ни пищеварения, ни биения сердца. Взгляните: ну кто скажет, что это живой человек? В известном смысле он мертвее мертвого, потому что у него даже волосы перестали расти,— так я слышал от врачей. А у мертвецов ведь волосы еще некоторое время..

— Да, я знаю,— перебил его Уорминг с оттенком неудовольствия.

Они еще раз заглянули в стекло. Действительно, престранный феномен представлял этот спящий. Во всей истории медицины не было подобных примеров. Бывали случаи, что спячка продолжалась около года, но к концу этого срока она всегда заканчивалась или пробуждением или смертью. Случалось и так, что вслед за пробуждением наступала смерть.

Избистер заметил на теле спящего несколько знаков, оставшихся после впрыскивания под кожу питательных веществ (в первое время врачи прибегали к этому средству, чтобы предупредить паралич сердца). Он указал на них Уормингу, который и сам давно их заметил, но старался не смотреть.

— Подумать только, как много перемен произошло в моей жизни с тех пор, как он здесь лежит! — продолжал Избистер с эгоистическим самодовольством здорового человека, который любит жизнь.— Я успел жениться, обзавестись семьей. Мой старший сын,— в то время я и не помышлял ни о каких сыновьях,— мой старший сын уже американский гражданин и скоро кончат университет. Я постарел, поседел. А этот человек ни на один день не состарился и ни на иоту не стал умнее — в практическом смысле, хочу сказать,— чем был я в дни моей зеленой юности. Курьезно!

Уорминг повернулся к нему.

— Я тоже стариком стал. Мы с ним в крикет играли мальчишками, а он все еще выглядит молодым человеком. Пожелтел, это правда. Но все-таки еще молодой человек.

— А сколько событий совершилось за эти годы. Война...

— И началась, и кончилась, и забыли о ней.

— У него, я слышал, было небольшое состояние? — спросил Избистер, помолчав.

— Как же! — подтвердил, принужденно покашливая, Уорминг.— Я хорошо это знаю, так как был назначен его опекуном.

— А-а...— Избистер опять помолчал, потом нерешительно заговорил: — Вероятно... ведь содержание его здесь недорого стоит... вероятно, за эти годы его состояние возросло?

— Конечно. Он проснется — если только проснется — богатым человеком, значительно богаче, чем был.

— Видите ли, меня, как делового человека, естественно, занимает этот вопрос,— сказал Избистер.— Мне даже приходило иногда в голову, что эта спячка была для него очень выгодна. Он, можно сказать, весьма предусмотрительно поступил, заснув на такой большой срок. Если б он продолжал жить...

— Сомневаюсь, чтобы он загадывал вперед на такой долгий срок,— перебил Уорминг.— Он никогда не отличался предусмотрительностью. Мы с ним всегда расходились по этому пункту. Он был очень неблагоразумен во всем, и я поневоле должен был его опекать. Вам, как человеку практическому, должно быть понятно, что... Впрочем, не в этом вопрос. Выгодна или невыгодна для него эта спячка — во всяком случае, сомнительно, чтоб он вернулся к жизни. Такой сон истощает, медленно, но все же истощает. Тихонько, незаметно человек катится вниз... вы меня понимаете?

— Очень жаль, если так. Воображаю его изумление, если бы он проснулся!

— Жаль будет, если мы этого не увидим. Сколько было перемен за эти двадцать лет!словно возвратившийся Рип Ван Винкль.

— Куча перемен,— сказал Уорминг.— Да, перемен было немало для каждого из нас. Для меня, например: я теперь старик.

— Я бы этого не сказал,— нерешительно пробормотал Избистер, изобразив удивление на своем лице. Но удивление вышло несколько запоздалым.

— Мне было сорок три года в тот год, когда я получил уведомление от его банкиров об этом казусе. Это вы ведь тогда телеграфировали им, помните?

— Да. Я нашел их адрес в чековой книжке, которая оказалась у него в кармане,— сказал Избистер.

— Ну-с, сорок три да двадцать... сумму нетрудно получить.

Избистеру очень хотелось задать один вопрос. Выждав приличную паузу, он, наконец, решился дать волю своему любопытству.

— Ведь это может затянуться на многие годы,— начал он. Потом он немного замялся и продолжал: — Надо прямо смотреть в глаза будущему. В один прекрасный день опека над его состоянием может перейти... в другие руки, не так ли? Что тогда?

— Поверьте, мистер Избистер, я и сам много думал об этом. Дело в том, что между моими близкими нет никого, кому бы можно было доверить такую опеку... Да, положение не из обыкновенных,— беспримерное, можно сказать.

— Мне кажется, в подобных случаях опекуном следовало бы назначать какое-нибудь официальное лицо,— сказал Избистер.

— Скорее, официальное учреждение. Тут нужен бы бессмертный опекун — конечно, если он очнется и будет жить, как полагают многие из врачей... Я даже обращался под этому поводу в некоторые учреждения, но пока безуспешно.

— А что ж бы вы думали? Чудесная мысль! Сдать его на попечение Британскому музею, например, или Королевской медицинской коллегии. Оно странно звучит, это правда, но ведь и весь-то случай странный.

— Вы говорите: сдать медицинской коллегии. А как вы убедите их принять его? В этом главное затруднение.

— Вы правы. Этот их формализм, канцелярщина... Новая пауза.

— Да, прекурьезная история, могу сказать,— снова заговорил Избистер.— Заметили вы, как у него нос заострился и как провалились глаза?

Уорминг поглядел на спящего и ответил не сразу.

— Я сомневаюсь, чтобы он проснулся когда-нибудь.

— Я никогда не мог хорошенько понять, отчего с ним это приключилось,— сказал Избистер.— Он говорил мне что-то такое о переутомлении. Так неужели только от этого? Мне очень хотелось бы знать.

— Он был человек одаренный, но чересчур впечатлительный, нервный, порывистый во всем. У него были серьезные домашние неприятности. Он разошелся с женой и, вероятно, чтоб как-нибудь забыться, очертя голову бросился в политику. Он был фанатик-радикал, вернее социалист — энергичный, необузданный, дикий. Он вел жестокую полемику со своими противниками, работал как лошадь и надорвался. Я помню его памфлет. Любопытное произведение. Какой-то бред сумасшедшего, но с огоньком. Там было много пророчеств. Большая часть из них провалилась, но два-три сбылись. Впрочем, вообще говоря, читать такие вещи, значит время терять... Да, от многого придется ему отказаться и многому поучиться, когда он проснется... если только проснется.

— Дорого бы я дал, чтобы видеть этот момент... послушать, что он скажет, когда оглядится и узнает, как долго он спал, — сказал Избистер.

— И я хотел бы видеть, очень хотел бы, — проговорил Уорминг с недовольным чувством жалости к себе, какое часто бывает у старых людей. — Но я никогда не увижу. — Он замолчал и задумчиво смотрел на восковое лицо спящего. — Этот человек никогда не проснется, — прибавил он и вздохнул. — Никогда.

Глава III

ПРОБУЖДЕНИЕ

Но Уорминг ошибся: Гренхэм проснулся.

Что за сложное целое представляет собою эта кажущаяся столь простою единица, которую мы называем человеческим «я». Кто проследит, как происходит ее реинтеграция изо дня в день в момент нашего пробуждения, как растут, переплетаются и сливаются составляющие ее бесчисленные факторы? Кто проследит эти первые движения пробуждающейся души, этот переход от бессознательного к полусознательному вплоть до того момента, когда оно озарится полным светом сознания и мы вновь обретем себя? Такое бывает почти с каждым из нас даже после одной ночи крепкого сна. Так было и с Грехэмом после его долгой спячки. Туманное облако еще неосознанных ощу-

щений сменилось странным чувством жути, и он осознал себя, довольно смутно правда, слабым, очень слабым, но живым.

Это странствование во мраке в поисках своего «я» заняло, казалось ему, целые века. Чудовищные сны, бывшие для него в свое время страшной действительностью, оставили в его памяти неясные, но тревожные следы, туманные образы странных существ, небывалых пейзажей, точно с другой планеты. Было еще впечатление какого-то важного разговора... Какое-то имя, — он никак не мог припомнить его, — вертелось у него в голове; потом явилось странное, давно забытое ощущение собственного тела... мучительное сознание бесплодных усилий выплыть на свет, как это бывает с утопающими... Затем перед ним встала незнакомая панорама, в которой все колебалось и сливалось, ослепляя его.

Грехэм понял, что глаза у него открыты, что он смотрит на какой-то непонятный предмет.

Это было что-то белое, похожее на ребро деревянной рамы. Он слегка повернул голову, чтобы лучше рассмотреть этот предмет, но ему не видно было, где он кончается. Он попробовал было отдать себе отчет, где он. Да, впрочем, не все ли равно, когда он чувствует себя таким бессильным и жалким? Мрачное уныние — таков был общий тон его мыслей. Он испытывал чувство беспричинной, неопределенной тоски, как бывает, когда проснешься незадолго до рассвета. Потом ему показалось, что он как будто слышит шепот и поспешно удаляющиеся шаги.

Попытка повернуть голову вызвала в нем ощущение крайней физической слабости. Он думал, что лежит в постели, в гостинице той деревушки, где он останавливался в последний раз; но такой белой рамы над постелью там, помнится ему, не было. Он, очевидно, долго спал. Теперь он припомнил, что у него была бессонница. Вспомнилась ему скала, водопад и как он разговаривал с каким-то прохожим...

Долго ли он спал? Кто это сейчас убежал из комнаты? И что это за гомон вдали, который то разрастается, то затихает, точно шум прибоя? Он с усилием протянул руку, чтобы взять часы, которые он всегда клал на ночь на стул возле себя, и наткнулся на что-то гладкое и твердое, похожее на стекло. Это было так неожиданно, что он испугался. Он разом повер-

нулся на бок, с минуту в недоумении смотрел перед собой, потом сделал усилие, чтобы сесть. Это оказалось гораздо труднее, чем он ожидал: у него закружилась голова, он совсем ослабел... «Да что же это такое? Где же я наконец?»

Он протер глаза. Загадочность того, что его окружало, приводила его в тупик, но ход его мыслей был вполне логичен: ясно, что сон освежил его ум. Он заметил, что он совершенно раздет и лежит не на кровати, а на какой-то мягкой упругой подстилке, в ящике из цветного стекла. Подстилка была полупрозрачная, что он заметил с некоторым страхом, а под ней было зеркало, в котором смутно отражалось его тело. К его руке, — он испугался, увидев, как высохла и пожелтела его кожа, — был так искусно прикреплен какой-то гуттаперчевый прибор, что он, казалось, представлял с ней одно целое. И это странное ложе помещалось в ящике из зеленоватого стекла — так ему, по крайней мере, казалось. Одна из перекладин белой рамы этого ящика и привлекла его внимание в первый момент. В углу ящика стояла подставка с какими-то незнакомыми ему блестящими приборами очень тонкой работы, между которыми он различил только максимальный и минимальный термометры.

Зеленоватый цвет стекловидного вещества, окружавшего его со всех сторон, мешал ему хорошо рассмотреть, что было за ящиком, но он все-таки мог видеть обширный великолепный зал с огромной, лишенной всяких орнаментов аркой, находившейся прямо против него. У самой его клетки была расставлена мебель: стол, накрытый скатертью, серебристой, как рыба чешуя; два-три изящных кресла. На столе стояли разные яства, бутылка и два стакана. Тут только он почувствовал, как он голоден.

В комнате не было ни души. После минутного колебания он сполз со своей прозрачной подстилки и попробовал встать на чистый, белый пол своей клетки. Но он плохо рассчитал свои силы, пошатнулся и, чтобы не упасть, уперся рукой в стекловидную стенку ящика. Она удержала его руку на мгновение, растягиваясь и выпячиваясь наружу, потом вдруг лопнула с легким треском и исчезла, как мыльный пузырь. Ошеломленный, он вылетел из ящика, ухватился за стол, чтоб удержаться на ногах, столкнув при этом на

пол один из стаканов, который зазвенел, но не разбился, и опустился в кресло.

Когда он немного опомнился, он взял бутылку, наполнил оставшийся на столе стакан и выпил. Это была бесцветная жидкость, но не вода; она имела очень приятный вкус и запах и обладала свойством быстро восстанавливать силы. Он поставил стакан и стал осматриваться кругом.

Огромный зал ничуть не потерял своего великолепия после того, как исчезла зеленоватая оболочка, сквозь которую он смотрел перед этим. По ту сторону находившейся перед ним высокой арки начиналась лестница, которая вела вниз, в широкую галерею. Вдоль этой галереи, по обе стороны, тянулись колонны из какого-то блестящего камня цвета ультрамарина с белыми прожилками. Оттуда доносился гул человеческих голосов и какое-то ровное и непрерывное гудение.

Теперь Грехэм совершенно очнулся. Он сидел, выпрямившись, и прислушивался с таким напряженным вниманием, что даже забыл о еде. Вдруг ему стало неловко: он вспомнил, что он раздет. Обыскивая глазами, чем бы прикрыться, он увидел на стуле возле себя длинный черный плащ. Он завернулся в этот плащ и снова опустился в кресло, весь дрожа.

Он был совершенно ошеломен и терялся в догадках. Одно было ему ясно: он спал очень долго, и его куда-то перенесли во время сна. Но куда? И кто эти люди там, за голубыми колоннами, эта толпа, кричащая вдали? Не может быть, чтобы все это было в Боскасле. Он налил из бутылки еще стакан бесцветной жидкости и выпил.

Что это за здание? Где находится этот великолепный зал? И почему ему кажется, что эти стены все время дрожат, точно живые. Он обвел взглядом изящный, простой, без всяких архитектурных украшений зал и увидел в потолке большое круглое отверстие, сквозь которое сверху лился яркий свет. Вдруг он заметил, что на этот светлый круг набежала какая-то тень и скрылась, потом еще и еще. «Тррр, тррр...» — у этой мелькающей тени был свой самостоятельный звук, отчетливо слышный сквозь глухой ропот толпы, наполнявший воздух.

Он хотел крикнуть, позвать, но голос изменил ему. Он встал и неверными шагами, как пьяный, направился к арке. Спотыкаясь, он кое-как спустился с

лестницы, наступил на край бывшего на нем плаща и еле удержался на ногах, ухватившись за колонну.

Он очутился в галерее; перед ним открылась широкая перспектива с преобладанием голубого и пурпурного тонов. Галерея заканчивалась перед ним открытым выступом, обнесенным решеткой, чем-то вроде балкона. Балкон был ярко освещен и висел на большой высоте, но, по-видимому, все вместе представляло внутренность какого-то гигантского здания, потому что за балконом, как сквозь дымку, виднелись вдали величественные очертания причудливых архитектурных форм. Теперь голоса доносились до него громко и явственно. На балконе спиной к нему стояли, сильно жестикулируя и оживленно о чем-то разговаривая, три человека в роскошных костюмах широкого, свободного покроя и ярких цветов. Через балкон долетали крики огромной толпы. Раз ему показалось, что мимо промелькнула верхушка знамени или флага; потом в воздухе пронеслось что-то бледно-голубое, может быть подброшенная вверх шляпа, и, описав дугу, упало. Кричали как будто по-английски; очень часто повторялось слово «проснись». Потом он услышал чей-то пронзительный крик, и вдруг три человека на балконе стали громко смеяться.

— Ха-ха-ха! — покатывался один из них, рыжеволосый, в яркокрасном плаще.— Когда проснется Спящий! Ха-ха-ха!

Еще со смехом он оглянулся назад, в сторону галереи,— и замер. Лицо его сразу изменилось. У него вырвался возглас испуга. Двое других быстро обернулись в ту же сторону и тоже окаменели. На их лицах выразилась растерянность, почти ужас.

У Грехэма вдруг подогнулись колени. Его рука, державшаяся за колонну, соскользнула. Он покачнулся и упал ничком.

Глава IV

ОТГОЛОСКИ ВОЛНЕНИЙ

Последним впечатлением Грехэма, прежде чем он лишился чувств, был оглушительный звон колоколов. Впоследствии ему рассказали, что час он был без со-

знания, между жизнью и смертью. Когда он, наконец, пришел в себя, он снова лежал на своем прозрачном гуттаперчевом ложе. Во всем теле и в сердце он ощущал живительную теплоту. Он заметил, что рука его по-прежнему забинтована, но странный резиновый прибор был снят. Его окружала все та же белая рама, но заполнявшее ее зеленоватое стекловидное вещество исчезло. Над ним стоял человек в темнолиловом плаще — один из тех троих, которых он застал на балконе, — и внимательно всматривался в его лицо.

Откуда-то издалека слабо, но назойливо доносился трезвон и смешанный многоголосый гул. В его воображении встала картина огромной кричащей толпы. Потом сквозь этот шум до него долетел короткий резкий стук, как будто где-то вдали захлопнулась тяжелая дверь.

Он повернул голову.

— Что все это значит? Где я? — с усилием выговорил он.

Тут он увидел рыжего человека — того самого, который первым заметил его. Чей-то голос, ему показалось, спросил: «Что он говорит?» — и другой ответил шепотом: «Молчите».

Потом заговорил человек в лиловом. Он говорил по-английски, с легким иностранным акцентом.

— Не бойтесь, вы в безопасности, — сказал он пониженным голосом, как говорят с больными. — Из того места, где вы заснули, вас перенесли сюда. Вы пролежали здесь довольно долго. Все это время вы спали. У вас была спячка, транс.

Он сказал еще что-то, чего Грехэм не расслышал, потом взял поданный ему кем-то флакон. Грехэм ощутил на лбу прохладную струю какой-то ароматической жидкости, которая удивительно освежила его. Ощущение было такое приятное, что у него от удовольствия сами собою закрылись глаза. Когда он их снова открыл, человек в лиловом спросил его:

— Что, теперь лучше? — Это был еще молодой человек, лет тридцати, с остроконечной белокурой бородкой и с приятным лицом. Его лиловый плащ был застегнут у горла золотой пряжкой. — Лучше вам теперь?

— Да, — ответил Грехэм.

— Вы проспали... некоторое время. Это был каталепсический сон. Вы слышите? Каталепсия!.. У вас,

должно быть, теперь очень странное ощущение. Но вы не волнуйтесь: все будет хорошо.

Грехэм молчал, но эти слова возымели свое действие: он успокоился. Взгляд его с выражением вопроса перебегал поочередно на каждого из троих окружающих его людей. Они тоже смотрели на него как-то особенно. Он знал, что он должен быть где-то в Корнуэлсе, но представление о Корнуэлсе совершенно не вязалось с этими новыми впечатлениями. Вдруг он припомнил то, о чем думал в Боскасле в последние дни перед своим каталептическим сном. Тогда это было у него почти принятым решением, но почему-то он все не мог собраться привести его в исполнение. Он откашлялся и спросил:

— Телеграфировали ли моему двоюродному брату Уормингу? Улица Чэнсери-Лэн, двадцать семь?

Они внимательно слушали, стараясь понять. Но ему пришлось повторить свой вопрос.

— Как странно он произносит слова,— шепнул рыжий молодому человеку с белокурой бородой.

— Он имеет в виду электрический телеграф,— пояснил третий, юноша лет девятнадцати-двадцати с очень милым лицом.

— Ах, я дурак! И не догадался! — вскрикнул блондин.— Не беспокойтесь, будет сделано все возможное,— прибавил он, обращаясь к Грехэму.— Только, боюсь, трудновато будет... телеграфировать вашему кузену. Его нет в Лондоне... Но, главное, вы не волнуйтесь и не утомляйте себя этими мелочами. Вы проспали очень долго, и вам необходимо окрепнуть — это прежде всего.

— А-а,— протянул Грехэм неопределенно и замолчал.

Все это было очень загадочно, но, очевидно, эти люди в необыкновенных костюмах знали лучше, что нужно делать. А все-таки странные люди, и комната странная... Должно быть, он попал в какое-нибудь только что основанное учреждение... Тут его осенила новая мысль... подозрение. Может быть, это помещение какой-нибудь публичной выставки? И он пролежал здесь все это время? Как мог Уорминг допустить это?.. Ну, хорошо же: если так, он ему покажет, он с ним поговорит!.. Но нет, не может быть. На выставку не похоже. Да и где же видано, чтобы выставляли на показ голого человека?

И вдруг неожиданно для себя он понял, что с ним случилось. В один миг, без всякого заметного перехода от подозрения к уверенности, он понял, что спячка его длилась бесконечно долго. Теперь он знал так твердо, словно разгадал каким-то таинственным путем чтения мыслей, что означал этот почтительный, почти благоговейный страх, написанный на лицах окружающих его людей. Он смотрел пронзительным взглядом. И в этом взгляде они, казалось, тоже прочли его мысль. Губы его зашевелились: он хотел заговорить и не мог. И почти в тоже мгновение у него явилось необъяснимое побуждение утаить свое открытие от этих людей, желание говорить совершенно прошло. Он молча смотрел на свои голые ноги, весь дрожа.

Ему дали выпить какой-то розовой жидкости с зеленоватой флуоресценцией и с привкусом мяса, и силы его быстро поднялись.

— Это... помогает... Мне лучше теперь,— выговорил он с трудом.

Кругом послышался почтительный шепот одобрения.

Так и есть: он спал страшно долго. Может быть, год или больше. Теперь он знает наверное. Он снова сделал попытку заговорить, но снова ничего не вышло. Он поднес руку к горлу, откашлялся и с новым отчаянным усилием попробовал в третий раз.

— Долго ли...— начал он, стараясь говорить ровным голосом,— долго ли я спал?

— Да, довольно долго,— ответил белокурый молодой человек, быстро переглянувшись с остальными.

— Сколько времени?

— Очень долго.

Грехэм вдруг рассердился.

— Ну да, я понимаю,— сказал он с нетерпением.— Понимаю, что долго. Но я хочу... хочу знать, как долго. Год? Или, может быть, больше? Несколько лет, может быть? Я хотел еще что-то... Забыл что... У меня путаются мысли. Но вы...— он вдруг зарыдал,— зачем вы от меня скрываете? Скажите, сколько времени...

Больше он не мог говорить. Тяжело дыша и утирая слезы, он молча сидел, ожидая ответа.

Они вполголоса о чем-то советовались между собой.

— Ну что же? Сколько лет? — спросил он слабым голосом.— Пять? Шесть?.. Неужели больше?

— Гораздо больше.

— Больше?!

— Да.

Он смотрел на них вопрошающим взглядом. От волнения у него дергалось все лицо.

— Вы проспали много лет,— сказал рыжий.

Грехэм выпрямился. Он смахнул набежавшие слезы своей прозрачной рукой и повторил: «Много лет...» Потом закрыл глаза, опять открыл и в недоумении озирался вокруг, останавливая взгляд то на одном, то на другом, то на третьем чужом, незнакомом лице.

— Сколько же? — спросил он наконец.

— Вы должны приготовиться... Вы очень удивитесь.

— Ну?

— Более г р о с с а лет.

Это незнакомое слово вывело его из себя.

— Больше чего? Как вы сказали?

Двое старших стали шептаться. До него долетели слова «десятичная система», но к чему они относились, он не разобрал.

— Сколько, вы сказали? — повторил он с гневом свой вопрос.— Говорите же! Не смотрите на меня так. Говорите!

Они продолжали шептаться. На этот раз он уловил конец фразы: «Больше двух столетий».

— Что? — вскрикнул он, быстро поворачиваясь к самому молодому, который, как ему показалось, произнес эти слова.— Кто это сказал? Что такое? Два столетия?

— Да,— ответил рыжий,— двести лет.

Грехэм машинально повторил: «Двести лет». Он приготовился услышать большую, очень большую цифру, но это конкретное «двести лет» ошеломило его.

— Двести лет! — повторил он еще раз, напрасно силясь охватить воображением необъятную бездну, разверзшуюся перед ним. Ах, нет, не может быть!

Они молчали.

— Как вы сказали? Повторите еще.

— Двести лет. Ровно два столетия,— повторил рыжий.

Наступила пауза. Грехэм со слабой надеждой смотрел то на одного, то на другого... Но нет, они не

смеялись: лица их были серьезны. Он понял, что ему сказали правду.

— Не может быть,— повторил он упрямо, уже и сам не веря себе.— Должно быть, я еще сплю и вижу сон... Вы говорите: спячка. Но спячка никогда не длится так долго. Какое право вы имеете так издеваться надо мной? Скажите правду: ведь это было недавно, несколько дней тому назад, что я шел пешком вдоль берега в Корнуэллс? Потом я был в Боскасле...

Тут голос изменил ему.

Белокурый молодой человек вопросительно взглянул на друга и нерешительно проговорил:

— Я не силен в истории...

— Боскасль?.. Совершенно верно,— подхватил самый младший из троих.— На юго-западе старого герцогства Корнуэллс было такое местечко. Там еще уцелел один дом — я видел его.

Грехом повернулся к говорившему.

— В мое время это был целый поселок. Маленькая деревушка... я заснул где-то там... не припомню в точности где...— Он сдвинул брови и прошептал: — Двести с лишком лет...— Ледяной холод сжимал ему сердце.

Вдруг он заговорил быстро-быстро:

— Но ведь если с тех пор прошло двести лет, то, стало быть, не осталось в живых ни души... ни одного человеческого существа, которое я бы знал? Все, все, кого я когда-нибудь видел, с кем я говорил,— все до единого умерли?

Ответа не было.

— Все умерли — богатые и бедные, простые и знатные,— все до одного? Ни нашей королевы нет, ни королевского семейства, ни министров — моих современников,— ни одного из государственных деятелей, которые были при мне?.. Может быть, и Англии нет?.. Англия, вы говорите, существует? Ну, слава богу, хоть одно утешение!.. А Лондон?.. Это Лондон, да? Мы в Лондоне теперь?.. А вы кто же?.. Постойте, я знаю, вы мои сторожа.— Он смотрел на них почти безумным взглядом.— Но отчего же я здесь?.. Молчите! Не говорите! Дайте мне...

Он умолк и закрыл лицо руками. Когда он снова поднял голову, перед ним держали наготове второй стаканчик подкрепляющей розовой жидкости. Он выпил все. Лекарство почти мгновенно оказало свое

действие. Из глаз его полились обильные слезы и облегчили его.

Наплакавшись вволю, он поднял глаза на своих караульщиков и неожиданно, совсем по-детски засмеялся сквозь слезы.

— Две-сти лет! — выговорил он.

Губы его передернулись гримасой, и он опять истерически зарыдал и закрыл руками лицо.

Через несколько минут он успокоился. Он сидел, свесив руки с колен, — в той самой позе, в какой его застал Избистер у скалы в Пентарджене два века тому назад. Вдруг он услышал приближающиеся шаги, и чей-то громкий, повелительный голос сказал:

— Что же это вы делаете? Отчего мне не дали знать? Это была ваша обязанность. Вы за это ответите! Никого не пускайте к нему. Заперты двери? Все?.. Его не надо беспокоить: не надо ему говорить. Ему ничего не сказали?

Белокурый что-то ответил вполголоса. Грехэм повернул голову и увидел подходившего к нему человека маленького роста, толстого, коренастого, с короткой шеей, гладко выбритым лицом, двойным подбородком и орлиным носом. Густые, черные, почти сходящиеся на переносице и слегка нависшие брови, из-под которых смотрели пронзительные серые глаза, придавали его лицу что-то внушительное, почти наводящее страх. Он бросил беглый взгляд на Грехэма и повернулся к белокурому.

— Зачем тут эти двое? — резко спросил он. — Они здесь лишние.

— Прикажете уйти? — спросил рыжий.

— Конечно, уходите пока. Да не забудьте запереть за собой двери.

Двое людей, к которым относилось это приказание, мельком взглянув на Грехэма, послушно повернулись и пошли, но не к арке, как он ожидал, а в противоположную сторону, где была глухая стена. Тут случилась престранная вещь: средняя часть стены с легким треском отделилась в виде широкой вертикальной полосы и начала подниматься, свертываясь валиком, как штора. Пропустив уходивших, она опять упала и слилась со стеной. В комнате теперь осталось только трое: Грехэм, белокурый молодой человек и вновь прибывший.

В первые минуты этот человек не обращал ника-

кого внимания на Грехэма: он продолжал допрашивать белокурого, очевидно своего подчиненного, на счет подробностей важного события — «пробуждения Спящего». Он говорил громко, произносил отчетливо каждое слово, но Грехэму были понятны далеко не все слова. Пробуждение его не столько поразило этого человека, но, судя по тому, как он был взволнован, доставило ему много неприятных хлопот.

— Я вас покорно прошу ничего ему не рассказывать. Не надо его волновать, — твердил он без конца.

Получив ответы на свои вопросы, он быстро повернулся к Грехэму и остановил на нем испытующий взгляд.

— Очень странно вы себя чувствуете?

— Да.

— Вас поражает то, что вы видите? Жизнь очень изменилась, а?

— Что делать, придется привыкать.

— Да, я полагаю.

— Прежде всего... я хотел бы одеться.

— Да, да, вы сейчас получите платье.

Толстяк сделал знак белокурому, и тот вышел.

— Скажите, это правда, что я проспал два столетия? — спросил Грехэм.

— А, вам уже успели сообщить... Да, двести три года, уж если вы хотите знать.

Итак, это был неоспоримый факт. Приходилось примириться с ним. Грехэм ничего не сказал, только брови его сдвинулись и опустились углы рта. Помолчав, он спросил:

— Что это так трещит за стеной? Мельница, верно, работает поблизости или динамомашина? — И, не дожидаясь ответа, прибавил: — Впрочем, может быть, теперь уже нет ни мельниц, ни динамомашин? Условия жизни, я думаю, страшно изменились... Что значат эти крики? — задал он новый вопрос, видя, что толстяк молчит.

— Ничего особенного, — ответил тот нетерпеливо. — На улице кричат. Вы все равно не поймете... Потом, может быть, когда узнаете... Вы сами сказали: многое изменилось. — Он говорил отрывисто, хмурил брови и беспрестанно оглядывался, как человек, который попал в трудное положение и старается найти выход. — Подождите немного: скоро вам дадут одежду, а пока побудьте здесь: сюда никто не войдет. Вам еще побриться надо.

Грехэм машинально потрогал свою давно не бритую бороду.

В это время вернулся белокурый молодой человек. Он подошел к ним, но вдруг остановился, прислушиваясь, потом взглянул вопросительно на своего начальника и выбежал через арку на балкон. Долетавшие оттуда крики становились все громче. Толстяк повернул голову и тоже прислушался. Вдруг он пробормотал какое-то проклятие и бросил на Грехэма неприязненный взгляд. Между тем рев толпы все разрастался, то поднимаясь, то падая, как морской прибой. Гневные возгласы, визг, хохот — все сливалось в этом тысячеголосом вое. Один раз слышались короткие, отрывистые звуки, как будто звуки ударов и резкий крик отдаленных голосов, потом что-то щелкало и трещало, точно ломали сухие прутья или хлопали бичом. Грехэм тщетно напрягал слух, стараясь что-нибудь понять в этом гаме.

Но вот он уловил целую фразу, повторенную много раз. Что это? Не может быть! Он не верил ушам...

Но нет, он не ошибся. Там кричали: «Покажите нам Спящего! Покажите нам Спящего!»

Толстяк бросился к арке.

— Безумцы! — закричал он. — Как они узнали? Кто им сказал?.. Да знают ли они, или только догадываются?

Должно быть, ему что-то ответили, потому что он продолжал:

— Я не могу выйти. Мне за ним надо смотреть. Крикните им с балкона.

Опять последовал какой-то ответ.

— Скажите им, что он и не думал просыпаться. Скажите что-нибудь, что хотите! — Он поспешно вернулся к Грехэму. — Вам надо поскорее одеться. Вам здесь нельзя оставаться. Невозможно будет..

И он выбежал вон, не отвечая на вопросы, которыми Грехэм его осыпал. Через минуту он опять вернулся.

— Не спрашивайте. Я ничего не могу вам сказать. Объяснять слишком сложно. Узнаете потом. Сейчас вы получите платье, сию минуту. А потом вы пойдете со мной... Здесь вам быть нельзя. У нас свои неприятности... Вы скоро поймете, в чем дело... слишком скоро, может быть.

— Но что это за голоса? Они кричат...

— О Спящем? Это вы. Они забрали себе в голову... Впрочем, я и сам хорошенько не знаю. Я ничего не знаю. Я...

В комнате раздался резкий звонок, покрывший своим треском долетавший снаружи смешанный шум. Толстяк сломя голову бросился к батарее каких-то приборов, стоявших в углу. С минуту он внимательно слушал, уставившись глазами на какой-то хрустальный шарик, потом кивнул головой, пробормотал невнятно несколько слов и подошел к стене, через которую ушли те двое. От стены опять отделилась средняя полоса и закатилась вверх, как штора. Толстяк стоял, чего-то ожидая.

Грехэм поднял руку и с удивлением почувствовал, как много у него прибавилось сил. Очевидно, это было действие укрепляющих лекарств. Он спустил с постели одну ногу, потом другую. Голова больше не кружилась. Так приятно было чувствовать себя здоровым и бодрым. Он с наслаждением ощупывал свое тело: ему просто не верилось, что это он.

Из-под арки снова появился белокурый молодой человек, и почти в ту же минуту в отверстии раскрытой стены показалась клетка спускавшегося откуда-то лифта. Когда она остановилась, из нее вышел сухопарый, седобородый человек, в темнозеленом в обтяжку костюме с длинным свертком в руках.

— Вот ваш портной,— сказал толстяк Грехэму.— Вам нельзя носить черное. Не понимаю, как попал сюда этот плащ. Такой беспорядок!.. Ну, да мы это разберем... Надеюсь, вы не замешкаетесь? — прибавил он, обращаясь к портному.

Темнозеленый поклонился, подошел к Грехэму и присел возле него на постель. Держался он очень спокойно, и только сверкавшие любопытством глаза выдавали его.

— Вы найдете моды сильно изменившимися, сэр,— вежливо сказал он Грехэму и бросил беглый взгляд исподлобья на толстяка.

Быстрым привычным движением он развернул свой сверток и разложил у себя на коленях образцы каких-то блестящих материй.

— Вы жили, сэр, в эпоху по преимуществу цилиндрическую — в эпоху викторианизма. Тогда вообще имели слабость к закруглениям: полушарие преобладало даже в головных уборах. А теперь...

Он достал какой-то приборчик, размерами и формой напомилавший карманные часы, нажал в нем какую-то кнопку, и на циферблате прибора, как на экране кинематографа, задвигалась человеческая фигурка в белом. Портной выбрал образчик голубоватой шелковой материи.

— Вот, мне кажется, именно то, что вам требуется, — сказал он.

К ним подошел толстяк и заглянул через плечо Грехэма.

— Пожалуйста, поскорее: время дорого, — сказал он.

— Положитесь на меня, — ответил портной. — Мою машину сейчас привезут... Ну-с, что же вы об этом думаете, сэр? — обратился он к Грехэму.

— Что это у вас за прибор? — спросил, в свою очередь, человек девятнадцатого века.

— Вот, видите ли, в ваши времена были модные журналы. Теперь их вытеснила вот эта самая штука. Преостроумное изобретение. Смотрите.

Он снова нажал кнопку, и на циферблате прибора выскочила та же фигурка, но уже в новом наряде более широкого покроя. Щелк, щелк — и опять человечек переменял костюм. Все это портной проделал очень быстро, поглядывая в то же время на отверстие в стене, где опускался лифт.

Вот, наконец, там что-то загрохотало, и снова показалась клетка лифта. На этот раз из нее вышел анемичный, коротко остриженный парень монгольского типа в светлоголубом балахоне из грубого холста. Вместе с ним приехала какая-то сложная машина на колесах, которую он бесшумно вкатил в зал. Портной убрал свой приборчик, попросил Грехэма стать против машины и начал давать инструкции своему анемичному подмастерью, который отвечал на каком-то гортанном наречии, совершенно незнакомом Грехэму. После этого парень отправился в угол, где стояла батарея. Портной между тем вытягивал из машины какие-то рычажки, их которых каждый заканчивался маленьким диском. Потом одним ловким поворотом он направил все эти рычажки таким образом, что каждый диск прилег вплотную к телу Грехэма: два пришлись на плечах, два на локтях, одни на шее и так далее — на всех сгибах. В это время лифт привез еще одного пассажира. Грехэм не мог его видеть, так как стоял спиной к стене. Приладив свои рычажки,

портной повернул рукоятку машины, и она заработала с легким ритмическим стуком. Еще минута — и он снял рычажки, остановив машину. Грехэм был свободен. На него опять накинули плащ, и белокурый молодой человек поднес ему стаканчик с розовым питьем. Тут только он увидел новоприбывшего — юношу с очень бледным лицом, который разглядывал его с нескрываемым любопытством.

Все это время толстяк нервно шагал из угла в угол, косясь на Грехэма. Теперь он вдруг повернулся и вышел через арку на балкон, откуда по-прежнему доносился, то разрастаясь, то замирая, смешанный шум волнующейся толпы.

Между тем подмастерье подал своему хозяину кусок шелковой голубой материи, и они принялись вдвоем всовывать его в машину примерно так, как в девятнадцатом столетии вкладывали бумагу в печатные станки. Затем они откатили машину в противоположный угол зала, где со стены свободной петлей свешивался тонкий кабель. Конец этого кабеля они соединили с машиной, и она сейчас же очень энергично заработала.

— Скажите, какую силой приводятся в действие ваши машины? — спросил Грехэм у белокурого, указывая рукой на суетившихся у кабеля людей и стараясь не замечать преследовавшего его неотступного взгляда бледного юноши. — А этот кабель, верно, проводник энергии? Да?

— Да, — отвечал белокурый.

— А кто такой этот человек?

Он указал в сторону арки, куда скрылся толстяк.

Белокурый замялся, нерешительно погладил свою бородку и ответил, понижая голос:

— Это Говард, ваш главный хранитель. Вот видите ли, сэр... Довольно трудно это объяснить... Совет назначил вам трех хранителей — главного и двух помощников. В этот зал допускалась публика — с некоторыми ограничениями, конечно. Каждому, естественно, хотелось удовлетворить свое любопытство, и нам пришлось уступить желанию народа... Но вы меня извините, я не могу... Пусть он сам вам объяснит.

— Странно! — пробормотал Грехэм. — Хранители... Совет... Ничего не пойму! — Потом, повернувшись спиной к новоприбывшему, он спросил вполголо-

са: — Отчего этот человек так пялит на меня глаза? Он, верно, магнетизер?

— Магнетизер?! О нет. Он капиллотомист и притом это в своем роде художник — артист своего дела. Он получает в год до шести дюжин львов.

Это звучало уже совсем дико. Грехэм подумал, уж не сходит ли он с ума.

— Шесть дюжин львов? — переспросил он растерянно.

— Ах, да, я и забыл, что в ваше время не было львов. Вы считали по-старинному, на фунты стерлингов... Лев — это наша монетная единица... Да, правда, все изменилось, даже в мелочах. Вы жили в эпоху десятичной системы, арабской. Десятки, сотни, тысячи — такой был у вас счет. У нас же теперь одиннадцать арифметических знаков. Десять и одиннадцать изображаются одним знаком, и только двенадцать — двумя. Двенадцать дюжин составляют гросс, двенадцать гроссов — дозанду, а двенадцать дозанд — мириаду. Совсем просто... А вот и ваше платье готово, — прибавил белокурый, взглянув через плечо Грехэма.

Грехэм быстро оглянулся: за ним стоял, улыбаясь, портной и держал новое платье, бережно перекинув его через руку, а его подмастерье уже откатывал свою странную машину к клетке лифта, подталкивая ее одним пальцем. Грехэм вытаращил глаза.

— Да неужто вы уже успели... — начал было он.

— Только что кончил, — ответил портной.

Он положил платье возле Грехэма, отошел к постели, на которой тот недавно лежал, откинул прозрачный матрац и приподнял бывшее под ним зеркало таким образом, чтобы можно было смотреться в него.

В это время в углу раздался неистовый трезвон. Толстяк бросился туда со всех ног. Белокурый побежал за ним, спросил его о чем-то и выбежал в галерею.

Покуда портной помогал Грехэму натянуть нижний костюм — темнокрасное трико, заменявшее чулки, панталоны и сорочку, белокурый вернулся с балкона, и толстяк, увидев его, быстро пошел ему навстречу. Они стали торопливо шептаться. В манере обоих, в каждом их движении чувствовались тревога и страх.

Когда на Грехэма поверх трико накинули какое-то

сложное, но красивого покроя одеяние из голубоватой ткани, он представлял из себя довольно странную фигуру: небритый, с желтым лицом, еще дрожащий от слабости. Но теперь он был, по крайней мере, одет, и даже по последней моде. Он погляделся в зеркало и остался доволен собой.

— Мне надо еще побриться, — сказал он.

— Сию минуту, — отозвался Говард.

При этих словах бледный юноша, преследовавший Грехэма неотступными взглядами, выступил вперед. Он на секунду зажмурился, снова широко раскрыл глаза и подошел к нему вплотную. Потом остановился, оглянулся назад и сделал плавный жест рукой.

— Подайте стул, — нетерпеливо приказал Говард.

— Белокурый засуетился, и в одни миг за спиной у Грехэма очутился стул.

— Садитесь, — сказал ему Говард.

Грехэм заметил, что в правой руке у пучеглазого сверкнула сталь. Он не решался сесть, опасливо поглядывая на него.

— Что же вы, сэр? Или вы не поняли? — напомнил ему белокурый учтиво, но с ноткой нетерпения в голосе. — Садитесь. Он вас побреет и острижет.

— Ах, вот что? — пробормотал Грехэм с облегчением.

— Но вы сказали, кажется, что он...

— Капиллогомист? Ну да. Он лучший художник в мире в этой области.

Грехэм сел. Белокурый куда-то исчез. Пучеглазый, грациозно изгибаясь, ощутил Грехэму затылок, темя, уши и, вероятно, еще долго производил бы свое исследование, если бы Говард не торопил его. Видя, что приходится поторопиться, он приступил к делу. Ловко и быстро пуская в ход один за другим какие-то невиданные инструменты, он выбрил Грехэму подбородок, подправил усы, постриг и причесал волосы. Всю эту операцию он проделал, не проронив ни звука, с вдохновенным видом поэта. Как только он кончил, Грехэму подали башмаки.

Вдруг из угла, где стояли таинственные приборы, раздался громкий голос: «Скорее! Скорее! Народ узнал. Весь город в волнении. Прекращают работу. Не мешкайте ни минуты. Идите!»

Это воззвание страшно взволновало Говарда. Он заметался от арки к лифту и от лифта к углу, не зная,

куда ему кинуться прежде. Потом, очевидно решившись, направился в угол и погрузился в созерцание хрустального шарика. Между тем глухой гул голосов, непрерывно долетавший со стороны арки, все усиливался. На один миг он превратился в дикий рев и снова стал замирать, точно раскат удаляющегося грома. Грехэма неудержимо потянуло туда, в галерею. Он бросил исподтишка быстрый взгляд на Говарда и, отдаваясь своему порыву, юркнул под арку. В два прыжка он очутился внизу и в следующий момент уже стоял на том самом балконе, где после пробуждения он застал трех человек.

Глава V

ДВИЖУЩИЕСЯ УЛИЦЫ

Он подбежал к решетке балкона. Откуда-то снизу до него донеслись громкие крики кишевшей на огромном пространстве волнующейся толпы. При его появлении в этих криках послышалось изумление.

Подавляющая грандиозность того, что он увидел,— вот первое, что поразило его. Под ним была площадь необычайных размеров, окруженная гигантскими зданиями. Вокруг всего широкого пространства площади стояли колоссальные кариатиды, поддерживая узорчатую, необыкновенно тонкой работы крышу из какого-то прозрачного вещества. Подвешенные наверху громадные шарообразные фонари разливали кругом такой ослепительно яркий свет, что перед ним меркли солнечные лучи, проникающие сквозь переплет крыши. Там и сям над этой глубиной висели легкие, как паутина, мостики, усеянные прохожими. В воздухе по всем направлениям были протянуты тонкие кабели.

Он видел над собой массивный фронтон ближайшего здания, противоположный же фасад был так далеко, что представлялся ему как в тумане: весь он был прорезан какими-то арками, большими круглыми отверстиями вроде бойниц, усеян балконами, башенками, широкими окнами и какими-то мудреными барельефами и испещрен по всем направлениям надписями, составленными из непонятных букв. В круглые

отверстия, проделанные в стене это здания, были проведены особенно толстые кабели, прикрепленные под крышей площади в разных местах. Едва успел Грехэм заметить эти кабели, как внимание его привлекла крошечная человеческая фигурка в светлоголубом. Человек лепился под самой крышей на каменном выступе у места прикрепления одного из кабелей. Свесившись вперед, он возился с какими-то проводами, соединенными с главным кабелем, почти невидным на таком расстоянии. Вдруг он так стремительно бросился вниз, что у Грехэма замерло сердце, и, скользя по кабелю с головокружительной быстротой, исчез в одном из круглых отверстий здания по ту сторону площади.

До сих пор Грехэм смотрел только вверх и прямо перед собой, и то, что он видел, до такой степени завладело его вниманием, что он долго не замечал ничего другого. Но каково же было его изумление, когда он взглянул, наконец, вниз! Под ним была улица, но совсем не такая, к каким он привык. В девятнадцатом столетии улицами назывались полосы твердого, неподвижного грунта, вдоль которых посередине ехали экипажи, а по бокам шли пешеходы. А эта улица была футов в триста шириною и... двигалась. Двигалась вся, за исключением середины, которая была ниже красв. В первый момент это ошеломило его, но потом он понял, в чем дело.

Под балконом, где он стоял, эта необыкновенная улица неслась слева направо, неслась непрерывным потоком со скоростью курьерского поезда девятнадцатого века. Это была бесконечная платформа, составленная из отдельных, сцепленных между собою площадок, что позволяло ей следовать по всем поворотам пути. По всей платформе были расставлены скамьи, местами виднелись киоски. Но все это мчалось с такой быстротой, что он не мог рассмотреть подробностей. Таких движущихся платформ было несколько, все они шли параллельно одна другой. Ближайшая к нему, наружная, платформа двигалась с наибольшей быстротою; смежная с ней, бывшая немного пониже, двигалась тише; следующая — еще тише и так далее. Разница в скорости движения была так мала, что позволяла легко переходить с одной платформы на другую и таким образом перебираться на середину улицы, которая была неподвижна. А за этой не-

подвижной средней полосой начинался новый ряд платформ, которые тоже двигались с постепенно увеличивающейся быстротой, но только в обратную сторону, справа налево. Все эти платформы кишели народом. Это была необыкновенно пестрая толпа. Одни на наружных платформах сидели группами, как в вагонах, другие переходили с платформы на платформу, направляясь к середине на неподвижной полосе.

— Вам нельзя здесь быть! — закричал Говард, неожиданно очутившийся возле него. — Сейчас же уходите!

Грехэм ничего не ответил. Он слышал слова, не вникая в них. Бегущие платформы грохотали, народ кричал. В этой проносившейся мимо толпе особенно выделялись молодые женщины, с распущенными волосами, в необыкновенно красивых и оригинальных нарядах, с какими-то перевязями на груди. Потом он заметил, что преобладающим цветом в этом калейдоскопе костюмов был светлоголубой. Он вспомнил, что такого цвета платье было и на подмастерье портного. До него донеслись крики: «Где Спящий? Что сделали со Спящим?» И вдруг вся ближайшая к нему платформа покрылась светлыми пятнами человеческих лиц. Поднимались руки, на него указывали пальцами. Он заметил, что на том месте неподвижной полосы улицы, которое приходилось против балкона, выросла густая толпа людей в голубом. Там завязалась какая-то борьба. Людей разгоняли в обе стороны, толкая на бегущие платформы, которые и увозили их против воли. Но, отъехав на приличное расстояние от места свалки, они сейчас же соскакивали опять на середину улицы и возвращались назад.

«Это Спящий, право, это Спящий!» — кричали одни. «Да нет, совсем не он!» — перебивали другие. Все больше и больше лиц обращалось вверх, к балкону.

Грехэм заметил, что по всей длине средней полосы улицы, на равных расстояниях один от другого, темнели открытые люки, служившие, по-видимому, началом лестниц, уходивших вниз, под землю. По всем этим лестницам вверх и вниз сновали люди. Один из ближайших к нему люков оказался центром разгоревшейся борьбы. Сюда сбегались голубые с движущихся платформ, ловко перепрыгивая с одной на другую. Внимание толпы на внешних платформах делилось

между этим люком и балконом. Десятка два дюжих молодцов в яркокрасной форме, действовавших очень методично и дружно, были, по-видимому, приставлены к люку, чтобы никого не пускать вниз. Толпа вокруг них быстро росла. Яркий цвет мундиров резко отличался от светлоголубых костюмов их противников, — да, противников, так как было ясно, что между красными и голубыми происходит борьба.

Грехэм с жадным любопытством смотрел на эту картину, не обращая внимания на Говарда, который что-то кричал ему в ухо и тряс его за плечо. Потом Говард вдруг куда-то исчез, и Грехэм остался один.

Толпа продолжала кричать: «Вон Спящий, смотрите!» — и все новые и новые голоса подхватывали этот крик. Сидевшие на наружной, ближайшей к Грехэму, платформе вставали, и он заметил, что люди покидали ее по мере удаления от балкона. То же происходило и по ту сторону улицы на наружной платформе, мчавшейся в противоположном направлении: к балкону она приближалась, переполненная народом, а удалялась пустая. Толпа в середине улицы росла с невероятной быстротой: это было какое-то живое, волнуемое море. Отдельные крики «Спящий! Спящий!» слились в один сплошной непрерывный ликующий рев. Махали платками, слышались крики: «Остановить улицы!» Выкрикивалось еще какое-то имя, совершенно неизвестное Грехэму: «Острог» или что-то в этом роде. Нижние платформы вскоре тоже переполнились народом, бежавшим навстречу их движению, чтобы не удаляться от балкона.

«Остановите, остановите улицы!» — раздавалось со всех сторон. Многие быстро перебежали с середины улицы на ближайшую платформу, проносились мимо, выкрикивая какие-то непонятные слова, потом соскакивали на смежные платформы и бегом возвращались назад с криком: «Да, да, это Спящий, это он!»

Сначала Грехэм стоял не шевелясь, но мало-помалу он понял, что эти крики относятся к нему. Эта неожиданная популярность очень польстила ему, и, желая как-нибудь выразить свою признательность, он поклонился и помахал рукой. Это вызвало такую бурю восторга, что он был поражен.

Свалка у люка приняла ожесточенный характер. Балконы переполнились людьми. Люди скользили по кабелям, проносились по воздуху через всю огромную

площадь, сидя на каких-то трапезиях. Он услышал за собой голоса: по лестнице, со стороны арки, бежало несколько человек. Он вдруг почувствовал, что его схватили за руку, и, обернувшись, увидел перед собой Говарда, кричавшего ему что-то, чего он за шумом не мог разобрать. Говард был бледен как полотно.

— Уйдите отсюда, — расслышал он наконец. — Они остановят улицы. Поднимется настоящий содом.

Грехэм увидел, что по галерее между колоннами бегут еще люди. Впереди была его стража — рыжий и белокурый — и еще какой-то высокий человек в красном мундире, а за ним бежала целая толпа других в такой же форме с жезлами в руках. У всех были встревоженные, перепуганные лица.

— Уведите его! — закричал Говард.

— Зачем? — спросил Грехэм. — Я не понимаю...

— Говорят вам — уходите! — сказал человек в красном решительным тоном. Не менее решительно было и выражение его глаз. Грехэм обвел взглядом окружающие его лица и тут в первый раз испытал самое неприятное ощущение из всех, какие бывает у человека — сознание своего бессилия против грубой силы. Кто-то схватил его за руку... Его потащили с балкона. Тогда шум, доносившийся с улицы, удвоился и изменил характер: казалось, половина кричавших там голосов перенеслась наверх, в галерею огромного здания, в котором был он. Ошеломленного, растерявшегося, тщетно пытающегося сопротивляться Грехэма протащили через всю галерею, и не успел он опомниться, как очутился один с Говардом в клетке лифта, быстро уносившего их вверх.

Глава VI

ЗАЛ АТЛАСА

С того момента, как ушел портной, и до того, когда Грехэм с Говардом очутились в лифте, прошло не более пяти минут.

Грехэма все еще окутывал туман его бесконечно долгой спячки: все еще непривычное для него сознание того, что он жив и живет в столь далекую от его прежней жизни эпоху, придавало в его глазах всему

окружающему отпечаток чудесного, сказочного. Все, что он видел, было для него сном наяву. Он все еще был недоумевающим зрителем, оторванным от жизни, участвовавшим в ней лишь наполовину. Все его новые впечатления, особенно эта бушующая, ревушая толпа, которую он видел в рамке балкона, имела для него характер театрального представления, как будто он смотрел из ложи на сцену.

— Я не понимаю, — сказал он. — Из-за чего вся эта кутерьма? У меня мутится ум. Чего они требуют? Кому грозит опасность?

— Мы переживаем смутное время, — ответил Говард, избегая пытливого взгляда Грехэма. — Дело в том, что ваше появление, ваше пробуждение именно в данный момент как раз совпало с...

Он круто оборвал речь. Он говорил вообще с трудом, точно у него перехватило дыхание.

— Я не понимаю, — сказал Грехэм.

— Поймсте позже, — отвечал Говард.

Он с беспокойством поглядел вверх, как будто ему казалось, что лифт подымается слишком тихо.

— Надеюсь, что пойму, когда немного осмотрюсь, — проговорил Грехэм неуверенно. — А пока все это ошеломляет меня. Все кажется возможным, всему можно поверить, всему... У вас и счет, как я слышал, другой.

Лифт остановился. Они вышли и очутились между высокими стенами длинного узкого коридора, вдоль которого тянулись сотни толстых кабелей и труб.

— Неужели мы все в одном и том же здании? — спросил Грехэм. — Где мы?

— Это центральная сеть проводов, служащих для разных общественных надобностей, — освещения и так далее.

— А что это было на улице, под балконом? Бунт? Какое у вас управление? Полиция у вас еще есть?

— И даже не одна, — ответил Говард.

— Не одна?

— Да, целых четырнадцать видов.

— Ничего не понимаю.

— Ничего нет удивительного. Наш общественный строй, наверное, покажется вам очень сложным. А по правде сказать, я и сам плохо в нем разбираюсь. Да и не я один... Вы, может быть, поймете со временем... Ну, идемте в Совет.

Внимание Грехэма все время раздваивалось. Ему хотелось успеть побольше расспросить Говарда обо всем, но его беспрестанно отвлекали новые впечатления, новые встречи в коридорах и залах, по которым они проходили. Мысли его то сосредоточивались на Говарде и его уклончивых ответах, то обрывались под ярким впечатлением чего-нибудь нового, неожиданного. Половина людей, попадавшихся им в коридорах и залах, была в красных мундирах. Светло-голубых холщовых костюмов, которые преобладали на движущихся улицах, здесь не было и следа. Все эти люди с любопытством смотрели на него и кланялись ему и Говарду.

Помнилось ему также, что они проходили каким-то длинным коридором, где было много маленьких девочек. Все они сидели рядами на низких скамейках, точно в классе. Учителя не было, а вместо него стоял какой-то невиданный аппарат, из которого, как ему показалось, исходил человеческий голос. Девочки с удивлением и любопытством разглядывали его и провожатого. Но его увлекли дальше, прежде чем он успел отдать себе отчет, что это было за сборище детей. Он решил про себя, что внимание попадавшихся им навстречу людей относилось не к нему, а к Говарду. Говард был, по-видимому, важной персоной, его же, Грехэма, ведь никто ни знал. А между тем тот же Говард был приставлен к нему сторожем. Странно!..

Потом ему, как во сне, представлялся другой проход, над которым висел пешеходный мостик на такой высоте, что видно было только ноги проходивших по нему. У него осталось смутное впечатление еще каких-то переходов и встречных прохожих, которые оборачивались и с изумлением глядели вслед им обоим и сопровождавшему их конвойному в красном мундире!

Действие подкрепляющего питья, которое ему давали раньше, начинало проходить. Он скоро устал от быстрой ходьбы и попросил Говарда идти потише. Вскоре они опять сидели в клетке лифта. В ней было окно, выходящее на ту самую площадь, на которую он смотрел с балкона. Но окно было из не вполне прозрачного стекла и закрыто, и, кроме того, они были на большой высоте, откуда нельзя было различать движущихся улиц. Но зато он видел, как люди пронеслись в воздухе, скользя по кабелям, и сновали по хрупким, легким, как кружева, мостикам.

Потом они вышли из лифта и перешли улицу по узкому стеклянному крытому мосту, висевшему над ней на огромной высоте. Пол моста был тоже стеклянный, так что у него голова закружилась, когда он нечаянно посмотрел вниз. Ему вспомнились скалы между Нью-Кеем и Боскаслем, которые он представил себе так живо, как будто видел их вчера, и он решил, что этот мост должен находиться на высоте футов четырехсот над движущимися улицами. Он остановился и посмотрел себе под ноги, вниз, на копошившуюся там красноглубую толпу людей, казавшихся крошечными на таком расстоянии, по-прежнему махавших руками и продиравшихся к балкону — к игрушечному балкончику, каким он ему представлялся теперь и на котором он недавно стоял. На этой высоте свет огромных осветительных шаров был так ярок, что по контрасту с ним все, что было внизу, казалось подернутым мглой.

Вдруг откуда-то сверху, с еще более высокого пункта, сорвался человек, сидевший в открытой корзине, — сорвался так стремительно, точно упал, — и, скользя по кабелю, пронесся мимо них. Глаза Грехэма невольно приковались к этому странному путешественнику, и только когда тот исчез в круглом отверстии стены пониже моста, взгляд его опять обратился на бушевавшую внизу толпу.

Одна из наружных платформ мчалась, вся красная от покрывавшей ее сплошной массы красных мундиров. Когда она поравнялась с балконом, эта красная масса распалась на отдельные красные пятнышки и полилась с платформы на платформу к тому месту у люка, где происходила борьба.

Оказалось, что все эти красные люди были вооружены дубинками, которыми они действовали очень ловко, расшвыривая толпу. Раздался тысячеголосый яростный вопль, долстевший до Грехэма наполовину заглушенным.

— Вперед! — крикнул Говард, толкая его.

В эту минуту еще какой-то человек бросился по кабелю вниз. Грехэм хотел посмотреть, откуда он слетел, и, взглянув вверх, увидел сквозь стеклянную крышу моста и сквозь сеть переплетавшихся над ней кабелей неясные очертания вертящихся лопастей, напоминавших крылья ветряных мельниц, и между ними просветы далекого бледного неба. Но тут Говард опять потащил его вперед.

— Я хочу посмотреть,— начал было Грехэм упираясь.

— Нет, нет, нельзя останавливаться, идите за мной!— закричал Говард, еще крепче сжимая его руку. Красные конвойные, сопровождавшие их, уже готовы были, как ему показалось, подкрепить это приказание более осязательным воздействием, и он должен был покориться. Вскоре они вошли в узкий коридор, все стены которого были испещрены геометрическими фигурами.

В глубине коридора показалось несколько негров в черных с желтым мундирах, с узким перехватом у талии, отчего они были похожи на ос. Один из них поспешно отодвинул к стене какой-то щит, оказавшийся дверью, дал им пройти и повел их куда-то дальше. Они очутились в галерее, выступавшей в виде хор над одним концом высокого зала, или, вернее, огромного вестибюля. На противоположном конце подымавшиеся вверх ступени широкой лестницы вели к величественному portalу, полузавешенному тяжелой драпировкой. Здесь тоже стояли навтыяжку негры в черных с желтым мундирах и белые люди в красном. Сквозь портал был виден другой зал, еще больших размеров.

Сопровождавший их черный слугитель прошел вперед, отодвинул второй щит и остановился в ожидании. Проходя по галерее, Грехэм слышал, как шептались внизу, и видел, что все головы поворачивались в его сторону. «Спящий! Спящий!» — донеслось до него. Через узкий проход, проделанный в стене вестибюля, они вышли в другую галерею, железную, ажурной работы. Она тянулась вокруг того самого большого зала, который он уже видел сквозь портал. Только теперь, очутившись в этом зале, он получил полное представление о его колоссальных размерах. Черный слугитель с тонкой, как у осы, талией отступил в сторону, как подобает хорошо выдрессированному рабу, и задвинул за ними щит.

Все то, что Грехэм видел до сих пор, по роскоши убранства не могло идти в сравнение с этими хоромами. В противоположном конце зала, ярко освещенная, стояла гигантская, могучая белая фигура Атласа, в напряженной позе, с земным шаром на согнутой спине. Эта фигура поразила его: она была так колоссальна, так реальна в своем терпеливом страдании, так проста... Если не считать этой гигантской фигуры да высокой эстрады посередине зала, он был совер-

шенно пуст. Эстрада терялась в огромном пространстве этой пустыни, и только группа из семи человек, стоявших на ней вокруг стола, давала понятие об ее настоящих размерах. Все эти люди были в белых мантиях. По-видимому, они поднялись со своих мест при появлении Грехэма и теперь в упор смотрели на него. На одном конце стола сверкала сталь каких-то механических приборов.

Говард провел его по галерее до того места, которое приходилось прямо против могучей, согнувшейся под тяжестью своей ноши фигуры. Тут они остановились. Два красных конвоира, не отстававшие от них ни на шаг, стали по бокам Грехэма.

— Постойте здесь, я сейчас вернусь,— пробормотал Говард и, не дожидаясь ответа, побежал куда-то дальше по галерее.

— Позвольте,— начал Грехэм и двинулся было вслед за Говардом, но одни из красных загородил ему дорогу.

— Извольте оставаться здесь, сэр,— сказал он.— Так приказано.

— Кем?

— Все равно кем. Приказ.

Грехэм покорился.

— Что это за здание,— спросил он,— и кто эти люди?

— Члены Совета, сэр.

— Какого Совета?

— У нас один Совет.

— А...— пробормотал Грехэм и после безуспешной попытки заговорить с другим конвойным подошел к решетке галереи и стал смотреть на людей в белом, которые стояли внизу и, в свою очередь, смотрели на него, о чем-то перешептываясь.

Теперь он насчитал их восемь человек, хотя и не заметил, когда появился восьмой. Ни одни из них не сделал ему знака приветствия. Они стояли и смотрели на него, как в девятнадцатом столетии остановившаяся на улице кучка людей могла бы смотреть на воздушный шар, неожиданно показавшийся вверху. Что это за таинственное собрание? Кто эти восемь человек, стоящие у ног внушительного белого колосса среди пустыни этого огромного зала, где их не могут подслушать ничьи нескромные уши? Зачем его поставили перед ними и зачем они так странно смотрят на

него и говорят о нем шепотом, так что он не может их слышать? Внизу показался Говард. Он быстро шел через зал, направляясь к эстраде. Перед ступенями эстрады он остановился, отвесил глубокий поклон и проделал ряд своеобразных движений, как это, очевидно, полагалось по церемониалу. Потом он поднялся по ступенькам и стал у того конца стола, где были расставлены таинственные приборы. С ним заговорил один из членов Совета.

Грехэм с любопытством следил за их неслышной беседой. Он видел, как собеседник Говарда поглядывал вверх, в его сторону. Он тщетно напрягал слух: до него не долетало ни звука. Но, судя по энергичной жестикуляции обоих собеседников, разговор принимал все более и более оживленный характер. В недоумении он поднял вопрошающий взгляд на своих сторожей, но их бесстрастные лица ничего не сказали ему... Когда он снова глянул вниз, он увидел, как Говард разводил руками и качал головой, явно протестуя. Его прервал один из белых сановников, ударив рукой по столу:

Разговор тянулся бесконечно долго — так, по крайней мере, казалось Грехэму. Он поднял глаза на безмолвного великана, у ног которого заседал Совет, потом взгляд его стал блуждать по стенам. Они были сплошь покрыты рисунками в японском вкусе, вставленными в рамы из темного металла. Воздушная грация этих рисунков еще более усиливала внушительное впечатление, которое производила могучая белая фигура гиганта, застывшего в своей напряженной позе.

В то время, как Грехэм вспомнил о Совете и снова посмотрел вниз, Говард спускался с эстрады. Когда он подошел настолько близко, что можно было рассмотреть его лицо, Грехэм заметил, что он очень красив и отдувается, как человек, только что покончивший с трудной задачей. Следы волнения еще оставались на его лице даже и тогда, когда он поднялся на галерею

— Сюда, — сказал он коротко, и все четверо направились к маленькой двери, которая отворилась при их приближении. Красные конвойные стали по бокам этой двери, а Говард попросил Грехэма войти. На пороге он обернулся назад и увидел, что белые члены Совета все еще стоят на прежнем месте тесной груп-

пой и смотрят ему вслед. Потом тяжелая дверь затворилась за ними, и первый раз с момента своего пробуждения Грехэм очутился в полной тишине. Даже пол был затянут войлоком, так что не слышно было шагов.

Говард отворил вторую дверь, и они вошли в первую из двух смежных комнат, в которой все убранство было белого и зеленого цвета.

— Что это за Совет? — спросил Грехэм. — О чем они совещались? Что они намерены сделать со мной?

Говард тщательно запер дверь, тяжело перевел дух и что-то пробурчал себе под нос, потом прошелся по комнате и остановился перед Грехэмом отдуваясь.

— Уф! — вырвалось у него с облегчением.

Грехэм смотрел на него и ждал.

— Надо вам знать, — начал Говард, избегая его взгляда, — что наш общественный строй очень сложен. Всякое неполное объяснение может дать вам совершенно ложное представление о нем. Все дело тут отчасти в том, что ваш маленький капитал вместе с завещанным вам состоянием вашего кузена Уорминга, увеличиваясь из года в год процентами и процентами на проценты, вырос до чудовищной цифры. А кроме того, и по другим причинам, — я не могу вам объяснить почему, — вы стали важным лицом, настолько важным, что можете влиять на судьбы мира.

Он замолчал.

— Ну и что же? — спросил Грехэм.

— У нас теперь трудное время... Народ волнуется...

— Ну?

— Ну, словом, дела обстоят таким образом, что признано целесообразным изолировать вас.

— То-есть посадить меня под замок?

— Нет... только просить вас побыть некоторое время в уединении.

— Это, по меньшей мере, странно, — возмутился Грехэм.

— Вам не сделают никакого вреда, но вам придется посидеть...

— Пока мне не растолкуют, какое отношение имеет моя личность к вашим общественным делам?

— Именно.

— Прекрасно. Так начинайте же ваши объяснения. Почему вы сказали: «Не сделают вреда»? Разве и это было под сомнением?

— Сейчас я не могу ответить на этот вопрос.

— Почему?

— Это слишком длинная история, сэр.

— Тем больше причин начать не откладывая. Вы говорите, я важная особа. В таком случае вы должны исполнить мое требование. Я хочу знать, что значат крики толпы, которые я слышал с балкона? Какое отношение имеют они к тому, что я очнулся от моей многолетней спячки? И кто те люди в белом, которые сейчас совещались обо мне?

— Все в свое время, не торопитесь,— сказал Говард.— Мы переживаем переходное время: никто ни в чем не уверен. Ваше пробуждение... Никто не ожидал, что вы проснетесь. Это событие и обсуждает Совет.

— Какой Совет?

— Тот, который вы видели.

Грехэм сделал порывистое движение.

— Это черт знает что! Вы обязаны все мне рассказать!

— Вооружитесь терпением. Я очень вас прошу, подождите.

Грехэм резко опустил на стул.

— Я так долго ждал возвращения к жизни, что, очевидно, могу и еще подождать,— сказал он.

— Вот так-то лучше,— одобрил Говард.— А теперь мне придется оставить вас... ненадолго. Мне нужно быть в Совете... Извините.

Он направился к выходу, приостановился было в нерешительности, потом бесшумно отворил дверь и исчез.

Грехэм попробовал дверь и убедился, что она заперта каким-то особенным, неизвестным ему способом, потом он повернулся, походил из угла в угол и сел. Он долго сидел неподвижно со скрещенными руками с нахмуренным лбом, стараясь связать в одно целое все пестрые впечатления первых часов своей новой жизни. Эти гигантские сети протянутых в воздухе кабелей, паутина висячих мостов, эти огромные залы, бесконечные переходы; эта бурная волна народного движения, заливающая улицы, потом эта кучка белых людей у ног колоссального Атласа,— людей, явно недоброжелательно к нему настроенных; загадочное поведение Говарда, его обмолвки о каком-то огромном капитале, который по праву принадлежит

ему, Грехэму, но которым, может быть, уже успели распорядиться без него; намеки на чуть ли не мировое значение его личности — всего этого никак не мог вместить его ум. Что он должен делать? Вернее, что он может сделать? Эти законопаченные комнаты красноречиво говорили о том, что он узник.

На одну минуту ему показалось несомненным, что весь этот ряд подавляющих впечатлений — просто сон. Он попробовал закрыть глаза, что оказалось не трудно, но это освященное временем средство не привело к пробуждению.

Потом он принялся исследовать все незнакомые детали обстановки обеих маленьких комнат, куда его заперли.

В большом овальном зеркале он увидел свое отражение и был поражен: на нем был изящный костюм, пунцовый со светло-голубым. Остроконечная, с легкой проседью борода и полуседые волосы, оригинально, но красиво зачесанные надо лбом, совершенно меняли его лицо. Теперь ему можно было дать на вид лет сорок пять. В первую минуту он не узнал себя. И громко расхохотался, когда, наконец, узнал.

«Вот зайти бы к Уормингу в таком виде и предложить ему пойти со мной позавтракать в ресторане!» — мелькнуло у него во голове.

Продолжая смеяться, он стал перебирать одного за другим тех немногих близких друзей своей молодости, над кем можно было бы теперь так хорошо подшутить, и вдруг вспомнил, что из всех людей не осталось в живых ни души, что все они умерли много десятков лет тому назад. Сердце его сжалось острой болью, смех разом оборвался и сменился выражением отчаяния на побледневшем лице.

Но потом более яркая, волнующая картина огромных зданий и этих удивительных движущихся улиц, запруженных народом, снова выступила на первый план. Отчетливо, как живые, представились ему толпы кричащих людей и эти неслышно совещающиеся вдали сановники в белом, в которых он чувствовал врагов. Какую маленькую, ничтожную фигурку представляет он собою! Как он бессилен и жалок при всем своем «мировом значении»! И как странно, как непонятно все, что его окружает, — весь мир!

В ПОКОЯХ БЕЗМОЛВИЯ

Но надо было жить, надо было чем-нибудь наполнять свое время. Грехэм вздохнул и принялся за осмотр своего помещения. Любопытство пересиливало и усталость и тоску.

Первая комната была очень высока, с потолком в виде купола. Посредине этого купола был овальный прорез, выходящий на крышу воронкой, и снизу были видны широкие лопасти вращавшегося в нем колеса, очевидно приспособления для вентиляции. Слабое гудение колеса было единственным звуком, нарушавшим тишину. В промежутки между тихо вертевшимися лопастями мелькали полосы темного неба, и вдруг Грехэм увидел звезду.

Это очень его удивило и заставило обратить внимание на тот факт, что в комнате не было окон. Он осмотрел ее внимательнее и заметил, что своим ярким освещением, не уступавшим дневному свету, она была обязана маленьким лампочкам, которыми были усеяны все карнизы. Тогда он стал припоминать и вспомнил, что ни в одном из огромных коридоров и залов, которыми они с Говардом проходили, он не заметил окон. Правда, он видел несколько окон, выходящих на улицу, но для освещения ли предназначались они? Быть может, они имели другое назначение. Может быть, этот город освещается искусственным светом и ночью и днем, так что в нем никогда не бывает темно?

Поразила его еще одна вещь: ни в той, ни в другой комнате не было камина. Может быть, на дворе стояло лето и эти комнаты были летним помещением? Или, быть может, весь город равномерно отапливается зимой и так же равномерно охлаждается летом? Его это заинтересовало. Он тщательно ощупал гладкие стены, осмотрел все карнизы, углы: нигде не было и следов каких-нибудь проводов для отопления. В одном углу стояла кровать, на вид очень простая, но с целым ассортиментом остроумных приспособлений, позволявших обходиться без посторонних услуг. Все вообще поражало полным отсутствием вычурных украшений при необыкновенной красоте форм и таком приятном сочетании цветов, что нельзя было

оторвать глаз. На всем лежал отпечаток изящной простоты. Эта кровать да несколько удобных кресел вокруг легкого небольшого стола составляли всю меблировку. На столе стояли стаканы, бутылки с напитками и два блюда с каким-то полупрозрачным кушаньем, похожим на желе. Но странно: не было ни книг, ни газет, ни письменных принадлежностей. «И вправду, видно, свет переменился», — подумал Грехэм.

Во второй комнате вдоль одной стены тянулся длинный ряд небольших цилиндров с зелеными надписями по белому фону, что вполне гармонировало с убранством этой комнаты. Посредине этого ряда цилиндров выступал вперед, в виде квадратного ящика около ярда длиной и шириной, какой-то аппарат. Одна его сторона, обращенная к комнате, представляла гладкую белую доску. Перед аппаратом стоял стул.

Сначала Грехэм занялся цилиндрами. «Уж не заменяют ли им книги эти приборы?» — мелькнуло у него в голове. Надписей он долго не мог разобрать. В первую минуту ему показалось, что они на русском языке, но потом, по некоторым словам, он догадался, что это сокращенные английские фразы. «Человек, котор хотел быть королем», — прочел он на одном цилиндре.

— А-а, «Человек, который хотел быть королем»
Фонетическое правописание!

Он вспомнил, что читал когда-то повесть под этим заглавием; припомнил и самую повесть, одну из лучших в мире. Затем он разобрал еще два заглавия на двух других цилиндрах: «Сердце тьмы» и «Мадонна будущего». О таких книгах он никогда не слышал. Если они существуют, то значит их авторы жили не в царствование Виктории, а позднее. Он повертел в руках еще один цилиндрик и поставил на место. Потом перешел к черырехугольному аппарату. «Это уж, во всяком случае, не книга». Он снял крышку. Внутри оказался такой же цилиндрик, как и остальные, только с кнопкой на верхнем конце вроде кнопки электрического звонка. Он нажал эту кнопку. Что-то затрещало, и когда треск прекратился, он услышал музыку и голоса, а на белой поверхности передней доски появились цветные движущиеся тени. Тогда он понял, что это за аппарат. Он отступил на шаг и стал смотреть.

На гладкой поверхности передней доски отчетливо

выступила картина. Фигуры на ней двигались, как живые. И не только двигались, но и говорили, правда, слабыми, как будто издали доносившимися голосами. Получалось такое впечатление, как если бы смотреть на сцену в перевернутый бинокль и слушать через длинную трубку.

Начало представления сразу заинтересовало его. Действующих лиц было двое — мужчина и женщина, очень хорошенькая. Мужчина — молодой человек — в волнении расхаживал по сцене, осыпал гневными упреками женщину, которая дерзко возражала ему. Оба были в живописных костюмах своего времени, казавшихся такими странными человеку девятнадцатого столетия. «Я работал, — говорит мужчина, — а что делала ты?»

— Ого! Да это любопытно! — пробормотал Грехэм и опустился на стул перед экраном.

Он так увлекся миниатюрным спектаклем, что забыл обо всем. Через пять минут он с удивлением убедился, что маленькие фигурки вдруг упомянули о нем. «Когда проснется Спящий», — услышал он. Это было сказано в ироническом смысле. Фраза, очевидно, вышла в поговорку и применялась в таких случаях, когда говорили о чем-нибудь очень далеком, несбыточном, невероятном. С большим интересом он прослушал всю пьесу, заканчивавшуюся трагически, и оба ее главных героя стали ему близки и понятны.

Что за странная была эта жизнь, — жизнь другой, чуждой эпохи! Что за странный уголок незнакомого мира, в который ему довелось заглянуть! Поистине удивительный мир беззастенчивых, энергичных людей, людей с тонким вкусом, жаждущих наслаждений, и вместе с тем мир экономической борьбы... В пьесе было много такого, чего он не понял, да и не мог понять: какие-то намеки на злободневные вопросы и тому подобное. Но по некоторым маленьким черточкам можно было судить, как радикально изменились за два века нравственные идеалы. Голубой холст, занимавший так много места в его первых впечатлениях от нового Лондона, и здесь фигурировал много раз, и всегда как одеяние простолоудина. Пьеса была, несомненно, из современного быта и отличалась глубоким реализмом. Он еще долго сидел, погруженный в раздумье, после того как она кончилась и экран опустел.

Но вот он, наконец, встряхнулся, протирая глаза. Новейший суррогат нашего теперешнего «романа» так

всецело завладел его воображением, что, увидев себя опять в зеленой с белым комнате, где стояли цилиндры, он удивился почти не меньше, чем при пробуждении от своего двухсотлетнего сна.

Он встал, оглянулся кругом и сразу вернулся из мира фантазии в страну реальных чудес. Яркое впечатление маленькой драмы, разыгранной на экране кинетоскопа, побледнело, и перед ним опять встала картина борьбы на необъятном пространстве движущихся улиц, таинственный Совет в зале Атласа и все быстрые фазы его переживаний с минуты пробуждения. В пьесе говорилось о Совете как о власти неограниченной, самодержавной. Много раз упоминалось и о Спящем... Это его почти не поразило тогда; до его сознания в то время как-то не доходило, что ведь он-то и есть этот Спящий... И он стал припоминать, что именно говорили о нем.

Потом он машинально снова прошел в первую комнату, спальню, и стал смотреть на небо в промежутках между вертящимися лопастями колеса. Если не считать ритмического слабого стука лопастей, кругом стояла мертвая тишина. Комната по-прежнему была ярко освещена неугасимым искусственным светом, но он заметил, что мелькавшие вверху узкие полоски неба теперь казались почти черными и были усеяны звездами.

От нечего делать он снова принялся бродить по комнатам. Наружной двери, обитой чем-то мягким, он никак не мог отворить, как ни старался. Хотел позвонить, но не нашел ни звонка, ни каких-либо других приспособлений, чтобы вызывать прислугу. Чудеса новой жизни уже не удивляли его, но ему страстно хотелось разобраться в своем положении, хотелось знать, какое место занимает он среди новых людей. Он убеждал себя успокоиться и терпеливо ожидать, пока к нему придут, но не мог справиться со своим волнением. Желание знать и жажда новых ощущений томили его.

Он опять вернулся в комнату с кинетоскопом. Он давно уже догадался, что в нем можно менять цилиндры, и теперь ему хотелось узнать, как это делается. Он долго копался, прежде чем ему удалось найти секрет. «А эти цилиндрики, должно быть, много способствовали закреплению форм языка. Он так мало

изменился за два столетия, что я свободно понимаю его», — подумалось ему. Он взял наудачу первый попавшийся цилиндр и вставил его в аппарат. Аппарат на этот раз воспроизвел оперу. Музыка была незнакомая, но фабулу он сразу узнал. Это была история Тангейзера в переделке на современные нравы. Сначала ему очень понравилось. Играли живо и с большим реализмом. Но что это такое? Этот Тангейзер посещает не Грот Венеры, а Город Наслаждений... Что это? Фу, какая гадость! Не может быть, чтобы это было списано с жизни! Это просто плод фантазии — разнузданной фантазии развратного писаки... нет, положительно ему не нравилась эта опера: очень уж она была на животные инстинкты человека. И чем дальше, тем хуже. Он возмутился. Какое это искусство? Где же тут идеализация действительности? Это просто фотографические снимки самых грубых сторон человеческой жизни... Нет, нет, довольно с него этих Венер двадцать второго столетия!..

Он и забыл, какую роль играл прототип этих самых Венер в «Тангейзере» девятнадцатого века, и отдался своему архаическому негодованию. Ему стало стыдно. Он поднялся со стула, почти сердясь на себя за то, что мог себе позволить смотреть на эту мерзость, хотя бы и без свидетелей. Нетерпеливым движением он пододвинул к себе аппарат и принялся трогать то тот, то другой рычажок, чтобы остановить механизм. Что-то щелкнуло. Блеснула фиолетовая искра, ему свело руку и обожгло палец. Машина стала. Когда на другой день он хотел заменить цилиндрик с «Тангейзером» чем-нибудь другим, то аппарат оказался испорченным.

Он принялся ходить из угла в угол, стараясь справиться со всей этой массой впечатлений, которые давили его. То, что он уже успел подметить из действительной жизни нового Лондона, и то, что ему открыли цилиндрики, сбивало его с толку своим противоречием. Странная вещь: никогда раньше, дожив до тридцати с лишним лет, он не представлял себе такой картины грядущих времен. «Мы в наше время создавали будущее, — думал он, — и ни одному из нас не приходило в голову задаться вопросом, какое будущее мы создаем... Так вот оно, это будущее! К чему идут эти слепцы? Чего они достигли? О, зачем моя злая судьба привела меня к ним?..»

Его не поражала грандиозность улиц и зданий, не поражало и многолюдство. Но эти рукопашные схватки! Этот жестокий антагонизм между согражданами! И это систематическое потаканье своим низменным инстинктам среди богатых классов...

Он вспомнил социалистическую утопию Беллами, так далеко опередившую то, что он нашел здесь, проспав двести лет. Нет, этого никто не назовет утопией. Где тут социалистический строй? Он уже достаточно видел теперь, чтобы убедиться, что исконное противоречие между роскошью, расточительностью, удовлетворением чувственности, с одной стороны, и позорной бедностью — с другой, оставалось во всей своей силе. Главнейшие факторы человеческой жизни были ему настолько хорошо известны, что он ясно понимал все значение такого соотношения. Не только здания в этом городе были колоссальны. Не только колоссальны были толпы народа, запружавшие его. Колоссально было и всеобщее недовольство. О нем кричали люди на улицах, о нем говорила растерянность Говарда; она носилась в воздухе; все было пропитано им. Где он? В какой стране? Как будто в Англии. А между тем все здесь так чуждо ему... такое все «не свое»... Он попробовал представить себе остальной мир, но мысль его остановилась перед завесой тумана, за которой все было загадкой.

Ломая голову над этими вопросами, он метался из комнаты в комнату, как зверь в клетке. От усталости он дошел до той степени лихорадочного возбуждения, когда уже не можешь ни сидеть, ни лежать. Он то становился под вентилятор и прислушивался, стараясь уловить далекие отголоски уличных волнений, которые, он был уверен, все еще продолжались, то принимался говорить сам с собой.

«Двести три года, — твердил он без конца, смеясь бессмысленным смехом. — Мне, стало быть, теперь двести тридцать три. Старейший из живущих... Надеюсь, они еще не упразднили прав старшинства. Мои права неоспоримы — права человека девятнадцатого столетия. Что ни говори, а великий был наш век... Великий? А болгарская война? А турецкие зверства? Ха-ха!»

В первую минуту он и сам удивился, поймав себя на этом смехе, а потом стал опять хохотать громко, безудержно. Потом сообразил, что ведет себя как сумасшедший. «Полно, полно! Возьми себя в руки», — сказал он себе.

Он умерил шаги, стараясь ходить ровнее. «Новый мир... Не понимаю я его... Почему все пришло к этому? Почему?.. Кто мне ответит?.. Должно быть, они теперь умеют летать и мало ли что еще... Надо припомнить, как начиналось у нас с этими полетами...»

И он перенесся воображением на двести лет назад. Мало-помалу воспоминания его приняли личный характер. Год за годом перебирал он первые тридцать лет своей жизни. Сначала ему казалось, что память его ослабла, что многое он забыл. Мелькали какие-то обрывки воспоминаний, все больше мелочи, случайные встречи, не игравшие в его жизни никакой роли. Ярче другого вспоминалось детство, школьные годы, школьные книги. Но потом постепенно стало оживать и дальнейшее: знаменательные события, трагические моменты... Образ давно умершей жены, ее когда-то столь магические для него чары. Ожили и другие забытые образы — лица соперников, друзей и врагов. Вспомнились тяжелые минуты колебаний, минуты быстрых решений и, наконец, последние годы сомнений и внутренней борьбы, закончившиеся напряженной умственной работой. Вскоре он убедился, что прошлое вернулось к нему немного погускневшее, быть может, как металл, долго пролежавший без употребления, но не утерявшее ни одной черточки, так что его можно было освежить. Освежить? Но зачем? Что принесет ему это, кроме гнетущей тоски? Каким-то чудом он был оторван от жизни, ставшей невыносимой. Надо благодарить за это судьбу.

Мысль вернулась к настоящему. Тщетно он старался осмыслить факты, разобраться в невылазной путанице новых впечатлений... Он поднял глаза к вентилятору в потолке и увидел, что небо порозовело: «Скоро солнце взойдет, надо уснуть», — подумал он. «Уснуть! Какое блаженство!» Только теперь он почувствовал, как отяжелели его члены, как он жестоко устал. Он подошел к простенькой маленькой кровати с мудренными приспособлениями, лег и мгновенно заснул.

Ему пришлось познакомиться со своей тюрьмой ближе, чем он думал, ибо его продержали в заточении трое суток. Странная, непостижимая судьба: вернуться к жизни только затем, чтобы быть оторванным от нее и обреченным на полное одиночество! Перед загадочностью этого заточения бледнело даже чудо его воскресения из мертвых после двухсотлетнего сна.

За все трое суток к нему не входил никто, кроме Говарда, который в определенные часы приносил ему пищу и питье. И кушанья, и напитки были очень вкусны и питательны, но совершенно не знакомы Грехэму. Говард, входя, всякий раз очень тщательно запирали за собою дверь. Он был всегда очень любезен, охотно разговаривал о пустяках, но уклонялся от всяких объяснений насчет того, что особенно занимало Грехэма и из-за чего, как он был уверен, все еще продолжалась борьба за этими глухими стенами. Стоило только задать вопрос об общем положении дел в государстве, как тот заговаривал о другом.

Чего только не передумал Грехэм за эти трое суток? Зачем его держат взаперти? Зачем умышленно оставляют в неведении? Зачем им непременно нужно, чтоб он ничего не видел и не знал? Чтобы объяснить себе эту загадку, он старательно припоминал то, чему был свидетелем, но ни одно объяснение не удовлетворяло его. Кругом него и с ним самим творились такие чудеса, что все становилось возможным и вероятным. Теперь его ничто не удивит: он был готов ко всему. Таким образом, когда пришла, наконец, минута освобождения, она его не застала врасплох.

Уже и раньше он догадывался, что во всем совершающемся не последнюю роль играет личность Спящего, то-есть собственная его особа, и поведение Говарда только укрепляло его в этой догадке. Беззвучно отворяясь и затворяясь за этим хитрецом, тяжелая мягкая дверь, казалось, пропускала отголоски происходящих за нею важных событий. Но даже на самые настойчивые, прямые вопросы он отвечал одними увертками.

— Пробуждения вашего не предвидели, а тут, как на грех, оно еще совпало с критическим моментом социального переворота,— твердил он на разные лады.— Чтобы объяснить вам все, пришлось бы рассказать историю страны за полтора гросса лет.

— Я понимаю, в чем дело,— сказал Грехэм.— Вы боитесь меня: боитесь, что я могу вам повредить. Очевидно, у меня есть какая-то власть... или могла бы быть, если б...

— Нет, не то. Прямой власти у вас нет, но... Это я вам, пожалуй, скажу. Ваше громадное состояние (оно возросло до чудовищной цифры за эти двести лет) дает вам опасную возможность вмешательства в общественные дела. Могут оказать нежелательное влияние и ваши допотопные понятия восемнадцатого века.

— Девятнадцатого,— поправил Грехэм.

— Это не меняет дела. Понятия остаются все-таки допотопными, раз вам не знакома ни одна черта нашего общественного строя.

— Скажите, вы считаете меня дураком?

— Конечно нет.

— Так отчего же вы думаете, что я буду действовать безрассудно?

— Мы, видите ли, не ожидали, что вы вообще когда-нибудь будете действовать. На ваше пробуждение никто не рассчитывал. Ну разве можно было думать, что вы проснетесь? Все были уверены, что вы давно умерли. На вас смотрели, как на диковину, как на беспримерный феномен приостановки разложения — и только. По распоряжению Совета были применены все новейшие антисептические средства, чтобы как можно дольше сохранить ваш труп. И вот... Но это слишком сложно объяснять. Я не могу так, сразу, без всякой подготовки... Вы ведь еще не совсем проснулись.

— Пойдите, не виляйте! — остановил его Грехэм. — Вы говорите, опасное влияние... допотопные понятия... Допустим, что это так. Но отчего же, в таком случае, вы не поделитесь со мной вашей мудростью? Вам следовало бы с утра до ночи, не теряя времени, знакомить меня с фактами, с новыми условиями жизни, чтобы я мог употребить свое влияние с пользой. А я... Чему я научился, что я узнал за эти два дня, с тех пор как проснулся?

Говард закусил губы.

— Я отлично вижу все махинации этого вашего Совета, Комитета или как его там. Вы — его крестатура. Говорите же, зачем меня прячут? Кому это нужно? Неужели причина — мое несчастное богатство? Может быть, пока я здесь сижу, ваш Совет стряпает отчет о моих деньгах, который и представит мне потом?

— Такое подозрение... — начал было Говард.

— Э, что там! Не в том дело,— перебил Грехэм. — Скажу вам только, это не пройдет даром тем, кто меня сюда засадил. Не пройдет, попомните мое слово! Я жив. Жив, могу вас уверить. С каждым днем мой пульс бьется сильнее и яснее работает ум. Довольно опеки! Я вернулся к жизни и хочу жить.

— Жить?!

Лицо Говарда осветилось какой-то новой мыслью. Он подошел к Грехэму и заговорил конфиденциальным, дружеским тоном:

— Совет поместил¹ вас сюда для вашего же блага. Но вас это волнует. Понятное дело: вы человек энергичный. Вам здесь скучно. Но все, чего бы вы ни захотели... всякое желание будет исполнено — мы уж позаботимся об этом... Может быть, вы хотели бы... общества?

Он сделал многозначительную паузу.

— Да, хотел бы, — подумав, ответил Грехэм.

— Так и есть! Как это мы упустили из виду?

— Я хотел бы видеть народ, тех людей, что кричали на улицах...

— Ну, это, боюсь... — Говард замялся. — Но всякое другое общество...

Грехэм стал ходить по комнате не отвечая. Говард стоял у двери, наблюдая за ним. «Что хочет он сказать своим предложением? Что значат его намеки?» Грехэму это было не совсем ясно. «Общество!» А что, если поймать его на слове и потребовать себе собеседника, все равно кого. Может быть, можно было бы вытянуть из этого человека хоть что-нибудь относительно общественных событий? Узнать, по крайней мере, чем кончилась междоусобица, разыгравшаяся в момент его пробуждения?

Он все ходил, соображая, и вдруг догадался, на что намекал Говард. Он круто повернулся к нему.

— Что вы хотели сказать? Какое общество вы мне предлагали?

Говард поднял на него испытующий взгляд и пожал плечами.

— Общество человеческих существ, разумеется, — проговорил он с двусмысленной улыбкой на своем деревянном лице. — Надо вам сказать, что в отношении моральных идей, как и во много другом, мы шагнули вперед сравнительно с вашей эпохой. Если бы вы пожелали, например, развлечься в вашем уединении... женским обществом, мы не нашли бы в этом ничего зазорного, уверяю вас. Мы сумели освободиться от предрассудков. В нашем городе существует особый класс женщин, — необходимый класс, отнюдь не клейменый всеобщим презрением, как это было в ваше время, и...

Грехэм остановился перед ним и слушал, что будет дальше.

— Это вас развлекло бы, помогло бы вам скоротать время, — продолжал Говард. — Мне следовало бы раньше вспомнить... Но я так озабочен... У нас там такое творится, что голова идет кругом.

И он махнул рукой в сторону двери.

Грехэм колебался. На один миг в его воображении встал образ красивой женщины и своею доступностью соблазнительно манил его к себе. Но минута слабости прошла. В нем закипело негодование.

— Нет! — крикнул он резко и снова принялся нервно шагать из угла в угол.

— Я понимаю, в чем тут дело, — заговорил он опять минутой спустя. — Все, что вы делаете, все, что вы говорите, убеждает меня, что с моей особой связан исход каких-то важных событий, что от меня зависит, какой они примут оборот. И вы рассчитываете усыпить меня разворотом. Так знайте же: я не хочу развлекаться, как вы это называете. Конечно, и распутство тоже жизнь в известном смысле. А что потом? Вечная смерть, забвение... В прежней моей жизни я много думал над этим проклятым вопросом. Я решил его для себя ценою страдания и не намерен начинать сначала. Мне нужны люди, народ, а вы держите меня здесь, как кролика в мешке...

Он дал волю душившему его бешенству. Он потрясал кулаками, выкрикивал архаические проклятия своего века, топал ногами, грозил.

— Я не имею понятия, какой вы партии, какие ваши симпатии, кто вы такой вообще. Я ничего не знаю, и вы нарочно не пускаете меня к свету. Но что вы меня заперли не с добрыми намерениями, это я знаю. И я предупреждаю вас, предупреждаю: берегитесь последствий! Как только я буду у власти...

Он вдруг остановился, сообразив, что такие угрозы могут быть для него роковыми. Говард смотрел на него с каким-то странным выражением в глазах.

— Прикажете передать это Совету? — спросил он.

Грехэму вдруг захотелось броситься на этого негодяя, ударить его, придушить. Должно быть, это отразилось на его лице, потому что Говард мгновенно очутился у двери. В следующую секунду она беззвучно затворилась за ним, и человек девятнадцатого века отстался один.

С минуту он стоял в оцепенении, забыв даже опустить свои сжатые кулаки. Потом ударил себя по лбу с криком: «Какой я дурак! О господи, как глупо я себя вел!» — и снова забегал по комнате в бессильной злости.

Он долго еще бесновался, проклиная судьбу, браня себя за глупость, мечя громы и молнии на мерзавцев, которые заперли его. Он бесновался, потому что не решался хладнокровно взглянуть на свое положение и постараться вникнуть в него. Он злился и

взвинчивал себя, потому что боялся понять, боялся того страха, который его охватит, когда он поймет.

Мало-помалу, однако, он успокоился настолько, что был в состоянии рассуждать. «Я не могу себе объяснить, зачем они меня заперли,— говорил он себе.— Но ведь есть же у них законы, новые, свои. Стало быть, у них допускаются такие меры и со мной поступают по закону. Цивилизация ушла вперед на целых два столетия, и, значит, эти люди далеко опередили мое поколение. Не может быть, чтобы они были менее гуманны, чем мы. А между тем — как это сказал Говард? — они сумели освободиться от предрассудков. Что, если гуманность для них такой же предрассудок, как целомудрие?»

Его фантазия стала усиленно работать, рисуя не весьма приятные картины того, что могут с ним сделать. И как он ни старался отвязаться от этих картин, призывая на помощь рассудок, это плохо ему удавалось.

«Ну что ж, будь что будет! — решил он наконец.— В крайнем случае я уступлю, исполню их требования. Но какие их требования? Чего они хотят? И отчего не скажут прямо, чего им от меня нужно, вместо того чтобы держать меня под замком?»

И опять пошли бесконечные догадки о том, как намерен Совет распорядиться его особой. Снова и снова припоминал он в мельчайших подробностях поведение Говарда, его зловещие взгляды, необъяснимые увертки, замалчиванья... Некоторое время мысли его упорно кружились на одном месте, изыскивая способы побега. Но если б даже удалось бежать, куда он денется в этом огромном, чуждом ему мире? Это все равно, как если бы какой-нибудь древнесаксонский крестьянин неожиданно очутился в Лондоне девятнадцатого столетия. Да и есть ли возможность убежать из этих законопаченных комнат?

«Может быть, они порешили меня уморить. Но кому может быть выгодна моя смерть?»

Ему вспомнилась волнующая толпа, рукопашные схватки на улицах, гневные крики — все признаки близкого социального переворота, центром которого каким-то непостижимым образом был он сам. Из темных глубин его памяти ни с того ни с сего всплыли слова, когда-то сказанные другим Советом:

«Во имя общего блага пусть один человек умрет за народ».

НА КРЫШАХ

Через овальный прорез в потолке первой комнаты долетали снаружи какие-то неопределенные звуки. Мелькавшие между лопастями колеса промежутки, теперь почти совсем черные, показывали, что на дворе была ночь. Поглощенный мрачными мыслями о том, как с ним поступят в конце концов неведомые власти, которым он так опрометчиво бросил вызов, Грехэм стоял под вентилятором, забыв об окружающем. Вдруг он вздрогнул от нового неожиданного звука: он услышал над собой человеческий голос.

Он поднял голову и сквозь просветы между вертевшимися лопастями различил смутные очертания лица и плеч человека, смотревшего на него. Вот протянулась темная рука. Ближайшая лопасть, пролетая, ударила по ней своим острым ребром, и сверху на пол закапало что-то жидкое.

Грехэм нагнулся: на полу была кровь. В испуге он снова вскинул голову к потолку. Фигура исчезла.

Он не шевелился, напряженно всматриваясь в мигавшую между лопастями черноту ночи. Он заметил, что в воздухе над вентилятором плавают какис-то пушинки: они то налетали порывами, то скрывались из глаз, относимые ветром, который поднимали лопасти колеса. Откуда-то неожиданно блеснул яркий луч света. Пушинки сверкнули в нем белыми искорками, и затем все снова погрузилось в темноту. Стало быть, за стенами его теплой, ярко освещенной тюрьмы была зима и шел снег.

Он машинально прошелся по комнате и снова стал под вентилятор. Там теперь опять торчала человеческая голова. Он услышал шепот. Потом раздался резкий звук удара по металлу, послышалась возня, глухой говор, и колесо остановилось. В комнату вихрем ворвались снежные хлопья и растаяли, не долетев до полу.

— Не бойтесь, — донеслось до него сверху.

— Кто вы? — прошептал он в ответ.

С минуту нельзя было различить ничего, кроме лопастей колеса, которые еще слегка раскачивались по инерции. Потом в один из промежутков осторож-

но просунулась человеческая голова. Человек этот висел почти верх ногами, уцепившись рукой за что-то невидимое в темноте, — должно быть, за край вентиляционной трубы. Судя по тому, как у него на лбу вздулись жилы, надо думать, что ему очень трудно удерживаться в этой позе. Его темные волосы были мокры от снега. Лица нельзя было хорошо рассмотреть при таком положении тела. Видно было только, что это молодое лицо с блестящими большими глазами.

Несколько секунд оба молчали, разглядывая друг друга.

— Это вы Спящий? — спросил, наконец, незнакомец.

— Да, — ответил Грехэм. — Что вам от меня нужно?

— Я от Острога, сэр.

— От Острога?

Продолжая висеть в вентиляторе, человек повернул голову так, что лицо пришлось в профиль к Грехэму: оп, очевидно, прислушивался. Вдруг раздался испуганный возглас, и он быстро откинулся назад, еле успев увернуться от лопасти колеса, которое опять завертелось. И как ни всматривался после того Грехэм в черную дыру вентилятора, он не видел ничего, кроме вертящихся лопастей, мелькающих полосок неба да тихо падающих снежных хлопьев.

Так прошло с четверть часа. Но, наконец, наверху опять послышались какие-то звуки. Опять раздался удар по металлу: колесо стало, и между лопастями показалось то же лицо. Все это время Грехэм не сходил с места; он стоял, прислушиваясь, напряженно всматриваясь в пустоту и весь дрожа от волнения.

— Кто вы? Что вам нужно? — повторил он свой вопрос.

— Нам надо поговорить с вами, сэр, — отвечал человек. — Мы хотим... Ох, как трудно держаться!.. Рука затекла... Вот уже три дня, как мы пытаемся пробраться к вам.

— Освобождение? Побег? — проговорил Грехэм прерывистым шепотом.

— Да, сэр, если вы захотите.

— Вы — моя партия? Партия Спящего?

— Да, сэр.

— Так говорите, что мне надо делать?

Вверху послышалась возня. Между лопастями просунулась рука, пальцы были в крови. Потом на краю

прореза показались колени. Раздался громкий шепот: «Посторонитесь», — и вслед за тем к ногам Грехэма свалился человек, тяжело упав на руки, и стукнувшись об пол плечом. Освобожденный вентилятор с шумом завертелся. Нежданный гость ловко повернулся, вскочил на ноги и с любопытством смотрел на Грехэма своими живыми глазами, тяжело дыша и потирая ушибленное плечо.

— Да вы и в самом деле Спящий, — сказал он. — Я вас узнаю. Я видел вас еще в то время, когда к вам разрешалось ходить всем без всяких ограничений.

— Да, я тот самый человек, что пролежал в лстаргии двести с лишним лет, — ответил Грехэм. — А теперь меня посадили в тюрьму. Вот уже, по крайнсей мере, три дня, как я здесь сижу, почти с тех пор, как проснулся.

Незнакомец хотел было что-то сказать, но вдруг насторожился, бросил быстрый взгляд с сторону двери и кинулся туда, бормоча что-то невнятное и позабыл о Грехэме. В руке его сверкнуло стальное лезвие, и он принялся изо всех сил колотить по петлям двери.

— Эй, тише вы там! — слышалось с потолка.

Грехэм поднял голову, увидел подошвы двух спускающихся ног и не успел опомниться, как на спину ему обрушилась какая-то тяжесть, свалив его на пол. Он упал на четвереньки, лицом вперед, и груз перекатился через его голову. Он привстал на колени: перед ним сидел второй гость.

— Простите, сэр, я вас сверху не заметил, — сказал, с трудом переводя дух, этот человек. Он встал и помог Грехэму подняться. — Я вас очень ушиб?

В эту минуту снова слышался ряд тяжелых ударов в вентиляторе. Сверху слетело что-то большое, чуть не задев Грехэма по лицу, со звоном упало на пол, подпрыгнуло, опять упало и, дребезжа, улеглось на месте, оказавшись большим куском от лопасти вентилятора из какого-то белого металла.

— Что это значит? — вскрикнул Грехэм, в недоумении поднимая глаза к прорезу. — Кто же вы наконец? Что вы хотите делать? Я ничего не понимаю.

— Посторонитесь, сэр! — сказал второй незнакомец и еле успел оттащить его из-под вентилятора, как с потолка свалился второй тяжелый кусок металла.

— Мы за вами пришли, — проговорил тот же человек прерывистым шепотом. Грехэм взглянул на него и

увидел, что у него рассечен лоб и из прореза выступают капельки крови.— Нас прислал ваш народ. Народ зовет вас...

— Мой народ, говорите вы? Куда же мне идти?..

— В зал Большого театра, что на Рыночной площади. Здесь ваша жизнь в опасности. У нас есть свои шпионы. Хорошо еще, что мы узнали во-время. Совет решил или убить вас, или снова усыпить не дальше как сегодня. У нас все готово. Есть своя милиция. Служащие в Управлении ветряных двигателей, инженеры и половина кондукторов движущихся улиц на нашей стороне. Все публичные залы переполнены народом, вас ждут. Весь город восстал против Совета. У нас есть оружие.

Он вытер кровь со лба.

— Оружие? Зачем?

— Чтобы вас защищать. Народ не даст вас в обиду... Что такое?

Он быстро обернулся на неожиданно раздавшийся резкий свист. Это свистнул его товарищ, возившийся около двери. Грехэм тоже взглянул в ту сторону и увидел, что тот показывает им знаками, чтоб они спрятались, а сам торопливо пятится за дверь. Дверь тихонько отворилась, и на пороге показался Говард. Он нес в руках нагруженный поднос, осторожно ступая и не подымая глаз. Но не успел он войти, как дверь захлопнулась за ним с громким стуком. Он вздрогнул, поднял голову и выронил поднос: стальное лезвие рассекло ему шею. Он упал как подкошенный лицом вниз и растянулся поперек комнаты ногами к двери. Ударивший его человек поспешно нагнулся, заглянул ему в лицо, потом спокойно выпрямился и как ни в чем не бывало занялся опять своей работой у двери.

— Вот ваша отравка,— шепнул Грехэму на ухо второй незнакомец, указывая на поднос с его ужином, валявшийся на полу.

В этот момент обе комнаты вдруг погрузились в темноту: бесчисленные лампочки, горевшие по карнизам, разом погасли. Овал прореза в потолке выступил светлым пятном в этом мраке. Грехэму было видно, как там кружился снег и торопливо двигались какие-то темные фигуры. Вот три из них опустились на колени у края прореза. Вот в комнату стал спускаться какой-то темный предмет, оказавшийся при-

ставной лестницей. Потом показалась рука, державшая горящий факел.

На одну минуту Грехэма взяло сомнение. Но все поведение этих людей, их неподдельное волнение, их решительность, все их слова так совпадали с его собственными чувствами, с его страхом перед Советом, с его желанием вырваться на свободу, что он, не колеблясь, отбросил свои опасения. О чем тут думать? Ведь его ждет народ.

— Я ничего не понимаю во всем этом, но я вам верю, — сказал он. — Говорите, что я должен делать.

Человек с рассеченным лбом схватил его за руку и сказал:

— Взбирайтесь наверх. Скорее! Может быть, они уже заместили...

Вытянув в темноте руки, Грехэм нащупал лестницу и поставил ногу на нижнюю ступеньку. Но прежде чем начать подниматься, он обернулся назад и, заглянув через плечо незнакомца, стоявшего ближе к нему, увидел при желтом мерцающем свете факела, что товарищ его, сидя верхом на трупе Говарда, продолжает работать над дверью. Он отвернулся и полез наверх, подталкиваемый своим провожатым. Не успел он коснуться ногой верхней ступеньки, как его подхватило несколько услужливых рук, и в следующий момент он стоял под открытым небом, возле воронки вентилятора, на чем-то твердом, холодном и скользком.

Его стала пробирать дрожь: разница в температуре между наружным воздухом и теплым помещением его тюрьмы была очень велика. Его окружали какие-то люди — человек шесть или семь. Легкие снежные хлопья падали ему на руки и на лицо и сейчас же таяли. Сначала было темно. Но вот бледный фиолетовый луч на миг прорезал темноту, после чего она, казалось, стала еще гуще.

При этом мимолетном свете Грехэм увидел, что он стоит на крыше огромнейшего здания, занимавшего, по всей вероятности, несколько кварталов прежнего Лондона. Крыша была плоская, и по ней во всех направлениях были протянуты толстые кабели. Из темноты сквозь завесу снежной метели выступали неясные силуэты гигантских ветряных двигателей, гудя своими колесами то громче, то тише, смотря по силе ветра. Откуда-то снизу лился перемежающийся блед-

ный свет, и каждая снежинка горела золотым огнем, попадая в полосу этого света, а вдали подымались гигантскими призраками еще какие-то машины, отбрасывавшие бледнозеленые искры.

Все это дошло до его сознания лишь смутно и урывками за те немногие минуты, пока его избавители о чем-то торопливо совещались между собой. Вот кто-то накинул на него теплый плащ из какой-то пушистой материи и пристегнул его ремнями у пояса и на плечах. Все говорилось и делалось быстро, решительно. Прежде чем он успел опомниться, какая-то темная фигура взяла его за руку и, указывая вдоль плоской крыши в ту сторону, откуда лился мгlistый, призрачный свет, сказала: «Сюда!» — и потянула его за собой. Он повиновался.

— Осторожнее! — раздался тот же голос, когда он споткнулся о кабель. — Между ними идите, а не шагайте через них... Скорее!

— Где же народ? — спросил Грехэм. — Народ ждет меня, мне сказали?

Ответа не последовало. Дорожка между кабелями становилась все уже. Проводник Грехэма выпустил его руку и быстро занягал вперед. Грехэм шел за ним, не оглядываясь по сторонам, думая только о том, как бы не отстать. Они почти бежали.

— А где остальные? Они тоже идут? — спросил он, задыхаясь от бега, но опять не получил ответа. Проводник только оглянулся на него и побежал дальше. Вскоре они добрались до открытого прохода с металлическими перилами по бокам, тянувшегося под углом к той дорожке, по которой они раньше шли. Они свернули в этот проход. Грехэм оглянулся назад, но за падающим снегом не было видно, идут ли за ними остальные.

Бегите за мной! Не отставайте! — сказал проводник, и они опять побежали.

— Нагнитесь! — услышал Грехэм, и они благополучно увернулись от бесконечного приводного ремня, который несся вверх, к шкиву колеса небольшого ветряного двигателя, торчавшего у них над головами.

— Сюда! — И они очутились по щиколотку в мокром снегу. — Пойдите, я пойду вперед, — сказал проводник.

Грехэм плотнее завернулся в свой плащ и пошел за ними.

Теперь они пробирались по узкому открытому желобу, огороженному с обеих сторон металлическими стенками в половину человеческого роста. В одном месте желоб был переброшен с крыши на крышу. Грехэм нечаянно заглянул через стенку и вдруг увидел под собой узкий черный провал. На один миг он пожалел, что согласился бежать. У него закружилась голова. Он машинально месил ногами мокрый снег, не смея поднять глаз, боясь только одного: как бы ему не сделалось дурно.

Выбравшись из желоба, они снова оказались на широкой плоской крыше, мокрой от снега и местами, очевидно, полупрозрачной, потому что снизу проходил слабый свет и можно было даже видеть мелькающие огоньки. Грехэм со страхом ступал по тому прозрачному полу: ему казалось, что он идет по тонкому льду. Но проводник его бежал вперед как ни в чем не бывало, и это успокоило его. Пройдя эту крышу, они вскарабкались по скользким ступенькам на широкий карниз большого стеклянного купола и обогнули его. Из-под купола долетали звуки музыки, прорываясь отдельными нотами сквозь шум ветра. Внизу толпились люди: кажется, там танцевали. Но останавливаться было некогда: проводник все время торопил его.

Они полезли куда-то еще выше и очутились на широком ровном пространстве, сплошь уставленном ветряными двигателями. Один из них был так велик, что можно было различить только нижнюю половину его колеса: вертящиеся лопасти становились видимы, пролетая низом, и, уносясь вверх, терялись в темноте. Они довольно долго пробирались между колоссальными металлическими скреплениями этого двигателя и, наконец, вышли на другую прозрачную, но покатую крышу. Грехэм с удивлением увидел себя над площадью движущихся улиц, таких же, как те, на которые он смотрел с балкона три дня тому назад. На гладкой покатой поверхности крыши было так скользко, что им пришлось ползти на четвереньках.

Вся крыша была покрыта мокрым снегом, так что трудно было хорошо рассмотреть, что находится под ней. Где-то внизу виднелись лишь контуры зданий, настолько неясные, что нельзя было даже определить расстояния. Но ближе к коньку крыши стекло оказалось чистым, и, заглянув вниз, Грехэм увидел под со-

бой страшную глубину. У него голова закружилась, руки и ноги онемели, и, несмотря на настойчивые понукания проводника, он лег ничком на скате крыши и лежал, как пласт, не в силах шевельнуться. Далеко внизу, на дне глубокой ямы, копошились какие-то букашки — жители бессонного города с его неугасимым искусственным светом, — неслись платформы движущихся улиц, совершая свой нескончаемый путь.

Рассыльные, почтальоны, люди, спешившие по всевозможным неизвестным делам, стремглав летели вниз, скользя по кабелям. Хрупкие висячие мостики были тоже переполнены людьми. Ему казалось, что под ним гигантский улей, населенный людьми вместо пчел, и только тонкое стекло — он даже не знал, насколько крепкое, — не давало ему свалиться в этот улей с головокружительной высоты. Там, внизу, было светло и тепло, а он промок до костей и продрог. Неизвестно, как долго пролежал бы он на одном месте в полузабытьи, если б проводник не закричал ему с ужасом в голосе:

— Идите! Что же вы лежите! Идите скорей!

Он напряг все свои силы и взобрался на конек крыши. Тут, следуя примеру проводника, он сел и быстро съехал вниз по прогивоположному скату. «Хорошо, если в стекле нет трещин. Что, если я попаду на такую трещину?» — невольно подумал он, пока стремглав катился с этой скользкой горы. Но вот его ноги уперлись во что-то, и в следующую секунду он стоял на железной закраине крыши по щиколотку в талом снегу, благодаря судьбу за то, что под ним не было больше предательского прозрачного пола. Проводник его уже перелез через железную решетку на ровную площадь соседней крыши, где опять тянулись ряды огромных ветряных двигателей с вертящимися лопастями. Грехэм последовал за ним. Сквозь частый дождь снежных хлопьев смутно вырисовывались переплеты гигантских скреплений и доносилось ровное гудение колес. Вдруг в этот монотонный шум ворвались пронзительные звуки свистков. Необыкновенно сильные и резкие, они, казалось, неслись со всех сторон.

— Нас ищут! — вскрикнул проводник Грехэма в невыразимом ужасе.

В тот же миг кругом разлился ослепительный свет: ночь разом превратилась в сияющий день. На вертушках ветряных двигателей выросли высокие шести с прикрепленными к ним осветительными шарами, испускавшими целые снопы ярких белых лучей. Шесты с такими шарами тянулись по всем направлениям, теряясь в бесконечной перспективе. Шары горели спереди, сзади, повсюду, насколько можно было видеть сквозь снежную пелену.

— Становитесь сюда! — крикнул Грехэму проводник и толкнул его на металлическую решетку, тянущуюся по крыше узкой темной лентой между двумя снежными сугробами. Грехэма удивило, что это место было свободно от снега, но когда он стал на него, его окоченевшие ноги почувствовали тепло, и тут только он заметил, что от решетки шел пар.

— Бегите за мной! — раздался голос проводника уже в десяти ярдах дальше. И, не дожидаясь ответа, он бросился бежать по ярко освещенному пространству между двумя рядами ветряных двигателей. Грехэм, подгоняемый страхом, пустился за ним так скоро, как только несли его ноги. Его ищут... ловят... могут поймать! Нет, все, что угодно, только не попадаться больше в лапы Совету...

Через несколько секунд они уже ныряли между железными переплетами гигантских скреплений, под чудовищными движущимися колесами и рычагами, то исчезая в их тени, то снова появляясь в пятне яркого света. Вдруг проводник юркнул куда-то вбок и скрылся в полосе густой тени у подножия огромной подпорки. В следующую минуту Грехэм был подле него.

Они присели на корточки и выглядывали из своей засады, с трудом переводя дыхание.

Перед ними была странная, фантастическая картина. Снег перестал идти; лишь изредка то здесь, то там лениво опускался сверху запоздалый пушистый комок. Но вся окружавшая их широкая ровная площадь сверкала белизной, отчего тянувшиеся по ней движущиеся тени исполинских машин выступали еще рельефнее, еще резче и казались живыми титанами мрака. Кругом, куда ни взгляни, торчали переплеты металлических скреплений, сказочно огромных, работы нечеловеческих рук, и медленно в наступившем затишьи двигались широкие ободы гигантских колес, уходя сверкающими полукругами все выше и выше в светя-

щуюся мглу. В тех местах, где падали усеянные блестящими снежинок снопы света, было видно, как с яростной, неукротимой настойчивостью работали рычаги и неслись вверх и вниз бесконечные ремни, исчезая в черноте собственной тени. И, несмотря на всю эту мощную деятельность, на ту безустанную работу, так громко говорившую о сознательном плане, эти чудовищные машины среди снежной пустыни исключали всякую мысль о близком присутствии человека: казалось, что они существуют сами по себе — такие же безлюдные, неприступные и заброшенные, как какая-нибудь снеговая вершина Альп.

— За нами гонятся! — шепнул Грехэму проводник. — Мы не прошли еще и полдороги. Сидеть страшно холодно, но что поделаешь! Придется переждать, по крайней мере, пока снег пойдет гуще.

У него стучали зубы от холода.

— Где же Рыночная площадь? Где народ? — спросил Грехэм озираясь

Но тот ничего не ответил.

В это время опять поднялся ветер и повалил снег.

— Смотрите! Что это? — вскрикнул в испуге Грехэм, невольно съеживаясь еще больше.

Из-за крутящегося снежного вихря, в чернеющей пасти далекого неба, скользя по воздуху порывистыми взмахами и описывая неправильные круги, показалось что-то серое, бесформенное, быстро летевшее вниз. Остановившись на миг почти прямо над ними, оно описало круглую дугу и, широко распустив огромные крылья и волоча за собой хвост густого белого пара, понеслось в обратную сторону. Легко, как птица, оно скользнуло вверх, пролетело немного в горизонтальном направлении, описав полукруг, и скрылось за метелью. И между ребрами этого странного тела Грехэм успел рассмотреть двух маленьких человечков, занятых важным делом. Они осматривали местность — это было ясно: каждый держал перед собой что-то длинное, очень похожее на подозрительную трубу. С секунду они были отчетливо видны, потом стали быстро удаляться, становились все меньше и меньше, пока их не застлало снежной пеленой.

Проводник дернул Грехэма за рукав.

— Теперь бежим. Скорее! — сказал он.

И оба опять побежали под аркадой железных подпорок, ныряя под колеса и рычаги. Вдруг проводник

круто повернул назад. Грехэм, не ожидавший этого, налетел на него. Ярдах в двенадцати впереди чернела глубокая пропасть. Она тянулась направо и налево и, насколько можно было видеть, совершенно преграждала им путь.

— Делайте теперь то же, что я, — шепнул проводник.

Он лег на живот, подполз к краю обрыва, повернулся и осторожно спустил одну ногу. Потом, нащупав, очевидно, то, что искал, начал спускаться и исчез. Через секунду высунулась его голова.

— Это крайина крыши, — прошептал он. — Здесь мы можем все время пробираться в тени. Ползите за мной.

После минутного колебания Грехэм стал на четвереньки, подполз к провалу, заглянул в его черную глубину и обмер. На него напал такой страх, что он не мог шевельнуться, не мог даже заставить себя вернуться назад. Но это продолжалось недолго: минута слабости прошла. Он сел, осторожно свесил одну ногу, за которую тотчас же ухватились руки проводника, с ужасом почувствовал, что скользит вниз, в темную бездну... и вдруг стал обеими ногами на что-то твердое, расплескав жидкую грязь. Он мог только догадываться, что стоит в желобе крыши, так как кругом была непроницаемая тьма.

— Сюда! — услышал он у себя над ухом голос проводника и ощупью пополз за ним вдоль желоба, прижимаясь к стене. Это путешествие продолжалось не больше десяти минут, но ему оно показалось целым веком. Не было, кажется, той степени волнения и страха, которой он не пережил бы за эти десять минут. Он не чувствовал ни рук, ни ног от холода и усталости.

Желоб постепенно спускался. Вскоре они ползли уже на половине высоты здания. Над ними тянулись ряды каких-то длинных светлых пятен, похожих на привидения. «Завешенные окна», — догадался Грехэм. От одного из этих призраков-окон спускался кабель, чуть-чуть серея в темноте и исчезая нижним концом в черной части провала. В ту минуту, когда они подползали к этому кабелю, Грехэм почувствовал на своей руке руку проводника.

— Тише! — шепнул ему тот.

Он поднял голову в испуге и на голубовато-сером фоне туманного неба увидел распростертые крылья

летательной машины, медленно и бесшумно скользившей по отлогому наклону вниз. Через минуту машина описала полукруг, стала снова подниматься и скрылась.

— Не шевелитесь: они еще могут повернуть.

На мгновение оба окаменели. Потом проводник тихонько поднялся на ноги, нащупал в темноте спускавшийся от окна конец кабеля и стал что-то делать с ним.

— Что вы там делаете? — спросил его Грехэм.

В ответ раздался слабый крик. Проводник весь скорчился и прижался к стене. Грехэм нагнулся и заглянул ему в лицо: широко раскрытыми от ужаса глазами он всматривался в светлевшую над ними полоску неба. Грехэм перевел глаза в ту сторону и высоко-высоко над собой увидел в воздухе маленькое светлое пятнышко: это была летательная машина. Он видел потом, как расправились ее крылья, как она повернула и начала опускаться, вырастая с каждой минутой. Вот она долетела до угла крыши и, приняв горизонтальное направление, понеслась прямо на них.

Проводник снова схватился за кабель и лихорадочно принялся что-то с ним делать. Он бросил Грехэму какой-то предмет. Тот поймал его на лету и нащупал большой деревянный крест. Крест оказался прикрепленным к кабелю тонкими шнурами с петлями для рук из какого-то упругого вещества.

— Садитесь верхом на эту штуку, а руками возьмитесь за петли. Да смотрите крепче держитесь! — прошептал вне себя от волнения проводник.

Грехэм исполнил все в точности.

— Теперь прыгайте... Прыгайте ради самого бога!

Страшную минуту пережил Грехэм. Он радовался одному — что в темноте нельзя было видеть его лица. Он хотел ответить, спросить... но язык не слушался его. Он начал дрожать мелкой дрожью. Одним мгновенным испуганным взглядом он охватил парившую над ними тень, которая, как ему показалось, застилала собою все небо и быстро надвигалась на них.

Прыгайте же! Прыгайте скорее, или мы будем в их руках! — закричал проводник в отчаянии и, видя, что Грехэм не слушается, толкнул его в спину.

Он невольно качнулся вперед и в ту самую минуту, когда летательная машина была уже над его головой, с безумным, рыдающим криком, которого он не

мог удержать, ринулся в черную бездну, сидя на деревянном кресте и судорожно вцепившись руками в петли шнура. Что-то затрещало над ним, что-то быстро проползло, царапая по стене, и стало. Он слушал, как терлись о кабель шнуры его креста, в своем быстром полете, слышал крики аэронавтов. На один миг он почувствовал на своей спине чьи-то колени... Может быть, его хотели схватить... Но он стремглав неся вниз, падал всею тяжестью своего тела со все возраставшей быстротой. Вся его сила сосредоточилась в руках. Он не кричал только потому, что задыхался.

Вдруг в глаза ему блеснул ослепительный свет, что заставило его еще крепче сжать в руках петли шнура. Мимо него промелькнули осветительные шары, висячие мостики, сети переплетающихся кабелей. Под ним была большая площадь движущихся улиц: он узнал ее. Все это несло вверх мимо него. На один миг в мозгу его мелькнуло впечатление большого круглого отверстия в стене, зиявшего ему навстречу.

Он снова очутился в темноте и падал, все падал, сжимая немеющими пальцами петли шнура. Потом... Что это? Опять потоки света... и голоса... Много, много кричащих человеческих голосов... И он влетает в яркоосвещенную огромную комнату, переполненную ревушей толпой. Народ! Его народ!.. Навстречу ему несутся какие-то подмости, напоминающие сцену в театре. Кабель его начинает загибаться петлей, направляясь к круглому отверстию вправо. Его полет замедляется. Вот он уже различает отдельные возгласы: «Спящий с нами! Повелитель и властелин! Спасен!» Подмости приближаются со все уменьшающейся быстротой. И вдруг...

Он услышал испуганный крик человека — проводника, сидевшего у него за спиной, и снизу этот крик был подхвачен тысячью голосов. Он почувствовал, что уже не скользит больше по кабелю, а падает вместе с ним. Зал огласился дикими воплями. Он уперся во что-то мягкое протянутой рукой, навалившись на нее всем своим весом, и это ослабило силу падения...

Когда он очнулся, он понял, что лежит неподвижно. Ему не хотелось шевелиться, но его подняли и понесли. Потом, когда он вспоминал об этом, ему казалось, что его положили на каком-то возвышении и дали ему выпить чего-то, но он не помнил наверное. Про своего проводника он как-то совершенно забыл

и не заметил, куда тот девался. Когда сознание окончательно вернулось к нему, он был на ногах, его поддерживал десяток заботливых рук. Он стоял в небольшой комнатке, открытой в сторону зала и напоминавшей глубокую нишу, или альков, или, пожалуй, ложу бенуара, какие обыкновенно бывали в театрах его времени. И в самом деле, уж не театр ли это помещение, куда он попал?

У него звенело в ушах от несмолкаемого крика, который раздавался кругом. Толпа ревела тысячами глоток: «Спящий! Спящий! Это он! Он с нами наконец! С нами наш повелитель и властелин! Он жив! Он спасен!»

Грехэм не различал отдельных людей. Он видел лишь общую картину огромного зала, битком набитого народом. Перед ним белели ряды обращенных к нему человеческих лиц, мелькали машущие руки, развевающиеся одежды. Это человеческое море влекло его к себе таинственными непреодолимыми чарами. Перед ним тянулись галереи, балконы, зияли огромные арки, позволяя видеть широкие коридоры, уходящие вдаль. И все это было заполнено людьми, густою плотной толпой, ликующей и кричащей. На подмостках сцены недалеко от него лежал, свернувшись гигантской змеей, упавший кабель, подрезанный аэронавтами у верхнего конца. Теперь его убирала какие-то люди. Но все это проносилось перед ним, как во сне. От неистовых криков звенело в ушах, и все предметы прыгали перед глазами.

Шатаясь на нетвердых ногах, он оглянулся на окружавших его. Кто-то поддержал его под локоть.

— Проведите меня в маленькую комнату... в маленькую, — повторил он, почти плача.

Больше он ничего не мог сказать.

Кругом засуетились. Какой-то человек в черном выступил вперед и взял его за свободную руку. Перед ним поспешно распахнули дверь. Он шел, шатаясь как пьяный. Его подвели к стулу. Он тяжело опустился на него и закрыл лицо руками. Он весь дрожал как в лихорадке: он не владел собой. С него сняли тяжелый теплый плащ, но когда и кто — он не помнил. Он заметил только, что его пунцовые брюки совсем почернели от грязи. Вокруг него бегали, о чем-то хлопотали, что-то делали, но все это проходило мимо его сознания, не задевая его.

Итак, он спасся. Об этом кричали сотни голосов. Он спасся, он жив. Он среди своих сторонников, среди друзей.

Он судорожно вздыхал, борясь со своим волнением, стараясь подавить рыдания, подступавшие ему к горлу; потом затих и остался сидеть, как сидел, — закрывшись руками. А из зала неслись ликующие крики народа, который его спас.

Глава IX

НАРОД ИДЕТ

Кто-то протягивал ему стакан с каким-то прозрачным напитком. Он поднял голову и увидел перед собой черноволосого молодого человека в желтом костюме. Он выпил залпом и ожил. Около него, указывая рукой на полуоткрытую дверь, которая вела в зал, стоял еще какой-то высокий человек в черной мантии и что-то кричал ему в ухо, но что именно, нельзя было разобрать за оглушительным шумом, доносившимся из зала. Немного подальше стояла молодая девушка в серебристо-сером платье, и Грехэм, несмотря на всю свою растерянность, заметил, что она очень хороша собой. Ее темные глаза смотрели на него с удивлением и любопытством; ее губы дрожали. В полуоткрытую дверь была видна часть зала, битком набитого народом. Оттуда неслась неровный гул голосов, стук топчущих ног, рукоплескания и крики. Весь этот гам то замирал, то опять разрастался, оглушая, как гром. Так продолжалось все время, пока Грехэм был в маленькой комнате. По движению губ человека в черном он догадывался что тот старается ему что-то объяснить.

С минуту он бессмысленно смотрел перед собой, потом вскочил и схватил за руку этого кричащего человека:

— Скажите мне: кто я? кто я?

Стоявшие кругом подались вперед, стараясь слышать что он сказал.

— Кто я? — повторил он, с волнением всматриваясь в окружающие его лица.

— Они ничего ему не сказали? — воскликнула девушка в сером.

— Говорите же, говорите! — кричал Грехэм.

— Вы — властелин земли: вам принадлежит полмира.

Он не верил своим ушам, не смел верить. Не хотел ни слышать, ни понимать.

Он опять прокричал во весь голос:

— Три дня, как я проснулся, три дня, как я в тюрьме, догадываюсь: у вас в этом городе идет какая-то борьба... Ведь это Лондон?

— Да, — ответил темноволосый молодой человек.

— Ну, а те, что совещались в большом зале, где статуя Атласа? Кто они? Какое отношение они имеют ко мне? Я чувствую, что они говорили обо мне. Мне кажется, что, пока я спал, или весь мир сошел с ума, или я сам. Что они хотели сделать со мной? Ведь они нарочно усыпляли меня? Зачем им это понадобилось?

— Чтобы не дать вам очнуться, — сказал молодой человек в желтом. — Чтобы не допустить вашего вмешательства.

— Но почему?

— Потому что вы Атлас, сэр. Мир держится на ваших плечах. Они правят вашим именем.

Шум и крики, доносившиеся из зала, уже несколько минут, как затихли. Раздавался только чей-то один ровный голос. Но не успел человек в желтом договорить своей последней фразы, как в зале, покрывая его слова, снова поднялся оглушительный гвалт: рев, топот ног, ликующие возгласы; доносились и отдельные голоса, хриплые и пронзительные, перебивавшие друг друга. И все время, пока продолжался этот гам, люди, находившиеся в маленькой комнате, не могли разговаривать между собой.

У Грехэма все смешалось в голове. То, что он сейчас узнал, никак не укладывалось в его сознании.

— Совет, — повторил он растерянно. Потом, хватаясь за неожиданно всплывшее в его памяти имя, спросил: — А кто такой Острог?

— Это наш вождь, организатор восстания, и мы действуем вашим именем.

— Моим именем? А вы кто? И почему его здесь нет?

— Он послал нас. Я его брат, сводный брат. Мое имя Линкольн. Он хочет, чтобы вы показали наро-

ду, а потом будет просить вас прийти к нему. Затем-то он нас и послал, а сам он отдаст приказания в Главном управлении ветрянных двигателей. Народ скоро двинется. Он восстает...

— От вашего имени! — подхватил темноволосый молодой человек. — Они давили, угнетали нас, делали, что хотели, и, наконец, даже...

— От моего имени! От имени властелина земли?

Среди затишья, наступившего в зале в эту минуту, отчетливо прозвучал голос темноволосого молодого человека, громкий и негодующий. Весь дрожа от волнения, он прокричал:

— Никто не ожидал, что вы проснетесь. Они ловко действовали, проклятые тираны. Но они ошиблись в расчете. Они не могли решить, что с вами делать теперь. усыпить ли вас снова, или просто убить.

Опять гул в зале покрыл собой все звуки.

Человек, назвавший себя Линкольном, подошел вплотную к Грехэму.

— Острог уже все подготовил. Говорят, скоро начнется сражение. План его уже выработан. Острог — вполне верный человек! Вы можете на него положиться. Народ организован. Мы захватим все кабели.. Может быть, Острог уже распорядился сделать это. А потом...

— Здесь, в этом театре, собралась только часть наших сил, — вмешался молодой человек в желтом. — У нас пять мириад обученных людей.

— У нас есть оружие, есть предводитель, — закончил Линкольн. — Их полиция покинула улицы и заперлась в... — конца фразы нельзя было расслышать за шумом. — Теперь или никогда! Совет висит на волоске. Они не могут положиться даже на армию.

— Слышите, народ вас зовет!

Мысли Грехэма кружились, не находя выхода в этом хаосе. Его душевное состояние напоминало бурную лунную ночь, когда месяц то вынырнет из-за туч бледным призраком, то снова спрячется и все погрузится в безнадежную тьму.

Он — властелин земли, и этот властелин земли промок, как губка, ползая на крышах по грязному талому снегу. Вся быстрая смена впечатлений представляла непрерывный ряд контрастов. С одной стороны, Белый Совет — каких-то восемь человек, но за ними власть и дисциплина, — тот самый Белый Совет, от

которого он только что убежал. С другой — эти многотысячные толпы, плотная масса людей, взывающих к нему, провозглашающих его властелином. Та сторона держала его в заточении, решала, жить ему или умереть. Эти же тысячи народа, кричащего вон за той маленькой дверью, спасли его, помогли ему вырваться на волю. Но почему так делалось и зачем, он не понимал.

Вдруг дверь из зала распахнулась. Голос Линкольна потонул в ворвавшейся гаме. Вслед за тем в маленькую комнату ввалилась толпа. Бывшие впереди, оживленно жестикулируя, подбежали к Линкольну. Губы их шевелились, но слов нельзя было разобрать, можно было лишь догадаться по доносившемуся из зала тысячеголосому крику, что они говорили: «Покажите нам Спящего!» К этому примешивались отдельные голоса, призывавшие к тишине и порядку.

Грехэм взглянул в открытую дверь и увидел, как картину в рамке, часть зала, представлявшего сплошную массу взволнованных человеческих лиц — мужских и женских, — поднятых рук и развевающихся светло-голубых одеяний. Все эти люди кричали. Какой-то оборванец в темно-коричневом балахоне, худой, как скелет, стоял на стуле и размахивал черным флагом.

Грехэм встретил взгляд девушки в ссром и прочел в нем удивление и ожидание. Чего хотят от него эти люди? Каким-то чутьем он угадал, что настроение толпы изменилось: теперь в этих криках, в этом общем реве слышался призыв к бою. В его душе что-то перевернулось. Он сам не понимал, какое влияние так преобразило его. Но минута слабости, растерянности прошла. Стараясь изо всех сил, чтобы его услышали, он стал спрашивать ближайших к нему, чего от него хочет народ.

Линкольн кричал ему в ухо, но он не слышал его. Все остальные, кроме молодой девушки, энергичными жестами приглашали его войти в зал.

Что это он слышит? Дикий гам сменился стройным пением. Пели все поголовно, отбивая такт ногами. Это было необыкновенное пение: человеческие голоса как будто неслись в волнах могучего потока инструментальной музыки, напоминавшей орган. Звуки сливались, переплетались, рисуя картину марширующих войск, развевающихся знамен, всей торжественной обстановки выступления в бой.

Грехэма увлекали к двери. Он машинально повиновался. Это мощное пение захватило его, приподняло, вдохнуло в него мужество. Перед ним открылся весь зал: широкое, волнующееся море цветных одежд и флагов.

— Сделайте им рукой знак приветствия, — сказал ему Линкольн.

— Подождите, накиньте на него вот это, — раздался голос с другой стороны.

Чьи-то руки задержали его в дверях, и на плечах у него очутился длинный черный плащ, ниспадающий мягкими складками. Он высвободил одну руку и пошел за Линкольном. Возле себя он увидел девушку в сером. Лицо ее сияло одушевлением, рука была протянута вперед. Она казалась ему в эту минуту воплощением чудной музыки, которая так преобразила его. Он прошел в дверь и очутился в том самом алькове, куда он свалился, когда перерезали канат, — и в тот же миг широкая разлившаяся волна музыки упала и рассыпалась пеною ликующих возгласов. Альков действительно оказался ложею огромного театра, очень сложной архитектуры, с множеством балконов, галерей, расположенных амфитеатром, ярусов и высоких арок в глубине. Продолжая следовать за Линкольном, Грехэм прошел на сцену и стал лицом к собравшейся толпе. В глубине театра, прямо против себя, он увидел устье широкого открытого прохода, переполненного людьми, как и весь зал. Из всей этой живой колышущейся массы вдруг выделялась какая-нибудь отдельная фигура или лицо, на один миг овладевала его вниманием и потом снова сливалась с толпой. Прямо против сцены мелькнуло лицо хорошенькой женщины. Ее несли трое мужчин, высоко приподняв над головами. С развевающимися волосами, горящими глазами, она смотрела в его сторону и махала зеленым жезлом. Недалеко от этой группы какой-то старик с бледным изнуренным лицом с трудом отставивал свое место в общей давке, а за ним виднелась лысая голова с широко разинутым беззубым ртом. Какой-то голос выкрикивал таинственное имя Острог. Но все эти мимолетные впечатления потонули в том море неизведанных чувств, которые поднялись в нем, когда возобновилось мощное пение под музыку. Все начали снова отбивать такт. Зеленые жезлы склонялись в воздухе в знак приветствия. Вдруг он увидел,

что ближайšie к сцене ряды тронулись с места. Они прошли мимо него, направляясь к высокой арке, с криком:

«В Совет! В Совет!». Он поднял руку. Раздался восторженный рев. Он чувствовал, что надо бы сказать им что-нибудь ободряющее. На языке у него вертелись смелые, вдохновенные слова. Он протянул руку по направлению к арке и закричал: «Вперед!». Теперь они уже не отбивали такт на месте: они маршировали под музыку. Кого только не было в этой толпе: бородатые, взрослые люди, старики, юноши, нарядные женщины с обнаженными руками, молоденькие девушки — все люди нового века. Богатые наряды и потерявшие цвет лохмотья перемешивались в этом стремительном вихре голубых одежд. Огромное черное знамя, колыхаясь над головами, повернуло вправо. Мимо него промелькнули негр в голубом балахоне, сморщенная старуха в желтом платье, два китайца. Какой-то высокий темноволосый юноша с болезненным лицом и горящими глазами подбежал к самой рампе, прокричал какое-то приветствие и снова пошел за другими, оглядываясь назад. Головы, руки, флаги, жезлы — все колыhalось в такт.

Перед ним выплывали отдельные лица, встречались с ним глазами и уносились дальше общим потоком. Ему делали приветственные знаки, кричали что-то дружелюбное, хотя он и не слышал слов. Лица были большею частью красные, возбужденные, но попадались и смертельно бледные, отмеченные печатью болезней; и не одна рука, посылавшая ему привет, поражала своей худобой. Вот они, люди нового века! Странное, фантастическое сборище! По мере того, как этот широкий живой поток проносился мимо него слева направо, боковые ярусы и коридоры зала, как притоки, непрерывно вливали в него все новые и новые массы людей. Основной мотив песни обогащался гулками отголосками, которые со всех сторон посылали величественные своды арок. Звуки плыли, летели вперед; стремительно шли вперед и люди. Казалось, весь мир марширует в такт этим звукам. Он чувствовал, что и сердце его бьется в такт. Людской поток все расширялся и ускорял свой бег.

Линкольн потянул его за собой. Бессознательно подчиняясь движению его руки, Грехэм повернул в сторону арки и, сам того не замечая, тоже зашагал в

такт, подгоняемый бодрящими звуками песни. Все это шествие двигалось вниз по отлогому спуску. Он смутно сознавал, что перед ним расчищают дорогу, что его окружает почетный караул и что Линкольн не отстает от него ни на шаг. Услужливые руки расталкивали толпу в обе стороны. Он видел перед собой черные плащи своих телохранителей, маршировавших по трое в ряд. Его провели по узкому проходу с железными решетками по бокам, и вдруг он увидел себя над улицей, на открытой галерее, под которой двигалась вся масса народа, не переставая приветствовать его громкими криками. Он не знал, куда его ведут, да и не стремился узнать.

Глава X

БИТВА В ТЕМНОТЕ

Они шли по галерее, висевшей на большой высоте. Перед ним и за ним маршировал его караул. Все широкое русло движущихся улиц внизу кипело народом, быстро двигавшимся влево. Люди кричали, махали шляпами, протягивали к нему руки... Они кричали, приближаясь, кричали, проходя мимо, кричали, удаляясь, пока непокрытые головы их не исчезали в далекой, постепенно суживающейся перспективе электрических огней.

Теперь песня гремела при поддержке оркестра и разливалась вольнее. К размеренному топоту марширующих ног примешивались беспорядочные шаги людей, сбегавшихся из боковых улиц.

Но странная вещь: здания на противоположной стороне улицы казались пустыми, висячие мосты были безлюдны, и ни одной души не спускалось по кабелям, переплетавшимся над всем этим широким пространством. Это его поразило. Он невольно подумал, что и тут должно было бы царить такое же оживление, как и внизу.

У него вдруг явилось странное, беспокойное ощущение, как будто что-то колебалось, дрожало у него внутри. Он остановился. Его телохранители, бывшие впереди, продолжали идти прежним шагом, задние остановились вместе с ним. Их лица были обращены

в одну сторону. Он взглянул по этому же направлению и понял, в чем дело: дрожали огни осветительных шаров.

Сначала он подумал, что это случайное явление, не имеющее никакого отношения к тому, что делается внизу. Каждый из огромных шаров ослепительно белого цвета то съеживался и почти погасал, точно его сжимали невидимые лапы, то опять разгорался, отчего свет быстро чередовался с темнотой.

Но скоро Грехэм догадался, что то мерцание огней отнюдь не случайность.

Вся картина — общей вид домов, улиц и толпы, проходившей внизу, — резко изменилась: все спуталось, перемешалось в этой борьбе света с тьмой. Отовсюду выскакивали чудовищные тени, они подпрыгивали вверх, расширялись, росли с невероятной быстротой, на миг отступали, затем вновь устремлялись вперед еще более грозно. Пение и размеренный топот тысяч марширующих ног прекратились. Слышались только поспешные шаги групп, бегущих в разных направлениях, да крики: «Гасят огни! Гасят огни!» Грехэм взглянул вниз. При судорожно пляшущем в предсмертной агонии свете огней он увидел, что все широкое пространство улицы превратилось в арену жестокой борьбы. Огромные белые шары света помутнели, затянулись красноватой дымкой; они мигали быстрее и быстрее, как будто не решаясь ни разгореться, ни погаснуть, потом перестали мигать и превратились в красные угольки, чуть тлеющие среди надвинувшейся тьмы. В десять секунд все погасло, и не осталось ничего, кроме торжествующего мрака, который, как черный дракон, поглотил все эти мириады людей.

Грехэм почувствовал, что его схватили за руки. Кто-то наступил ему на ногу. Чей-то голос прокричал ему в ухо:

— Не бойтесь, мы с вами.

Грехэм стряхнул с себя оцепенение, овладевшее им в первую минуту, быстро повернулся и, стукнувшись лбом о голову Линкольна, прокричал в свою очередь:

— Что значит эта темнота?

— Совет распорядился перерезать провода, которые служат для освещения города. Придется подождать, пока... народ заставит их..

Его голос потерялся, заглушенный ревом толпы. Раздавались голоса: «Спасайте Спящего! Берегите Спящего!» Один из телохранителей Грехэма наткнулся на него в темноте и больно ушиб ему руку.

Вокруг него, как вихрь, носился дикий гам, все разрастаясь, становясь все громче, все яростнее. До него долетели отдельные слова, обрывки фраз, но прежде чем он успевал их осмыслить, они тонули в море других оглушительных звуков. Голоса перекликались, отдавая противоречивые приказания. Где-то очень близко раздались пронзительные крики.

Кто-то крикнул над его ухом: «Красная полиция!»

Вдали слышался треск, и вслед за тем вдоль улицы по краям запрыгали слабые искры. При этом мимолетном свете Грехэм различил головы и фигуры вооруженных людей, резко выступавшие при каждой вспышке искры и тотчас же снова исчезающие в темноте. Треск все усиливался приближаясь; искры вспыхивали по всей улице, то там, то здесь, чаще и чаще.

Вдруг темнота расступилась, точно отдернули черную завесу. Сноп ярких лучей света почти ослепил его на мгновение. Он заглянул вниз и в ужасе отшатнулся: там кипела отчаянная борьба. По улице понеслись угрожающие крики. Он взглянул вверх, чтоб узнать, откуда идет этот ослепительный свет. Высоко над его головой висел на кабеле человек, держа в руке сверкающую звезду, свет которой разгонял темноту. На этом человеке был красный мундир.

Взгляд Грехэма снова скользнул вниз. Ему бросилась в глаза кучка людей, выделявшаяся красным пятном неподалеку от галереи. Вскоре он убедился, что это были солдаты красной полиции. Толпа оттеснила их на одну из крайних верхних платформ, и теперь они стояли, прижавшись спинами к выступу какого-то здания и защищались, как могли. Оружие сверкало, зеленые жезлы взвивались вверх и опускались, поражая противника струйками сероватого дыма. Люди падали, и на их месте тотчас же вырастали другие.

Вдруг свет звезды погас, крошечная тьма поглотила эту сцену кровавой борьбы.

Грехэм почувствовал, что его толкают назад, вдоль галереи. Возле него прокричали какую-то фразу, но он был слишком ошеломлен, чтобы вслушиваться.

Его прижали к стене, и он слышал, как мимо него бежали люди. Ему показалось, что между его телохранителями завязалась борьба.

Вдруг снова вспыхнула звезда, и все опять залилось ослепительным белым светом. Грехэм увидел, что отряд красной полиции увеличился и подвинулся ближе, передние ряды спустились уже почти до середины улицы.

На нижних галереях противоположных зданий тоже появилось много красных солдат. Они стреляли через головы товарищей в самую гущу толпы, нападавшей на них. Тут только понял Грехэм, что все это значило: народ в самом начале своего выступления попал в засаду. Все, естественно, пришли в замешательство, когда погасли огни, и красная полиция воспользовалась этим для нападения. Вдруг он заметил, что его оставили одного: его караул и Линкольн были далеко в том конце галереи, откуда его привели. Они отчаянно махали руками и бежали к нему. В эту минуту по улице пронесся дикий крик. Весь фасад противоположного здания покрылся красными мундирами полицейских солдат. Все они показывали пальцами в его сторону, что-то крича. И в то же время народ внизу кричал в ужасе: «Спящий, Спящий! Спасайте Спящего!»

Что-то ударилось в стену над его головой. Он поднял глаза и увидел на стене звездообразный серебристый отпечаток расплюснувшейся пули. Кто-то схватил его за руку. Он обернулся. Подле него стоял Линкольн. Хлоп! — опять удар в стену... В него стреляли два раза и оба раза промахнулись, — он только теперь об этом догадался. Он взглянул в сторону улицы — все опять скрылось; вторая звезда погасла.

Крепко держа его за руку, Линкольн потащил его за собой.

— Скорей, скорей, пока темно, — кричал он.

Энергия Линкольна заразила Грехэма. Как ни велико было его оцепенение, но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Им овладел животный страх смерти. Он бежал без оглядки, спотыкаясь в темноте, наткнулся на своих телохранителей, ожидавших его, и побежал дальше вместе с ними. Единственной его мыслью было: «Скорее! Скорее! Подальше от этой страшной галереи, где он служит мишенью».

Почти сразу же после второй звезды загорелась третья. Вместе с появлением света раздался торжест-

вующий крик по ту сторону улицы и другой, ответный внизу. Вся середина улицы, как он успел заметить, была уже занята красными солдатами. Их лица были обращены к нему. Они тоже кричали.

Во всем этом было что-то фантастическое, непостижимое, и все это касалось его, Грехэма, вращалось вокруг него, как вокруг центра. Ведь эти красные солдаты — гвардия Совета, задавшегося целью снова захватить его.

Грехэм не знал, что направленные в него выстрелы были первыми за последние полтора года и что только благодаря этому он остался цел. Он слышал, как пули шлепались о стены, один раз ему обожгло ухо брызгами расплавленного металла. Он видел, не глядя, что весь отряд красной полиции, засевшей в противоположном здании, целится только в него. Один человек из его караула, бежавший впереди, упал. Грехэм уже не мог остановиться. Он перескочил через извивавшееся в предсмертных муках тело.

В следующий момент он очутился в каком-то совершенно темном проходе и с разбегу налетел на кого-то, бежавшего, очевидно, навстречу. Потом почти скатился с лестницы в наступившей темноте, еще раз наткнулся на кого-то, ударился руками в стену и только благодаря этому устоял на ногах. Тут на него навалилась толпа бежавших следом за ним. Общим течением его отнесло куда-то вправо. Его прижали к стене и так сдавили, что чуть не переломали ему ребра. Был момент, когда он думал, что сейчас задохнется. Но толпа, захватившая его в своем стремительном беге, понесла его дальше. Его жали со всех сторон, минутами ноги его не касались пола. Он тоже толкался, стараясь выбраться из давки, но безуспешно. Он слышал испуганные крики: «Они идут! Они идут!» Где-то совсем близко раздавался подавленный стон, и вслед за тем он почувствовал под ногами что-то мягкое, живое... Кругом раздавался треск выстрелов. Кричали: «Спящий! Где Спящий?» Но он был так ошеломлен всем происходящим, что не мог заставить себя заговорить. Он потерял свою личную волю, превратился на время в слепую бессознательную частицу охваченного паникою целого. Вместе с другими он пробирался вперед, сопротивляясь натиску задних рядов, насколько у него было сил. Споткнувшись о какую-то ступеньку, он чуть не упал и

вслед за тем почувствовал, что он подымается вверх по какому-то крутому уклону. Вдруг лица окружавших его людей вынырнули из темноты, испуганные, растерянные, мертвенно-бледные под яркими лучами ослепительно-белого света. Совсем близко от себя, через два-три человека, он увидел молодое лицо — лицо юноши, которое даже не особенно поразило его в тот момент, но потом долго вспоминалось ему. Этот юноша, казалось, шел вместе с другими, но его несло напором толпы: перед тем он получил смертельную рану и теперь был уже мертв.

Очевидно, загорелась четвертая звезда. Ее ослепительный свет широкими потоками вливался через огромные окна и арки какого-то гигантского здания, в котором очутился Грехэм. Теперь он видел, что его окружает плотная масса черных фигур и что он вместе со всеми идет по партеру того самого театра, откуда он так торжественно вышел несколько часов тому назад. Но теперь полосы яркого света снаружи перемежались с резкими тенями, падавшими от простенков, и это придавало всей картине что-то зловещее, призрачное. Неподалеку от Грехэма красная полиция прокладывала себе путь сквозь толпу. Он не знал, заметили ли его красные. Он стал искать глазами Линкольна и скоро увидел его возле сцены, окруженного плотной черной кучкой революционеров. Он тоже озирался во все стороны, как будто отыскивая его, Грехэма. Их разделяла вся масса толпы.

Позади Грехэма, за низким барьером, подымались места амфитеатра в ту минуту пустые. У него вдруг блеснула новая мысль. Он стал протискиваться к барьеру. В тот момент, когда он, наконец, добрался до него, свет погас. Пользуясь этим, он сбросил с себя черный плащ, который не только стеснял его движения, но и делал его слишком заметным, потом перелез через барьер и пустился наугад в темноту, пробираясь между креслами амфитеатра. С наступлением темноты выстрелы прекратились и крики затихли. Вдруг он споткнулся о ступеньку, которой не ожидал, и упал. В эту минуту все снова осветилось ярким светом. Лучи пятой звезды лились в широкие окна театра. Снова затрещали выстрелы, снова поднялась буря криков.

Грехэм хотел встать, но его опять сшибли с ног. Он увидел возле себя небольшую кучку черных: пря-

чась за креслами, они стреляли в красную полицию, расположившуюся внизу. Шальные пули попадали в стены, в мягкую обивку кресел, оставляя блестящие выемки на их металлических ручках. Грехэм инстинктивно присел за спинку кресла. Так же инстинктивно запомнил он расположение выходов и наметил ближайший из них, с тем чтобы пробраться в него, как только наступит темнота.

Перепрыгивая через ряды кресел, в его сторону бежал с зеленым жезлом в руке молодой человек в светло-голубом.

— Эй, посторонись! — закричал он, чуть не задев его ногой по голове и соскакивая на пол возле него. Потом посмотрел на него во все глаза, очевидно не узнавая, повернулся назад, выстрелил и, крикнув «к черту Совет!», приготовился снова стрелять. В этот момент Грехэму показалось, что у молодого человека вдруг исчезла половина шеи, и на своей щеке он почувствовал теплую струю. Зеленый жезл остановился на полдороге, не успев выпустить заряда. Человек в голубом на секунду застыл в той позе, как стоял, потом начал тихо склоняться вперед. Лицо его потеряло выражение, ноги подвернулись, и он упал. И в тот же миг погасла пятая звезда и все погрузилось во мрак. В смертельном ужасе Грехэм вскочил, бросился к проходу, споткнулся обо что-то в темноте, упал, снова вскочил на ноги и побежал дальше. Когда загорелась шестая звезда, он был уже под сводами коридора. Теперь он мог еще прибавить ходу. Он пробежал весь коридор, и в ту минуту, когда он поворачивал за угол, свет снова погас. Кто-то налетел на него. Его сшибли с ног, чуть не раздавили. Не без усилий ему удалось подняться, и он очутился в невидимой толпе таких же беглецов, как и он, мчавшихся в одном направлении. Их всех поглощала одна и та же мысль — бежать подалее от этого страшного места, где лилась кровь. Его толкали, толкал и он; несколько раз он терял почву из-под ног, сжатый со всех сторон как тисками; но, как только путь становился свободен, снова пускался бежать.

Несколько минут он бежал в темноте извилистым коридором, который вывел его на открытое место. Тут он увидел широкую лестницу и вместе с другими спустился по ней на большую площадь. Здесь тоже толпился народ. Кричали: «Они идут! Идут красные!

Стреляют! Бегите! Скорее на Седьмую улицу! Там безопаснее!» В толпе были и женщины и дети. Все протискивались к узким сводчатым воротам, смутно видневшимся в конце площади. Грехэм в числе прочих прошел в эти ворота и очутился на другой площади, еще больших размеров. Откуда-то сверху сюда проникал тусклый свет. Окружавшие его черные фигуры рассыпались вправо и влево и, насколько можно было рассмотреть при этом тусклом свете, побежали вверх по низким широким ступеням. Он наудачу последовал за теми, которые повернули направо. Поднявшись на верхнюю ступеньку и почувствовав себя на просторе, он остановился. Перед ним тянулись ряды скамеек и возвышался небольшой киоск. Он спрятался в тени его широкой крыши и стал осматриваться, тяжело переводя дух. Теперь только он догадался, где он: широкие ступени, по которым он только что поднялся, были платформы движущихся улиц, стоявшие на месте. Они подымались террасами в обе стороны. За ними огромными призраками вставали гигантские здания с чуть заметными надписями покрывавших их реклам, а над ними, сквозь переплеты висячих мостов и сети кабелей, тянулась полоса бледного неба. Мимо него пробежало несколько человек. Судя по их воинственным возгласам, они спешили присоединиться к сражающимся.

С дальнего конца улицы доносился треск выстрелов. Там, очевидно, сражались. Но это была не та улица, на которую выходил театр и где он сам чуть не был убит в общей свалке. Оттуда уже не могло быть слышно выстрелов: это было слишком далеко.

Дрались из-за него — смешно подумать! Эта мысль поразила его: он был как человек, который с увлечением читал интересную книгу и вдруг начал анализировать то, что раньше воспринимал непосредственным чувством. До сих пор он почти не замечал деталей: слишком уж сильно было общее впечатление. Странно: перед ним ярко вставали побег из тюрьмы, огромная толпа в театре, нападение красной полиции на народ; но ему стоило больших усилий восстановить в памяти момент своего пробуждения, однообразные часы, проведенные им в заточении, и то, о чем он думал тогда. Мысли его как-то сами собой перескакивали через этот промежуток времени и

переносили его в далекое прошлое, к мрачным красотам корнуэлского берега и к той скале у Пентарджена, под которой он сидел два века тому назад. Контраст между прошлым и настоящим был так резок, что не верилось в реальность всего окружающего. Только теперь эта пропасть понемногу заполнялась, и он начинал уяснять себе свое положение.

Теперь оно больше не было для него загадкой, как в дни его одиночного заключения. Разгадка уже намечалась в общих чертах. Каким-то непонятным образом он оказался владельцем половины мира, и крупные политические партии боролись из-за него. На одной стороне был Белый Совет с его красной полицией, твердо решившийся присвоить его права, а может быть, и лишить его жизни; на другой — освободивший его революционный народ со своим невидимым вождем Острогом. Весь гигантский город содрогается от агонии этой междоусобной борьбы. Так вот к чему пришел мир, его мир!

— Не понимаю, ничего не понимаю! — вырвалось у него

Ему посчастливилось ускользнуть от обих враждующих партий. Здесь, под прикрытием темноты, он свободен пока. Ну, а дальше что? Что будет с ним дальше и что происходит теперь там? Он живо представил себе, как рыщут красные, разыскивая его и обращая в бегство революционеров в черном.

Так или иначе благодаря счастливой случайности у него есть время передохнуть. В этом укромном уголке его никто не заметит, и он может без помехи наблюдать. Его взгляд машинально скользил по смутным очертаниям гигантских зданий, и он с невольным изумлением спрашивал себя: неужели и над этой громадой хитроумных сооружений восходит солнце и сияет природа все тем же знакомым милым светом дня?

Мало-помалу он отдохнул и пришел в себя. Его платье высохло. Он решился выйти из своей засады и отправился бродить. Много миль прошел он по полутемным улицам, ни с кем не заговаривая и не привлекая ничьего внимания на себя, — такая же незаметная темная фигура, как и все другие, попадавшиеся ему на пути. Никому и в голову не приходило, что это тот самый человек из далекого прошлого, который стал предметом всех вожделений, нечаянно оказавшись собственником половины мира. Всякий

раз, как он попадал на освещенное место или слышал впереди оживленные голоса собравшейся толпы, он поскорее сворачивал в сторону, в какой-нибудь глухой переулок, боясь, чтобы его не узнали. И хоть он ни разу больше не натолкнулся на сражающихся, в воздухе тем не менее чувствовалась война. Один раз ему пришлось спрятаться, чтобы не попасться на глаза быстро проходившему по улице отряду, который по пути все увеличивался новыми добровольцами. Тут были не только мужчины, но и женщины, и все были вооружены. Борьба сосредоточивалась, по-видимому, в той части города, которую он оставил за собой. Минутами до него долетал издали треск выстрелов и крики, показывавшие, что там еще дерутся. В нем боролись любопытство и страх. Страх одержал верх, и, насколько он мог ориентироваться, он продолжал удаляться от места сражения. Ни в ком не возбуждая подозрений, он спокойно шел в полутьме и вскоре перестал слышать даже отголоски битвы. Навстречу ему попадалось все меньше и меньше народу. Чем дальше он шел, тем проще становилась архитектура зданий, наконец потянулись постройки, не похожие на жилые дома: очевидно, он попал на окраину, где были товарные склады. Теперь на улице, кроме него, не было ни души. Он замедлил шаги.

Усталость давала себя чувствовать. Иногда он сворачивал в сторону и присаживался на какую-нибудь из многочисленных скамеек верхних платформ, но от сознания своей причастности к происходящей борьбе на него всякий раз нападало такое лихорадочное беспокойство, что он не мог долго усидеть на месте.

Вдруг его отбросило в сторону. Раздался оглушительный грохот; по улице пронесся порыв холодного ветра. Кругом зазвенели стекла. Посыпались кирпичи, как от землетрясения. Не дальше как в ста ярдах от него обрушился железный переплет стеклянной крыши. Где-то вдали слышались крики и топот бегущих ног. Он заметался в паническом ужасе, бросаясь вперед, назад, сам не зная зачем.

Навстречу ему бежал человек.

— Ведь это взрыв! Что они взорвали? — спросил он на бегу, поравнявшись с Грехэмом, и, прежде чем тот успел заговорить, пробежал дальше.

Кругом поднимались огромные здания, окутанные таинственным полумраком, хотя светлая полоса неба

над ними показывала, что наступал уже рассвет. Не странно ли, что все или почти все эти дома-великаны принадлежат ему? Ему снова живо представилась необычайность всего случившегося с ним. Он сделал такой невероятный скачок во времени, какой позволяют себе только романисты. Он помнил, как трудно было ему поверить в реальность этой сказки, но, наконец, факт был признан, и он решился применить к действительности и стать в положение постороннего зрителя, ожидающего увидеть интересное представление. И вдруг вместо этого ему грозит опасность — неопределенная, но тем более пугающая. Со всех сторон его обступают враждебные тени. Где-то в темном лабиринте этого города его подстерегает смерть. Неужели же его убьют, прежде чем он успеет увидеть новый мир? Как знать, быть может, его ждет гибель за ближайшим углом? В нем заговорило страстное желание жить, жить, чтобы увидеть, узнать.

Он начал бояться углов. Ходить опасно: лучше уж спрятаться куда-нибудь. Но куда? Как сделать, чтобы его не заметили, когда улицу опять осветят? Он сел на скамейку в тени киоска на одной из верхних платформ и в полной уверенности, что здесь он один, закрыл свои усталые глаза.

А что, если когда он их снова откроет, он увидит, что все исчезло, что нет больше ни этого чернеющего внизу русла параллельных платформ, ни этого нестерпимого ряда гигантских зданий напротив? Что, если все события этих последних дней — его пробуждение, эта кричащая толпа, эта битва впотьмах — не что иное, как фантасмагория, сон, но только необыкновенно живой. Да, это, наверное, сон, слишком уж все непоследовательно, бессмысленно, — так не бывает наяву. Ведь если он действительно проспал двести лет, то человечество должно было поумнеть за это время. Каким же образом оно может смотреть на него, Грехэма, как на своего властелина?

Все это он передумывал, сидя с закрытыми глазами. Почти надеясь, вопреки всему, увидеть какую-нибудь знакомую картину из жизни девятнадцатого столетия — деревушку Боскаль, быть может, утесы Пентарджена или спальню своего дома, — он открыл глаза. Но факты не считаются с нашими надеждами. Мимо него вдоль улицы шел, маршируя в ногу, отряд вооруженных людей с черным знаменем, а перед ним



тянулась все та же бесконечная высокая стена зданий с чуть светящимися на них в полумраке непонятными надписями.

— Нет, это не сон... не сон! — прошептал он и безнадежно уронил голову на руки.

Глава XI

СТАРИК, КОТОРЫЙ ВСЕ ЗНАЕТ

Он вздрогнул, неожиданно услышав чей-то кашель, и, быстро обернувшись, увидел в двух шагах от себя тщедушную фигурку, сидевшую скорчившись за спинкой одной из скамеек.

— Какие новости? — слышался дребезжащий старческий голос.

— Никаких, — не сразу ответил Грехэм.

— Вот сижу здесь, дожидаясь, пока зажгут свет, — сказал старик. — Куда ни сунься, везде наткнешься на этих головорезов-голубых.

Грехэм ответил неопределенным мычанием. В темноте он не мог разглядеть лица своего собеседника. Ему очень хотелось поговорить, но он не знал, как начать.

— Чертовски темно, — снова заговорил старик. — Пришлось выйти на улицу, а тут что ни шаг, то опасность.

— Да, скверное положение, — пробормотал Грехэм

— Главное, проклятая темнота. Плохо в темноте старым людям. Все точно взбесились. Стреляют, дерутся. Полицию расколотили, повсюду хозяйничают разбойники. Не понимаю, отчего не вытребуют негров, они бы защитили нас.. Не хочу я больше бродить один в темноте. Сейчас я наткнулся на труп и упал... В компании все-таки веселее... конечно, в хорошей компании. — Он поднялся на ноги, подошел к Грехэму и стал всматриваться в его лицо. Осмотр, очевидно, удовлетворил его. Он опустился на скамейку с заметным облегчением и продолжал: — Да, времена, нечего сказать! Резня; везде валяются трупы, здоровые, сильные люди пропадают ни за грош. У меня три сына. Где-то они в эту минуту? Бог знает!

Старик замолчал, потом повторил дрожащим голосом:
— Где-то они?

Грехэм молчал, придумывая, в какой бы форме предложить вопрос, чтобы не выдать своего незнания современной жизни. Старик снова прервал паузу.

— Острог победит. Победит! — сказал он. — А какой толк из этого выйдет, это уж трудно сказать. Мои сыновья служат при ветряных двигателях, все трое. Моя невестка была его любовницей — самого Острога! Мы не какие-нибудь! А вот мне, старику, все-таки пришлось скитаться ночью без приюта... Я знал, что к этому придет. Давно знал, раньше многих. Не думал я, что доживу до таких ужасных времен.

Было слышно, как у него хрипело в груди.

— Вы говорите, Острог... — начал было Грехэм.

— О! Это голова!

— У Совета, кажется, мало друзей среди народа, — заметил Грехэм, не зная что сказать...

— Очень мало, да и те ненадежные. Белый Совет отжил свое время. Его два раза выбирали. А Острога... Ну, а теперь прорвалось, и уж ничто не поможет. Два раза Острог провалился на выборах. Надо было видеть, как он бесновался! Он был страшен. Теперь разве только бог поможет белым, а то их дело пропало. Острог поднял на них рабочие союзы. Никто другой не посмел бы. Вся эта голубая сволочь вооружена и идет напролом. А тот не остановится: он уж доведет до конца!

Старик помолчал.

— А Спящий... — заговорил он опять и остановился.

— Ну? — сказал Грехэм.

Дребезжащий голос понизился до конфиденциального шепота. Чуть блевшее в темноте старческое лицо придвинулось к лицу Грехэма.

— Настоящий Спящий давным-давно умер!

— Что?!

— Да, умер дюжины лет тому назад

— Ну что вы! Быть не может!

— Верно говорю: умер. А тот Спящий, который проснулся теперь — подставной, какой-то жалкий нищий, полуидиот, которого они опоили. Мало ли что я знаю, только лучше помолчу.

Старик стал бормотать что-то бессвязное. Он знал, очевидно, так много, что не мог удержать всего при себе.

— Я не знаю, кто подсунул ему сонного зелья, — меня в то время еще на свете не было, — но зато я знаю, кто ему впрыскивал возбуждающее, чтобы разбудить его. Разбудить или убить — середины быть не могло. Решительная мера, совершенно в духе Острога.

Грехэм был так поражен, что несколько раз прерывал и переспрашивал старика, пока, наконец, вполне уяснил себе весь дикий смысл его слов. Так, стало быть, его пробуждение не было естественным! Или, может быть, все это просто стариковские бредни? Неужели же в них есть хоть доля правды? Он напряженно рылся в тайниках своей памяти и припомнил кое-что из тогдашних своих впечатлений, что можно было объяснить именно таким образом. «Хорошо, что я встретил этого старика; может быть, от него я узнаю что-нибудь о новых людях», — подумалось ему.

Старик закашлялся, сплюнул, и опять задремсзжал его слабый старческий голос:

— В первый раз его провалили. Я хорошо это помню.

— Провалили? Кого? Спящего?

— Да нет, нет, Острога. Как он тогда обозлился! Он рвал и метал! Его тогда умаслили кое-как, пообещали, что в следующий раз он будет выбран навсрное, — и успокоились, перестали бояться его. Вот дураки-то! А теперь весь город в его руках; он измелет всех нас в порошок. И раньше, конечно, не все было тихо у голубых; случалось, что рабочий зарежет какого-нибудь китайца или надсмотрщика, но хоть нас-то, по крайней мере, не трогали. Ну, а как принялся работать Острог, пошла сплошная резня! На улицах — трупы, в домах — грабеж, везде — темнота! Никто не запомнит таких дел за целый гросс лет. Да, по пословице: от распри великих страдают малые.

— Как вы сказали: никто не запомнит... чего?

— А? — переспросил старик и, проворчав что-то такое насчет того, как скучно, когда глотают слова, заставил Грехэма повторить вопрос.

— Никто не запомнит такой смуты, вот что хотел я сказать. Слыханое ли дело: ходят с ножами, с ружьями, убивают друг друга, орут «свобода! свобода!» и тому подобную чепуху... Ничего похожего я не видал за всю свою жизнь. Совсем как в старые времена — три гросса лет тому назад, — когда взбунтовалась париж-

ская чернь. Ну, да это должно было повториться: так все идет на свете. Кому и знать, как не мне. Вот уже пять лет, как Острог делает свое дело, и все эти пять лет мы не выходим из смуты: голод, мятежные речи, угрозы, резня. Голубые бунтуют. Никто не спокоен за свою жизнь. Все разваливается. Совету приходит конец, — вот до чего дожили!

— Вы, я вижу, действительно, много знаете, — сказал Грехэм.

— Люди говорят, а я слушаю. Я не зря болтаю.

— Так вы наверное знаете, что это Острог поднял восстание и подстроил так, что Спящий проснулся? И сделал это, чтобы захватить власть и отомстить за то, что его не выбрали в Совет?

— Ну, разумеется, всякий дурак это знает, — ответил старик. — Он решил так или иначе стать первым лицом. В Совете или не в Совете — все равно. Кто ж этого не знает! И вот теперь можем радоваться! Междоусобица, убийства, трупы! Да, господа, уж не с луны ли вы свалились? Неужели вы ничего не слыхали о ссоре Острога с Вернеями? А как вы думаете, из-за чего все эти волнения? Из-за Спящего? А? Неужто вы верите, что этот Спящий — настоящий Спящий и проснулся сам, без чужой помощи?

— Я, видите ли, человек нелюдимый, притом я старше, чем кажется, и память у меня плохая, — сказал Грехэм. — Многое из того, что случилось за последние годы, как-то ускользнуло от меня. Будь я сам Спящий, я и тогда, сказать вам по правде, знал бы не меньше.

— Ну, будто вы так уж стары? Вы совсем не выглядите стариком. Правда, впрочем, не у всякого сохраняется память до глубокой старости, как у меня. Но такие вещи, какие творятся теперь, трудно забыть. А все-таки который вам год? Ведь вы, наверное, много моложе меня? Впрочем, нельзя судить по себе. Я молод для такого старика, как я, а вы, может быть, стары для своих лет.

— Вот именно, — сказал Грехэм. — Моя жизнь, надо заметить, сложилась не совсем обыкновенно. Я очень мало знаю. А истории и вовсе не знаю, можно сказать. Ваш Спящий или Юлий Цезарь — для меня все одно: их имена одинаково мало мне говорят. Может быть, вы еще что-нибудь расскажете, мне интересно послушать.

— Да, я-таки знаю кое-что, — прощамкал старик. — Но что это? Слышите?..

Оба притихли. Что-то загрохотало. Платформа под ними затряслась. Они увидели, что все прохожие останавливаются и что-то кричат друг другу. Старик заволновался и стал, в свою очередь, окликать проходивших мимо, засыпая их вопросами. Ободренный его примером, Грехэм встал и подошел к столпившимся на улице людям. Никто не знал, что случилось.

Он вернулся назад. Старик сидел на прежнем месте, бормоча себе под нос.

У Грехэма пропала охота разговаривать. Его угнетал загадочный смысл гигантской борьбы, так близко его касавшейся и столь чуждой ему. Кто прав, этот старик или революционеры? И правду ли он говорит, что победа будет за ними? Каждую минуту пожар мятежа мог охватить и эту глухую часть города; тогда его непременно узнают, и ему придется действовать так или иначе. Необходимо выведать все, что можно, от этого старика, пока есть еще время.

Он сделал было движение, собираясь заговорить, но старик предупредил его.

— Да, дела! — забормотал он. — Вот хоть бы взять этого Спящего, в которого так верят наши дураки. Я хорошо знаю эту историю. Да мало ли я их знаю! Ведь когда я был мальчишкой, я еще печатные книги читал — вот сколько я живу на свете! Трудно поверить, не правда ли? Вы, я думаю, никогда не видели печатной книги? Но все-таки они имели и свои преимущества. По ним можно было многому научиться. А эта новая выдумка, — говорильные машины, — бог с ней совсем. Слушать-то ее — никакого труда: но что легко дается, легко и забывается... Ну, а историю Спящего я знаю, как свои пять пальцев, с начала до конца.

— Вы не поверите, — заговорил Грехэм нерешительно, — я такой невежда во всем... я всегда был так поглощен моими личными делами, и жизнь моя сложилась так странно, что я ровно ничего не знаю о Спящем. Кто он был такой?

— Кто он был? Я-то знаю! — сказал старик. — Он был неважная птица, так себе человек, как и все. И влюбился он, бедняга, в ветреную женщину, которая обманула его. От горя с ним сделался столбняк, а по-

том спячка. Постоите, как это называлось в те времена? Фотография? Такая машина, которая снимала людей? Так вот, сохранились бумажки, на которых он изображен спящим еще полтора гросса лет тому назад. Полтора гросса.

— Влюбился в дурную женщину, которая обманула его,— прошептал задумчиво Грехэм.— Ну, что же дальше? Продолжайте.

— Ну-с, был у него двоюродный брат по фамилии Уорминг, человек одинокий, бездетный. Он составил огромное состояние, спекулируя на акциях только что изобретенных в то время идамитных дорог. Вы, верно, слышали об этом. Нет? Неужели! Он скупил все акции и стал хозяином предприятия. В те времена были еще мелкие частные предприятия — тысячи всевозможных акционерных обществ. Не прошло и двух дюжин лет, как его дороги убили старые железные дороги. Он не хотел ни принимать пайщиков в свое дело, ни дробить свое состояние и придумал целиком завещать его Спящему. Он сам назначил Совет опекунов, сам написал устав для него. Он знал ведь, что Спящий никогда не проснется, а будет спать, пока не умрет. Он отлично знал. И вдруг — представьте такой случай — умирает в Америке один богач. У него, надо вам сказать, были два сына, и оба утонули,— и тоже завещает Спящему весь свой капитал. Таким образом, в руках Совета опекунов с самого начала оказалось около дюжины мириад львов.

— А как его звали?

— Грехэм.

— Нет, я спрашиваю, как звали того американца

— Избистер.

— Избистер? Никогда не слыхал этого имени!

— Конечно, не слыхали,— сказал старик.— Не многому научишься в нынешних школах. Наша молодежь ничего не знает. Ну, а я знаю. Этот американец был выходец из Англии. Он оставил Спящему еще больше, чем Уорминг. Как он разбогател, я не знаю. Он изобрел какой-то особый машинный способ писания картин или что-то в этом роде. Но суть в том, что и его огромное состояние попало в Совет опекунов Спящего. Отсюда-то и произошел теперешний Белый Совет.

— Как же он достиг такой власти?

— Э, да вы совсем невинный младенец! Ведь деньги к деньгам льнут, разве вы не знаете? Это одно. А

другое: ум — хорошо, а два — лучше. И они ловко сыграли игру, можно сказать. Они вершили политические дела своими деньгами, а так как биржевые курсы и тарифы зависели от них, то капитал продолжал все расти. Долгие годы двенадцать опекунов скрывали его рост от народа. Совет подчинял себе вся и всех, то ссужая деньгами под проценты, то входя крупным пайщиком во всевозможные предприятия. Он подкупал политические партии, закупил все газеты. Если бы вы знали историю последнего гросса лет, вы бы не спрашивали, как и почему росла власть Совета. А теперь имущество Спящего исчисляется миллиардами миллиардов львов. И смешно сказать, все это произошло, из-за каприза, какого-то Уорминга, которому пришла фантазия оставить такое странное завещание, и из-за несчастного случая с сыновьями другого чудака Избистера... Да, странные бывают люди, — сказал старик, помолчав. — Но для меня всего страннее то, как могли члены Совета действовать так дружно столько лет! Целых двенадцать человек! А все-таки проиграли игру! Я помню, в дни моей молодости о Совете говорили как о божественной власти. Никто и подумать не смел, что Совет может грешить. Никто и не подозревал, что эти боги развратничают не хуже обыкновенных смертных. И я их почитал за богов. Ну, а теперь стал умнее. Да, поумнел на старости лет. Ведь мне восьмая дюжина пошла. А я вот учу уму-разуму вас, молодого. Восьмая дюжина, а я еще вижу и слышу. Слышу, положим, лучше, чем вижу. И голова еще свежа. За всем слежу, все понимаю... Да, немало я перевидал в своей жизни. Мне было лет тридцать, когда Острог появился на свете. Я помню его молодым человеком задолго до того, как он стал во главе Управления ветряных двигателей. Много перемен случилось на моих глазах. Я и голубую блузу носил, и кем только я ни был! И вот под старость дожил до этого разгрома. Проклятая темнота! На улицах кучами валяются трупы. Война между своими. И все это дело его рук!

Речь старика перешла в бессвязное бормотание. Грехэм молчал, обдумывая все то, что узнал от него.

— Позвольте, верно ли я вас понял, — сказал он, наконец, и стал считать по пальцам. — Спящий спал — это первое.

— Его подменили, — вставил старик.

— Допустим. А тем временем имущество Спящего все росло да росло в руках двенадцати членов Совета, пока не поглотило почти всю частную собственность на земле. Таким образом, Совет фактически завладел миром. И понятно: ведь он платящая сила, вроде той, какую был английский парламент прежних времен.

— Вот-вот, это вы верно сравнили,— подхватил старик.— Вы, я вижу, не так непонятливы...

— Теперь второе. Острог революционизировал весь мир тем, что разбудил Спящего, того самого Спящего, в пробуждение которого верили только самые невежественные люди. Разбудил его затем, чтобы он потребовал у Совета отчета в своих деньгах за все двести лет.

Старик многозначительно крикнул и сказал:

— Как странно видеть человека, который только сегодня в первый раз узнает обо всех этих вещах.

— Да, пожалуй, что и странно,— согласился Грехэм.

— Бывали вы когда-нибудь в «Веселых Городах»? — спросил старик.— Всю жизнь я мечтал,— он засмеялся.— Я и теперь бы еще мог позабавиться. Хоть поглядеть на других.

Он пробормотал что-то такое, чего уже совсем нельзя было разобрать.

— Скажите, когда проснулся Спящий? — спросил вдруг Грехэм.

— Три дня тому назад.

— Где же он теперь?

— У Острога. Совет посадил его под замок, но он убежал. Не больше четырех часов тому назад. Да где вы были все это время, что ничего не знаете? Он был в театре на Рыночной площади, где потом сражались. Да, он бежал. Весь город об этом кричал. Все говорильные машины. Даже дуракам, которые стоят за Совет, пришлось в это поверить. Все бежали смотреть на него, всякий запасался оружием. Что вы, пьяны были или спали? Да нет, вы просто шутите, прикидываетесь дурачком. Ведь затем они и электричество потушили, чтобы остановить говорильные машины и помешать народу собираться. Оттого-то мы и очутились в этой проклятой темноте. Неужели вы хотите сказать...

— Да, я знаю, что Спящего освободили, я слышал об этом,— сказал Грехэм.— Но позвольте: вы наверное знаете, что он у Острога?

— Наверное. И уж Острог его не выпустит, будьте покойны.

— А вы уверены, что этот Спящий — подставной?

— Дураки-то считают его настоящим. Мало ли во что верит народ. Ну, а Острогу не все ли равно, настоящий он или подставной. Ему лишь бы провести свою линию. Я хорошо его знаю. Я ведь, кажется, говорил вам, что он мне в некотором роде родня. Через мою невестку.

— Едва ли этому Спящему удастся вырваться из-под опеки, как вы думаете? Должно быть, он сделается простой марионеткой в руках Острога или Совета.

— Ну уж, конечно, в руках Острога. Да и чего ему надо? Какого еще положения? Все к его услугам, требуй, чего хочешь, развлекайся, как хочешь. Чем ему мешает эта опека?

— А что это за «Веселые Города», о которых вы говорили? — спросил вдруг Грехэм.

Ему пришлось повторить свой вопрос. Когда, наконец, старик убедился, что он не ослышался, он захихикал и, лукаво подтолкнув Грехэма локтем в бок, сказал:

— Нет, это уж чересчур. Вы смеетесь надо мной, стариком. Я давно уже начинаю догадываться, что вы только прикидываетесь простачком, а знаете побольше моего.

— Может быть, кое-что я и знаю, — сказал Грехэм, — но я не знаю, что такое «Веселые Города», уверяю вас.

Старик конфиденциально подмигнул, продолжая хихикать.

— Мало того, я даже не умею ни читать, ни считать по-вашему, не знаю ваших монет, не знаю, какие теперь на свете народы и страны, не знаю, где я. У меня нет приюта, и я не знаю, где добыть себе еду и питье.

— Ну, рассказывайте, — перебил старик. — А дать вам стаканчик вина, так небось не выльете его себе в ухо, а отправите прямо в рот.

— Даю вам слово, что я не шучу. Ничего этого я не знаю и буду очень благодарен, если вы меня просветите.

— Хе-хе! Известное дело, кто ходит в шелку, тот любит позабавиться, — и он провел сморщенной рукой по рукаву Грехэма. — Да, шелк. Ну все равно, не

в этом дело... А хотел бы я, признаться, очутиться на месте Спящего. Недурная жизнь его ждет. И удовольствие, и почет. Я ведь видел его. Когда к нему пускали всех без разбора, я, помню, тоже добыл себе билет и ходил посмотреть. Странное у него было лицо, желтое, как лимон. Как две капли воды похож на настоящего, каким тот изображен на прежних фотографиях. Совершенный мертвец. Ну, ничего, откормится. Бывает же такая удача. Его, верно, на Капри пошлют поправляться.

Тут на него опять напал кашель, и несколько секунд он не мог говорить.

— Везет людям, везет...— завистливо забормотал он потом.— Всю жизнь просидел я в Лондоне на одном месте. Все ждал, все надеялся, не посчастливится ли и мне...

— А почему вы знаете, что настоящий Спящий умер? — прервал его Грехэм.

Старик заставил его повторить вопрос, прежде чем ответил.

— Люди не живут дольше десяти дюжин лет. Это против законов природы. Дураки могут верить сказке про Спящего, а я не верю. Я не дурак.

Грехэма, наконец, рассердила эта самоуверенность старика.

— Дурак вы или нет,— сказал он,— а только насчет Спящего вы ошиблись.

— Что?

— Вы ошиблись насчет Спящего, я говорю.

— Да вы-то как можете это знать? Вы только что сказали, что вы ровно ничего не знаете. Не знаете даже, что такое «Веселые Города».

Грехэм помолчал.

— Так знайте же: я — Спящий,— сказал он наконец.

Старик смотрел на него во все глаза не понимая. Грехэм должен был повторить свое заявление.

— Извините меня, сэр, это глупая шутка с вашей стороны,— сказал старик.— Такие слова могут дорого вам обойтись в это смутное время.

Грехэм немного смутился, но повторил свое заявление.

— Я вам сказал, что я — Спящий. Много-много лет тому назад я заснул в одной деревушке. Случилось это в те дни, когда еще были деревни с живыми

изгородями, с постоянными дворами, с мелкими участками пахотной земли. Разве вы никогда не слышали о тех временах? И это я, я, который говорю с вами, проснулся четыре дня тому назад.

— Четыре дня тому назад! Спящий? Но Спящий у них. Они добрались до него и уж не выпустят теперь. Вздор. До сих пор вы говорили, как человек разумный, и вдруг... Линкольн его хорошо сторожит; я это наверное знаю. Можете быть уверены, что его не пустят разгуливать по улицам одного. Чудак вы, право; любите шутить. Теперь я понимаю, отчего вы так смешно коверкали слова! Так я и поверю, что Острог выпустил бы Спящего из своих рук! Конечно, не поверю, не на такого напали. Не понимаю, к чему вы ведете всю эту игру.

Грехэм встал.

— Я вам серьезно говорю: я — Спящий,— сказал он.

— Станный вы человек,— проговорил с негодованием старик.— Сидит один в темноте, ломает английский язык и сочиняет небылицы!

Грехэм, который уже готов был выйти из себя, после этих слов старика взглянул на свое положение глазами постороннего зрителя и разразился смехом.

— Фу, какая бессмыслица! Когда же кончится этот сон? Он становится все более диким. Чего я сижу тут, в этой проклятой темноте, каким-то живым анахронизмом и стараюсь убедить старого дурака в том, что я — я! Нет, довольно!

Он круто повернулся и зашагал прочь. Старик бросился за ним.

— Не уходите,— кричал он,— не уходите! Я старый дурак, ваша правда. Не уходите, не оставляйте меня одного в темноте!

Грехэм приостановился, не зная, что делать, но вдруг он сообразил, как неблагоприятно было с его стороны выдавать свою тайну.

— Я не хотел вас обидеть,— забормотал старик подходя.— Называйте себя Спящим, если вам так нравится, или кем хотите,— какая в этом беда?..

С минуту Грехэм колебался, потом, не говоря ни слова, повернулся и пошел своей дорогой.

Несколько времени он еще слышал за собой ковыляющие шаги старика и его постепенно удаляющиеся крики. Но, наконец, все затихло, и темнота поглотила его.

ОСТРОГ

Теперь Грехэм мог лучше разобраться в своем положении. После разговора со стариком ему стало ясно, что необходимо прежде всего разыскать Острога. На этом решении он и остановился. Во всяком случае, несомненно было одно: главари восстания очень ловко сумели скрыть исчезновение Спящего. Но каждую минуту он ожидал услышать известие о своей смерти или о том, что он, Спящий, снова попал в руки Совета.

Он еще долго бродил по полутемным улицам. На одном перекрестке он столкнулся с каким-то человеком.

— Слышали новость? — спросил тот останавливаясь.

— Нет. А что такое? — спросил, в свою очередь, встревоженный Грехэм.

— Около дозанды! Целая дозанда людей! — И человек побежал дальше.

Потом мимо него прошла кучка мужчин и между ними одна женщина. Все оживленно жестикулировали и громко разговаривали между собой.

— Сдались! Целая дозанда погибших!

— Не одна дозанда, а две!

— Ура Острогу!

Не успели затихнуть вдали эти возгласы, как появилась новая толпа прохожих, тоже что-то кричавших. Некоторое время все внимание Грехэма было поглощено доносившимися до него обрывками фраз. Он начинал сомневаться, по-английски ли говорили все эти люди, до такой степени они коверкали слова. Сам он не решался заговорить. Но настроение всех попадавшихся ему навстречу людей вполне согласовалось с его собственным представлением о вероятном исходе борьбы и со слепой верой старика в великого Острога. Ему трудно было освоиться с мыслью, что эти люди празднуют победу над Советом — тем самым всемогущим Советом, который всего несколько часов тому назад так неотступно преследовал его, а теперь оказался слабейшей стороной в борьбе. И если

это так, если власть белых чиновников действительно пала, то интересно знать, как это отразится на нем.

Он все присматривался к прохожим, выбирая, к кому бы обратиться с вопросом, и все не решался. Он долго шел следом за одним толстяком, наружность которого показалась ему более располагающей, но так и не мог собраться с духом и заговорить.

Наконец ему пришло в голову, что самое простое — обратиться в Управление ветряных двигателей, которым заведовал Острог. Оставалось только спросить первого встречного прохожего, где оно помещается. На первый вопрос он получил короткий ответ: «Возле Вестминстера». На второй ему ответили указанием кратчайшего пути, на котором он тотчас же заблудился. Потом ему посоветовали с большой широкой улицы, по которой он шел, свернуть куда-то в темный переулок, где он чуть не свалился с лестницы, спускавшейся вниз. Тут начались приключения другого характера, но тоже не из приятных. Он столкнулся в темноте с каким-то невидимым существом, которое принялось осипшим голосом изливать на него потоки брани на неизвестном языке; только по некоторым отдельным словам можно было догадаться, что все это говорилось по-английски. Затем из темноты донесся женский голос, напевавший веселенький мотив. Голос быстро приближался. Женщина наткнулась на Грехэма — не совсем неумышленно, как ему показалось. Она обняла его, должно быть, в виде извинения, засмеялась и принялась было болтать что-то такое о своей сестре, которую она ищет, но, получив довольно резкий отпор, оставила его в покое и снова скрылась в темноте.

Кругом становилось люднее. Пешеходы спотыкались впотьмах, натыкались друг на друга. Слышались восклицания, возбужденные голоса. Кричали: «Сдались! Совет сдался!», «Не может быть!», «Нет, правда, все говорят». Переулок сделался шире. Еще поворот, и Грехэм рчутился на широкой площади, в глубине которой толпился народ. Он обратился к проходившей мимо него темной фигуре, спрашивая дорогу к Вестминстеру. «Все прямо через площадь», — ответил женский голос. Он двинулся по указанному направлению, но сейчас же наткнулся на какой-то столик, уставленный посудой. Глаза его теперь привыкли к темноте, и, хорошенько всмотревшись, он различил

целых два ряда таких столиков, тянувшихся через всю площадь, оставляя посредине узкий проход. Он пошел вдоль этого прохода. Со стороны некоторых столиков доносился звон стаканов и стук ножей и вилок. Нашлись, стало быть, храбрые люди, которые могли спокойно есть, несмотря на грозные события дня и удручающую темноту.

Далеко впереди, откуда-то сверху падало полукруглое пятно света. Когда он подошел ближе, пятно исчезло, точно наверху задернули темную занавеску. Он опять чуть не скатился со ступенек, спускавшихся вниз, и очутился в узкой галерее с железными перилами по бокам. Вдруг в нескольких шагах впереди он услышал рыдания и, всмотревшись, увидел двух маленьких девочек. Они сидели на полу, скорчившись, крепко прижавшись к перилам, и плакали навзрыд. Но как только он подошел, они затихли, точно испуганные зверьки. Он пробовал спрашивать, уговаривать, но они упорно молчали. Пришлось оставить их в покое. Не успел он отойти, как снова услышал за собою плач.

Вскоре он очутился у подножия большой лестницы, на которую падал сверху слабый свет. Он поднялся наверх и оказался на площади движущихся улиц. Тут шумно сновала взад и вперед беспорядочная толпа. Кричали, пели революционные песни, и пели прескверно — кто в лес, кто по дрова. Кое-где горели факелы, отбрасывая фантастические дрожащие тени. Он стал было опять спрашивать дорогу к Вестминстеру, но два раза был поставлен в тупик ответами на том же диком жаргоне. Наконец в третий раз ему повезло получить удобопонятный ответ: оказалось, что до Вестминстера остается еще две мили и надо идти прямой дорогой.

Чем ближе подходил он к Вестминстеру, тем чаще попадались толпы поющих и кричащих людей, и, судя по всеобщему оживлению, по этим ликующим крикам, а главное, по тому, что город был теперь опять освещен, падение Совета можно было считать совершившимся фактом. Но странно: никто из встречных ни словом не обмолвился об исчезновении Спящего.

Освещение города восстановилось внезапно. В один миг по улицам разлился яркий свет, так что все идущие, и Грехэм в том числе, остановились, ослеп-

ленные. Свет застал его почти уже у цели пути: среди возбужденной толпы, которая запрудила всю улицу, ведущую к Управлению ветряных двигателей. И вместе с появлением света в нем поднялось беспокойное чувство от сознания, что теперь его могут узнать, и его смутное намерение разыскать Острога превратилось в определенное желание, нетерпеливое и тревожное.

Немного не доходя здания Управления он попал в такую давку, что уж и не чаял выбраться из нее: его совсем затолкали. Кругом в толпе раздавалось его имя. Осипшие от крика голоса орали: «Спящий! Спящий!» Многие были в повязках. Все эти люди проливали кровь за него, за его дело... Передний фасад огромного здания ярко светился: на нем медленно двигалась картина, освещенная изнутри. Но с того места, где стоял Грехэм, ничего нельзя было рассмотреть, а протискаться ближе ему, несмотря на все усилия, никак не удавалось. Из долетавших до него отрывочных фраз он понял, что картина воспроизводит последние моменты борьбы вокруг зала Атласа. Глядя перед собой на высокий фасад, в котором не было ни одного подъезда, и недоумевая, как он проберется внутрь здания, Грехэм медленно продирался вперед, пока по особенно густой толпе, теснившейся посреди улицы у люка подземной лестницы, не догадался, что это-то и есть вход в Управление. Но добраться до люка было не так-то легко. А когда, наконец, это ему удалось, то оказалось, что вход охраняется стражей. Ему пришлось долго пререкаться, пока его пропустили. Когда, в виде последнего аргумента, он объявил было, что он Спящий, над ним принялись хохотать, как над сумасшедшим, и препроводили его во вторую караулку для опроса. На этот раз он был умнее и, умолчав о Спящем, сказал просто, что принес очень важное известие, которое может передать только самому Острогу с глазу на глаз. Один из солдат неохотно отправился с докладом. Грехэм долго ждал в прихожей возле лифта. Но вот, наконец, отворилась дверь, и появился Линкольн, взволнованный, удивленный. Он приостановился на пороге, всмотрелся в таинственного посетителя и вдруг бросился к нему с радостным возгласом:

— Как! Это вы?! Вы живы!

Грехэм рассказал свои похождения в кратких словах.

— Брат здесь, в Управлении. Он вас ждет,— сказал Линкольн.— Мы боялись, что вас убили в театре. Мы до поры до времени решили скрывать ваше исчезновение. Положение наших дел далеко не завидное, надо вам сказать, хоть мы и трубим о победе для ушей непосвященных. Поэтому мы пока не решались разыскивать вас.

Они сели в лифт, поднялись в один из верхних этажей, прошли по узкому коридору, миновали большой зал (совершенно пустой, если не считать попавшихся им навстречу двух человек, бежавших со всех ног по каким-то поручениям) и вошли в сравнительно небольшую комнату. Всю обстановку этой комнаты составляли длинная оттоманка и подвешенный на кабелях у стены большой овальный диск, по поверхности которого медленно ползли какие-то мутно-серые тени. Линкольн попросил Грехэма обождать и ушел, предоставив ему разгадывать, как умеет, назначение странного диска.

Но вскоре его внимание было привлечено другим. До него вдруг донесся рев толпы, очень далекий, но, несомненно, ликующий рев. Он раздался внезапно и так же внезапно затих, словно прорвавшись сквозь щелку на минуту приотворившейся двери. Затем в соседней комнате слышались торопливые шаги, мелодический звон металла о металл, шелест платья, и женский голос произнес: «А вот и Острог». Вслед за тем порывисто зазвенел тоненький колокольчик, и все опять стихло.

Но вот за дверью снова началось движение: доносились шаги, голоса. Вскоре среди этих смешанных звуков выделились твердые, размеренные шаги одного человека и стали быстро приближаться. Дверь отворилась, портьера тихо приподнялась, и на пороге показался высокий седой человек в шелковом плаще молочно-белого цвета. Он остановился и, придерживая одною рукой портьеру, смотрел на Грехэма. Потом рука его опустилась, и он ступил шаг вперед. Первым впечатлением Грехэма были: большой, широкий лоб, глубоко сидящие светло-голубые глаза под густыми седыми бровями, орлиный нос и резко очерченные, крепко сжатые губы. Только тяжелые складки над глазами да опущенные углы энергичного рта выдавали возраст этого человека, совершенно не гармонируя с его прямой, стройной фигурой и бодрой осанкой. Грехэм инстинктивно поднялся ему навстре-

чу. С минуту оба они стояли и молча смотрели друг на друга.

— Вы Острог? — спросил, наконец, Грехэм.

— Да, я Острог.

— Вождь восстания?

— Да, так говорят.

Опять наступила неловкая пауза.

— Это вам, кажется, я обязан своим спасением? — нерешительно проговорил Грехэм.

— А мы уже боялись, что вас убили, — сказал Острог, не отвечая на вопрос. — Убили, или, вежливо выражаясь, усыпили навсегда. Нам стоило большого труда сохранить нашу тайну — скрыть ваше исчезновение, хочу я сказать... Где вы пропадали? И как попали сюда?

Грехэм повторил свой рассказ.

Острог внимательно слушал.

— А знаете, чем я занимался, когда пришли мне доложить о вашем приходе? — сказал он, чуть-чуть улыбнувшись, когда Грехэм замолчал.

— Понятия не имею.

— Готовил вашего двойника.

— Моего двойника?

— Ну да. Мы разыскали человека, похожего на вас. Чтобы облегчить ему его роль, мы решили загипнотизировать его. Нам невозможно обойтись без Спящего. Все восстание держится на этой идее: народ уверен, что Спящий проснулся, что он жив и с нами. Да вот и сейчас в театре собралась огромная толпа народа: хотят вас видеть, требуют, чтобы им показали вас. Они даже нам не вполне доверяют... Вам ведь, конечно, известно, какое вы занимаете положение?

— Очень смутное, — отвечал Грехэм.

— Так слушайте. — Острог прошелся по комнате, потом повернулся к Грехэму и продолжал: — Вы — собственник половины земного шара. Значит, фактически вы все равно, что король. Ваша власть, правда, ограничена разными сложными законами, но тем не менее вы — центральная фигура: в глазах народа вы — символ правительственной власти. Этот Белый Совет, или «Совет опекунов», как его называют...

— Да, я кое-что уже слышал обо всем этом.

— Вот как! От кого же?

— Я столкнулся сегодня с одним болтливым старикашкой, и он...

— А, понимаю... Итак, народные массы — это словечко перешло к нам еще от ваших времен: у нас ведь тоже есть народные массы, как вам известно; народные массы смотрят на вас как на своего законного господина, правителя — совершенно так, как в ваши дни смотрели на королей. И вот народ всего земного шара недоволен правлением ваших опекунов. Вообще говоря, это все та же старая история — старое недовольство: протест бедняка против бедности, против рабства труда, против дисциплины и собственной неприиспособленности. Но нельзя не признать, что ваши опекуны правили дурно. Во многом — в своем отношении к рабочим союзам, например, — они вели себя крайне неразумно и дали много поводов к недовольству. Мы, партия народа, подняли агитацию в пользу реформ задолго до того, как вы проснулись. А тут неожиданно-негаданно произошло ваше пробуждение... Да, будь оно даже нарочно подстроено нами, оно не могло бы прийтись более кстати для успеха нашего дела. — Он улыбнулся. — В уме народа давно уже мелькала фантастическая мысль разбудить вас и обратиться к вам с жалобой, как к верховному судье. Ничего не значит, что вы десятки лет провели в состоянии небытия: народ ведь не принимает в расчет таких мелочей... И вдруг вы проснулись...

Он жестом показал, какой эффект произвело это событие. Грехэм молча кивнул головой.

— Совет был совершенно ошеломлен. Все они там перессорились. Впрочем, они и раньше вечно грызлись между собой. В первый момент они не могли решить, что им с вами делать. Чтобы выиграть время, они, как вам известно, посадили вас под замок.

— Да, да, я знаю. Ну, а теперь мы побеждаем?

— Мы побеждаем, это несомненно. С сегодняшнего дня за пять коротких часов победа перешла на нашу сторону. Мы разбили их на всех пунктах. К нам примкнули все служащие в Управлении ветряных двигателей, весь Рабочий союз со своими миллионами членов. Мы завладели аэропланами.

— Да? — сказал Грехэм.

— Это было очень важно. Иначе они могли бы бежать... Весь город восстал. Треть населения оказалась в рядах борцов за свободу. На нашей стороне все голубые, все общественные учреждения — словом, почти все за исключением нескольких человек аэро-

навтов да половины состава красной полиции. А та половина, которая осталась им верна, разбита: частью обезоружена, частью перебита, кроме нескольких десятков солдат, которые заперлись в ратуше. Теперь, если не считать ратуши, весь Лондон в наших руках. Вас освободили. Половина их красной полиции погибла в безумной попытке снова захватить вас. Потеряв вас, они потеряли головы. Все свои силы они направили на театр, а мы, пользуясь этим, отрезали их от ратуши. Нынешняя ночь была поистине ночью победы. Мы победили вашим именем. Еще вчера Белый Совет был верховным правителем, каким он был целый gross лет — полтора века, по-вашему,— и вдруг... Довольно было шепнуть, что Спящий проснулся, и нет больше Совета.

— Простите, все это для меня китайская грамота,— перебил Грехэм.— Мне не совсем ясны условия этой борьбы. Если бы вы объяснили... Где теперь Белый Совет? Кончена борьба или все еще продолжается?

Острог, не отвечая, перешел комнату. Послышался короткий металлический звон, и вслед за тем они очутились в полной темноте. Только овальный диск выделялся на стене светлым пятном.

Очнувшись от первого изумления, Грехэм заметил, что мутносерая поверхность диска начала углубляться и приняла вид большого овального окна, за которым происходила странная сцена.

Он смотрел не отрываясь, но сначала ничего не понимал. Он видел только, что действие происходит при дневном свете — при свете серого, зимнего дня. На втором плане картины сверху донизу тянулся толстый кабель из белой скрученной проволоки. Затем шли ряды огромных ветряных колес с широкими промежутками темноты между ними. Все это было очень похоже на то, что он видел во время своего бегства из ратуши. Он заметил еще, что по всему свободному пространству в этой полутьме шагали по два в ряд люди в красных мундирах между двумя плотными рядами черных фигур, и понял еще прежде, чем Острог заговорил, что перед ним верхний этаж современного Лондона — лондонские крыши. Но теперь на них не было снега, как накануне. «Должно быть, это новейшее усовершенствование камеры-обскуры,— подумал он про овальный экран.— Однако что за странность: ведь эти красные фигуры двигаются слева

направо, а между тем исчезают в левом углу». Но он скоро сообразил, что вся картина, как панорама, медленно передвигалась справа налево.

— Сейчас вы увидите сражение, — сказал Острог. — Заметили вы людей в красном? Это наши пленные. Место действия — площадь лондонских крыш. Теперь ведь ваши крыши представляют одну сплошную площадь. У нас и улицы под крышами и общественные скверы; у нас нет промежутков между отдельными домами, как было в ваше время.

В эту минуту половина картины закрылась какою-то движущейся тенью, — судя по очертаниям, тенью человека. Сверкнула искра, отбросив металлический отблеск на противоположную стену. По поверхности диска проползла мутная пленка, и картина опять осветилась. Теперь на экране между колесами ветряных двигателей бегали люди, целясь друг на друга из каких-то особенных ружей, выбрасывавших маленькие дымящиеся искорки. Направо толпа становилась все гуще и гуще. Люди отчаянно жестикулировали и, должно быть, кричали, но о последнем можно было только догадываться. И все вместе — и люди и колеса — ровно и медленно передвигались по экрану в одну сторону, постепенно скрываясь из глаз.

— Сейчас покажется ратуша, — сказал Острог.

С правого края экрана стало медленно выдвигаться что-то черное, оказавшееся огромным черным провалом пожарища между уцелевшими зданиями, провалом, от которого к бледному зимнему небу тянулись тоненькие струйки дыма. Кое-где среди этого разрушения уныло торчали обгорелые остовы массивных колонн — остатки прежнего великолепия, — а между ними бегали, лазили, копошились миниатюрные фигурки людей.

— Вот она, ратуша, — сказал опять Острог. — Это их последний оплот. Чтобы предупредить нашу атаку, они взорвали соседние здания, пожертвовав огромным запасом пороха, с которым можно было продержаться еще, по крайней мере, месяц. Безумцы! Вы слышали взрыв? Им выбиты все оконные стекла в ближайшей половине города.

Пока он говорил, на экране показалось высоко вздымавшееся над дымящимися развалинами массивное белое здание, оторванное разрушением от окружающих домов. Часть его передней стены обвалилась,

оставив раскрытыми огромные великолепные залы. Что-то зловещее было в их роскошном убранстве при тусклом свете этого серого зимнего дня. Местами зияли черные впадины коридоров с висящими по стенам оборванными концами кабелей и металлических проводов. И среди этого разрушения повсюду двигались красные крапинки — красные мундиры защитников Совета. Время от времени вспыхивали бледные искры, освещая на миг эту картину смерти. В первый момент Грехэму показалось, что защитники белого здания отражают атаку, но потом он рассмотрел, что революционеры не переходят в нападение, а только поддерживают перестрелку с гарнизоном крепости, пользуясь, как прикрытием, колоссальными развалинами ближайших домов.

Как странно подумать, что каких-нибудь десять часов тому назад он стоял под вентилятором в маленькой комнатке этого белого здания, теряясь в догадках по поводу того, что происходит за его стенами!

Острог между тем продолжал в коротких и точных словах описывать события дня. Бесстрастным тоном говорил он об огромной потере людей, о чудовищном опустошении, которое произвел этот взрыв. Он указал Грехэму на груды развалин, похоронивших под собою сотни человеческих трупов, на двигавшиеся между ними лазаретные фуры и на крошечные фигурки санитаров, подбиравших раненых среди хаоса, бывшего еще вчера площадью движущихся улиц. Гораздо больше интереса проявил он, когда заговорил о тактических приемах противника, о расположении отдельных частей гарнизона и о том, как долго может он еще продержаться. Вскоре междоусобная борьба, разыгравшаяся в новом Лондоне, не представляла больше тайны для Грехэма. Это не была война равных противников: это был великолепно организованный переворот. Острог поражал своим знанием всех мельчайших подробностей этой борьбы: ему, казалось, было известно, чем занята и чего добивается каждая маленькая кучка красных и черных фигурок, ползающих по экрану.

Вот его рука протянулась к ярко освещенной картине, отбросив на нее огромную черную тень. Он показал Грехэму комнаты, где его держали в заточении, и, водя пальцем по экрану от одного полуразрушенного дома к другому, наметил весь путь его бегства.

Грехэм узнал тот черный провал между домами, через который был перекинут желоб, узнал колеса ветряного двигателя, под которым он прятался от летательной машины. Остальной части его пути нельзя было проследить, так как дома, по крышам которых он шел, были разрушены взрывом. Он снова взглянул на картину: половина ратуши уже продвинулась за экран, а справа, как в тумане, выдвигался какой-то холм с разбросанными по нему домами и башенками.

— Итак, Совет низвержен, говорите вы? — спросил Грехэм.

— Окончательно! — ответил Острог.

— А я?.. Неужели правда, что я...

— Вы собственник половины мира.

— Но почему же это белое знамя...

— Это знамя Совета, знамя владычества над миром. Оно падет. Борьба кончена. Их нападение на театр было последней отчаянной попыткой. У них осталось не больше тысячи человек, да и те ненадежны. Запасы пороха у них почти вышли. А мы решили тряхнуть стариной: льем пушки.

— Но позвольте: ведь к ним может подоспеть подкрепление. Не кончается же мир этим городом, я полагаю?

— Для них, пожалуй, да. Все остальные города и страны или восстали вместе с нами, или сохраняют нейтралитет в ожидании исхода борьбы. Ваше пробуждение ошеломило весь мир: все колеблется, никто не может решить, что ему делать.

— Ну, а летательные машины? Разве в распоряжении защитников Совета нет летательных машин? Отчего они не пускают их в ход?

— Они пробовали. Но большинство аэронавтов оказалось на нашей стороне. Правда, аэронавты не посмели открыто выступить на защиту восставших, но они отказались действовать против нас... Нам, впрочем, пришлось-таки повозиться с этими господами. Половина сочувствовала нам, а другая половина знала это. Ну вот, как только им стало известно, что вы бежали, все летательные машины, бывшие в действии, спустились — все, кроме одной. Час тому назад мы убили человека, стрелявшего в вас... Да, надо заметить, что с первой же минуты мы позаботились занять по возможности все станции летательных аппаратов во всех городах. Таким образом, в наших

руках оказались почти все аэропланы. Ну, а легких летчиков мы не боимся: по тем из них, которым удалось подняться, мы все время поддерживали ружейный огонь и не допускали их к ратуше. А если бы какой-нибудь и спустился поблизости, ему все равно не пришлось бы больше подняться, так как там нет ни одной площадки, достаточно широкой для взлета. Некоторые из аппаратов были подбиты нашими выстрелами, многие спустились добровольно и сдались, остальные улетели на континент искать союзников, которые поддержали бы их дело. Большинство аэронавтов, надо сказать, сами добивались, чтобы их взяли в плен и лишили возможности действовать. Да и в самом деле, упасть с высоты — перспектива не из приятных... Итак, вы видите теперь, что Совету не на что надеяться и с этой стороны. Совет погиб, дни его сочтены.

Он засмеялся и снова повернулся к экрану, чтобы показать на нем Грехэму станции летательных аппаратов. Но даже четыре ближайшие станции были далеко, и трудно было что-нибудь рассмотреть за густою пеленой утреннего тумана. Грехэм заметил только, что это сооружения колоссальных размеров даже по сравнению с огромными зданиями, окружавшими их.

Картина между тем все передвигалась влево. Исчезла ратуша, скрылись из виду холмы, и справа опять показалась та самая площадь крыш, на которой Грехэм перед тем видел красные мундиры пленных, шагавших под конвоем. А там опять потянулись черные развалины зданий, снова выдвинулась одиноко торчащая среди них белая твердыня ратуши. Но теперь она уже не имела того зловеще-призрачного вида, как при первом своем появлении: утренние тучи рассеялись, и все белое здание было залито солнцем. Возня пигмеев вокруг этого великана все еще продолжалась, но вяло: его красные защитники уже почти не стреляли.

Таким-то образом человек девятнадцатого столетия, не выходя из полутемной запертой комнаты, увидел на освещенном экране заключительную сцену великой борьбы двадцать второго века. Не сходя с места, он проследил все последние перипетии восстания, поднятого его именем в целях укрепления его владычества над миром. И, как откровение, блеснула у него новая мысль, что этот мир, теперешний мир,

близок ему, а не тот, который он оставил так далеко за собой, и что видел он сейчас на экране не театральное представление, которое посмотришь и забудешь, а реальную жизнь; что ему самому предстоит участвовать в этой жизни и принять на себя свою долю ее опасностей, обязанностей и ответственности. Он повернулся к Острогу с готовыми вопросами на губах. Острог начал было отвечать, но перебил себя на полуслове.

— Нет, лучше я вам все это потом объясню. Сначала нужно исполнить все дела и обязанности. Народ из всех частей города стекается толпами к этому дому. Все рынки, все театры переполнены. Вы подросли как раз во-время. Вас хотят видеть. И не только Лондон хочет вас видеть, а все города: Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Денвер, Капри... Тысячи городов поднялись и требуют, чтобы вы им показались. Народ всего мира давно уже, многие годы, требовал, чтобы вас разбудили, а теперь, когда ваше пробуждение стало совершившимся фактом, они не верят...

— Послушайте, не могу же я объехать весь мир.

Но Острог был уже на другом конце комнаты. Он нажал там какую-то кнопку: комната разом осветилась, а картина на экране побледнела и расплылась. И только тогда он ответил:

— В этом нет никакой надобности. На то существует кинетотелефотография. Если вы здесь, в Лондоне, ответите поклоном на приветствия толпы, его увидят мириады людей, разбросанных по всему миру. Им нужно будет для этого только собраться в темных помещениях, снабженных надлежащими приборами. Эти приборы передают только черный и белый цвета так, что они увидят ваше неокрашенное отражение, но увидят вполне отчетливо. А вы здесь услышите их приветственные клики... Есть у нас, кроме того, еще один оптический прибор, которым пользуются иногда танцовщицы и акробаты. Вам он, верно, не знаком. Мы и его пустим в дело. Действует он так: ставят человека в фокусе ярких лучей света, причем отбрасывается на экране его отражение в настолько увеличенном виде, что публика, даже сидящие в задних рядах самой дальней галереи, могут сосчитать все волоски на его ресницах.

Чувствуя, что ему все равно не осилить всего, что он слышит, Грехэм в отчаянии ухватился за один из множества вопросов, вертевшихся у него в голове.

— Как велико население теперешнего Лондона? — спросил он.

— Двадцать восемь мириад жителей.

— Я не понимаю...

— Свыше тридцати трех миллионов.

Воображение Грехэма решительно отказывалось охватить эту цифру.

— Итак, решено: вы покажетесь народу, — продолжал Острог. — Само собой разумеется, что вам придется что-нибудь им сказать. Не спич, конечно, как это называлось в ваше время, а, как говорят по-нашему, слово, то-есть одну небольшую фразу из пяти-шести слов. Ну, например, в таком роде: «Я проснулся, и сердце мое с вами». Этого вполне достаточно.

— Как вы сказали? — переспросил Грехэм.

— «Я проснулся, и сердце мое с вами». При этом вы поклонитесь по-царски... Но прежде вас надо переодеть. Ваш цвет черный. Вы явитесь им в черном. Согласны?.. Ну, а когда они вас увидят, они успокоятся и мирно разойдутся по домам.

Грехэм немного замялся.

— Ну что ж, делайте, что хотите; я ведь в вашей власти, — сказал он наконец.

Острог был, видимо, того же мнения. После минутного раздумья он подошел к портьеру и отдал несколько коротких приказаний кому-то невидимому. Через секунду явился слуга с черным плащом в руке. «Точь-в-точь такой, какой они накинули на меня в театре», — подумал Грехэм. Слуга набросил ему на плечи этот плащ, и в ту же минуту в соседней комнате зазвенел пронзительный звонок. Острог повернулся было к слуге с готовым вопросом, но вдруг передумал, раздвинул портьеру и скрылся.

С минуту Грехэм в недоумении смотрел на стоявшего перед ним навтыяжку лакея, прислушиваясь к удалявшимся шагам Острога. Из-за двери доносился шум торопливых шагов, слышались возбужденные голоса, шел быстрый обмен вопросами и ответами. Но вот портьера снова раздвинулась, и снова показался Острог. Его крупное выразительное лицо горело от волнения. Большими быстрыми шагами он перешел комнату, одним поворотом руки погасил освещение, потом схватил Грехэма за руку, указывая ему на осветившийся экран.

Смотрите: не успели мы отвернуться, как они... События не ждут.

Огромная черная тень его указательного пальца упиралась в здание ратуши, резко выступавшее на ярко освещенном экране. Грехэм ничего не понимал. Но, всмотревшись внимательнее, он заметил, что высокий шест на крыше ратуши, на котором раньше развевалось белое знамя, теперь опустел.

— Неужели?.. — начал было он.

— Совет сдался. Владычество его пало, пало навсегда... Взгляните.

По шесту теперь медленно поднималось свернутое черное знамя, развертываясь на ходу.

Картина вдруг побледнела: в комнату вошло новое лицо, впустив за собой в открытую дверь полосу света. Это был Линкольн с докладом.

— Они там беснуются, — сказал он.

Острог крепче сжал руку Грехэма.

— Мы подняли народ. Мы раздали ему оружие, и он отстоял наше дело. Так хоть сегодня мы — его слуги. Надо исполнить его желание. Сегодня для вас его воля — закон.

Линкольн молча откинул портьеру и посторонился, пропуская вперед Грехэма и Острога...

Из всего, что видел Грехэм по дороге к Рыночной площади, у него осталась в памяти только длинная узкая комната с выбеленными стенами и с правильными рядами коск по бокам. Оттуда еще издали доносились стоны и вопли. Люди в неизменных голубых холщовых балахонах беспрерывно выносили оттуда тяжелые носилки, покрытые белыми простынями, а вокруг коск суетились другие люди в красных хламидах (очевидно, форменный цвет медицинского персонала больниц). Грехэму смутно припоминалась потом пустая койка с окровавленным постельным бельем, бледные, измученные люди с перепачканными кровью повязками, лежавшие на других койках... Но все это он видел лишь мельком, с высоты тянувшихся под потолком этой комнаты висячих мостков, по которым они проходили, а потом массивная колонна скрыла от них тяжелую картину, и они продолжали путь.

Рев толпы, долетавший с Рыночной площади, все приближался. Еще один поворот, и звуки хлынули бурной волной, прокатились, как гром. Впереди, в глубине длинного перехода, Грехэм увидел развевающиеся черные знамена, волнующееся море голубых и

коричневых одежд: перед ним открылось широкое пространство зала, того самого колоссального театра, куда он спустился по кабелю, где был свидетелем кровавой борьбы и откуда потом бежал, спасаясь от красной полиции. В этот раз он вошел сюда по верхней галерее, пришедшейся значительно выше сцены. Театр был теперь ярко освещен. Грехэм машинально искал глазами тот проход между креслами амфитеатра, по которому он пробирался ползком, прячась от выстрелов, но не мог отличить его среди множества других таких же проходов. За густою толпой не видно было никаких следов недавней борьбы. Толпы заполняли весь партер, все ложи, все места, кроме сцены.

Как только Грехэм с Острогом показались на галерее, крики замолкли, пение прекратилось, и все лица обратились кверху. Все это разнокалиберное, беспорядочно оравшее скопище людей притихло, как один человек, сливаясь в одном всепоглощающем чувстве. И каждый с жадным любопытством, не отрываясь, смотрел на того, кто спал, и проснулся, и теперь вступил в свои права.

Глава XIII

КОНЕЦ СТАРОГО СТРОЯ

По соображениям Грехэма было около полудня, когда опустилось белое знамя Совета. Но нужно было еще несколько часов на выполнение всех формальностей сдачи, и потому, сказав свое «слово», он вернулся назад, в Управление ветряных двигателей, и удалился в отведенное ему там помещение. Он был так утомлен волнениями последнего дня, что даже любопытство его притупилось. Он долго сидел не шевелясь, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и не думая ни о чем. Потом лег и заснул. Проснувшись, он увидел возле себя двух врачей, явившихся с каким-то подкрепляющим средством, которое должно было придать ему сил для участия в дальнейших церемониях этого дня. Он выпил лекарство, принял холодную ванну, и бодрость вернулась к нему. Охотно, с большим интересом отправился он

после этого в сопровождении Острога на заключительную сцену сдачи Белого Совета.

Ему казалось, что они прошли несколько миль, спускаясь и поднимаясь на лифтах, кружа по извилистым переходам бесконечного лабиринта зданий. Наконец на повороте одного коридора перед ними открылся широкий вид на окруженное развалинами белое здание ратуши и на нависшие над ним облака, позолоченные отблеском заходящего солнца. Вместе с этим их обдало волною оглушительных звуков. В следующий момент они уже стояли на выступе крыши одного из полуразрушенных домов. Несмотря на то, что это место смерти было уже знакомо Грехэму по отражению на экране, оно поразило его своим зловеще-безотрадным видом. Оно представляло собой неправильный амфитеатр разрушенных зданий, тянувшихся почти на милю кругом. Развалины, сверкающие золотом заката с левой стороны, направо и внизу, казались мертвыми и холодными, исчезая в тени. Над мрачной крепостью Белого Совета, занимавшей центр, попрежнему висело черное знамя победителей, ниспадая тяжелыми неправильными складками в безветренном воздухе. Развороченные взрывом огромные залы и коридоры зияли темными впадинами, как разверстые пасти чудовищ. Отовсюду свешивались, точно морская трава, оборванные сети металлических проводов и концы переплетающихся кабелей, а снизу из этого хаоса неслись звуки труб и неистовый рев бесчисленных голосов. Белая громада последнего оплота Совета стояла словно посреди кладбища: ее кольцом окружали почерневшие остовы каменных зданий, обломки балок, груды массивного камня от обвалившихся гигантских стен. Внизу, между развалинами, бежала, сверкая, вода, а вдали виднелся торчавший футов на двести кверху конец обломанной водопроводной трубы, из которого вода была широким фонтаном. Повсюду, куда ни взгляни, тысячные толпы народа.

Люди лепились на каждом выступе, на каждой площадке — везде, где только можно было стать ногой. На таком расстоянии они казались крошечными фигурками, отчетливо видимыми в каждом уголке, кроме тех мест, которые были залиты сплошным золотом прощальных солнечных лучей. Люди карабкались по полуразвалившимся стенам, взбирались

целыми группами на высокие колонны, кишели, как муравьи, по всему амфитеатру развалин, проталкиваясь, продираясь к центру. Воздух звенел от их крика.

Верхние этажи ратуши казались совершенно пустыми: там не показывалось ни одной живой души. Только над крышей слабо шевелилось тяжелое черное знамя, выделяясь черным призраком против света. Мертвые лежали внутри здания, или их уже успели убрать, или, может быть, их не было видно за толпой. Только пять-шесть забытых трупов валялись среди обломков в самом низу, где бежала вода.

— Благоволите показаться народу, государь, — сказал Острог Грехэму. — Все жаждут видеть вас.

После минутного колебания Грехэм шагнул вперед, и остановился на краю выступа.

Довольно долго простоял он, никем не замечаемый снизу, резко выделяясь своею высокой черной фигурой на светлом фоне неба. Но, наконец, его заметили. Внизу произошло движение, пронесся рокот восторга. Все лица обратились кверху. Он видел, что его узнали. «Надо чем-нибудь выразить им мои чувства», — подумалось ему. Он молча указал на белую твердыню ратуши и выразительно махнул рукой в знак того, что владычество Совета пало. Крики внизу слились в единодушный рев и понеслись к нему ликующей, бурной волной.

В это время вдали показался небольшой отряд солдат в черных мундирах, медленно приближавшийся к ратуше, с трудом проталкиваясь сквозь толпу.

Полоса неба на западе из багровой превратилась в бледно-зеленую, и звезды заблестели на небесном своде, а церемония капитуляции все еще была впереди. Вверху шла своим чередом обычная неспешная смена бесстрастных светил: тихо подходила ночь, ясная и прекрасная. А внизу были суматоха, волнение... Выкрикивались противоречивые приказания, гул голосов то разрастался в рев, то падал, сменяясь тишиной. Видно было, как люди в черных мундирах, подгоняемые окриками своего начальства и криками толпы, вытаскивали из ратуши трупы ее защитников, погибших в рукопашных схватках среди лабиринта ее коридоров и залов.

Теперь уже недолго оставалось ждать. С минуты на минуту должны были показаться побежденные —

члены Белого Совета. Черный отряд выстроился в две шеренги по всему пути, которым ему было назначено проходить. Толпа замерла в ожидании. Повсюду, куда мог проникнуть глаз сквозь голубую мглу надвигавшейся ночи, на всех карнизах отбитого у врагов белого здания, на каждом выступе ближайших полуразрушенных домов стояли и сидели люди, и даже теперь, когда никто не кричал, человеческий говор шумел, поднимаясь и падая, как море, набегающее на прибрежные камни.

По приказанию Острога на одной высокой груде развалин построили на крепких металлических подпорках деревянный помост с возвышением посредине. Сюда-то и перешли теперь Грехэм, Острог и Линкольн со свитой подчиненных Острога. Весь помост вокруг возвышения заняли черные солдаты революционных войск со своими зелеными «ружьями» как называл это странное оружие Грехэм про себя. Стоявшие возле него заметили, как взгляд его беспрестанно переходил от копошившейся внизу толпы народа к хмурому зданию ратуши, откуда должны были появиться члены Совета, а потом поднимался к призрачным островам окружающих зданий и снова опускался вниз.

Но вот раздался угрожающий рев. Вдали, в черной пасти наружных сводчатых ворот ратуши, показались члены Совета — маленькая, жалкая кучка белых фигур. Они приостановились в воротах, жмурясь от света: там, у себя, в своей крепости, они сидели впотьмах: Грехэм видел, как они медленно приближались, минуя одну за другой яркие звезды электрического света, зажженные по всему их пути. Грозный ропот народа преследовал их по пятам. По мере их приближения все яснее выступали их бледные, измученные, перепуганные лица. Поравнявшись с помостом, все они подняли головы и бросили тревожный взгляд на своих победителей. Грехэму припомнилось, как холодно-враждебно смотрели на него эти самые люди три дня тому назад, когда он стоял перед ними в зале Атласа... Он узнал в лицо некоторых из них — того, который гневно ударил рукой по столу в ответ на что-то, сказанное Говардом; узнал и другого — человека с грубым лицом и рыжей бородой, и еще одного — невысокого роста брюнета с вытянутым

черепом и тонкими чертами лица. Он заметил, что двое из них все время шептались и все оглядывались на Острога. Последним шел высокий, черноволосый, очень красивый человек. Он шел, потупившись, низко опустив голову. Только подходя к помосту, он вдруг поднял глаза, на минуту встретился взглядом с Грехэмом, потом взглянул на Острога и снова потупился. Дорога для шествия побежденных была проложена таким образом, что они должны были пройти мимо помоста победителей, потом повернуть и по дощатым мосткам подняться на эстраду, где должна была совершиться официальная церемония сдачи.

«Наш господин! Государь! Бог и государь! К черту Совет!» — кричал народ.

Грехэм окинул взглядом эти несчетные массы людей, заполнявшие все видимое пространство внизу и тонувшие во мгле дали, потом взглянул на Острога, стоявшего подле него с бледным застывшим лицом... на маленькую кучку белых фигурок, медленно двигавшихся по мосткам с поникшими головами... Все это было так чуждо, так непривычно! Он поднял голову, увидел над собой знакомые тихие звезды, и в душе его с особенной силой заговорило сознание того чудесного, необычайного, что он пережил за последние дни. Неужели та скромная жизнь, что так странно оборвалась два века тому назад и так живо сохранилась в его памяти, была его жизнь? И неужели это он же, тот самый человек, живет теперь?

Глава XIV

«ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО»

Итак, после жестокой борьбы, сломившей все преграды к его воцарению, человек девятнадцатого столетия прочно занял свое положение главы нового сложного мира.

Когда после своего освобождения и после сдачи Совета он очнулся от долгого глубокого сна, он в первый момент не мог отдать себе отчета, где он и что с ним было. Усилием воли Грехэм, однако, поймал оборвавшуюся нить воспоминаний, и все случив-

шееся за последние дни мало-помалу воскресло перед ним: сначала как что-то далекое, чужое, как сказка, которую он слышал или читал. Но даже прежде, чем память его окончательно прояснилась, в душе его проснулись радость возвращения к жизни, сознание своего нового положения и изумление перед необычайностью судьбы, вознесшей его на такую высоту. Он — собственник половины земного шара, властелин земли! Новый мир нового века принадлежит ему в полном значении этого слова. Теперь ему уже не хотелось проснуться и убедиться, что все им пережитое было лишь сном; теперь он страстно желал, чтобы этот сон оказался действительностью.

При утреннем его туалете присутствовал величавый гофмейстер — маленький человечек, несомненно японского типа, хотя по-английски он говорил, как англичанин, — отдававший краткие приказания услужливому до раболепства камердинеру, который помогал ему одеваться. От этого человека он узнал кое-что новое о положении дел в стране. Государственный переворот был теперь общепризнанным фактом. В городе уже возобновилась правильная повседневная жизнь. За границей почти повсеместно падение Белого Совета было принято с восторгом. Совет никогда и нигде не пользовался большой популярностью, и сотни городов Западной Америки, которые и теперь, как двести лет тому назад, старались ни в чем не отставать от Лондона, Нью-Йорка и вообще Востока, единодушно восстали при первом же известии о заточении Спящего. В Париже шла междоусобная война. Все остальные города земного шара придерживались выжидательной политики, и ни один не перешел на сторону Совета.

Когда Грехэм сидел за завтраком, в углу вдруг зазвонил телефон, и гофмейстер доложил ему, что это Острог справляется, хорошо ли он провел ночь. Грехэм встал из-за стола и ответил. Вскоре после этого явился Линкольн. Грехэм поспешил заявить о своем непременном желании видеть людей и как можно скорее ознакомиться с новой жизнью, куда его бросила судьба. Линкольн сказал ему на это, что через три часа назначено собрание главных сановников города, на которое приглашены и их жены. Собрание это со-

стоится в парадных апартаментах директора Управления. Что же касается желания Грехэма осмотреть город, то с этим придется обождать, так как народ еще слишком возбужден. Но если он хочет, то может хоть сейчас увидеть город с высоты птичьего полета, со сторожевого поста надзирателя ветряных двигателей, — с так называемого «вороньего гнезда».

Грехэм охотно согласился. Тогда Линкольн, сославшись на неотложные дела, извинился, что не может иметь удовольствия сопутствовать ему, и сдал его на попечение гофмейстера, с которым Грехэм и отправился к «вороньему гнезду».

Высоко, над самыми высокими ветряными двигателями, на добрых тысячу футов выше крыш, висело это «воронье гнездо», казавшееся снизу крошечным кружочком, насаженным на тонкий металлический шпиль. Грехэма подняли туда по проволочному кабелю в корзинке. На половине высоты шпиля была прикреплена легкая, как кружево, круглая галерейка, вокруг которой спускался ряд каких-то труб, вращавшихся на общем кольце. Все эти трубы были соединены с зеркалами, помещенными в «вороньем гнезде», и составляли новейшее оптическое приспособление, при помощи которого из Управления ветряных двигателей можно было в каждый данный момент увидеть, что происходит в любой части города. Этим-то приспособлением и воспользовался Острог, чтобы показать Грехэму на экране ход междоусобной борьбы, закончившейся восстановлением прав народа и Спящего.

Японец-гофмейстер, по фамилии Асано, первым поднялся на верхушку. Они пробыли там целый час. Грехэм расспрашивал, а спутник его добросовестно отвечал.

День выдался чудный — ясный, совершенно весенний. Дыхание легкого ветерка обдавало теплом. На ярко-голубом небе ни облачка. Вся необъятная ширь раскинувшегося во все стороны города сверкала серебром в лучах восходящего солнца. Прозрачный воздух, не застилаемый ни дымом, ни туманом, был чист, как воздух горных вершин.

Если бы не развалины, тянувшиеся вокруг ратуши неправильным кругом, да не черное знамя над ее крышей, напоминавшее о недавней борьбе, на всем

протяжении огромного города нельзя было с этой высоты подметить никаких признаков внезапного переворота, в какие-нибудь сутки изменившего судьбы всего мира. В развалинах все еще копошились люди-муравьи, и видневшиеся вдали гигантские открытые станции воздухоплавательных аппаратов, с которых в мирное время отбывали аэропланы во все большие города Европы и Америки, сплошь чернели черными плащами революционеров. На узких временных мостках, перекинутых через площадь развалин, суетились рабочие над починкой оборванных кабелей и проводов: надо было восстановить сообщение между городом и ратушей, куда Острог был намерен перенести свою главную квартиру.

Остальная панорама дышала такую невозмутимой тишиной, что когда взгляд Грехэма, оторвавшись от беспокойного муравейника, наполнявшего развалины, останавливался на этой залитой солнцем картине жизни мирного города, он почти забывал о тех тысячах людей, что лежали скрытые от посторонних глаз где-то там, в закоулках этого полуподземного лабиринта, уже умершие или умирающие от ран, забывал о десятках сиделок и хирургов, хлопотавших вокруг них, и о сотнях носильщиков, не успевавших вытаскивать мертвецов, — забывал, одним словом, обо всех ужасах и обо всех чудесах этого нового мира с его неугасимым электрическим светом. Там, внизу, в крытых галереях человеческого муравейника, торжествовала революция — он хорошо это знал. На улицах там царил революционный черный цвет: черные значки, черные знамена, черная драпировка на домах. А здесь, вверху, под ярким утренним солнцем, вне кратера недавно кипевшей борьбы, тянулся выросший за полтора столетия лес ветряных двигателей, мирно гудевших за своей неустанной работой, как будто никакого переворота не совершилось на земле.

Вдали, тоже усеянные ветряными двигателями, туманной голубовато-сизой линией вставали гребни Серрейских холмов. Поближе, с северной стороны, выступили резкими очертаниями холмы Хайгетский и Масвеллский с таким же лесом торчащих на них колес и лопастей. И так везде, везде — он это знал. На каждой вершине каждого холмика, где некогда переплетались живые цветущие изгороди, где под тени-

стыми деревьями ютились коттеджи, фермы, церкви, деревенские гостиницы, теперь отбрасывали свои колеблющиеся тени вертящиеся колеса таких же бездушных гигантов, каких он видел кругом,— все тех же неумолимых порождений нового века, безуданно накоплавших электрическую энергию и рассылавших ее по жизненным артериям городов. А у подножия холмов паслись неисчислимые стада Британского пищевого треста, его собственности, охраняемые одиночными пастухами.

Это полчище зловещих призраков-машин, с их машущими крыльями-лопастями, совершенно изменило общий вид местности. Нигде ни одного знакомого очертания. Собор Святого Павла и некоторые из старинных зданий Вестминстера, как он слышал, уцелели, но они были скрыты от глаз, погребены под сводами гигантских надстроек нового великого века. Ни одна струйка бегущей воды не оживляла этой каменной громады. Не серебрилась больше на солнце веселая Темза: жадные трубы водопроводов еще далеко от города выпивали каждую каплю ее воды. Ее прежнее русло, углубленное и расширенное, наполнилось морской водой, и по этому каналу тащились теперь целые караваны грязных барж и барок, подвозя, так сказать, прямо к ногам рабочего весь нужный строительный материал. Вдали, на востоке, над линией горизонта, тянулся, словно повисший в воздухе, частый лес высоких мачт парусного океанского флота, ибо весь тяжелый груз доставлялся с разных концов света на больших парусных судах и только такие товары, в которых была неотложная надобность, подвозились на быстроходных пароходах.

К югу по гребню холмов тянулись колоссальные ходы водопроводов, доставлявших морскую воду на фабрики, и, расходясь радиусами по трем направлениям, белели ленты идамитных дорог, усеянных какими-то движущимися серыми крапинками. Грехэм решил при первой же возможности осмотреть эти дороги. Насколько можно было понять из описания гофмейстера, каждая такая дорога состояла из двух отдельных полос, слегка покатых к бокам. По каждой полосе можно было ездить только в одну сторону. Идамит был искусственный состав, напоминающий стекло. По идамитным дорогам ездили в особых, очень узких

одноколесных, двух- и четырехколесных повозках на резиновых шинах. Эти повозки неслись со скоростью от одной до шести миль в минуту. Железные дороги канули в вечность; лишь кое-где уцелели железно-дорожные насыпи: остатки седой старины. Некоторые из них послужили фундаментом для идамитных дорог.

В числе других диковинок нового вска бросался в глаза огромный флот воздушных шаров, развозивших рекламы. Непрерывными вереницами летели они к северу и к югу по линиям пути аэропланов. Но аэропланы не показывались: их рейсы пока прекратились, и только где-то высоко-высоко над Серрейскими холмами, в голубой дали неба, чуть виднелось крошечное пятнышко — парящий небольшой моноплан.

Грехэм уже знал, хотя никак не мог себе этого представить, что в Англии исчезли почти все провинциальные города и все деревни. Только местами, в поле у дороги, на больших расстояниях одно от другого, стояли колоссальные здания гостиниц, сохранявших названия трех городков, которые они собой заменили. Так, например, были гостиницы Борнемаут, Уэрхем, Свэнсдж. Такое исчезновение маленьких городков было неизбежным следствием роста культуры, как объяснил Грехэму его спутник. При старом строе по всей стране были рассыпаны фермы; через каждые две-три мили попадался помещичий дом или деревенька с ее непременно атрибутами: церковью, мелочной лавочкой и сапожной мастерской. На каждые восемь-десять миль приходился рыночный городок, где имели свою постоянную резиденцию местный адвокат, местный лабазник, шорник, торговец шерстью, врач, ветеринар, портной и так далее. Окрестным фермерам надо было ездить на рынок, и десять миль в два конца было как раз такое расстояние, какое они могли проехать, не слишком утруждая лошадь и себя. Но с постепенным введением более быстрых способов сообщения — сначала железных дорог, потом автомобилей и, наконец, идамитных дорог, вытеснивших все остальные, — исчезла надобность в маленьких рыночных городках. Все они умерли своею смертью, но зато большие города разрослись. Приманкой неисчерпаемых (или казавшихся

неисчерпаемыми) источников заработка они стянули к себе всю рабочую силу, а нанимателей привлекли приманкой неистощимого запаса рабочих рук.

По мере того, как возрастали требования комфорта и усложнялась жизнь, бедным людям становилось почти невозможно жить не в городе или приходилось отказаться от всяких удобств. С упразднением сельских церквей и мелких поместий, с перекочевкой ремесленников в города деревня утратила последние следы культуры. А когда телефон, кинематограф и фонограф окончательно вытеснили газету, книгу и школьного учителя, то жить вне поля действия электрических проводов было бы все равно, что жить дикарем, отрезанным от цивилизованного мира. В деревне нельзя было ни одеваться, ни питаться так, как того требовал изощрившийся вкус нового века. В деревне не было ни порядочных врачей, ни общества, ни приюта для деятельности.

Постоянное усовершенствование земледельческих машин все более и более сокращало надобность в рабочих руках: один инженер мог заменить тридцать рабочих. Таким образом, для сельскохозяйственных рабочих создавалось положение, обратное положению лондонских писцов и конторщиков в старые времена: теперь рабочие с раннего утра покидали город, неслись на автомобилях и летели по воздуху к месту своей работы, а к вечеру тем же путем мчались обратно в город отдыхать и наслаждаться благами культуры. Город поглотил человечество.

Человек вступил в новую стадию своего развития. Он был кочевником, охотником, потом земледельцем в стране, где города и торговые гавани служили лишь рынками, передаточными пунктами для деревни. Наконец он перекочевал в города. И это скопление людей в городах было лишь логическим завершением эпохи изобретений.

Это положительно не укладывалось в голове Грэхэма, как ни просто должно оно было казаться людям двадцать второго столетия. А когда он попробовал представить себе континент в виде огромного пустыря с десятком разбросанных по нему городов, фантазия окончательно изменила ему... Ничего, кроме городов! Один огромный город на сотни миль равни-

ны... Города у больших рек, города вдоль морских берегов, города среди снежных вершин... На земле почти повсеместно господствует английский язык. Со своими разветвлениями — наречиями испано-американским, англо-индийским, англо-негритянским и англо-китайским — он стал родным языком двух третей населения земного шара. На континенте, как любопытные пережитки далекой старины, удержались еще только три языка: немецкий, господствующий к востоку до Антиохии и к западу до Генуи и сталкивающийся в Кадиксе с испано-американским; галлицизированный русский, сталкивающийся с англо-индийским в Персии и в Курдистане, и с англо-китайским в Пекине, и французский, сохранившийся во всей своей чистоте и блеске, поделивший Средиземное море с немецким и англо-индусским и достигающий пределов Конго в виде франко-негритянского наречия.

На протяжении всего земного шара, кроме «черного пояса» тропиков, находящегося под протекторатом цивилизованных городов, утвердился единый общественный строй. Весь мир цивилизован; весь мир состоит из городов, и весь или почти весь этот мир от полюсов до экватора — его, Спящего, собственность!..

На юго-западе в туманной дали поднимались роскошные «Веселые Города» — страшные города, о которых говорил кинемофонограф и о которых он слышал на улице от болтливового старика. Какое странное явление эти «Веселые Города»! При взгляде на них невольно вспоминался легендарный Сибарис. Там жили красота и искусство — продажное искусство и продажная красота. Печальное, безотрадное место, где вечно веселились, где не умолкала музыка, куда прибегали за отдыхом и развлечением все те, кто выходил победителем в жестокой, бесславной экономической борьбе, которая никогда не затихала в сверкающем лабиринте огромного города, раскинувшегося внизу...

Борьба была, несомненно, жестокая. Об этом можно было судить уже по тому, что об экономических взаимоотношениях труда и капитала в Англии девятнадцатого века теперешние люди говорили как о

какой-то идиллии. Взгляд Грехэма блуждал по необъятному пространству современного Лондона, отыскивая трубы фабрик и заводов в этой громаде зданий!

Глава XV

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Если б Грехэм из той привычной обстановки, которая окружала его в девятнадцатом столетии, попал прямо в парадные приемные Управления ветряных двигателей, они поразили бы его своею грандиозностью и вычурностью своих орнаментов. Но он уже начинал привыкать к широким замашкам нового века, и никакая роскошь, никакие размеры не могли его удивить. Эти чертоги нельзя было даже назвать комнатами или залами. Это была какая-то путаница арок, мостов, коридоров и галерей, соединявших собою все части одного колоссального зала. Бродя по этим переходам, он вышел, наконец, к отлогому гладкому спуску, какие ему уже не раз случалось видеть в последние дни, и спустился на открытую площадку, от которой шли вниз широкие, очень отлогие ступени роскошной мраморной лестницы. Мужчины и женщины в блестящих нарядах спускались и поднимались по ней непрерывною пестрой толпой. Грехэму с его места была видна начинавшаяся у подножия лестницы длинная перспектива необыкновенно сложных архитектурных украшений, в которых преобладали белый, матово-желтый и пурпурный цвета и бесконечная сеть легких мостиков филигранной работы и галереек, точно сделанных из фарфора. Все это заканчивалось таинственной дымкой каких-то полупрозрачных ширм или портьер.

Взглянув вверх, он увидел над собой такую же паутину легких галерей, наполненных такою же нарядной толпой. И все эти люди глядели вниз, на него: все лица были обращены в его сторону. В воздухе стоял сдержанный говор бесчисленных голосов, а откуда-то сверху (откуда именно, он не мог разобрать) неслись веселые, подмигивающие звуки музыки.

Центральная часть громадного помещения была полна народом: там собралось по меньшей мере пять тысяч человек. И, несмотря на это, не чувствовалось тесноты. Костюмы поражали великолепием. Попадалось много фантастических костюмов, не только женских, но и мужских: влияние пуританских понятий на цвет и покрой мужского платья давно уже отошло в вечность. Некоторые из мужчин, правда немногие, щеголяли в женских прическах. У одного, которого Линкольн назвал Грехэму таинственным наименованием «амориста», ровно ничего ему не объяснившим, волосы были заплетены в две косы, как у гетевской Маргариты. Длинные волосы у мужчин встречались, впрочем, редко. Но у всех они были завиты щипцами на самый разнообразный манер. Плешивых совсем не было видно: этот порок, очевидно, исчез с лица земли. Много было китайских косичек. Вообще не было заметно какой-нибудь преобладающей моды. Статные, стройные люди, по-видимому, предпочитали платье в обтяжку, тогда как изъяны фигуры у других прикрывались большей частью буффами и широкими складками. Там и сям мелькали тоги и хитоны. Сильно сказывалось также влияние эстетических понятий Востока. Толстяки, которые во времена Виктории сочли бы верхом неприличия не затянуться в наглухо застегнутый сюртук, теперь преспокойно распускали свое брюшко под длинными ниспадающими складками какой-нибудь хламиды. Грехэму, представителю строгой эпохи, совсем не нравились все эти люди: и внешность их, костюмы и манеры были чересчур изысканны, на его взгляд, и слишком уж экспансивно делились они своими впечатлениями. Желая показать свое удивление или восторг, они не в меру жестикулировали, кричали, хохотали, а главное, с изумительной откровенностью выражали те чувства, которые возбуждали в них присутствующие дамы. Дамы здесь, к слову сказать, были в значительном большинстве: это сразу бросалось в глаза.

Костюмы дам были не менее изящны и отличались еще большей вычурностью, чем у мужчин. Одни щеголяли классической простотой или почти полным отсутствием складок и прямыми линиями мод первой французской империи. На других были платья в обтяжку, перехваченные поясом у талии. У многих были

мантии на плечах. Но все они одинаково сверкали белизною обнаженных рук и плеч; очевидно, промежуток двух столетий ничуть не ослабил милой откровенности вечерних туалетов дам.

Грехэм заметил еще, что все эти люди отличались необыкновенной грацией движений. Когда он сказал об этом Линкольну, тот объяснил ему, что пластика движений составляет у них существенную часть воспитания каждого богатого человека.

Появление владыки было встречено сдержанным гулом приветствий, но это общество было слишком хорошо воспитано, чтобы надоедать человеку своим любопытством. Грехэма здесь не обступали толпой, не провожали назойливыми взглядами, когда он спустился с лестницы в центральный зал.

Он узнал от Линкольна, что здесь собрались все крупные представители современного лондонского общества: чуть ли не каждый из присутствующих или занимал какую-нибудь важную государственную должность, или приходился сродни кому-нибудь из власть имущих. Многие явились с континента, из тамошних «Веселых Городов», где они развлекались; они нарочно приехали, чтобы присутствовать на чествовании властелина земли. Ведомство воздухоплавания в лице начальников своих отделений, сыгравшее некоторую, довольно, впрочем, пассивную роль в падении Совета, положительно чувствовало себя именником и как-то особенно лезло всем в глаза. Не отставало от него и Управление ветряных двигателей. В числе других гостей были и уполномоченные от крупных торговых фирм. Между ними особенно выдавался своею меланхолически интересной наружностью и цинически-наглым обращением главный директор Правления общеевропейских свиных заводов. Мимо Грехэма, чуть не задев его плечом, прошел епископ в полном облачении, поглощенный беседой с господином в тоге и в лавровом венке.

— Кто это? — вырвалось у Грехэма.

— Лондонский епископ, — ответил Линкольн.

— Нет, другой... с которым он говорит.

— Поэт-лауреат.

— Как? Вы до сих пор еще...

— О нет, само собою разумеется, что он не пишет стихов. Но он приходится двоюродным братом Уотто-

ну, одному из членов Совета, и состоит, кроме того, членом клуба роялистов Алой Розы, а они там свято чтут традиции.

— Асано мне говорил, что у вас есть король.

— Да. Но он не принадлежит к этому клубу. Его пришлось исключить. Он ведь Стюарт по крови.

Все это было не совсем вразумительно, но Грехэм не успел попросить объяснения, так как в эту минуту началась церемония представления гостей. Грехэму скоро стало ясно, что и теперь, в двадцать втором столетии, продолжало процветать различие общественных положений, ибо Линкольн счел возможным представить ему только самых высокопоставленных лиц — немногих избранных. В первую очередь попал директор Общества аэронавтов, оказавшийся важной персоной благодаря своей своевременной измене Совету. Мужественное, загорелос лицо этого господина резко выделялось среди других изнеженных лиц. Приятно поразили Грехэма и манеры его своею простотой. В его говорe не слышалось того непривычного для Грехэма акцента новых англичан, который так резал ему ухо. После нескольких банальных, ничего не значащих фраз он осведомился о здоровье владыки и выразил ему, в довольно грубой форме, свою неизменную преданность. Затем, без всякого перехода, отрекомендовал себя «воздушным волком» старого закала, без всяких претензий, человеком, который ничего не боится, ученостью похвастать не может, но знает, что знает, а чего не знает, того не стоит и знать. Выложив все это одним духом, он так же круто оборвал речь, поклонился весьма независимо и отошел.

— Я рад, что этот тип еще сохранился,— сказал Грехэм Линкольну.

— Самодовольный дурак,— заметил тот презрительно.— Но это он правду сказал: он знает то, что знает.

Грехэм еще раз взглянул вслед удалявшейся неуклюжей фигуре. В ней было для него что-то знакомое, напоминавшее ему его прежнюю жизнь.

— Уж если говорить всю правду, так мы его купили,— продолжал Линкольн.— Частью купили, а частью он перешел на нашу сторону потому, что боялся Острога. А нам было очень важно его заполучить: весь успех нашего дела зависел от него.

С этими словами он повернулся в сторону нового подходящего гостя и представил Грехэму генерального инспектора Общественных школ. Это была довольно деревянная фигура в форменном серо-зеленом мундире. Беседуя с Грехэмом, он озарял его благосклонными взглядами сквозь золотое пенсне и подкреплял свои слова красивыми жестами выхоленных рук.

Грехэму было интересно знать, как поставлено школьное дело в современном мире, и он задал деревянному господину несколько прямых вопросов в этом смысле. Тот был, видимо, удивлен таким горячим проявлением интереса к столь сухому предмету. Он что-то такое промямлил насчет монополии народного образования, принадлежащей их компании, о контрактах между Синдикатом и лондонскими муниципалитетами и с большим увлечением распространился об успехах воспитания, достигнутых со времен королевы Виктории.

— В наших школах совершенно отсутствует зубрежка: экзаменов у нас не бывает,— сказал он.— Разве это не прогресс?

— Как же вы добиваетесь от детей, чтоб они учились? — спросил Грехэм.

— Мы стараемся сделать ученье привлекательным. А когда это не удастся, предоставляем детей самим себе.— И он перешел к подробностям, к отдельным примерам.

Разговор затянулся. Грехэм узнал, что народные университеты еще существуют, но в измененном виде. По поводу женского образования инспектор снисходительно заметил:

— Да, между молодыми девушками, несомненно, встречается тип с серьезным складом ума, с горячим стремлением к знанию... если оно не слишком трудно дается. Таких девушек немало: мы их насчитываем тысячами. В настоящий момент у нас около пятисот фонографов в разных частях Лондона читают для женщин лекции о влиянии Платона и Свифта на любовные дела Шелли, Газлита и Бернса. По окончании лекции каждая слушательница напишет реферат на эту тему, и фамилии тех из них, чьи рефераты будут признаны лучшими, будут занесены на золотую доску... Вы видите теперь, что семена, посеянные в ваше время, не заглохли... У нас...

— Простите, я хотел еще спросить вас о начальных школах,— перебил Грехэм.— Существует у вас какой-нибудь контроль над ними?

— О да, очень строгий контроль,— был ответ.

Грехэм, очень интересовавшийся начальным образованием в последние годы своей прежней жизни, уцепился за эти слова и приступил к своему собеседнику с новыми вопросами. Но он не услышал ничего нового.

— Зубрежки мы не признаем,— повторил деревянный инспектор, становясь почти сентиментальным.

— Вы, по-видимому, учите очень немногому.

— Школа для ребенка,— продолжал инспектор,— должна быть таким местом, где ему весело и легко. Об этом-то мы и хлопочем. Главные правила поведения — послушание, правдивость, и довольно с него. Успеет еще поработать. Ведь этим бедным детям предстоит жизнь тяжелого труда. Наука приводит народ только к недовольству и смутам. Мы в наших школах забавляем детей. Но даже теперь, при всей нашей предусмотрительности, среди рабочих бывают беспорядки. И откуда только они набираются социалистических идей, не понимаю! Друг от друга, должно быть. Это все еще бродит старая закваска — социалистические бредни. Туда же — социализм, анархизм!.. Ну, и агитаторы, конечно, не зевают: от них не уберешься. Мы же, я лично, по крайней мере, всегда считали и считаем моею первейшей обязанностью бороться с народным недовольством. Зачем делать людей несчастными?

— Ну, это как смотреть...— пробормотал Грехэм нерешительно и, помолчав, добавил: — Я, собственно, желал бы знать...

Но тут Линкольн, все время зорко следивший за выражением его лица, прервал их беседу.

— Простите, государь: другие ждут,— сказал он вполголоса.

Инспектор школ почтительно откланялся и отошел.

— Вы, может быть, желали бы познакомиться с кем-нибудь из дам? — сказал Линкольн Грехэму, перехватив случайно брошенный им взгляд, и через минуту представил ему дочь главного директора Правления общеевропейских свиных заводов. Это была молодая особа с яркорыжими волосами и живыми

голубыми глазами. Грехэм не мог не признать, что она очень хороша собой. Линкольн скромно удалился, чтобы не мешать их беседе, и молодая девица сейчас же пустилась болтать о «добром старом времени», которое должен был так хорошо знать ее собеседник. Болтая, она улыбалась, а глазки ее смеялись так задорно, что нельзя было не улыбаться в ответ.

— Сколько раз я старалась вообразить это милое романическое время,— говорила она.— Какой вы счастливец! Вы жили в те годы, вы их помните. Каким странным, должно быть, вам кажется теперешний мир! Я видела фотографии из вашей эпохи. Так смешно: маленькие отдельные домики, закопченные дымом из труб... кирпичные домики... Ведь кирпичи, кажется, делались из обожженной глины? Потом эти мосты над головой с мчащимися по ним поездами. А эта простота реклам! Рекламы в виде надписей — так дико! А эти смешные, торжественные фигуры в черных пуританских костюмах! Черные сюртуки... высокие шляпы, фи! На улицах лошади, чуть ли не коровы. Даже собаки бегают на свободе... Да, странная жизнь. И после всего этого вдруг проснуться в наш век оторванным от прошлого, от всего, что было так близко и дорого. Ужасно!..

— В моей прежней жизни не много было счастья. Я не жалею о ней,— сказал Грехэм.

Она бросила на него быстрый взгляд, потом сочувственно вздохнула.

— Не жалеете?

— Нет. Ненужная жизнь ненужного человека — о чем тут жалеть? Но теперь... Мы в наше время считали мир в достаточной мере цивилизованным, и жизнь казалась нам слишком сложной. А теперь,— хоть не прошло еще и четырех суток, как я вновь родился на свет,— теперь, оглядываясь на свое прошлое, я вижу, какие это были варварские, дикие времена. Это была только заря цивилизации. Да, ранняя заря. Вы и представить не можете, каким я себя чувствую дикарем, как мало я знаю.

— Спрашивайте, если хотите: я буду отвечать,— проговорила она улыбаясь.

— Хорошо. Прежде всего скажите, что это за общество здесь собралось? Я никого не знаю. Мне говорили, что здесь будут все важные особы, генералы.

— Военные? Таких у нас нет.

— Нет, не военные. Я разумел — начальники управлений, государственные деятели, вообще люди с положением... Вон тот, например, седой человек с такой внушительной наружностью... Кто он такой?

— Ах, этот... Он действительно важная особа — главный директор Компании производства противо-желчных пилюль. Фамилия его Морден. Рабочими этой компании, говорят, изготавливается до мириады мириад пилюль в двадцать четыре часа. Вы только представьте себе: мириада мириад!..

— Да-а. Неудивительно после этого, что у него такой высокомерный вид, — сказал Грехэм. — Фабрикант пилюль! Особа!.. Да, странные времена!.. Ну, а этот в красном?

— Этот, строго говоря, не принадлежит к «сливкам» общества, но мы любим его. Он очень умен, с ним интересно, знаете. Это один из главных пайщиков компании медицинского факультета при Лондонском университете. Теперь ведь все факультеты принадлежат компаниям на паях, и все наши врачи — пайщики этих компаний. Красный цвет — их форменный цвет. У нас, конечно, уважают медицину, но люди, которым платят за труд, это все-таки, понимаете...

Она презрительно улыбнулась, как будто говоря: «На какое же положение в обществе могут они претендовать?»

— А нет ли здесь кого-нибудь из великих художников или писателей? — спросил Грехэм.

— Писателей? О нет! Это такой невозможный народ... так много о себе воображают. Они вечно друг с другом ссорятся. Есть даже такие, что готовы подражаться из-за того, кому первому войти в дверь. Ужасные люди!.. А из художников здесь, кажется, только Рэйсбери, модный капиллотомист из Капри.

— Капиллотомист? Ах, припоминаю. Художник! Почему нет?

— Нам, видите ли, приходится его ублажать, — сказала молодая девица, как будто оправдываясь. — Ведь наши головы в его руках. — И она кокетливо улыбнулась.

Но Грехэм ответил на ее вызов только новым вопросом:

— Ну, а искусства у вас процветают? Я думаю, живопись сделала большие успехи за эти двести лет?

Она взглянула на него с недоумением и вдруг засмеялась.

— Я в первую минуту было подумала, что вы говорите...— Она опять засмеялась.— Теперь понимаю. Вы спрашиваете о тех чудаках, которых так ценили в ваше время за то, что они расписывали масляными красками огромные четырехугольные куски холста. Их вставляли потом в золоченые рамы и развешивали по вашим четырехугольным стенам... Нет, у нас это давно вывелось. Людям надоела эта мазня.

— А что же вы подумали в первую минуту, когда я спросил?

Она многозначительно указала пальчиком на свою щеку, горевшую, несомненно, неподдельным румянцем, потом провела по своим ресницам и бровям.

— Я думала, вы вот про что,— сказала она и улыбнулась вызывающе-лукавой улыбкой, отчего сделалась обворожительно мила.

Грехэму стало неприятно. Он вспомнил дам, своих современниц, так часто прибегавших к «живописи», на которую намекала эта рыжеволосая девица, и устыдился нравов своего века. Он как-то разом осознал, что на него обращены тысячи глаз, и почувствовал, что краснеет.

— О да, понимаю,— смущенно пробормотал он в ответ на объяснение своей дамы и неловко отвернулся, чтобы не видеть игривого выражения ее лица. Он оглянулся кругом и встретил целый ряд любопытных глаз, в упор смотревших на него. Но это продолжалось лишь миг: все поспешили скромно потупиться и сделать вид, что они заняты разговором со своими соседями.

— Кто этот мужчина, что разговаривает с дамой в желтом? — спросил он свою собеседницу, избегая смотреть на нее.

Человек этот оказался одним из самых крупных антрепренеров американских театров, только что поставивший в Мексике грандиозную драму, прогремевшую на весь свет. Его лицо напоминало Грехэму Калигулу. Следующая знаменитость оказалась главным организатором «Черного труда». В ту минуту

Грехэм как-то пропустил мимо ушей это определение, но впоследствии ему пришлось вспомнить о нем. Между тем рыжеволосая девица продолжала с прежней развязностью давать ему характеристики разных лиц. В числе других она указала ему на прехорошенькую дамочку, отрекомендовав ее одною из «субсидиарных» жен лондонского епископа англиканской церкви. Она при этом рассыпалась в похвалах гражданскому мужеству его преосвященства, решившегося пойти против допотопного закона, по которому для духовенства была обязательна моногамия и который создавал «в высшей степени противоестественное и неудобное положение вещей».

— С какой стати человек должен подавлять свои естественные влечения и калечить себя только потому, что он духовное лицо? — прибавила просвещенная барышня.

Грехэм собрался пуститься в расспросы по поводу «субсидиарных жен», но появление Линкольна прервало на самом интересном месте этот интересный разговор. Линкольн повел его в другой конец зала, где почтительно ожидали своей очереди представиться государю какой-то высокий человек, весь в пунцовом, и две очаровательные дамочки в бухарских халагах — так, по крайней мере, показалось Грехэму. Обменявшись со всеми троими несколькими банальными любезностями, он, по указанию Линкольна, направился к другой группе.

Мало-помалу новые пестрые впечатления начали укладываться в его голове в нечто цельное, принимать определенный характер. Сначала эта блестящая толпа пробудила в нем враждебные чувства, насмешливый протест демократа. Но трудно устоять против всеобщего поклонения, против лести: это не в человеческой натуре. Вскоре эта мелодичная музыка, яркий свет, игра живых красок, ослепительная белизна оголенных женских плеч, мягкие пожатия рук, мелькающие мимо оживленные лица, журчащий ропот сдержанных голосов, сознание интереса и благоговения, которое он возбуждал в этой толпе, — все это соткало вокруг него нежную, ласкающую атмосферу, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Он забыл свои широкие замыслы, свои великодушные решения. Невольно, незаметно поддался он опьянению

власти. Поступь его стала увереннее, обращение свободнее, голос окреп. Черный плащ ниспадал с его плеч смелыми, гордыми складками. Во всей его фигуре было теперь что-то царственное. Да, что ни говори, а этот новый мир был интересный, блестящий, заманчивый!..

Случайно подняв голову, он увидел видение. Наверху по перекинутому через зал воздушному мостику проходила молодая девушка, которую он встретил в ложе театра в день своего бегства из ратуши. Она смотрела вниз, на него. Ее лицо только промелькнуло перед ним и сейчас же скрылось, но он успел уловить на этом лице выражение жадного и нетерпеливого ожидания, относившееся к нему.

Сначала он не мог даже припомнить, где он видел ее, но вместе с воскресшим воспоминанием об их первой встрече в душе его пробудились и те волнующие чувства, которые она вызывала в нем. Он вдруг почувствовал, что его раздражает назойливо-веселая музыка, мешающая ему припомнить торжественный напев революционной песни, под которую маршировала толпа.

Новая его собеседница, которую ему только что представил Линкольн, принуждена была повторить свое замечание, не получая ответа. Грехэм очнулся и, сделав над собой усилие, вернулся к действительности.

Но с этой минуты он не мог отделаться от смутного беспокойства. Он был недоволен собой: он забыл свои обязанности, не исполнял своего долга. Ослепленный роскошью и блеском, он упустил из виду самое важное, и это мучило его. Чары окружавших его блестящих красавиц, околдовавшие его, начинали терять свою силу. Их кокетливые заигрывания, в истинном смысле которых он больше не мог сомневаться, не вызывали теперь с его стороны тех уклончивых, смущенных ответов, под которыми таилось удовлетворенное самолюбие. Глаза его невольно искали в толпе эту девушку, олицетворяющую восстание.

«Где же он ее видел?»

Уже в самом конце раута он стоял на одной из верхних галерей, поджидая Линкольна, который обещал устроить ему в этот день полет, если позволит

погода, и теперь пошел отдать необходимые распоряжения, оставив его в обществе новой элегантной дамочки с веселыми глазками и сказав, что он скоро вернется. Грехэм и его собеседница говорили об идамите (тема, надо сказать, была выбрана им, а не ею).

И вдруг, прорываясь сквозь журчащие переливы легкой музыки, все приближаясь и разрастаясь, грубо и властно зазвучала Песня Восстания — могучая песня, которую он слышал в театре. А! Теперь он вспомнил! Он поднял голову, пораженный. Над ним в стене было круглое окно, открытое настежь; через него-то и врывались эти звуки. За окном, на фоне голубоватой дымки наступившего вечера, виднелась сеть переплетающихся кабелей и тянулись ряды висячих осветительных шаров. Подхваченная тысячью голосов, песня разлилась широкой волной и вдруг оборвалась и смолкла. Теперь до Грехэма явственно доносились гуденье бегущих платформ и рокот многотысячной толпы. Он понял — не сознанием, а чутьем, — что вся эта огромная толпа там, снаружи, пришла сюда ради него.

Могучая песня восстания оборвалась; в ушах его опять раздавалась игривая музыка вальса; но торжественный, благородный напев, раз прозвучав, остался жить в его душе.

Дама с веселыми глазками все еще болтала об идамите, когда он вдруг опять увидел девушку, которую встретил в театре. Теперь она шла по галерее, быстро приближаясь к нему. Она не видела его; он заметил ее первый. На ней было все то же блестящее светло-серое платье. Пышные волосы темной короной возвышались над ее белым лбом. На ее опущенную голову из круглого окна падала полоса холодного, бледного света.

Собеседница Грехэма поймала его взгляд и обрадовалась удобному предлогу избавиться от него.

— Вы желали бы познакомиться с этой девушкой, государь? — храбро спросила она. — Это Элен Уоттон, племянница Острога. Она очень образованна, много знает. Нет, кажется, женщины серьезнее ее. Вам она, наверное, понравится.

Минуту спустя Грехэм уже разговаривал с девушкой в сером, а быстроглазая дамочка упорхнула.

— Я хорошо вас помню,— говорил Грехэм.— Вы были в театре в тот день, когда народ перед своим выступлением пел революционную песню. Помните? Все пели хором и отбивали такт. Вы стояли в ложе недалеко от меня. А потом я вышел в зал.

Ее минутное смущение уже прошло. Она взглянула на него спокойно и твердо.

— Да, это была чудная минута,— сказала она и замолчала. Ей, видимо, хотелось что-то прибавить, но она не решилась. Наконец, сделав усилие над собой, она продолжала: — Все эти люди готовы были умереть за вас, государь. Многие и умерли в ту ночь.

Лицо ее горело. Она быстро оглянулась, как будто испугавшись, не подслушивает ли их кто-нибудь. В другом конце галереи показался Линкольн. Он пробирався в толпе, направляясь к ним. Она увидела его и, быстро повернувшись к Грехэму и, видимо, спеша высказаться, заговорила совсем новым, дружески конфиденциальным тоном:

— Государь! Сейчас я не могу... здесь неудобно. Но знайте, что народ очень несчастлив. Его угнетают, обманывают. Не забудьте же о народе, который шел умирать, чтобы сохранить вам жизнь.

— Я ничего не знаю...— начал было Грехэм.

— Теперь я не могу вам объяснить.

Перед ними выросла как из-под земли физиономия Линкольна. Он поклонился девушке и извинился, что прерывает их разговор.

— Надеюсь, государь, вам понравился новый мир? — обратился он затем к Грехэму, почтительно улыбаясь и обводя широким жестом огромное пространство освещенного зала и наполнившую его нарядную толпу.— Во всяком случае, вы, наверно, нашли, что мир изменился.

— Да, изменился, пожалуй... но, в сущности, не так радикально, как можно было ожидать.

— Посмотрим, государь, что-то вы скажете, когда мы подыдемся на воздух... Ветер утих. Аэроплан вас ждет. Итак, если угодно...

Девушка стояла молча в выжидательной позе. Грехэм взглянул на нее, хотел было задать ей вопрос, но по выражению ее лица увидел, что лучше не говорить. Он низко поклонился ей и пошел за Линкольном.

МОНОПЛАН

Лондонские станции летающих машин были сосредоточены на южной стороне реки. Они опоясали город неправильной дугой, образуя три группы, по две станции в каждой. За ними сохранились названия шести старинных городских предместий: Рогемптона, Уимбльдон-Парка, Стритхема, Норвуда, Блэкхита и Шутерс-Хилла. Все шесть станций были построены по одному образцу и представляли собою гигантские помосты, подымавшиеся высоко над крышами домов. Каждый помост имел до четырех тысяч ярдов в длину и около тысячи в ширину и держался на толстых подпорках, отлитых из какого-то нового сплава алюминия с железом, заменившего в архитектуре чистое железо. Под помостами, между переплетами стропил и скреплений, тянулись длинные ряды лестниц и подъемных машин. Самые же помосты представляли совершенно ровную площадь, где всегда стояли наготове подъемные подвижные платформы и куда спускались прибывающие аэропланы.

Грехэм отправился на станцию по движущимся улицам в сопровождении Асано: Линкольн не мог ему сопутствовать, так как его вызвал Острог по каким-то неотложным делам. Сильный полицейский отряд ожидал государя у подъезда Управления ветряных двигателей и поспешил очистить ему место на одной из верхних движущихся платформ. Никто не знал об его предполагавшемся путешествии, тем не менее вокруг него тотчас же собралась довольно большая толпа, следовавшая за ним до места его назначения. Он слышал, подъезжая, как со всех сторон выкрикивалось его имя, и видел, как тысячи мужчин, детей и женщин в голубых балахонах стремглав вбежали по лестницам на среднюю полосу улицы, жестикулируя и что-то крича ему вслед, но что именно — он не мог разобрать. Как только он сошел, наконец, с движущейся платформы, значительно выросшая возбужденная толпа окружила его плотным кольцом, так что сопровождавшему его караулу пришлось расчищать ему путь. Потом он узнал, что многие явились,

чтобы подать прошения государю, но так и не могли пробиться к нему.

На западной станции его ожидал моноплан с опытным пилотом у руля. До сих пор он видел монопланы только издали, на большой высоте, откуда они казались маленькими птичками. Но теперь раскинувшийся на подъемной платформе летательной станции алюминиевый кузов этой машины казался очень внушительным. Он был не меньше кузова двадцатитонной яхты. Его боковые крылья-паруса из какого-то искусственного стекловидного состава в раме из тонких металлических прутьев и с такими же металлическими прожилками по поверхности, отчего они напоминали крылья пчелы, отбрасывали тень на несколько сот ярдов кругом. Между ребрами кузова в задней его части были подвешены каким-то очень хитрым способом два кресла: одно — для пилота, другое — для пассажира. Кресло пассажира было снабжено пневматическими подушками, навесом и подвижной рамой, которую можно было по желанию раздвинуть или сдвинуть для защиты от непогоды. Когда рама была сдвинута, пассажир сидел, как в карете. Но Грехэм, жаждавший новых впечатлений, пожелал оставить ее открытой. Перед креслом пилота было стекло, защищавшее его лицо от встречного ветра. Пассажир мог привязать себя к креслу ремнями, что было даже необходимо, особенно при спуске. Он мог также, держась за поручень, передвинуться по рельсикам вместе с креслом в носовую часть кузова, где помещался небольшой ящик с его теплыми вещами и походной аптечкой. Этот ящик служил в то же время противовесом тем частям машины, которые выступали в корму.

На станции не было никого, кроме Асано и свиты. По знаку пилота Грехэм вошел на моноплан и уселся в висячее кресло. Асано спустился с подъемной платформы на помост станции и в знак прощального приветствия махнул рукой. И в тот же миг и Асано, и свита, и станция покатались вправо и скрылись из глаз.

Мерно стучала машина, винт быстро вертелся. Скользящие мимо здания с секунду неслись в горизонтальном направлении, потом все вдруг опрокинулось набок. Грехэм инстинктивно ухватился за

поручни кресла. Он чувствовал, что мчится вверх; слышал, как свистела вдоль навеса встречная струя воздуха; слышал сильные ритмические удары винта: раз-два-три — пауза, раз-два-три — пауза... В кузове машины ощущалось колебательное движение, уже не прекращавшееся во все время полета. Площади крыш, мимо которых они теперь проносились, летели вправо и вниз, быстро уменьшаясь. Грехэм вопросительно взглянул на пилота: тот был спокоен. Он с усилием отвел глаза от его лица и заглянул через борт машины. Он не увидел ничего особенно поразительного: такое же приблизительно впечатление могло бы получиться в вагоне фуникулерной железной дороги при очень быстром ходе. Он узнал здание ратуши, узнал Хайгетский мост. Тогда он, наконец, решился заглянуть вниз, в дыру между двумя перекладинами дна кузова, в которые упирались его ноги.

Его обуял животный ужас, вытеснив из его души все, кроме ощущения непрочности его положения и неминуемой гибели, которая его ждет. Пальцы его крепко вцепились в железные поручни кресла. Он не мог оторвать глаз от бездны, зиявшей у него под ногами. Футов на сто под ним вертелось колесо одного из ветряных двигателей юго-западной части Лондона. Дальше виднелась южная летательная станция, усеянная черными точками — людьми. Все это падало, падало, проваливалось в пропасть с ужасающей быстротой, уносясь от него. На миг у него появилось непреодолимое побуждение самому броситься вниз, догнать уходящую землю. Он стиснул зубы и, сделав над собой усилие, поднял глаза. Минута паники миновала.

Довольно долго просидел он так, со стиснутыми зубами, держась за поручни и тупо глядя в небо. «Тук-тук-тук... тук-тук-тук», — назойливо стучала машина. Крепче сжав поручни, он перевел глаза на пилота и увидел улыбку на его загорелом лице. Он попробовал улыбнуться в ответ, вышло немножко натянуто.

— Престранное ощущение с непривычки, — заорал он, стараясь перекричать свист ветра и совершенно забывая о своем монаршем достоинстве.

Он все еще не решался заглянуть вниз и долго смотрел через голову пилота на бледно-голубую поло-

су неба, тянущуюся впереди. Он все никак не мог отвязаться от мысли о возможных случайностях, грозивших моноплану. Что, если в машине испортится какой-нибудь винт? Что тогда?.. Нет, лучше не думать... А моноплан между тем все выше и выше улетал в прозрачное, ясное небо.

Мало-помалу Грехэму удалось взять себя в руки, и удручающая мысль об опасности отошла на второй план. И как только прошло это потрясающее сознание движения в воздушном пространстве, без всякой опоры, прошли и все неприятные ощущения. Грехэм почувствовал себя очень хорошо. Его предупреждали о морской болезни, которой аэронавты подвергаются не менее моряков. Но он находил, что колебательное, пульсирующее движение летящего моноплана, по крайней мере, при слабом ветре, какой был теперь, ничем не хуже нырянья лодки по волнам в свежую погоду; а на лодке его не укачивало. Острота же разреженного воздуха, по мере того как они подымались, вызывала в нем ощущение какой-то особенной легкости, как от действия веселящего газа. Голубая полоса неба впереди затянулась перистыми облачками. Взгляд его осторожно скользнул ниже. Сквозь ребра кузова мелькнула сверкающая стая белых птиц, паривших в воздухе с ним наравне. Он долго любовался ими. Потом, набравшись храбрости, заглянул опять себе под ноги — прямо вниз: тонкий шпиль «вороньего гнезда» с торчащей на нем вышкой, уменьшавшейся с каждой минутой, отливал золотом в ярких лучах заходящего солнца. Теперь он не боялся смотреть. Вот показалась синяя гряда холмов... А вот, уже с подветренной стороны, и запутанный лабиринт крыш удаляющегося Лондона. Резко выделялась ближайшая окраина города. Она так поразила Грехэма своим видом, что последние остатки его страха высоты мигом улетучились. Новый Лондон кончался обрывом — отвесной стеной футов в триста-четырееста вышиною. Стена эта местами прерывалась террасами и в общем представляла собою очень сложный и красивый фасад.

От широкой сети предместий, составлявшей в девятнадцатом веке, так сказать, переходную ступень от города к деревне, не оставалось и следа. Теперь вокруг Лондона тянулся пустырь с разбросанными по не-

му развалинами домов и остатками разнообразных растений, украшавших когда-то сады бывших пригородных вилл. Местами среди этой одичавшей растительности бурели полосы земли, вспаханной под огороды, зеленели поля, засеянные зимними травами, и под ними торчали одинокими островками голые стены обвалившихся домов, десятки лет тому назад покинутых своими обитателями, но почему-то пощаженных новой культурой. Кое-где среди этого хаоса жалких остатков старины, еще пытавшихся бороться с завоеваниями нового века, гордо возвышались дворцы современных увеселительных заведений, соединенные с городом целой сетью металлических проводов. В этот зимний день они казались покинутыми.

Да, Лондон неузнаваем. Границы города очерчены так резко, как это было, пожалуй, только в средние века, когда городские ворота запирались с наступлением ночи и шайки грабителей рыскали вокруг стен.

Там, где некогда тянулась улица Бэт, теперь из широкой полукруглой пасти главных ворот выливался на идамитную дорогу поток вывозимых товаров и вливался обратный поток. Лондон кончался, начиналась деревня. Грехэм увидел под собой возделанные поля долины Темзы — бесчисленные крошечные буроватые полосы земли, перерезанные сверкающими ниточками оросительных каналов.

Его возбуждение быстро росло. Он был точно пьяный. Он втягивал в себя воздух большими глотками и не мог надыхаться. Он громко смеялся: ему хотелось петь, кричать. И, не в силах бороться дольше с этим желанием, он запел.

Постепенно они начали заворачивать к югу. В общем они не поднимались и не опускались; но двигались не по горизонтальной линии, а по волнистой: короткие крутые подъемы чередовались с отлогими длинными спусками, во время которых кормовой винт совершенно бездействовал. С каждым подъемом Грехэм испытывал какую-то странную гордость от сознания усилия, увенчавшегося успехом, а на спусках у него захватывало дух и замирало в груди — ощущение жуткое, но необыкновенно приятное, вроде того, как когда катишься в санках с ледяной горы. Так бы, кажется, и летел всю жизнь в этом разреженном живительном воздухе, никогда бы не спустился на землю.

Но вскоре он опять увлекся созерцанием расстилавшегося внизу, быстро уносившегося к северу ландшафта и залюбовался подробностями. Удивительно живописными казались с высоты развалины домов; но ему было больно смотреть на эти развалины, больно сознавать, что это было все, что осталось от ферм и деревень, которыми была когда-то усеяна эта безлесная, безлюдная равнина. Он знал и раньше об исчезновении в Англии деревень, но большая разница — знать от других или видеть своими глазами. Он пробовал, не распознает ли он знакомые места в этой пустой котловине, зиявшей под ним, но с той минуты, как долина Темзы скрылась из виду, не попадалось больше никаких примет, по которым можно было бы ориентироваться. Но вот вдали показались острые вершины меловой гряды холмов, и по знакомым очертаниям ее восточного ущелья да еще по развалинам города, тянувшегося вдоль его боков, он узнал Гилдфорд Хогс-Бэк. Теперь уже легко было распознать и другие места: Лейс-Хилл, песчаные пустыри Ольдершота и так далее. В Даунсе весь гребень холма был усеян гигантскими ветряными двигателями. Колеса их медленно, словно нехотя, вертелись, чуть-чуть подталкиваемые слабым юго-западным ветром. Лондонские ветряные двигатели были ничто в сравнении с ними. Самый большой из тех, какие до сих пор видел Грехэм, мог бы сойти разве за младшего брата этих великанов. Долина Уэя вся заросла кустами и деревьями, кроме одной широкой полосы, где на месте прежней железной дороги пролегла широкая идамитная дорога в Портсмут, в эту минуту густо усеянная движущимися черными точками. Там и сям мелькали зеленые пятна лугов, покрытых стадами овец Британского треста пищевых продуктов. Затем под кузовом моноплана пронеслись высоты Уилдена, гряда Хиндхедских холмов, Питч-Хилл и Лейс-Хилл со вторым внушительным рядом ветряных двигателей, которые, казалось, отбивали у конкурентов и ту слабую струю ветра, какая долетала до них. Подальше краснело поле вереска, окрапленное желтыми пятнами дрока, и по нему бегало стадо черных быков, подгоняемое двумя пастухами верхом на лошадях. Все это пронеслось мимо и расплылось в туманной дали.

Грехэм устал смотреть и задумался. Писк какой-то маленькой птички, раздавшийся над самым его ухом, вывел его из забытья. Они пролетали теперь над Южным Даунсом. Он оглянулся через плечо и увидел холмы Портсдауна и выступавшие над ними зубчатые стены Портсмута. Вслед за тем показались ярко освещенные солнцем, уменьшенные расстоянием, но отчетливо видимые белые утесы Ниддлс. Еще минута, и перед ними выросли мачты кораблей — густой лес мачт, целый пловучий город, — и впереди сверкнула стальным блеском узкая полоска воды. Вот внизу промелькнул остров Уайт, а за ним раскинулась широкая гладь открытого моря, то отливающая пурпуром в лучах солнца, то мутно-серая под набежавшим облачком, то серебристо-зеркальная с зеленоватым оттенком, как стекло. Позади уже не видно было земли. Прошло еще несколько минут. От серой гряды облаков, застилавших горизонт, отделилась внизу длинная полоса с твердыми, определенными очертаниями и вскоре оказалась линией берега — северного берега Франции. Эта сверкающая на солнце полоска земли быстро выростала в длину и в высоту и гостеприимно манила к себе все новыми и новыми деталями развертывавшегося веселого ландшафта.

Вскоре из-за горизонта выплыл Париж, дал одну минутку полюбоваться собой и снова погрузился за линию горизонта: моноплан, описав широкий полукруг, стал опять заворачивать к северу. Грехэм успел, однако, заметить Эйфелеву башню (она, стало быть, уцелела) и рядом с ней огромный купол какого-то нового здания, увенчанный высоким шпилем. Заметил он еще (хоть и не понял в то время значения этого явления), что со стороны города тянулся густой столб дыма. Пилот пробормотал что-то такое о беспорядках на подземных дорогах, но он пропустил это мимо ушей. Бесчисленные минареты и башенки, высоко подымавшие свои головы над лесом ветряных двигателей в своих порывах к небу, поразили его грандиозной легкостью своих очертаний: уже по одному этому он мог убедиться, что по части красоты и изящества Париж стоит, как и двести лет тому назад, впереди своего огромного соперника Лондона.

Грехэм повернул голову, чтобы бросить прощальный взгляд на удалявшуюся чудную панораму, и вдруг увидел, что над городом поднялось что-то голу-

боватое, легкое, как тень, и полетело по ветру, точно перышко или опавший лист. Потом описало дугу и понеслось прямо на них, быстро увеличиваясь в объеме. Пилот что-то сказал в пояснение.

— Что такое? — переспросил, не дослышав, Грехэм, не отрывавший глаз от голубого облачка, казавшегося живым.

— Лондонский аэроплан, государь! — прокричал пилот ему в ухо, указывая рукой на приближавшуюся тень.

Они взвились кверху, продолжая лететь на север. Аэроплан быстро нагонял. Вот он все ближе и ближе, все больше и больше... Какими слабыми казались удары их маленького кормового винта, какою ничтожною — работа их машины в сравнении со стремительным полетом этого чудовища. Широко раскинув свои перепончатые прозрачные крылья, оно пронеслось под ними, точно живое существо. Перед Грехэмом мелькнули на миг эти могучие распластанные крылья; ряды закутанных пассажиров в свободно подвешенных креслах за стеклянными рамами, наглухо закрытыми от ветра; скорчившаяся за стеклянным щитом фигура пилота, вся в белом... В ушах его пронесся грохот машины, мерный стук работающего винта...

Обогнав их, аэроплан стал подниматься. Крылья их маленького моноплана затрепетали от струи ветра, которую оставлял за собой великан в своем стремительном полете. Жадными глазами смотрел Грехэм ему вслед. Дикий восторг наполнял его грудь... Но не успел он опомниться, как аэроплан был уже далеко впереди. Он снова начал опускаться, становясь все меньше и меньше. И не успели они, кажется, сдвинуться с места, как он опять превратился в голубое пятнышко, чуть видимое в прозрачном воздухе.

Это был аэроплан, совершавший постоянные рейсы между Лондоном и Парижем. В мирное время и в безветренные дни он делал по четыре перелета в день, считая в оба конца.

Спустя несколько минут они снова летели над каналом — летели очень тихо, как казалось Грехэму, только теперь получившему истинное представление о скорости воздушных полетов. С левой стороны впереди показалась линия берега.

— Земля! — закричал пилот, но голоса его почти

не слышно было за свистом встречной струи воздуха, ударявшейся о навес.— Земля!

— Нет еще! — отозвался со смехом Грехэм, тоже крича во все горло.— Нет еще, не земля!.. Прежде я хочу хорошенько ознакомиться с этой машиной.

— Простите, государь, но я...— начал было пилот.

— Я хочу ознакомиться с этой машиной,— упрямо повторил Грехэм.— Я иду к вам.

Он быстро высвободился из своего кресла, поднялся на ноги и шагнул к месту пилота, держась за перила прохода, разделявшего их. На один миг у него закружилась голова; он побледнел и крепче уцепился за перила, но сейчас же овладел собой и в два шага очутился подле пилота. Ему сдавило грудь от напора воздуха. С него сорвало шляпу. Ветер трепал его волосы. Он с трудом удерживался на ногах. Пилот поспешно передвигал в машине какие-то гайки, чтобы восстановить нарушенное равновесие.

— Объясните мне, как вы управляете машиной,— сказал ему Грехэм.— Что нужно сделать, чтобы пустить ее в ход?

Пилот замялся.

— Машина эта очень сложного устройства, государь...— нерешительно пробормотал он.

— Все равно, объясните! — прокричал Грехэм. Пилот молчал.

— Я, право, не знаю...— начал он наконец.— Воздухоплавание составляет привилегию... секрет...

— Знаю. Но я ваш повелитель и хочу знать этот секрет.

Он захохотал, возбужденный опьяняющим воздухом и непривычным сознанием своей власти.

Моноплан сделал крутой поворот к западу. Холодный ветер резанул Грехэма по лицу и закрутил плащ вокруг его ног. Два человека молча глядели друг другу в глаза.

— Государь! — заговорил пилот.— У нас существуют правила...

— Только не для меня,— перебил Грехэм.— Вы, кажется, забываете...

Пилот внимательно всматривался в его лицо.

— Нет, государь, я помню,— сказал он.— Но до сих пор ни один человек на земле, никто, кроме про-

фессиональных пилотов, связанных обетом молчания, не управлял летательными аппаратами. Пассажиры не посвящают в этот секрет.

— Все это я уже слышал. Я не стану терять времени на пререкания с вами. Хотите знать, для чего я проспал двести лет? Хотите? Так я вам скажу: чтобы проснуться и летать.

— Но, государь, если я нарушу наши правила, меня ждет...

Величественным взмахом руки Грехэм снял со своего подданного всю ответственность за нарушение правил.

— В таком случае, я подчиняюсь, — сказал пилот. — Извольте смотреть...

— Нет! — заорал Грехэм, покачнувшись и хватаясь за перила. Моноплан неожиданно повернулся носом кверху: начинался подъем. — Нет, не смотреть! Я хочу сам управлять. Сам, хотя бы мне пришлось сломать себе шею!.. Я сяду рядом с вами. Подвиньтесь, вот так. Я твердо решил научиться летать — пусть даже ценой моей жизни. Не даром же я спал столько лет! Летать было всегда моей заветной мечтой. И теперь... Ну, пустите руки!

— Государь! За мной следят дюжины шпионов...

Грехэм вышел из себя. Ему доставляло какое-то особенное наслаждение давать волю свосму гневу. С проклятием оттолкнул он пилота и нагнулся к рычагам. Машина закачалась.

— Кто господин здесь, на земле, — я или вы с вашим обществом?.. Прочь руки! Я сам возьмусь за руль, а вы держите меня за руки. Так. Теперь говорите: как сделать, чтобы мы опустились.

— Государь!..

— Ну что там еще?

— Вы защитите меня?

— Да, да! Весь Лондон спалю, а не дам вас в обиду.

Этим обещанием Грехэм заплатил за свой первый урок воздухоплавания. Пилот покорился.

— Для вас же лучше, если вы научите меня править. Как вы не понимаете, что это в ваших интересах? — говорил Грехэм с громким смехом, все больше и больше пьянея. — Ну-с, в какую сторону поворачивать руль? Сюда? Ага, понимаю!.. Ах, как хорошо!

— Назад, назад, государь!

— Назад? Ладно! Назад так назад... Раз, два, три! О господи, как хорошо!.. Теперь мы вверх полетели... Вот это значит жить!

И вот аппарат начал выделять в воздухе самые невероятные пируэты. Он то принимался кружиться спиралью, то стрелой взвивался вверх, то кидался вниз, как коршун на добычу, и, как ястреб, взмахом крыльев снова поднимался вверх. Во время одного из своих бешеных спусков он чуть не налетел на караван аэростатов, тянувшийся на юг, и только неожиданно ловким поворотом руля кое-как избежал столкновения в последний момент. Возбуждающее действие разреженного воздуха, необыкновенная быстрота и плавность движения и то ни с чем несравнимое ощущение легкости во всем теле, которое они вызывали, окончательно опьяняли Грехэма: он совсем обезумел.

Его отрезвило одно маленькое происшествие, заставив вернуться к грубой действительности, к той чуждой жизни с ее неразрешимыми загадками, которая ожидала его на земле. Нырять в воздухе, моноплан столкнулся с чем-то живым, и Грехэм почувствовал, что на щеку ему упала теплая капля. Он оглянулся: за кормой кружилось что-то белое, падая вниз.

— Что это? — спросил он растерянно, забывая править рулем.

Моноплан клюнул носом и стал быстро опускаться. Пилот испуганно схватился за руль, и только когда машина приняла опять горизонтальное положение, он глубоко перевел дух и ответил:

— Это был лебедь. Мы убили его.

— Я его не заметил!.. — сказал Грехэм.

Пилот промолчал. Сконфуженный Грехэм предоставил ему править и перебрался на свое пассажирское место.

Некоторое время они летели в горизонтальном направлении, потом начали круто спускаться. Грехэм заглянул вниз: навстречу им, быстро вырастая, поднималась из темноты платформа летательной станции. Они спускались на землю, и вместе с ними опускалось солнце, садясь за тянувшиеся на западе меловые холмы и заливая небо золотым заревом своих прощальных лучей.

Вскоре можно уже было различить людей, толпившихся на платформе. Снизу доносился глухой шум,

напоминавший гул морского прибоя. Грехэм оглянулся кругом: крыши домов вокруг станции чернели народом, собравшимся встречать своего властелина и ликовавшим по случаю его благополучного возвращения. Под арками помоста станции тоже стояла густая толпа: в темноте чуть белели бесчисленные ряды человеческих лиц, и в воздухе радостно мелькали белые носовые платки.

Глава XVII

ТРИ ДНЯ

Линкольн дожидался Грехэма в помещении под арками летательной станции. Он горел нетерпением узнать, как ему понравилось воздушное путешествие, и вышел ему навстречу. Грехэм был в несописуемом восторге.

— Я должен научиться управлять машиной, — говорил он. — И непременно научусь. Это совсем не так трудно, — стоит только захотеть. А я хочу летать. Я жалею несчастных, которые умерли, не изведав этого блаженства. Купаться в чудном, живительном воздухе... нестись навстречу вольному ветру... Ничто не сравнится с этим дивным ощущением!

— Наш новый век, я надеюсь, доставит вам еще много таких ощущений, — заметил Линкольн. — Скажите, чем бы вы желали развлечься теперь? У нас есть, например, новый род музыки, которая, может быть...

— Нет. Пока я поглощен воздушными полетами и не могу думать ни о чем другом. Но ваш пилот мне сказал, что управление летательными аппаратами составляет профессиональную тайну, которую строго воспрещено открывать посторонним...

— Совершенно верно. Но вы — другое дело. Только прикажите, и мы завтра же зачислим вас в профессиональные аэронавты.

Грехэм горячо ухватился за это предложение и принялся опять распространяться о своих ощущениях во время полета.

— Ну, а дела как? — спросил он неожиданно, перебивая себя на полуслове. — Я и забыл про дела.

Линкольн ответил с деланой небрежностью:

— Завтра Острог сам вам расскажет подробно... Говоря вообще, все постепенно входит в норму. Революция восторжествовала во всем мире. Кое-какие трения, разумеется, всегда неизбежны, но ваша власть теперь крепка как никогда. Пока Острог печется о ваших интересах, вы можете спать спокойно.

— А нельзя ли,— заговорил Грехэм после паузы,— зачислить меня в эти, как вы их называете... присяжные аэронавты... теперь же, сегодня? Тогда я мог бы завтра с утра начать мои уроки воздухоплавания.

— Что ж, это можно,— сказал, подумав, Линкольн.— Я вам это устрою.— Он засмеялся.— Я было шел сюда с блестящими предложениями... думал предложить вам развлечься. Но вы, я вижу, уже выбрали себе развлечение. Тем лучше. Сейчас я протелефонирую в Департамент воздухоплавания, а потом мы вернемся в Управление, в ваши апартаменты. Вы пообедаете, а тем временем явятся и аэронавты... Но, может быть, после обеда вы предпочли бы...

Он запнулся.

— Что? — спросил Грехэм.

— Мы, видите ли, думали угостить вас балетом. Нарочно для вас выписали танцовщиц с Капри. Тамощный театр славится своим балетом...

— Я ненавижу балет,— сухо ответил Грехэм.— Всегда ненавидел. И потом это слишком старо. Танцовщицы существовали еще в древнем Египте.

— Это правда. Но наши танцовщицы...

— Я не нуждаюсь в развлечениях. Танцовщицы могут подождать. Теперь я займусь воздухоплаванием. Меня вообще очень интересует устройство новых машин. Я хочу расспросить ваших техников...

— Весь мир к вашим услугам,— сказал Линкольн.— У вас широкий выбор. Вам остается только приказывать: все будет исполнено.

Явился Асано, и, как и прежде, под охраной полиции они вернулись тем же путем в апартаменты Грехэма. Толпа на улицах была теперь еще гуще. Народ провожал своего властелина громкими, радостными криками. Ответы Линкольна на нескончаемые вопросы Грехэма тонули в этом гаме. Сначала Грехэм отвечал улыбками и поклонами на приветствия, раздававшиеся со всех сторон, но Линкольн сделал ему маленькое внушение, объяснив, что такая простота

обращения, по современным понятиям, не подобает его высокому сану и может быть сочтена неуместной, после чего человек девятнадцатого столетия, которому и самому надоело поминутно кивать головой, с большим удовольствием забыл о своих подданных на весь остаток пути.

Как только они вернулись в Управление ветряных двигателей, Линкольн, по требованию Грехэма, разослал гонцов за моделями всевозможных машин, по которым можно было бы наглядно уяснить себе успехи механики за последние два века. Асано, со своей стороны, вызвался продемонстрировать кинематографические снимки машин в действии. Небольшая моделька усовершенствованного телеграфа до такой степени заинтересовала Грехэма, что тонкий гастрономический обед, ожидавший его на столе, сервированном ловкими руками хорошеньких служанок, долго оставался нетронутым. Куренье табака давно уже стало архаической модой, но как только Грехэм выразил желание покурить, во все концы света полетели заказы, и к десерту на столе появился ящик превосходных сигар, доставленных из Флориды пневматической почтой.

Затем явились аэронавты и модели машин в сопровождении опытного инженера. Достижения новейшей техники одно за другим проходили перед изумленным взором Грехэма. Необыкновенная чистота и точность работы некоторых машин поразили его, и можно смело сказать, что все эти арифмометры, автоматические строители, элеваторы, прядильные станки, моторы, косилки и молотилки были для него в данный момент гораздо привлекательнее самой обворожительной бабдерки.

— Мы были дикарями! — твердил он в экстазе. — Как посмотришь на все эти чудеса, так подумаешь, что мы жили в каменном веке... Ну-с, что же вы мне еще покажете, господа?..

Тут выступили на сцену ученые по другим отраслям знания. Перед Грехэмом были проделаны очень интересные опыты гипнотизма. Его современники, вероятно, удивились бы, если б знали, какой известностью будут пользоваться в XXII веке имена Милна Броммуэлла, Фехнера, Либо, Уильяма Джемса, Майерса и Гарни. Научные изыскания в области психологии получили теперь много практических примене-

ний, ставших общим достоянием. Лечение внушением почти окончательно вытеснило порошки и пилюли, антисептические и анестезирующие средства; к нему прибегали и все те, кто занимался умственным трудом. Благодаря гипнозу значительно расширилось поле интеллектуальной работы, доступной человеческим силам. Известные фокусы быстрого «счета в уме», поражавшие умением некоторых людей справляться с невероятно огромными числами, и «чудеса» месмеристов, какими привык Грехэм считать подобные явления, теперь могли быть проделаны каждым, кто мог оплатить услуги опытного гипнотизера. Старая система преподавания в школах была давным-давно упразднена и заменена новыми приемами. Экзаменов больше не существовало. Вместо того чтобы тратить годы на зубрежку, учащиеся прибегали к гипнозу. В течение нескольких недель с перерывами юношу усыпляли гипнозом. Гипнотизер читал ему параграф за параграфом учебную книгу, которую надо было пройти, и затем внушал, чтобы он все это запомнил. Особенно полезен был этот способ запоминания при изучении математических наук. Им пользовались также и многие игроки в шахматы. Короче говоря, все виды умственной работы, где мысль идет строго определенным логическим путем, были совершенно освобождены от бесплодных блужданий фантазии и доведены до идеальной точности мышления. Все дети рабочего класса, как только они достигали такого возраста, что могли выдерживать гипноз, превращались этим способом в прекрасно обученных мастеров и ремесленников и, таким образом, избавлялись от долгого искусства подготовки. Ученики училищ воздухоплавания, страдавшие головокружением во время полетов, тем же способом вылечивались от своих воображаемых страхов. На каждом перекрестке можно было встретить гипнотизера, готового за самую дешевую плату прийти на помощь вашей слабой памяти и навеки запечатлеть в ней желаемый факт, имя, ряд чисел, мотив песни, ее слова. И обратно: вы могли, если хотели, изгладить из своей памяти любое воспоминание, отделаться от неудобных привычек, искоренить в себе то или другое желание. Такого рода психириургические операции не мало облегчали жизнь: человек забывал все, что было недостойного и

унизительного в его прошлом; неутешные вдовы переставали оплакивать своих умерших мужей; ревнивые любовники освобождались от рабства любви. Но исполнение желаний было все еще неразрешенным вопросом, и факты передачи мыслей оставались лишь случайными фактами.

Гипнотизер, демонстрировавший свое искусство перед Грехэмом, закончил представление несколькими поразительными мнемоническими опытами над жалкими бледнолицыми детьми в голубых балахонах.

Грехэм, как и большинство его современников, боялся действия гипноза, иначе он мог бы давно облегчить свою душу от многих тягот. Но он держался того устарелого мнения, что, подвергаясь гипнозу, человек до известной степени теряет индивидуальность, отказывается от своей воли. Поэтому теперь, как ни убеждал его Линкольн, он решительно не пожелал отдать себя в руки гипнотизера. На этом блестящем пиршестве последних приобретений науки он хотел оставаться самим собой.

Так прошел день, еще день и еще. Наглядное ознакомление со всевозможными машинами чередовалось с уроками воздухоплавания, доставлявшими истинное наслаждение ученику. На третий день Грехэм пролетел над всей Францией и видел вдали снежные вершины Альп. Здоровая усталость после движения на воздухе приносила ему крепкий сон. Он чувствовал себя бодрее и сильнее с каждым днем: от той безвольной анемии, которую он никак не мог стряхнуть с себя в первые дни после своего пробуждения, не оставалось и следов. Те часы, когда он не летал и не спал, заполнялись благодаря усердию Линкольна разнообразными развлечениями. Все, что было нового и любопытного в жизни двадцать второго столетия, проходило перед глазами Грехэма. Можно было бы наполнить целые тома описанием тех диковин, которые ему пришлось теперь увидеть, так что, при всем его интересе к новизне, он в конце концов почувствовал пресыщение.

Часа полтора ежедневно у него уходило на официальный прием. Его общий расплывчатый интерес к новым современникам, которых ему послала судьба, очень скоро стал приобретать личный характер: он начал разбираться в людях, у него явились симпатии и антипатии. Вначале все непривычное, каждая

странность, которую он подмечал, поражала его: вычурность костюмов, какая-нибудь особенность в манерах и обращении, расходившаяся с его понятиями о приличиях, неприятно резала ему глаз и поднимала в нем враждебное чувство к этим, как он их называл про себя, «чудакам». Но потом это прошло, прошло так бесследно, что ему самому казалось странным, как он мог так чувствовать когда-нибудь. Он совершенно освоился со своим положением, вошел в новую жизнь, и его прошлое, времена королевы Виктории, отошли бог знает куда, в туманную даль.

В течение этих трех дней он несколько раз встречался с хорошенькой рыжеволосой дочкой директора Общеввропейских свиных заводов и только теперь вполне оценил ее общество. На второй день его водили в балет, где он видел современную знаменитость — танцовщицу новой школы, — и не мог не признать ее необыкновенной артисткой. В конце третьего дня Линкольн деликатно намекнул Грехэму, не угодно ли ему будет теперь посетить «Веселые Города», но тот решительно не пожелал понять намека. Не менее решительно отказался он и от услуг гипнотизеров, которые, как уверял Линкольн, могли посредством внушения сделать вполне безопасными его эксперименты воздухоплавания.

Он все больше кружился над Лондоном в своих воздушных полетах. К Лондону его привязывала нить старых воспоминаний. Узнавать знакомые места было для него неисчерпаемым источником интереса. «Вот здесь, прямо под нами, был ресторан, где я обыкновенно обедал в мои студенческие годы, — говорил он. — А здесь была станция Ватерлооской железной дороги. Какая там кипела жизнь! Можно было запутаться во всех этих приходящих и отходящих поездах. Сколько раз я бывало стоял на платформе в ожидании своего поезда с саквояжем в руке и смотрел вперед вдоль полотна на бесконечные ряды сменявшихся сигналов. Не думал я тогда, что буду через много-много лет пролетать над этим местом на моноплане».

В эти три дня внимание Грехэма было до такой степени поглощено всякими новинками во всех областях знания, что он совсем забыл о важных политических событиях, разыгрывавшихся за стенами его палат. Никто из окружающих не говорил о политиче-



ских делах. Правда, к нему ежедневно являлся его великий визирь, его майордом Острог, и в туманных выражениях докладывал ему о дальнейшем ходе укрепления его власти, упоминая при этом о «небольших беспорядках» в таком-то городе или о «недовольстве» в другом; но все это говорилось как-то вскользь и всегда заканчивалось успокоительным заверением, что «все будет скоро улажено, и тогда...» Ни разу за все это время не долетал до слуха Грехэма и торжественный напев революционного гимна: он не знал, что пение этого гимна было запрещено в черте города. И мало-помалу в душе его засыпали благородные чувства, так волновавшие его в ту минуту, когда он смотрел на город с вышки «вороньего гнезда».

Но уже к концу второго дня, несмотря на весь его интерес к рыжеволосой красавице, а может быть, даже именно благодаря частым разговорам с нею и той ассоциации мыслей, которую они вызывали, его начало тревожить воспоминание об Элен Уоттон и об ее таинственных словах во время их последнего свидания. Образ этой девушки глубоко запечатлелся в его душе. Бесперывная смена впечатлений за последние дни заставила померкнуть этот образ на время, но теперь он снова ожил и манил его к себе. Что значили ее отрывочные странные намеки? Что она хотела сказать?.. По мере того как ему приедались эти «последние слова» техники и всякие новинки, которыми его угощали, ему все чаще вспоминались ее строгие глаза и глубокое волнение, так ясно читавшееся на ее благородном лице.

Глава XVIII

ГРЕХЭМ ВСПОМИНАЕТ

Они встретились в галерее, соединявшей его парадные покои с помещением Управления. Галерея была узкая и длинная, с рядами сводчатых ниш по бокам. В каждой нише было большое окно, выходившее в роскошный сад.

Он наткнулся на нее неожиданно: она сидела в одной из ниш. Она повернула голову на шум шагов и вздрогнула, увидев его. Румянец сбежал с ее лица.

Она быстро встала, шагнула ему навстречу и остановилась в нерешимости. Он подошел и тоже остановился, выжидая, что она скажет. Он понял, что она его ждала, искала встречи с ним, иначе зачем бы она очутилась в этой галерее? Она хотела заговорить и не могла: волнение душило ее.

— Я хотел вас видеть! — сказал он. — Все это время я думал о вас и хотел вас видеть. Несколько дней тому назад вы начали говорить... вы мне хотели что-то сказать... что-то такое о народе... Что вы хотели сказать?

Она взглянула на него: в ее глазах была тревога.

— Вы говорили тогда, что народ очень несчастлив...

С секунду она продолжала молчать, потом сказала резко:

— Я вас, должно быть, удивила тогда.

— Удивили. Но вы...

— Я сказала сущую правду. — Она опять подняла на него глаза, не решаясь продолжать. Наконец глубоко перевела дух и заговорила с усилием: — Вы... забываете народ.

— То-есть как?

— Вы забываете народ, — повторила она.

Он смотрел на нее вопросительно, не понимая.

— Я знаю, вы удивлены. И немудрено: вы не понимаете, что вы значите для народа. Вы не знаете, что творится кругом. Вам многое непонятно.

— Вы, пожалуй, правы. Но если так, объясните...

Она повернулась к нему с внезапной решимостью.

— Это очень трудно объяснить. Я думала... я давно хотела с вами поговорить. А теперь не знаю как. Нет слов... То, что с вами случилось, так необыкновенно... Ваш сон, ваше пробуждение — чудо. Для меня, по крайней мере, и для всего народа. Вы жили, страдали и умерли простым гражданином, а проснулись властелином земли.

— Властелином земли, — повторил он задумчиво. — Да, так мне говорят. Но вы постарайтесь ясно представить себе, как я был далек от этой мысли и как мне теперь трудно понять... Эта чуждая, новая жизнь... царство городов, крупных предприятий... все эти тресты, рабочие союзы... Потом эта власть и почет... Да, власть. Я слышал, как они кричали мне

вслед. Я властелин — я знаю. Если хотите — царь с великим визирем Острогом, который...

Он не договорил.

Ее глаза с пристальным вниманием остановились на его лице.

— Что же дальше? — спросила она.

Он улыбнулся.

— ...который готов принять на себя всю ответственность.

— Вот именно этого мы и боялись, — сказала она и после минутного молчания продолжала спокойно и твердо: — Нет. За все отвечаете вы, а не он. Вы должны принять на себя всю ответственность. На вас все упования народа. Послушайте, — заговорила она мягче, — в течение, по крайней мере, половины тех лет, которые вы проспали, миллионы народа из поколения в поколение молились о том, чтобы вы проснулись. Молились!

Он сделал движение, хотел что-то сказать и не мог.

Она тоже молчала, собираясь с силами, чтобы продолжать. Слабый румянец выступил у нее на щеках.

— Знаете ли вы, что для этих миллионов людей вы были королем Артуром, Барбароссой... Они верили, что этот король пробудится от сна, когда пробьет его час, и восстановит их права.

— Но ведь народная фантазия всегда...

— Слыхали вы нашу поговорку: «Когда проснется Спящий»? Все эти годы, пока вы лежали недвижимым, бесчувственным трупом, на вас приходили смотреть тысячи тысяч. Публика допускалась к вам каждое первое число. Вы лежали, прибранный, в белой одежде, и мимо вашего ложа тянулись вереницы народа в почтительной тишине. Я была еще маленькой девочкой, когда меня привели к вам в первый раз. Помню, с каким благоговейным страхом я смотрела на ваше бледное, спокойное лицо.

Она отвернулась и, не глядя на него, упавшим голосом продолжала:

— Я смотрела тогда на ваше лицо, и мне казалось, что вы только ждете... что вы не просыпаетесь и молчите только потому, что еще не исполнилась мера вашего долготерпения.— Она опять повернулась к нему.— Вот что я... что все мы о вас думали. Вот каким вы нам представлялись.— Глаза ее блестели, голос

звенел.— И в этом городе и повсюду по всей земле мириады мириад мужчин и женщин ловят каждое ваше слово, каждое ваше движение. Все ждут от вас чуда,— всего! И если...

— Если?..

— Если ожидания их будут обмануты, ответственность ляжет не на Острога, а на вас.

Он с удивлением глядел на ее сияющее, вдохновенное лицо. Как трудно было ей заговорить, и как свободно лилась, каким горячим чувством звучала теперь ее речь!

— Неужели вы думаете,— говорила она,— что вы, маленький человек, проживший свою маленькую жизнь в далеком прошлом, стоите чего-нибудь сами по себе? Неужели все это чудо — чудо вашего векового сна и вашего пробуждения — совершилось только затем, чтобы вы могли прожить вторую никому не нужную жизнь? На вас сосредоточилась вся любовь, все благоговение, все надежды половины мира. И неужели после этого вы считаете себя вправе свалить ответственность на другого?

— Я знаю...— начал он запинаясь,— все говорят, что власть моя велика — по крайней мере, в глазах народа. Но насколько она реальна, действительна — вот вопрос. Я не могу в нее поверить. Это какая-то сказка, сон... Может быть, моя власть — просто мыльный пузырь, который лопнет от первого толчка.

— Испытайте!

— Впрочем, в сущности, ведь и всякая власть есть лишь иллюзия в умах людей, которые в нее верят. В этой-то вере вся моя власть. Но крепка ли моя власть?

— Испытайте! — повторила она.— Вы говорите власть — в вере людей. Но ведь этих людей миллионы, и пока они верят, они будут повиноваться.

— Но поймите же: я ничего не знаю. Я как впотьмах... Совсем другое Острог, члены Совета. Они в курсе дела. Весь ход событий, все условия современной жизни известны им до последних мелочей. Им легко прийти к тому или другому решению. Вот вы сказали, что народ несчастлив. А в чем его несчастье, как мне знать? Научите меня ради бога...

Он растерянно протянул к ней руки.

— Я только слабая женщина, и не мне вас учить,— проговорила она.— Но я скажу вам, что я думаю. О,

сколько раз я горячо молилась дожить до этого часа, увидеть вас и все вам рассказать... Так знайте же, земля залита морем человеческих слез. Мир полон горя. Мир страшно изменился. От тех времен, когда жили вы и ваши современники, ничего не осталось. Точно какая-то неизлечимая смертельная язва поразила человечество и высосала из него жизнь.

Она подняла на него свои строгие глаза, горевшие мучительным волнением, и заговорила с новой энергией:

— Ваши дни были днями свободы. Да. Я всегда так думала, думала с завистью, потому что не знала счастья в моей жизни... За эти два столетия люди потеряли свободу и не сделались ни выше, ни лучше, чем были в ваше время. Знайте: этот город — тюрьма. Теперь каждый город — тюрьма, и ключи от всех этих тюрем у Маммоны. Несчетные мириады людей трудятся как каторжные от колыбели до могилы, без всякого просвета впереди. Неужели это справедливо? И неужели так будет всегда? О да, у нас гораздо, несравненно хуже, чем было у вас. Кругом, куда ни взгляни, ничего, кроме нужды и горя. Те блага житейские, те суетные удовольствия, которые вас окружают, лежат на грани такой нищеты, такого страдания, что их не перескажешь словами. Только беднякам известно, как они страдают. И тысячи таких бедняков приняли за вас смерть в последние дни. Да, вы обязаны им жизнью.

— Я обязан им жизнью, я знаю,— печально повторил Грехэм.

— В ваше время тирания городов только еще зарождалась,— продолжала она.— А это самая ужасная тирания. В ваше время господство лордов, феодалов уже отошло в прошлое, а господство новой денежной аристократии еще не утвердилось. Половина человечества жила по деревням, среди природы. Города еще не поглотили людей. Помню, мне в детстве рассказывали повести из книг того времени... О, тогда была настоящая аристократия, истинное благородство! Да и простые смертные жили полной человеческой жизнью. Они знали, что такое честь, что такое любовь. И вы это знаете: вы пришли из того мира.

— Простите, вы немножко идеализируете... Но все равно. Допустим, что в мое время человечество знало много хороших вещей. Ну, а теперь?

— Теперь оно знает наживу и «Веселые Города», да еще рабство — вечное, позорное рабство.

— Рабство...

— Да, рабство.

— Неужели вы хотите сказать, что в ваше время люди владеют людьми, как скотом или недвижимой собственностью?

— Хуже. Вы ничего не знаете. От вас скрывают. Вас развлекают, чтобы отвлечь ваше внимание... Скоро вас повезут в «Веселые Города». Но надо, чтобы вы узнали правду. Видели вы на улицах людей в голубом — мужчин, детей и женщин с испитыми, желтыми-желтыми лицами, с потускневшими глазами?

— Еще бы! Их целые тысячи. На них натыкаешься на каждом шагу.

— Все они говорят на отвратительном жаргоне, очень слабо напоминающем английский язык.

— Да, я заметил.

— Это невольники — ваши невольники. Рабы Рабочего Общества, которого вы хозяин.

— Рабочего Общества?.. Позвольте, я, кажется, припоминаю... Когда я блуждал по городу после своего побега, я видел несколько домов... Огромные дома казарменной постройки, все на один образец, выкрашены голубою краской. Так это...

— Ну да, это дома Рабочего Общества. Как бы вам объяснить?.. Вас, конечно, поразило это преобладание голубого цвета, это однообразие костюмов... точно казенный мундир... Так вот почти треть населения нашего города носит этот мундир. А скоро будет носить половина. Рабочее Общество разрослось незаметно.

— Но что же это за общество? Объясните.

— Скажите, как поступали в ваше время с людьми, которым грозила голодная смерть?

— У нас были работные дома, содержавшиеся на счет городских приходов.

— Ах, да, работные дома. Я помню, о них говорится в истории. Так вот Рабочее Общество поглотило, вытеснило работные дома. Оно выросло из этой, как она называлась?.. — вы, наверно, помните — из Армии Спасения. Но с течением времени из религиозной организации она превратилась в коммерческое предприятие. Благотворительность — такова была первоначальная идея этого учреждения. Оно задавалось

целью доставлять заработок голодному, бездомному люду, спасало его от работных домов. Но потом Совет ваших опекунов прибрал Рабочее Общество к своим рукам, — к слову сказать, это было одно из первых приобретений Совета... Совет купил вашу Армию Спасения, и с тех пор характер учреждения совершенно изменился. Оно разбогатело и невероятно разрослось. Теперь нет ни работных домов, ни приютов, ни богаделен. Есть только Рабочее Общество. Его отделения разбросаны по всему миру. Повсюду вы увидите проклятый голубой мундир. Всякий рабочий — будь то мужчина, женщина или ребенок, — если он заболел или лишился заработка, в конце концов непременно попадает в лапы Рабочего Общества. Всем бесприютным и голодным только две дороги: или в голубую казарму или в омут головой. «Веселые Города», где так хорошо и незаметно помогают отправиться на тот свет, этим людям не по карману: легкой смерти не бывает для бедняков. А в казармах Рабочего Общества в любой час дня и ночи они находят кров и пищу, но под непременным условием — облечься в голубой мундир. С каждого приходящего за каждый день приюта берут день работы, а затем возвращают ему его платье и отпускают на все четыре стороны.

— Он, стало быть, свободен?

— Вам кажется, что это совсем не так ужасно? В ваше время люди умирали с голоду на улицах. Казалось, чего уж хуже. Но они умирали людьми. А эти, в голубой холстине... У нас есть пословица: «Голубую блузу только надень, — в ней ляжешь и в могилу». Рабочее общество живет трудом бедняков и уж, конечно, принимает меры, чтобы обеспечить за собой этот труд. Является голодный, беспомощный человек, его кормят, дают ему выспаться, а там — изволь работать. Если он хорошо поработал, ему в поощрение дают два-три пенса на дешевое место в театре в кинематографе, в танцевальном зале, на общественном обеде или на гонках. А на другой день что ему делать? Куда идти? Просить милостыню запрещено: городская полиция строго преследует нищих. Да никто и не подаст милостыни. И возвращается человек день за днем все в ту же голубую казарму. Собственное его платье, наконец, изнашивается, превращается в такие лохмотья, что стыдно показаться на улице. Надо проработать

несколько месяцев, чтобы скопить на новое. Да и зачем ему свое платье? Ведь он уже казенный человек. Огромное большинство детей рабочих классов рождается в родильных приютах Рабочего Общества.

За каждого такого ребенка мать обязана проработать месяц на Общество. Ребенка кормят, одевают и учат до четырнадцати лет, и за это он расплачивается двухлетней работой. И такой ребенок уж никогда не снимет голубой блузы — будьте уверены... Вот как Рабочее Общество обделывает свои дела.

— У вас, стало быть, нет ни нищих, ни бродяг?

— Нет. Все кандидаты в бродяги работают на Общество или сидят в тюрьме.

— А если такой кандидат не хочет работать?

— Заставят. От голубой казармы ему не уйти. А у них там умеют справляться с непокорными. У них есть целая градация взысканий за леность: лишение обеда и мало ли что еще... Нет, у нас не допускаются бродяги. Уехать же из города бедный человек не имеет возможности. Проезд до Парижа стоит два льва. Бедняки должны сидеть на месте, работать и не протестовать. А для непокорных у нас есть тюрьмы — темные, отвратительные. За малейший проступок — тюрьма.

— Вы говорите, почти треть населения ходит в голубой холстине?

— Теперь уже более трети. Страшно подумать: чуть ли не половина народа живет жизнью рабочего скота. Ни радости, ни надежды, никаких человеческих чувств. Единственное развлечение: слушать рассказы про «Веселые Города», существующие словно в насмешку над позорной жизнью бедняка, его нищетой и страданиями. По всему миру разбросаны эти миллионы искалеченных, безгласных людей, не знающих ничего, кроме вечных лишений и неудовлетворенных желаний. Они рождаются, живут, как скот, и умирают. Вот до какого состояния мы дошли!

Грехэм молчал, совершенно подавленный.

— Но ведь теперь все это изменилось, — проговорил он наконец. — Недаром же была революция. Острог...

— Да, на революцию была вся надежда. Весь мир ее ждал. Но только не Острог даст народу то, что ему нужно. Острог — политик. Он не верит в лучшее бу-

душее, да и не желает его. Страдания народа, по его мнению, неизбежное зло. Впрочем, таково мнение всех сильных мира, всех богатых и счастливых людей. Народ им нужен для достижения их политических целей: ведь унижением народа они только и живут... Но вы пришли из другой, более светлой эпохи. Все свои упования народ возлагает на вас.

Он, не отрываясь, глядел на нее. В ее глазах блеснули слезы. Горячая волна прихлынула ему к сердцу. В этот миг он забыл и народ, за который она так горячо ратовала, и голос совести, заговоривший в нем, — забыл все на свете под непосредственным впечатлением ее одухотворенной красоты.

— Но что же мне делать? Говорите! — вымолвил он, не сводя с нее глаз.

Она наклонилась к нему и ответила почти шепотом:

— Править. Править миром, как никто еще не правил до сих пор, — на благо и счастье людей. Вы это сможете, если захотите. Народ зашевелился везде, во всех концах мира. Даже средние классы недовольны существующим порядком вещей. Довольно одного слова, чтобы все восстали как один человек. Скажите это слово. Вы не знаете, что творится кругом. Вам не говорят. Народ не хочет больше возвращаться к своему рабскому труду. Народ отказывается сложить оружие... Не думал Острог, что, разбудив в нем надежды, он разбудит спящего льва.

У Грехэма сердце так билось, что он не мог говорить. Он старался справиться со своим волнением и вдуматься в ее слова.

— Народ ждет только вождя, — продолжала она. — Будьте же этим вождем: вы — властелин мира.

Он, наконец, отвел глаза от ее лица и сел. Наступило молчание.

— Старые мечты... старые грезы: свобода, всеобщее счастье! — заговорил он тихо. — Я сам когда-то об этом мечтал. Но может ли один человек... один?

Голос его пресекся, он замолчал.

— Нет, не один, а все, все человечество, все люди! Им нужен только вождь, человек, который смело высказал бы то, по чему они томятся, чего они хотят.

Он грустно покачал головой. С минуту оба молчали. Вдруг он поднял голову. Глаза их встретились.

— У меня нет вашей веры, нет вашей молодости, — сказал он. — И я далеко не всесилен. Моя власть — только призрак власти... Пойдите, давайте договорить... Я искренно хочу — не скажу: дать человечеству счастье — это не в моих силах, — а облегчить ему жизнь. Не от меня зависит, чтобы на земле наступил золотой век. Но вы правы: я должен действовать. И я буду действовать — это я твердо решил. Вы меня разбудили... Я сокращу Острога: он узнает свое место. Рабство рабочих прекратится — это я, во всяком случае, вам обещаю.

— Так вы будете править? Да?

— Да, но с условием...

— С каким?

— Вы будете мне помогать.

— Я?!. Но что же я могу?

— Неужели вы не понимаете, что и я один не могу? Ведь я совсем, совсем один...

Она подняла на него глаза, и взгляд ее смягчился.

— Нужно ли говорить, что я готова прийти вам на помощь? — сказала она.

— Я так беспомощен...

— Отец и хозяин, — сказала она. — Мир — ваш.

Они молчали. Вдруг ударил колокол, отбивающий часы.

— Хорошо, я буду править, — проговорил он медленно и, помолчав, закончил: — С вами.

Опять наступила длинная пауза. Часы пробили час. Она продолжала молчать. Грехэм встал.

— Острог меня ждет. — Он смотрел на нее, собираясь еще что-то сказать. — Когда я стал было спрашивать его, он... Но все равно: я и сам все узнаю. Все то, о чем вы мне говорили, я хочу видеть своими глазами. Я обойду город и посмотрю. А когда я вернусь...

— Я буду знать о вашем возвращении и буду ждать вас здесь.

Он постоял еще немного, ожидая, не прибавит ли она чего-нибудь, но она молчала. Они еще раз посмотрели друг другу в глаза испытующим взглядом; потом он повернулся и пошел в приемные комнаты Управления.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ОСТРОГА

Острог уже ждал Грехэма, чтобы отдать ему обычный отчет о событиях дня. Насколько прежде Грехэм всегда спешил отбыть эту церемонию, чтобы поскорее отдаться свосму любимому занятию — урокам воздухоплавания, настолько же теперь он затягивал ее, поминутно прерывая докладчика короткими, быстрыми вопросами. Ему не терпелось взять бразды правления в свои руки и показать свою власть. Известия Острога о положении дел за границей были самые утешительные. В Париже и в Берлине, правда, произошли небольшие волнения, но то был лишь «слабый, неорганизованный протест», и в обоих городах порядок скоро был восстановлен.

— Дело в том, — прибавил Острог, понукаемый настойчивыми расспросами Грехэма, — что за последние годы Коммуна снова подняла голову. В этом-то, собственно говоря, и коренится главная причина теперешней борьбы.

Тогда Грехэм, становившийся с виду тем спокойнее, чем больше он волновался, спросил, не было ли в городе вооруженных столкновений.

— Было одно небольшое... в одном только квартале. Но, к счастью, на место во-время подоспели аэропланы с Сенегальской дивизией нашей африканской сельской полиции. Полиция Соединенного Африканского Общества прекрасно обучена... Мы ожидали беспорядков в континентальных городах и в Америке. Но в Америке все спокойно. Все очень довольны низвержением Совета, по крайней мере пока.

— А почему вы ожидали беспорядков? — резко спросил Грехэм.

— В низах идет брожение. Народ недоволен существующим строем.

— Рабочим Обществом, может быть?

— Вы быстро учитесь, я вижу, — вырвалось у Острога. Но он сейчас же спохватился и ответил спокойно: — Да, недовольны они главным образом Рабочим Обществом. Это недольство и было первой причиной, вызвавшей революцию. А ваше пробуждение послужило для нее ближайшим толчком.

— А затем?

Острог улыбнулся.

— Ну-с, все это было нам как нельзя более на руку.— Он становился совсем откровенным.— Мы постарались расшевелить это недовольство. Мы воскресили старые идеалы всеобщего счастья, покоившиеся мирным сном в течение двух столетий. Старые, отжившие идеи: все равны... все благоденствуют... каждый имеет свою долю на жизненном пиру и так далее, и так далее. Вам это, конечно, знакомо. Несбыточные глупые бредни! Но нам онигодились: без них мы бы не могли низвергнуть Совет. А теперь...

— Теперь?

— Теперь революция завершилась, Совет пал, но народ продолжает волноваться. Видно, мало усмиряли... Правда, мы сами раззадорили его обещаниями. Удивительно, с какой силой и быстротой оживает и разрастается этот расплывчатый гуманизм вашей допотопной эпохи. Даже мы были поражены успехами революции — мы, сами посеявшие ее семя... Пришлось прибегнуть к силе. В Париже, как я вам уже говорил, мы были вынуждены вызвать подкрепление из-за границы.

— А здесь?

— И здесь не все идет гладко. Десятки тысяч рабочих не хотят возвращаться к работе: объявили всеобщую забастовку. Половина фабрик пустует. Народ толпится на улицах. Толкуют про Коммуну. Человек в приличном костюме не может показаться на улице, чтобы не подвергнуться оскорблениям. Голубые ждут от вас великих и богатых милостей. Но вам нечего беспокоиться. Мы приняли меры. Говорильные машины расставлены во всех частях города и красноречиво призывают к порядку. Стоит только не выпустить из рук узды, и мы их усмирим. Мы действуем смело.

Грехэм ответил не сразу. Он обдумывал свои возражения, не желая быть слишком резким.

— Я знаю,— проговорил он, наконец, очень сдержанно,— вы даже негров из Африки вызываете для усмирений.

— Негры — полезный народ,— заметил спокойно Острог.— Хорошая рабочая сила. Здоровые, послушные животные, не зараженные вредными идеями, как

наша здешняя сволочь. Если б Совет в свое время организовал из негров городскую полицию, дела могли бы принять другой оборот... Но вам-то, повторяю, нечего бояться, здесь ничего не может произойти, кроме отдельных маленьких вспышек. И, наконец, в крайнем случае, у вас есть собственные крылья, и в случае нужды вы улетите на Капри: вы ведь теперь умеете летать... Все главные ресурсы современной техники в нашем распоряжении. Наши инженеры ветряных двигателей получают такое огромное жалованье, что уж, конечно, останутся нам верны. То же самое и аэронавты. Все летательные аппараты, таким образом, в наших руках, и мы полные господа воздушной стихии. А в наше время быть господином воздуха — значит быть господином земли. Против нас не может organizоваться никакая сколько-нибудь крупная сила. У них нет даже вождей, если не считать вожаков нескольких отделов тайного сообщества, которое мы же и учредили незадолго до вашего пробуждения. Все это мелкие честолюбцы или сентиментальные дураки. Все завидуют друг другу и грызутся между собой. Ни один не может стать центральной фигурой. Стихийное движение, народный мятеж — вот единственное, чего еще мы можем опасаться. Это возможно, не скрою. Но это не помешает вашим воздушным полетам. Те времена, когда народные массы могли делать перевороты, давно миновали.

— Кажется, что так, — задумчиво проговорил Грехэм. — Вообще ваш век, должен сознаться, поражает меня неожиданностями. Мы в наше время, помню, бредили демократическим строем, мечтали о наступлении блаженной поры, когда все люди будут, как братья, и не будет обездоленных на земле.

Острог бросил на него острый взгляд.

— Дни демократизма прошли, — сказал он. — Прошли и не вернуться. Они кончились с той минуты, когда народные массы перестали одерживать победы, когда на смену лучникам Кресси и марширующей пехоте пришли дорогостоящие пушки, броненосцы и стратегические железные дороги. Мы живем в эпоху торжества капитала. Владычество денег никогда еще не было так велико. Деньги подчинили себе землю, море и небо. И за теми, кто владеет этой новой силой, — вся власть. Таковы факты, а с фактами приходится считаться... Мир для толпы?! Толпа — власте-

лин мира?.. Помилуйте! Да даже в ваше время это положение было отвергнуто, как нелепость. Теперь же оно имеет лишь одного сторонника — бессильного, ничтожного — человека толпы.

Грехэм молчал, подавленный мрачными думами.

— Но царство толпы миновало, — продолжал Острог. — Люди толпы еще могли развернуться в деревне, на просторе полей. Тогда народилась первая аристократия — аристократия захвата власти. То были смельчаки, проявлявшие свое удальство набегам, поединками, грабежами. Но их строго усмирили. Первая долговечная аристократия, закованная в железные доспехи, возникла вместе с укрепленными замками. Но и она не устояла перед пушкой и ружьем. Ныне наступило царство второй аристократии — настоящей. Дни огнестрельного оружия были сравнительно еще днями демократизма. Теперь же человек толпы — ничтожество, ноль. Наш век — век колоссальных предприятий, гигантских машин, чудовищных городов. Где же рядовому человеку разобраться в этом сложном механизме общественных отношений?

— Однако же вы сами говорите, что у вас не все идет гладко, — заметил Грехэм. — Есть какая-то сила, которую вам приходится сдерживать, подавлять.

— О, на этот счет можете быть покойны, — ответил с принужденной улыбкой Острог, отмахивая в сторону все затруднения величественным жестом руки. — Поверьте, не затем я поднял эту силу, чтобы она обрушилась на меня.

Грехэм вдруг выпрямился и заговорил другим голосом:

— Не в этом вопрос.

Острог насторожился.

— Неужели так будет всегда? — продолжал Грехэм уже с нескрываемым волнением. — Неужели так должно быть? Неужели напрасны были все наши надежды?

— Что вы хотите сказать? Какие надежды? — спросил растерянно Острог.

— Я жил в демократический век. Спустя двести лет я попадаю в другую, новую эпоху, и что же я застаю? Аристократическую тиранию!

— Да. Но вы забываете, что вы сами — главный тиран.

Грехэм сдвинул брови.

— Но хорошо, оставим в стороне личности,— сказал Острог.— В том, что вы видите кругом, нет ничего ненормального. Господство аристократии, то-есть избранных, лучших, страдания и вымирание неприспособленных — таков естественный ход прогресса.

— Вы говорите — аристократия. Да неужели же все эти господа, с которыми я теперь встречаюсь...

— О нет, не эти! — перебил Острог.— Это конечные люди. Легкая жизнь и разврат очень скоро сведут их в могилу. Все они умрут, не оставив потомства. Такие типы заранее обречены на вымирание; конечно, если человечество пойдет тем путем, каким оно шло до сих пор, и не свернет на другую дорогу. Широкий простор для всевозможных эксцессов, облегчение перехода к небытию для прожигателей жизни!

— Все это прекрасно,— сказал Грехэм.— Но, кроме прожигателей жизни, есть еще толпа — миллионы трудящегося бедного люда. А этим что же остается? Тоже вымирать?.. Нет, эти не вымрут, они будут жить. Но они страдают, и страдания их — такая сила, которую даже вы...

Острог нетерпеливо дернул плечом, и когда он снова заговорил, голос его звучал уже далеко не так елейно:

— Напрасно вы волнуетесь. Дня через три-четыре все будет улажено. Толпа — большое глупое животное, и не нам бояться ее. Толпа не вымрет, вы правы, но толпу укрощают и ведут за собой. Я ненавижу рабов. Вы, верно, слышали два дня тому назад, как орала и пела на улицах эта сволочь. Это они с чужого голоса пели. Если б вы попросили любого из них объяснить, ради чего он так надсаживается, он не сумел бы ответить. Они воображают, что старались для вас, хотели доказать вам свою верность и преданность. Еще вчера они готовы были своими руками передуть всех членов Совета, а сегодня уже ропщут на нас за то, что мы низвергли Совет.

— Неправда! — перебил Грехэм.— Они ропщут потому, что у них не стало больше терпения, потому что их жизнь — сплошная мука. Они взывают ко мне, потому что верят в меня и надеются...

— На что надеются? И на каком основании? Какие их права? Получать щедрую плату за никуда негодную работу — вот чего они требуют, чего хотят...

На что они могут надеяться? На что и вообще-то может надеяться человечество? Что придет день, когда на земле воцарится сверхчеловек, когда все низшее, слабое, скотское будет или вычеркнуто из жизни, или покорено. Убогим, слабоумным выродкам нет места в этом мире. Их прямой долг, святая обязанность — умереть. Смерть неудачникам! Лишь этим путем вымирания слабых могла инфузория дорасти до человека, и этот же путь, надо надеяться, поможет человеку дорасти до существа высшего порядка.

Острог прошелся по комнате, что-то обдумывая, потом снова повернулся к Грехэму.

— Я представляю себе, какую должна казаться наша сложная жизнь англичанину времен Виктории. Вам жаль старых обычаев. Выборное начало... Даже и нас, людей двадцать второго столетия, еще тревожат призраки этих отживших учреждений... Вас возмущают наши «Веселые Города». Мне следовало раньше об этом подумать, но я был так занят, что упустил из виду... Но все равно: вы скоро сами поймете и взглянете на дело иначе. Наша чернь готова, пожалуй, сочувствовать вашим теперешним взглядам — из зависти. Ей недоступны дорогие развлечения, и вот она кричит на улицах: «Долой «Веселые Города!» Но «Веселые Города» необходимы. Это наши клоаки, через которые государство извергает свои нечистоты. Из года в год они своими приманками стягивают к себе все слабое, безвольное и порочное, все, что только есть ленивого и непригодного к жизни в стране, и незаметно, шаг за шагом, приводят все эти отбросы человечества к беспечальной смерти. Люди едут туда, живут, веселятся и умирают бездетными, ибо у женщин легкого поведения не бывает детей, а человечество остается только в выигрыше. Если б народ не был так глуп, он бы не завидовал богачам. Вы говорите, мы поработили народ, вы хотели бы улучшить его положение, облегчить ему жизнь. Но ведь трудящиеся классы — это рабочий скот, и если они опустились так низко, значит на лучшее они неспособны. — Он улыбнулся так цинично, что Грехэму захотелось ударить его. — Вы скоро сами в этом убедитесь, вот увидите. Мне хорошо знакомы все эти высокопарные, великодушные идеи: в ранней юности я читал вашего Шелли и тоже бредил свободой. Теперь-то я знаю, что все это химеры. Только ум, знания и сильная воля делают че-

ловека свободным. Свобода внутри нас. Если бы этому стаду безмозглых баранов в синей холстине сегодня удалось освободиться от нашего ига, поверьте, оно завтра же нашло бы новых господ. Пока на свете есть овцы, будут и хищные звери. Пришествие аристократии — фатальная необходимость: весь вопрос лишь во времени. И сколько там ни протестуй глупое человечество, в конце концов мы придем к сверхчеловеку. Пусть чернь бунтует, пусть даже останется победительницей и перебьет всех нас, своих господ. На наше место явятся другие. Конец будет все тот же.

— Я все-таки не понимаю...

Грехэм не закончил. С минуту он сидел потупившись, не глядя на Острога, потом вдруг поднял голову и заговорил мягко, но решительно:

— Вот что: я сам посмотрю. Я ни на чем не могу остановиться, пока не увижу своими глазами. Я хочу знать, что делается на свете. И я должен предупредить вас, Острог: я не намерен быть веселым царем ваших «Веселых Городов». Это меня совсем не прельщает. Я не желаю больше развлекаться. Итак уже слишком много времени потрачено на авиацию и на прочие затеи. Теперь я хочу видеть, как живет мой народ, как сложилась будничная, серая жизнь простолюдина: как он работает, женится, растит детей и умирает.

Острог всполошился.

— Все это вы можете узнать из наших реалистических романов,— заметил он осторожно, стараясь скрыть свое беспокойство.

— Мне нужен не реализм, а действительность,— сказал Грехэм.

— Вот видите ли...— Острог замялся.— Есть некоторые затруднения... Но, впрочем, если вы непременно хотите...

— Непременно хочу.

— Хорошо. Дайте подумать... Вы желаете, говорите вы, присмотреться к быту простого народа? Для этого вам надо обойти пешком весь город.— Он на секунду задумался и вдруг пришел к решению: — Вам придется переодеться. Народ очень возбужден, и, если ваше появление на улицах будет открыто, может произойти страшнейшая кутерьма. Надо действовать крайне осторожно... А знаете, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю вас: это ваше желание обойти город и самолично удостовериться... это, пожалуй, недурная

идея... Немножко трудно будет. Но так или иначе я это устрою. Вы повелитель, и раз вы серьезно решили отправиться в эту экскурсию, никто не может вам помешать. Асано позаботится о вашем костюме, он, разумеется, будет вас сопровождать... Что ж, идите, идите, это положительно хорошая мысль.

У Грехэма вдруг мелькнуло одно подозрение.

— А вам не понадобится мое присутствие в эти дни? — неожиданно спросил он.

— О, нет, не думаю. Во всяком случае, на такое короткое время вы можете, мне кажется, доверить мне дела,— проговорил Острог улыбаясь.— Если бы даже мы расходились в мнениях...

Грехэм зорко взглянул на него.

— В ближайшем будущем не ожидается вооруженных столкновений?

— Нет, нет!

— Я хотел только сказать... Я вспомнил о вашей африканской полиции... Об этих неграх. Не думаю, чтобы народ был враждебно настроен против меня... Да, наконец, не в этом дело. Я не хочу, чтоб негры вызывались в Лондон для усмирений. Слышите? Не хочу! Я ваш повелитель, и такова моя воля. Может быть, это предрассудок архаического человека, но у меня свои понятия о взаимных отношениях европейцев и подчиненных рас.

Острог из-под насупленных бровей внимательно наблюдал за выражением лица своего собеседника.

— Я не собирался вызывать в Лондон негров,— проговорил он нехотя,— но если...

— Вооруженные негры не явятся в Лондон ни в каком случае,— сказал Грехэм.— Что бы ни произошло. Это я твердо решил.

Острог почтительно поклонился, рассудив за благо не отвечать.

Глава XX

НА УЛИЦАХ

В тот же вечер Грехэм, сохраняя полное инкогнито, в народной форме низшего служащего при Управлении ветряных двигателей, сопровождаемый Асано в

рабочей синей блузе, осматривал город, по улицам которого несколько дней тому назад он бродил в темноте. Теперь он видел этот город при полном освещении, бодрствующим и кипящим жизнью. Несмотря на бурную волну революции, только что пронесшуюся над страной, несмотря на раздававшийся кругом ропот недовольства — предвестник новой великой борьбы, в которой та первая вспышка была лишь прелюдией, — торговая жизнь текла здесь по-прежнему широкой, могучей рекой. Грехэм уже знал кое-что о гигантском размахе нового века, но тем не менее подробности поражали его на каждом шагу, ослепляя бесконечной сменой ярких впечатлений, пестрыми волнами красок.

Впервые за все время своей новой жизни он так близко соприкасался с народом. Он понял теперь, что все, им виденное раньше, если не считать мимолетных впечатлений от рынков и театров, имело исключительный характер, не выходило из относительно узкой области политики и что все его переживания до сих пор вертелись около вопроса об его собственном положении. Теперь же перед ним был город в самые оживленные часы ночи; он видел народ, уже вернувшийся в значительной мере к своим обычным занятиям, видел повседневную будничную жизнь, нравы и обычаи новой эпохи.

Не успели они выйти на первую улицу, как наткнулись на огромную толпу: все подвижные платформы на противоположной стороне были битком набиты рабочими в голубых ливреях. Грехэм сейчас же заметил, что эта толпа составляла часть процессии. Странно было видеть процессию, совершающую свое шествие сидя. Многие держали знамена из толстой красной материи, с грубо наляпаннами на них воззваниями в таком духе: «Не складывать оружия!», «Зачем нам разоружаться?», «Будьте на страже!» и так далее. Знамя мелькало за знаменем — целый поток красных знамен, и, наконец, раздалась Песня Восстания под громкий аккомпанемент каких-то неизвестных инструментов.

— Это все забастовщики, которым следовало бы быть на работе, — сказал Асано. — Все они уже два дня не ели, кроме, может быть, немногих, которым посчастливилось что-нибудь украсть.

Мало кто спал в городе в эту ночь: все высыпали на улицу. Кругом слышались возбужденные голоса. Народ со всех сторон теснил Грехэма; толпа сменяла толпу. У него мутилось в уме от этого неумолчного гама, от криков и загадочных обрывков фраз. Все это были недвусмысленные признаки разгоревшейся великой борьбы. И повсюду его, Грехэма, популярность подчеркивалась черными знаменами и черными драпировками, украшавшими стены домов. Он то и дело ловил слова на грубом уличном жаргоне, каким говорили необразованные классы, еще не доросшие до науки учителей-фонографов. И всюду в воздухе носился все тот же клич: «Не разоружайтесь!» — тревожный клич, требовавший, очевидно, безотлагательных мер, о чем он не слышал ни намека за все время, что просидел в Управлении ветряных двигателей. И он дал себе слово, как только вернется, переговорить с Острогом в более решительном тоне, чем он говорил до сих пор: и об этом странном призыве не разоружаться, и о том, что выражает этот призыв.

Дух тревоги и возмущенного протеста, царивший в городе в ту ночь, до такой степени поглощал его внимание с самого начала их скитаний, что он просмотрел много странных вещей, которые иначе непременно бросились бы ему в глаза. Его преследовала неотвязная мысль о значении этой тревоги, благодаря чему впечатления его были бессвязны, отрывочны. И все-таки кругом было столько странного, поражающего, что самое сосредоточенное настроение не могло бы сохраниться во всей своей цельности и не уступить иной раз место впечатлению какой-нибудь яркой картины. Бывали моменты, когда революционное движение совершенно вылетало у него из головы перед какой-нибудь поразительной бытовой сценкой нового века. Сама Элен, заставившая заговорить в нем голос совести, поднявшая в его душе мучительный вопрос о долге, минутами отступала куда-то далеко за пределы его сознания.

Один раз, например, он заметил, что они пересекают церковный квартал (подвижные улицы создавали такую легкость сообщений, что не было больше надобности иметь отдельные молельни в каждой части города), и внимание его было привлечено фасадом здания, принадлежавшего одной из христианских сект. Они ехали с большой скоростью, сидя на одной

из верхних быстроходных платформ, и этот фасад вынырнул перед ними на повороте улицы, быстро приближаясь. Весь он сверху донизу был испещрен крупными надписями — белыми буквами по голубому. Но посередине вместо надписей светилась большая кинематографическая картина, изображающая очень реально сцену из Нового Завета под черной драпировкой в знак того, что господствующая религия идет рука об руку с политикой момента. Грехэм уже настолько освоился с фонетическим написанием, что без труда разбирал надписи. Они поразили его, как невероятное кощунство: «Спасение души в первом этаже направо», «Копите денжки и не забывайте вашего творца», «Самое скорое в Лондоне обращение грешников — опытные мастера: не зевайте!», «Что сказал бы Спящему Христос?», «Идите по стопам святых вашего века», «Будь христианином, но не в ущерб твоим коммерческим делам», «На кафедре сегодня все знаменитые епископы. Цены обыкновенные», «Молитвы на скорую руку для деловых людей».

Таковы были самые безобидные начертания.

— Возмутительно! — вырвалось у Грехэма, когда это огульное меркантильное благочестие развернулось перед ними во всей красе.

— Что такое? — спросил его маленький адъютант, пробегая глазами надпись за надписью и, видимо, не понимая, что могло так его поразить.

— Все! Где ж тут вера? Где душа, сущность религии?

Асано удивленно взглянул на него. — Ах, это! Вас это шокирует? — протянул он тоном человека, сделавшего открытие. — Впрочем, оно и понятно. Я забыл. В наше время конкуренция так обострилась, что ничего не поделаешь без реклам. А с другой стороны, люди так заняты, что не могут уделить времени заботам о душе. Не то, что в старину. — Он улыбнулся. — У вас, в ваши дни, была идиллия — деревенский простор, тихие субботние вечера, посвящавшиеся молитве. Впрочем, я где-то читал, что начиная с вечера воскресенья, и у вас уже...

— Нет, но это! — повторил Грехэм, оглядываясь назад, на отступающую вдаль голубую с белым пестроту реклам. — И это, наверное, не единственная религиозная община, прибегающая к таким...

— Их у нас сотни, и прибегают они к самым разнообразным приемам для рекламы. Но ведь если секта скромно молчит, она не имеет дохода. Религия, как и все прочее, шагнула вперед вместе с веком. Есть у нас секты для высших классов: те поприличнее. Там вы увидите и дорогие обряды с ладаном, и приличную исповедь, и все такое. Но такие, как эта, гораздо популярнее и богаче. Вот за это самое помещение, что мы сейчас видели, они платят несколько дюжин львов Совету, то-есть вам.

Грехэм все еще плохо разбирался в новой монетной системе. Но упоминание о «львах» напомнило ему об этой системе, и в один миг он забыл все эти крикливые новые храмы с их меркантильной паствой, заинтересовавшись новым вопросом. Ответы Асано подтвердили то, о чем он и раньше догадывался: золото и серебро как монетная единицы давно вышли из употребления, и золотая чеканная монета, воцарившаяся в мире с легкой руки финикийских купцов, была развенчана. Перемена эта совершилась постепенно, но быстро благодаря быстрому распространению системы чеков, которая уже и в его времена на практике почти совершенно вытеснила золото во всех крупных торговых сделках. Теперь же вся городская, да и вся мировая торговля производилась при помощи маленьких чеков Совета на предъявителя — коричневых, зеленых и розовых в зависимости от суммы платежа. У Асано было с собой несколько штук таких чеков, которыми он и расплачивался, когда приходилось платить. Напечатаны они были не на бумаге, а на полупрозрачной шелковистой ткани, очень прочной на вид, и на всех стояло факсимиле подписи Грехэма. Таким образом, в первый раз после двухсот с лишним лет он снова увидел знакомые изгибы и завитушки своего автографа.

Затем начались новые впечатления, но ни одно из них не было особенно ярко, так что мысли его постоянно возвращались к вопросу о разоружении. Больше всего другого поразила его вывеска одного теософского храма, сулившая «Чудеса». «Чудеса» эти были выведены огромными огненными буквами, которые то вспыхивали, то гасли.

На Нортумберлендском проспекте перед ними открылось здание общественной столовой. Это заинтересовало его. Благодаря энергии Асано он скоро по-

лучил возможность хорошо осмотреть внутренность этой столовой с крытой галерейкой, предназначавшейся для прислуги. В обширный обеденный зал, над которым тянулась галерейка, доносился какой-то странный заглушенный рев, минутами переходивший в резкий визг. Грехэм не понимал значения этих звуков, но они напоминали ему тот таинственный сдавленный голос говорительной машины, который он слышал в ночь своих одиноких скитаний по городу в тот момент, когда снова зажглись осветительные шары.

Он уже привык к чудовищным размерам зданий и к многолюдству, и тем не менее эта картина огромного зала, наполненного жующими людьми, поразила его. И лишь после того как он хорошо присмотрелся к сервировке стола и получил ответы на свои бесчисленные вопросы по поводу различных деталей, ему стало ясно значение этой колоссальной общей трапезы нескольких тысяч человек.

Вообще он постоянно замечал с удивлением, что многое такое из жизни новой эпохи, что, казалось бы, должно было сразу броситься ему в глаза, не производило на него впечатления до тех пор, пока его не заинтересовывала своєю загадочностью и не наводила на размышления какая-нибудь подробность. Так и теперь: до этой минуты он не догадывался, что все эти обширные залы и коридоры громадного города, слившегося в одно непрерывное целое под общей крышей и не боящегося таких случайностей, как перемена погоды, означают уничтожение домашнего очага; что типичный «свой дом» времен королевы Виктории — маленький кирпичный особнячок с кухней и кладовой, со спальнями и столовой — стерт с лица земли (если не считать развалин, торчащих кое-где на пустыре, окружавшем город) так же окончательно и бесповоротно, как шалаш дикаря. И теперь только он понял то, что мог бы заметить с самого начала, а именно — что Лондон, рассматриваемый с точки зрения жизни его населения, представляет собою уже не агрегат отдельных домов, а гигантскую гостиницу с бесконечной градацией житейских удобств, с десятком тысяч общих столовых, часовен, театров, рынков и всяких публичных мест — целый синтез предприятий, которых он, Грехэм, был главным хозяином. Жильцы имели свои спальни, быть может, даже убор-

ные, вполне удовлетворяющие санитарным условиям, хоть и разных степеней комфорта, а день проводили приблизительно так же, как проводили его и при Виктории обитатели новых больших отелей: или занимались спортом, разговаривали, читали, думали — все на людях! — или же отбывали свою работу в промышленных кварталах, или сидели в торговых конторах.

Он видел теперь, что новый город был лишь логическим, неизбежным развитием того типа города, какой существовал и в его время. Экономия труда посредством кооперации — такова была основная причина возникновения новейших городов. Еще при его современниках главной помехой к исчезновению домашнего очага была сравнительная некультурность народа, страсти и предрассудки, сильно укоренившееся варварское чувство личной гордости, зависть, соперничество и грубость низших и средних классов, исключавшие всякую возможность слияния смежных хозяйств. Но народ уже и тогда быстро приручался. Ему самому за короткий тридцатилетний период его прежней жизни приходилось наблюдать, как быстро распространялся обычай обедать вне дома, как маленькие кофейни вытеснялись просторными и людными общественными столовыми, как вырастали один за другим женские клубы, читальни, библиотеки и другие публичные места. То, что тогда было лишь в зачаточном виде, теперь выросло и расцвело. Замкнутый домашний очаг, защищенный крепкими запорами от посторонних вторжений, отошел в область преданий.

Те люди, что сидели внизу, принадлежали, как оказывалось, к низшим слоям среднего класса, стоявшим лишь ступенью повыше синих рабочих, — к тем самым слоям, для которых во времена Виктории было до такой степени непривычным делом есть не в тесном домашнем кругу, что когда такой человек случайно попадал на обед в публичном месте, он старался скрыть свое смущение под напускным весельем и вызывающей развязностью манер. Эти же люди в ярких, хоть и в дешевых костюмах не отличались большой общительностью, но и не дичились друг друга; они ели быстро, с деловым видом и держались свободно и просто.

Он заметил еще один маленький, но характерный факт. Обеденный стол на всем своем протяжении оставался безукоризненно чистым во время еды; ни тени того хаоса хлебных крошек, пятен соуса и пролитого вина, разбросанных ножей и вилок, каким была бы непременно отмечена шумная трапеза эпохи Виктории. И убранство стола было другое: никаких украшений — ни ваз, ни цветов. Не было даже скатерти, ибо верхняя крышка стола была сделана, как ему сказали, из какого-то прочного состава, похожего видом на камку, и вся она была покрыта рекламами, расположенными изящным узором.

Возле каждого обедающего стоял открытый шкафчик с очень сложным столовым прибором. Тарелки были белого фарфора; ножи, вилки и ложки — тоже белые, из какого-то красивого металла. Но всего этого было только по одной перемене, и после каждого блюда каждый обедающий сам мыл свой прибор, пользуясь двумя кранами с холодной и горячей летучей жидкостью, бывшими у него под рукой.

Суп и вошедшее во всеобщее употребление искусственное вино получались из таких же кранов, а остальные кушанья, разложенные на блюдах с большим вкусом, автоматически двигались по серебряным рельсам вдоль стола. Каждый останавливал то или другое блюдо по своему выбору и брал сколько хотел. Кушанья появлялись из дверцы на одном конце стола и исчезали на другом. То извращенное демократическое чувство, та ложная гордость, которая видит нечто постыдное в оказании друг другу мелких услуг, была, очевидно, очень сильна у этих людей.

Грехэм был так поглощен всеми этими наблюдениями, что, только выходя, заметил огромную диораму реклам, торжественно передвигающуюся вокруг зала вдоль верхней части стен и предлагавшую публике самые заманчивые вещи по части всяких житейских удобств.

Они перешли в другой зал, тоже битком набитый народом, и здесь-то он открыл источник загадочного рева, долетавшего в первый зал. На одну секунду они остановились у рогатки, заплатили за вход и вошли. Грехэм услышал оглушительный вой, а затем раздался скрипучий механический голос:

— Властелин спокойно почивает! Он в добром здравьи. Остаток жизни хочет посвятить авиации. «Женщины теперь прекраснее прежнего», — говорит

он... Га! Га! Наша образцовая цивилизация поражает его превыше всякой меры. Превыше всякой меры... Га! Га! Он вполне полагается на Острога. Безусловно, доверяет ему. Острог — голова, Острог будет его первым министром. Он уполномочен сменять и назначать чиновников. Все казенные места в его руках. Все места в руках Острога. Члены Совета отправлены в свою собственную тюрьму, что над залом Атласа...

Грехэм застыл на месте при первой же фразе. В недоумении озираясь кругом, он поднял голову и увидел глупую рожу автомата с разинутым ртом, из которого вылетал этот рев. Это была говорильная машина для репортерских сообщений. С минуту она как будто набиралась духу: было слышно, как что-то пыхтит внутри ее цилиндрического тела. Потом опять раздалось оглушительное «га! га!», и опять она заревела:

— Париж усмирен! Сопротивление подавлено! Га! Га! Все важные стратегические пункты заняты черной полицией. Черные храбро дрались, во время боя пели песни, написанные в честь их предков поэтом Киплингом. Случилось, правда, раза два, что они вышли из повиновения. Досталось-таки тогда пленным инсургентам — пленным и раненым. Ни мужчин, ни женщин не щадили. А мораль — не бунтуйте! Га! Га!.. Молодцы ребята эти негры! Ни перед чем не останавливаются. Так и надо! Пусть это будет уроком нашей разнузданной черни. Да, черни, подонкам человечества. Га! Га!..

Голос умолк. В зале пронесся ропот:

— Проклятые негры!

Вдруг возле них какой-то человек заговорил, обращаясь к толпе:

— Так вот как поступает наш повелитель, ребята! Вот как он поступает!

— Черная полиция? — пробормотал Грехэм.— Что это значит? Неужели?..

Асано тронул его за плечо и посмотрел на него предостерегающим взглядом. В это время другая говорильная машина пронзительно взвизгнула и заорала диким голосом:

— Ха-ха-ха! Послушайте живую газету! Живую газету! Ха-ха!.. Возмутительные насилия в Париже! До-

веденные до отчаяния черной полицией, парижане избивают ее. Ужасные репрессии! Возвращаются варварские времена. Кровь! Кровь! Ха, ха!..

Тут первая машина гаркнула во все горло: «Га! Га!», заглушив последнюю фразу противника, и посыпала, но уже тоном пониже, новыми комментариями по поводу ужасов происходящей смуты:

— Закон и порядок прежде всего! Прежде всего закон и порядок! — трещала она.

— Но как же... — начал было Грехэм.

— Не возражайте, — шептал ему Асано. — Может выйти спор, и тогда...

— Ну, так уйдем, — сказал Грехэм. — Я хочу видеть все своими глазами.

Только теперь, проталкиваясь со своим спутником к выходу в возбужденной толпе, окружавшей машины, он вполне оценил размеры этого зала. Всех говорильных машин, больших и малых, визжащих и ревущих, лепечущих и скрипящих, в нем было около тысячи, и возле каждой стояла своя толпа взволнованных слушателей, все больше мужчин в синей холстине. Машины были всех размеров, начиная с маленького болтливового аппаратика, пересыпавшего глупым хихиканьем свои сентенции и остроты, и кончая такими пятидесятифутовыми гигантами, как тот ревун, который оглушил Грехэма при входе.

Необычайное стечение публики объяснилось тем, что все с горячим интересом следили за ходом событий в Париже. Борьба была, очевидно, гораздо ожесточеннее, чем говорил Острог. Все машины были заняты обсуждением этой борьбы. Их слова повторялись толпой, и огромный улес гудел отрывистыми фразами: «Народ казнил полицейских», «Женщин жгли живьем» и в таком духе.

— Но как допускает это повелитель? — спросил один из толпы, мимо которого они проходили. — Так-то начинает свое правление наш государь?

«Так-то начинает свое правление государь?» И долго после того, как они вышли из зала, преследовала Грехэма эта фраза и рев и визг машин: «Га! Га!.. Ха-ха-ха! Так-то начинает свое правление государь?»

Как только они вышли на улицу, он приступил к Асано с вопросом о причинах парижских событий.

— Зачем это разоружение? Из-за чего волнуется народ? Что все это значит?

Асано, видимо, старался об одном: уверить его, что «все благополучно».

— Но эти жестокости! Чем вы их объясните?

— Лес рубят — щепки летят, сами знаете, — сказал Асано. — Бунтует только чернь, да и то лишь в одном квартале. Все остальные спокойны. Нет во всем мире более необузданных дикарей, чем парижские рабочие... да еще наши, пожалуй.

— Как! Лондонские?

— Нет, японцы. Им нельзя давать спуску.

— Но жечь женщин живьем!..

— Коммунаров, — поправил Асано. — Разве вы не знаете коммунаров? Ведь это грабители. Вы господин земли; мир — ваша собственность. А им только позволю: они отнимут у вас все и отдадут землю во власть черни... Но у нас не будет Коммуны. Нам черная полиция не понадобится... Их долго щадили. Им и теперь оказано снисхождение. Ведь это все их собственные негры — из французских колоний: сенегальские полки, с Нигера, из Тимбукту.

— Полки? — переспросил Грехэм. — Я думал, что только один...

Асано искоса посмотрел на него.

— Ну нет, не один... немного побольше.

Грехэм почувствовал себя совершенно беспомощным.

— Я не думал... — начал было он, но вдруг круто оборвал на полуслове и перешел к расспросам насчет говорильных машин.

Говорильными машинами в публичных местах, как объяснил ему Асано, пользовались только низшие классы (и действительно, толпа которую они видели в зале машин, состояла из очень бедно одетых людей, почти из оборванцев). У людей зажиточных классов были свои машины. В каждой приличной квартире устанавливалась от города говорильная машина, которую квартирохозяин мог соединить проводами с любым из крупных газетных синдикатов по своему выбору.

— Почему же нет говорильной машины в моем помещении? — спросил Грехэм, выслушав это объяснение.

Асано удивился.

— Разве нет? Я и не знал,— сказал он.— Должно быть, Острог приказал убрать.

Грехэма покорило.

— Мне он ничего не сказал. Почему же я мог знать? — вырвалось у него.

— Может быть, он думал, что так вам будет покойнее,— заметил Асано.

Грехэм немного подумал, потом сказал:

— Сейчас же, как только мы вернемся, я велю снова поставить на место машину.

Не без труда уразумел он тот факт, что этот обеденный и газетный залы были не главными центральными учреждениями такого рода, что такие точно залы были во множестве разбросаны по всему городу. Но потом, во время их ночной экспедиции, в каждом новом квартале, куда они попадали, до ушей его сквозь уличный гам поминутно доносилось или своеобразное «га! га!» гигантской говорильной машины, органа Острога, или пронзительное «ха-ха-ха! Слушайте живую газету» — его главного конкурента.

Не менее распространенным в городе учреждением были детские ясли. Одно из таких заведений они посетили теперь, отправившись туда прямо из общественной столовой. Поднявшись на лифте, они перешли стеклянный мост, перекинутый над обеденным залом и над ближайшей из подвижных улиц, и очутились у входа в первое отделение яслей. Здесь они предъявили особый билет за собственноручной подписью Спящего, без чего посторонних не пропускали. Перед ними немедленно вырос человек в лиловом плаще с золотой пряжкой (атрибут практикующих врачей) и объявил с почтительным поклоном, что он готов их сопровождать. По обращению этого господина Грехэм догадался, что инкогнито его открыто, и, уже не стесняясь, принялся расспрашивать об устройстве заведения и о странных приспособлениях, попадавшихся ему на глаза.

По обе стороны коридора, усталого мягкой дорожкой, заглушавшей шаги, тянулись узенькие дверки, размерами и видом напоминавшие двери тюремных одиночных камер эпохи Виктории. Но верхняя часть каждой дверки были из того самого зеленоватого прозрачного вещества, которое окружало его при его пробуждении, и в каждой камере сквозь эту про-

зрачную пленку виднелись неясные очертания мягкого гнездышка — колыбели с новорожденным младенцем внутри. При каждой колыбельке был сложный аппарат, контролировавший температуру и влажность и подававший звонок в центральное управление при малейшем отклонении от нормы. Система таких яслей, как узнал Грехэм, почти окончательно вытеснила старомодный способ вскармливания новорожденных, зависевший от стольких случайностей и сопряженный с риском. Их проводник не замедлил обратить его внимание на кормилиц-автоматов с удивительно реально подделанными под живое тело руками, плечами и грудью, но вместо ног имевших медные подставки, а вместо лица — плоский круг с объявлениями для матерей, которые приходили навещать младенцев.

Из всех странных вещей, на каждом шагу поражавших Грехэма в ту ночь, ничто не шло до такой степени в разрез с его понятиями, с привычками всей его жизни, как эти детские ясли. Маленькое, беспомощное красное существо с крошечными ручками и ножками, слабо шевелящееся в своих первых робких попытках к движению, — и уже покинуто, уже не знает материнской ласки, материнского поцелуя! Его отталкивало, ему претило это зрелище. Но сопровождавший их доктор был другого мнения. Его статистика доказывала с бесспорной очевидностью, что во времена королевы Виктории самым опасным периодом в жизни ребенка был период кормления грудью и что детская смертность за этот период достигала ужасающей цифры, тогда как Международный Синдикат детских яслей не терял и полупроцента из миллиона младенцев, находившихся на его попечении. Но даже эти убедительные цифры не могли поколебать предубеждения Грехэма.

В одном из коридоров они наткнулись на молодую чету в синей холстине, стоявшую у одной из узеньких дверок. Оба — и муж и жена — хохотали до слез, заглядывая сквозь прозрачную дверь на лысую голову своего первенца. Должно быть, по лицу Грехэма они прочли, что он думал о них, ибо веселье их мигом прекратилось и уступило место смущению. Этот маленький инцидент только укрепил в нем сознание той пропасти, которая лежала между его взглядами, его симпатиями и нравами нового века. Глубоко взволнованный и возмущенный, прошел он вслед за своим

проводимым во второе отделение, предназначенное для детей, уже начинающих ползать, и затем в детский сад. Бесконечная анфилада комнат для игр была совершенно пуста. Слава богу! Современные дети еще спали по ночам. Маленький японец мимоходом обратил его внимание на игрушки нового типа, представлявшие, впрочем, лишь дальнейшее развитие идей вдохновенного сентименталиста Фребеля. В этом отделении были живые няньки, но многое и здесь исполнялось машинами. Машины забавляли детей, пели, плясали, нянчили и укачивали.

Но все-таки Грехэму далско не все было ясно.

— Как жаль: столько сирот,— проговорил он задумчиво, невольно возвращаясь к своему первому впечатлению, и во второй раз услышал, что между этими детьми почти нет сирот.

Когда они вышли из яслей, он с ужасом заговорил о бедных малютках, которых выращивают искусственным способом, точно растения в парниках.

— Неужто нет более материнства? — говорил он.— Или оно было просто ломаньем?.. Нет, материнство, несомненно, инстинкт... А это... это так неестественно, так ужасно!..

— Отсюда мы пройдем в танцевальный зал,— сказал Асано вместо ответа.— Там, наверное, полно: политические неурядицы этому не мешают. Наши женщины, за немногим исключением, не слишком-то интересуются политикой. Там вы увидите современных матерей. В Лондоне большинство молодых женщин имеет детей. В наших средних классах редко бывает больше одного ребенка в семье, но иметь одного считается почти обязательным: это доказывает, так сказать, жизненность организма. Ну, а что касается материнского инстинкта, то он не заглох, могу вас уверить. Матери очень гордятся своими детьми: часто приходят сюда взглянуть на свое потомство.

— Вы вот сказали: не больше одного ребенка в семье. Так, значит, население земного шара...

— Убывает? Да. Но только не в среде голубых. Этот народ так беспечен...

Воздух вдруг зазвенел звуками плясовой музыки. Перед ними открылся широкий проход с рядами великолепных колонн, судя по виду, из чистого аметиста, и вдоль этого прохода мимо них (они подошли сбоку) неслась веселая ватага танцующих с криками и

смехом. Мелькали пышные прически, локоны, венки на головах, пестрая смесь ярких красок, шелестящие складки развевающихся одежд. Все это мчалось и кружилось в торжествующем бешеном вихре.

— Да, мир изменился,— проговорил Асано со слабой усмешкой.— Сейчас вы увидите матерей новой эры... Свернемте сюда. Скоро мы опять увидим эту толпу, только сверху.

Они поднялись сперва на одном лифте, очень быстро, потом на другом — значительно медленнее. По мере того как они подымались, музыка становилась все громче. Но вот задорные, резвые звуки, словно вырвавшись на свободу, разлились бурной волной, и, поднимаясь все выше под переливы этой волны, они стали, наконец, различать топот многих сотен танцующих ног. Заплатив за вход у рогатки, они вошли в широкую галерею, висевшую над танцевальным залом, и перед ними предстала изумительная картина — волшебное сплетение движения и звуков, красок и форм.

— Вот матери и отцы тех детей, которых вы только что видели,— сказал Асано.

Этот зал не отличался такою пышностью убранства, как зал Атласа, но по размерам это было самое грандиозное из всего, что видел до сих пор Грехэм. Прекрасные белоснежные статуи, поддерживавшие на своих плечах своды галерей, еще раз напоминали ему о возрождении скульптуры в новом веке. Как красиво, причудливо изгибались их стройные тела, как заманчиво улыбались их губы. Источник музыки, гремевшей в зале, был невидим, но звуки ее наполняли каждый его уголок, и все пространство блестящего гладкого пола было усеяно танцующими парами.

— Взгляните на них, на этих матерей,— шепнул Грехэму маленький японец.— Как видите, они умеют веселиться.

Галерея, на которой они стояли, тянулась вдоль верхнего края внутренней стены, не доходившей до потолка и отделявшей танцевальный зал от другого, наружного, с широкими открытыми арками, так что с галереи видно было непрерывное движение и был слышен грохот мчащихся подвижных платформ. В наружном зале была тоже толпа, не менее многолюдная, чем та, что плясала внутри, но далеко не в таких блестящих костюмах; большинство было в неизменной синей форме Рабочего Общества, так хорошо теперь знакомой Грехэму. Эти не могли попасть на бал за

неимением денег, но были не в силах уйти от соблазнительных звуков. Многие, недолго думая, тут же расчистили себе место и в своих развевающихся лохмотьях отплясывали с большим увлечением, гикая в такт и выкрикивая какие-то шуточки, которых Грехэм не понимал. Кто-то в темном углу принялся было на-свистывать припев революционного гимна, но сейчас же умолк, точно ему заткнули рот. За темнотой Грехэм не мог рассмотреть, что там произошло. Он опять повернулся к танцевальному залу. Над кариатидами выступали бюсты знаменитых людей — всех тех, кого новый век признавал своими эмансипаторами и пионерами в различных областях человеческой мысли. Их имена по большей части были не знакомы Грехэму, но он узнал между ними Грант Аллена, Ле Галлиенна, Ницше, Шелли, Годвина. Ниспадавшие крупными складками фестоны черной драпировки заставляли еще резче выступать огромную надпись, красовавшуюся под огромным потолком. «Праздник пробуждения», о котором она возвещала, был, видимо, в полном разгаре.

— Мириады людей решили отпраздновать этот день, — сказал Асано. — А рабочие бастуют сами по себе, по другим причинам. Этот народ всегда рад задать себе праздник, лишь бы увильнуть от работы.

Грехэм подошел к парапету и, перегнувшись вниз, стал смотреть на танцующих. Если не считать двух-трех нежных парочек, шептавшихся по углам, на галерее были только он да его провожатый. Снизу поднималось теплое дыхание жизни, бьющей ключом. Воздух был пропитан запахом духов. Все танцующие — как женщины, так и мужчины — были очень легко одеты, с обнаженными руками, с открытой шеей. У многих мужчин были длинные локоны, придававшие им женоподобный вид. Все были бритые, некоторые нарумянены. Между женщинами было много очень красивых, и все они были одеты с утонченным кокетством. Грехэм с любопытством следил за проносившимися парами. Да, действительно, эта толпа наслаждалась до самозабвения. Это видно было по возбужденным пылающим лицам, по томно полуоткрытым глазам.

— К какому классу принадлежат эти люди? — неожиданно спросил он.

— К классу рабочих — привилегированных рабочих. Или, по-вашему, к среднему классу. Мелкие независимые ремесленники давно исчезли с лица земли. А эти все больше служащие в крупных предприятиях, мастера по всем специальностям, техники. Сегодня праздник, и все танцевальные залы переполнены. Все церкви и молельни — тоже.

— А женщины?

— То же самое. У нас существует бесчисленное множество отраслей женского труда. Впрочем, тип женщины-работницы родился еще в ваше время. Теперь же большинство женщин живет независимо, своим трудом. Но почти все они замужем... более или менее, — у нас имеется много видов брака. Это увеличивает их годовой доход и дает им возможность веселиться.

— Вижу, — сказал Грехэм, глядя на покрасневшие лица, кружившиеся в бешеном вихре, и не будучи в силах отделаться от кошмара красненьких детских ножек и ручек, беспомощно взывавших о ласке. — Все это матери, говорите вы?..

— Да, большинство.

— Чем ближе я смотрю, тем сложнее кажется мне ваша жизнь... вообще проблемы жизни. Вот это, например, совершенный сюрприз для меня — такой же, как события в Париже.

Он помолчал и снова заговорил:

— Все это матери. Так. Когда-нибудь, надеюсь, я усвою себе современные взгляды. Я слишком сжился со старыми привычками, порожденными, вероятно, старыми потребностями, которые уже отжили свое время. В мое время считалось, что дело женщины не только рожать детей, но и растить, лелеять, отдавать им всю себя, воспитывать их. В мое время ребенок был обязан матери всем, что было самого существенного в его умственном и нравственном воспитании. Или он совсем не получал воспитания. Правда, тогда было много детей, которые росли без всякого присмотра. Теперь же, очевидно, нет больше надобности в материнском уходе: детей выращивают, как личинки. Все это прекрасно, но зато прежде был идеал — образ серьезной, терпеливой женщины с ясной душой, кроткой царицы домашнего очага, матери, творящей людей. Любовь к матери была своего рода религией...

Он опять помолчал и повторил задумчиво:

— Да, религией.

— С изменением потребностей меняются идеалы,— заметил маленький японец.

Ему пришлось повторить свои слова, потому что Грехэм их не слышал.

— Вы правы,— сказал он, когда очнулся от своего минутного забытья и вернулся к действительности.— Что существует, то разумно, я и сам понимаю. Воздержание, самоограничение, вдумчивость, самоотвержение были нужны в эпоху варварства, когда жизнь была полна опасностями. Аскетизм — дань человека непобежденной природе. Но ныне человек покорил природу во всех практических веществах. Общественные дела вершатся мастерами вроде Острога с их черной полицией, и люди наслаждаются жизнью...

Он снова посмотрел на танцующих.

— Наслаждаются от души.

— Бывают и у них тяжелые минуты,— проговорил Асано.

— Все они здесь выглядят молодыми. Я был бы самым старым между этими людьми. А в мое время я считался человеком средних лет.

— Да, здесь все молодежь. В наших городах мало стариков среди этого класса.

— Как так?

— Жизнь старика в наше время не слишком приятна, если только он недостаточно богат, чтобы нанимать себе сиделок и любовниц. Поэтому у нас имеется особое учреждение, так называемое Эвфаназия...

— А, знаю, легкий переход к смерти.

— Да. Это последнее удовольствие в жизни, и очень дорогое. Компания Эвфаназии знает свое дело. Вы уплачиваете определенную сумму вперед, затем отправляетесь в «Всеселые Города» и возвращаетесь усталым, истощенным, живым мертвецом.

— Не скоро я пойму ваши порядки,— заметил после паузы Грехэм.— Но я вижу, что во всем этом есть логическая связь. Наша броня суровой добродетели, жестоких самоогорчений была необходимым оплотом против опасностей и шаткости жизни. Но уже и в наше время стоики и пуритане были вымирающим типом. В старину человек ограждал себя от страдания, теперь он ищет наслаждений. В этом вся разница. Цивилизация изгнала страдания и опасность для

обеспеченных людей. А ведь у вас только обеспеченные идут в счет... Я проспал двести лет...

С минуту они стояли у парапета, любуясь запутанными фигурами танца. Картина была действительно очень красивая.

— Клянусь богом,— сказал вдруг Грехэм,— я предпочел бы быть солдатом и умирать от ран или замерзнуть в снегу, стоя на часах, чем быть одним из этих нарумяненных дураков.

— Может быть, замерзая в снегу, вы думали бы иначе,— заметил Асано.

— Я недостаточно цивилизован, и в этом все мое горе,— продолжал Грехэм, не слушая его.— Я первобытный дикарь, человек каменного века. А у этих людей уже заглох источник гнева, страха и негодования. Привычка, жажда жизни берут свое, и они чувствуют себя весело, легко и свободно. А меня это глубоко возмущает. Что делать, вам придется примириться с моими допотопными понятиями. Эти люди — привилегированные рабочие, говорите вы. И вот, пока они здесь пляшут, другие люди сражаются, умирают в Париже за спасение мира, чтобы они могли плясать.

Асано чуть-чуть улыбнулся.

— Ну, уж коли на то пошло, так и в Лондоне люди умирают.

Грехэм ничего не ответил.

— А где спят все эти люди? — спросил он после минутной паузы.

— Выше и ниже этого зала все этажи заняты спальнями,— сказал Асано.

— Значит, тут они и живут? А работают где?

— Сегодня вы едва ли застанете кого-нибудь на работе. Половина рабочих или шатается по улицам, или стоит под ружьем. А остальные празднуют. Но если вы хотите, мы обойдем те места, где происходят работы.

Грехэм постоял еще немного, следя за танцующими, потом вдруг отвернулся.

— Довольно с меня, я хочу видеть рабочих,— сказал он.

Асано повел его вдоль галереи, пересекавшей зал. Вскоре они дошли до поперечного прохода, откуда тянуло свежим воздухом. Асано взглянул в ту сторону, проходя, потом вдруг повернул назад и, улыбаясь, обратился к Грехэму:

— Государь, здесь есть кое-что вам знакомое... и все-таки... Но нет, я вам не скажу. Идёмте!

И он пошел вперед по крытому проходу. Грехэму сразу стало холодно. По изменившемуся звуку шагов он догадался, что они идут по крытому мосту. Спустя минуту они вышли в круглую галерею, забранную стеклами для защиты от наружного воздуха и огибавшую кольцом большую круглую комнату, которая показалась ему знакомой, хоть он и не мог припомнить в точности, бывал ли он тут раньше и когда. В этой комнате стояла приставная лестница — первая, которую он видел после своего пробуждения. Они поднялись по ней и очутились в холодном, темном помещении, где увидели другую такую же лестницу, стоящую почти вертикально. Грехэм все еще не понимал, что это было за место. Но когда они поднялись наверх по второй лестнице, он догадался, где они: он увидел металлическую решетку, за которую держались его пальцы. Он был на куполе собора св. Павла.

Собор лишь немногим возвышался над общей площадью городских крыш, уходя верхушкой в тихий сумрак ночи. Округлые очертания купола, отливавшие жирным блеском под светом далеких огней, покато спускались и исчезали в зияющей внизу темноте.

Он взглянул вверх, на безоблачное небо: звезды сияли по-прежнему. На западе виднелась Капелла, вставала Вега, а прямо над ним, свершая свой путь вокруг полюса, торжественно плыли семь ярких звезд Большой Медведицы.

Все эти созвездия были ясно видны, ибо с этой стороны ничто не застилало неба. Но на востоке и на юге гигантские круглые тени вертящихся колес ветряных двигателей совершенно закрывали вид: за ними не видно было даже ослепительного света огней вокруг ратуши. На юго-западе, над заревом, отсвечивавшим в небе от осветительных шаров, висел Орион и, как бледный призрак, выглядывал из-за тонкого переплета железных скреплений. Со стороны одной из летательных станций доносился вой сирены, возвещавшей о том, что аэроплан готовится к отлету.

С минуту Грехэм молча смотрел на огни летательной станции, потом взгляд его снова обратился к звездам. Он долго молчал и, наконец, сказал, улыбаясь в темноте:

— Как странно, что я опять стою на куполе святого Павла и опять вижу эти знакомые тихие звезды... Положительно, это самое странное из всего.

Затем Асано повел его дальше. После бесконечных поворотов длинного перехода они пришли в торговые кварталы, где происходила, между прочим, крупная биржевая игра и где в какой-нибудь час наживались и терялись состояния. Перед Грехэмом открылась нескончаемая анфилада высоких залов с нагроможденными один над другим рядами галерей, на которые выходили тысячи контор, с запутанной сетью пешеходных мостиков, воздушных рельсовых путей, трапещий и кабелей. Сильнее чем где-либо бился здесь пульс интенсивной жизни, торопливой работы, не поддающейся никакому учету. Повсюду лезли в глаза назойливые рекламы. Мутилось в голове от этой пестроты красок и огней. Бесчисленные говорильные машины наполняли воздух резкими выкриками на идиотском жаргоне: «Разуйте глаза и не зевайте!», «Валите сюда, дурачье, и хватайте!»

Вся анфилада залов и галерей была переполнена народом, и все эти люди были или поглощены темными гешефтами, или охвачены горячкой игры — так, по крайней мере, казалось Грехэму.

С большим удивлением он узнал, что за последние дни в этих кварталах было сравнительно безлюдно, так как недавний политический переворот сократил до небывалого минимума количество коммерческих сделок. Один огромный зал был весь занят столами с рулеткой, и вокруг каждого стола стояла возбужденная, потерявшая человеческий образ толпа игроков. В другом зале был настоящий содом: женщины и мужчины, с перекошенными бледными лицами, с надувшимися от напряжения красными шеями, визжали и ревели во всю глотку, продавая акции какого-то абсолютно фиктивного предприятия, выдававшего каждые пять минут дивидент в десять процентов и погашавшего в то же время некоторую часть своих акций при помощи лотерейного колеса.

Во все эти дела и делишки вкладывалось столько энергии, что, казалось, вот-вот начнется общая свалка. Пройдя несколько шагов, Грехэм увидел густую толпу и посредине ее двух почтенных коммерсантов, которые ругались, как извозчики, и уже готовы были вцепиться друг в друга, поспорив из-за какого-то ще-

котливого пункта коммерческой этики. Очевидно, в жизни еще оставалось кое-что, из-за чего стоило драться. Подальше он наткнулся на крикливое объявление, горевшее кроваво-красным пламенем огромных букв, в два раза больше человеческого роста: «ГАРАНТИРУЮТ ХОЗЯИНА».

— Какого хозяина? — спросил он.

— Вас.

— В чем же меня гарантируют? Не понимаю.

— Разве в ваше время не было гарантий?

Грехэм подумал.

— Может быть, вы хотите сказать — страхования?

— Ну да, гарантия, страхование... это одно и то же.

Так это называлось в старину, теперь припоминаю. Страхуется ваша жизнь. Полисы раскупаются дозандами народа, на вас ставят мириады львов. Это та же игра. Играют и на других — на всех известных людей. Смотрите!

Толпа шарахнулась вперед, заревела, и Грехэм увидел, что большой черный экран загорелся новой кроваво-красной надписью еще больших размеров: «Годовая рента на хозяина — «х5 пр. Г». Общий рев еще усилился. Несколько человек, запыхавшиеся, с дико выпученными глазами, простирая вперед жадные руки, ловя воздух хищно скрюченными пальцами, пробежали мимо. У тесного входа началась неистовая давка.

Асано наскоро сделал подсчет.

— Семнадцать процентов в год с гарантируемой суммы. Не дали бы они так много, государь, если б увидели вас в эту минуту. Но они не знают. Прежде страхование вашей жизни было верным помещением капитала, но теперь, разумеется, это не что иное, как азартная игра. Эта последняя ставка — безнадежное дело. Сомневаюсь, чтобы спекулирующие выручили свои деньги.

Толпа, прибывавшая с каждой минутой, так крепко стиснула их, что они не могли податься ни вперед, ни назад. В числе спекулирующих Грехэм заметил очень много женщин и вспомнил то, что говорил ему Асано об экономической независимости прекрасного пола в двадцать втором столетии. Современные дамы ничуть не терялись в толпе и отлично умели постоять за себя, очень ловко работая локтями, в чем ему пришлось убедиться на собственных боках. Одна инте-

ресная особа с кудряшками на лбу, затертая в давке, в двух шагах от него, сперва все поглядывала на него очень внимательно (он даже подумал, уж не узнала ли она его), потом протиснулась ближе, толкнула его плечом — едва ли случайно — и взглядом, древним, как мир, дала ему понять, что он заслужил ее благосклонность. Их скоро разлучил, став между ними клином, почтенный седобородый старец, очень высокий и худой. В своем благородном стремлении к самопомощи, вспотевший, как мышь, от доблестных усилий, он продирался вперед, слепой ко всему земному, кроме сверкавшей перед ним приманки «х5 пр. Г».

— Я не хочу больше этого видеть, — сказал Грехэм Асано. — Не затем я вышел на улицы. Покажите мне рабочий народ. Я хочу видеть людей в синей холстине. А эти сумасшедшие паразиты...

Но тут его сдавило напором толпы.

Глава XXI

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Из делового квартала они направились в отдаленную часть города, где было сосредоточено производство. Дорогой они дважды пересекли Темзу и прошли через широкий виадук, идущий поперек одной из больших дорог, ведущих в город с севера. Впечатление в обоих случаях получилось беглое, но яркое. Река представляла широкую, блестящую, покрытую рябью полосу черной воды, протекающую под арками зданий и исчезающую в темноте, где мерцали блески отраженных огней. Ряд темных барок, управляемых людьми в синих блузах, двигался по направлению к морю. Дорога представляла длинный, очень широкий и высокий тоннель, вдоль которого бесшумно и быстро двигались громадные колеса машин. И здесь тоже в изобилии виднелись синие мундиры Рабочего Общества. Грехэма больше всего поразила плавность движения двойных платформ и величина и легкость огромных пневматических колес сравнительно с размерами вагонов, которые они приводили в движение. Его внимание почему-то особенно приковал к себе очень узкий и высокий вагон с продольными

металлическими перекладинами, на которых были подвешены сотни свежих бараньих туш. Край арки внезапно заслонил перед его глазами дальнейшую картину.

Однако они скоро покинули движущуюся платформу и спустились на лифте в наклонный проход. Они дошли таким образом до другого лифта, на котором опять спустились, и тут картина изменилась. Даже намек на какие бы то ни было архитектурные орнаменты исчез здесь совершенно; огней стало меньше, и они были тусклее, а здания по мере углубления в фабричные кварталы становились все массивнее по отношению к занимаемому ими пространству. И всюду — в пыльном воздухе гончарных мастерских, среди колес машины, размалывающей полевой шпат, около горнов в металлических мастерских и среди озер пылающего, необработанного идамиты — виднелись синие блузы мужчин, женщин и детей.

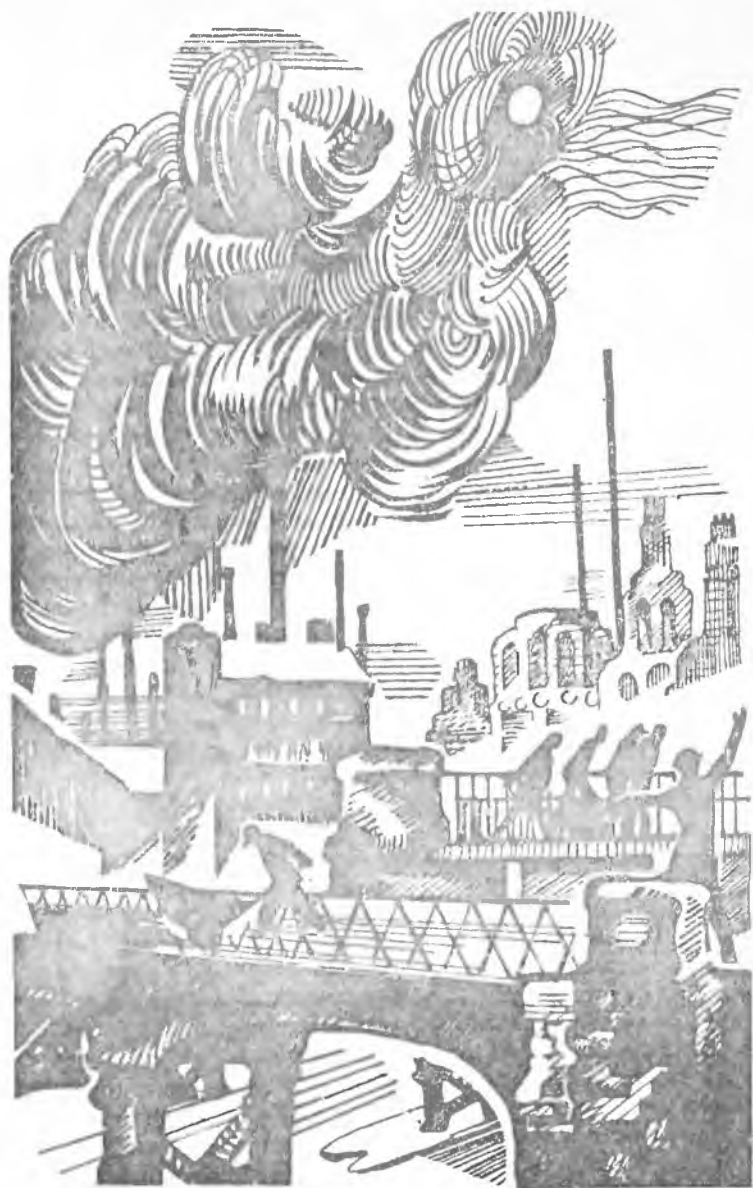
Многие из этих огромных, пыльных галерей, ведущих в машинные отделения, были пусты и безмолвны. Виднелся бесконечный ряд потухших горнов, указывавший на революционную приостановку работ. Но всюду, где работы еще производились, они исполнялись медленно и вяло рабочими, одетыми в синие холщовые блузы. Единственные люди, не одетые в синий холст, были надсмотрщики и рабочая полиция в оранжевых мундирах.

Под свежим впечатлением раскрасневшихся лиц в танцевальных залах и деятельной энергии делового квартала Грехэм невольно обратил теперь внимание на утомленные глаза, впалые щеки и слабые мускулы большинства рабочих новой эпохи. Те, которых он видел здесь, на работе, были явно ниже в физическом отношении нескольких старших надсмотрщиков и надсмотрщиц, одетых в светлые цвета и руководивших работами. Дюжие работники времен королевы Виктории отошли в прошлое вслед за ломовыми лошадьми и тому подобными производителями силы и совершенно исчезли. Их драгоценные мускулы заменились остроумными машинами. Рабочий позднейших времен, как мужчина, так и женщина, главным образом представлял собою разум машины и был ее кормильцем, слугой и помощником или даже артистом, действующим, впрочем, всегда под чужим руководством.

Женщины в сравнении с теми, которые сохранились в памяти Грехэма, отличались, как на подбор, невзрачностью и плоскогрудостью. Двести лет эмансипации от всех нравственных стеснений, налагаемых пуританской религией, двести лет городской жизни сделали свое дело и уничтожили женскую красоту и силу этой бесчисленной толпы работниц в синих холщовых блузах. Красота и ум, привлекательность и исключительность всегда прокладывали дорогу к освобождению от грязной работы и открывали доступ в «Веселые Города» с их наслаждениями и великолепием и далее — к Эвфаназии и покою. Вряд ли можно было ожидать, чтобы эти люди, получающие такую скудную умственную пищу, могли устоять против подобных искушений. Во время прежней жизни Грехэма новые, накапливающиеся в молодых, развивающихся городах рабочие массы представляли собою разнообразную толпу, подчиняющуюся традициям личной чести и высшей нравственности. Теперь же они дифференцировались в отдельный класс, имевший свои физические и нравственные особенности и даже свой собственный диалект.

Они спускались все ниже по направлению к фабричным кварталам. Скоро они очутились под одной из подвижных улиц и увидели ее платформы, двигавшиеся по рельсам прямо над их головами, и полоски белого света, пробивавшиеся сквозь щели между ее поперечными перекладинами. Те фабрики, где работы не производились, были скудно освещены. Грехэму казалось, что они погружались в темноту вместе со своими гигантскими машинами. Впрочем, и там, где работы не прекращались, освещение все же было довольно скудное по сравнению с городскими улицами.

По ту сторону огненных озер расплавленного идамиты находились заповедные мастерские ювелиров. Грехэм лишь с затруднением и только при помощи своей подписи был допущен в эти галереи, высокие, темные и скорее даже прохладные. В первой из них несколько человек были заняты выделкою золотых филигранных украшений. Каждый из этих рабочих сидел отдельно, на маленькой скамейке, возле маленькой лампы под абажуром. Странное впечатление производил длинный ряд этих светлых пятен вдоль темной галереи. Ярко освещенные, проворные паль-



цы, быстро перебирающие желтые блестящие полосы металла и напряженные, внимательные лица, склонившиеся над работой, казались призрачными видениями, вынырнувшими из окружающей темноты.

Работа исполнялась превосходно. Однако не было ни малейшего намека на самостоятельность и изобретательность. Большею частью выделялись разные причудливые орнаменты или же исполнялись сложные геометрические фигуры. Рабочие тут носили особую белую форму, без всяких карманов и рукавов. Они надевали ее, когда приходили на работу, а вечером, перед уходом, снимали ее и подвергались осмотру, прежде чем оставляли владения Компании. Однако полисмен рабочей компании сказал вполголоса Грехэму, что, несмотря на все эти предосторожности, Компанию все же нередко обкрадывают.

В следующей галерее женщины гранили и опраивали пластинки искусственного рубина. Рядом с этой галереей мужчины и женщины были заняты выделыванием медной сети, служащей основой для рубиновых пластинок. У многих из этих рабочих губы и ноздри были синевато-белого цвета, что было результатом особой болезни, развившейся под влиянием работы с пурпуровой эмалью, которая была тогда в большой моде.

Асано старался оправдываться перед Грехэмом в том, что повел его такой дорогой, где вид испорченных лиц мог произвести на него неприятное впечатление. Но эта дорога была удобнее.

— Это как раз то, что я хотел видеть, — сказал Грехэм, стараясь не показать своего ужаса при виде особенно обезображенного лица, внезапно очутившегося перед ним.

— Она могла бы быть осторожнее и не так обезобразить себя, — заметил Асано.

Грехэм возмутился.

— Но сэр, — возразил Асано, — без пурпура мы не можем приготовить этих вещей. В ваши дни люди могли выносить грубые изделия, но ведь они были ближе к варварству на целых двести лет!

Они продолжали идти вдоль одной из самых нижних галерей фабрики изделий из рубина и пришли к маленькому мосту, образующему род свода. Взглянув через перила вниз, Грехэм увидел пристань под такими огромными арками, каких еще он никогда не ви-

дел. Три баржи, наполовину скрытые в облаках белой мучнистой пыли, выгружали при помощи целой толпы кашляющих людей свой груз размолотого полевого шпата. Каждый рабочий двигал маленькую тележку. Пыль наполняла все пространство, образуя удушливый туман, придававший желтый оттенок электрическому свету. Жестикулирующие тени рабочих то появлялись, то исчезали на длинной белой известковой стене. То и дело какой-нибудь из них останавливался и начинал кашлять.

Туманная масса громадных каменных сооружений, поднимавшихся над чернильными водами реки, напомнила Грехэму о множестве дорог, галерей и лифтов, которые, поднимаясь этажами над его головой, отделяли его от поверхности земли. Люди работали молча, под наблюдением двух полисменов рабочей полиции, и только шаги их производили глухой звук, когда они ступали по плитам.

В то время как Грехэм наблюдал эти сцены, в темноте раздался чей-то голос, начавший петь.

— Молчать! — крикнул полицейский, но его приказание не было исполнено. Сначала один, а потом и все покрытые белой пылью рабочие, вызывающе подхватили припев Песни Восстания. Шаги рабочих, ступающих по плитам, отбивали такт этой песни: «трамп! трамп! трамп!» Полицейский, отдавший приказание, взглянул на своего товарища, и Грехэм увидел, что тот пожал плечами. Он больше не делал попыток прекратить пение.

Так ходили они по фабрикам и местам, где трудился народ, и видели много тяжелых и прискорбных вещей.

Эта прогулка оставила в уме Грехэма вереницу смутных и постоянно меняющихся картин. Он видел громадные залы, битком набитые целыми толпами людей, гигантские своды, исчезающие в облаках пыли, сложные машины, длинные ряды ткацких станков с бегущими нитями, слышал тяжелые удары дробильных машин, грохот и скрип ремней и машинных приборов, видел плохо освещенные подземные боковые отделения для спальных мест и бесконечный ряд тусклых огней. В одном месте он ощутил запах дубильной кожи, в другом — запах пивоварни, в третьем — испарения, не поддающиеся никакому определению. И везде он видел столбы и арки такой массивной постройки, каких он никогда не видал доселе. Это были

кирпичные титаны, на которые опиралась громадная тяжесть этого сложного мирового города, давящего своею сложностью миллионы живущих в нем анемичных людей. И потому он видел бледные лица, тощие, изможденные члены, уродство и вырождение.

Три раза Грехэм слышал Песню Восстания во время своего долгого и неприятного странствования по этим местам. В конце одного прохода он увидел беспорядочную свалку. Это были крепостные рабочие, захватившие свой хлеб раньше окончания работ. Поднимаясь по направлению к улицам, Грехэм увидал детей в синих блузах, бегущих в поперечный проход, и тотчас же понял причину их паники, так как увидал отряд рабочей полиции, вооруженной дубинками и направляющейся скорым шагом в ту сторону, где произошли какие-то беспорядки. Вдали где-то началась смута, но большинство из этих оставшихся рабочих продолжало работать, работать без всякой надежды. Все то воодушевление, которое еще сохранилось у этого падшего человечества, сосредоточилось в эту ночь наверху, на улицах, где раздавались громкие крики, звавшие повелителя, и где люди шумно и мужественно хватались за оружие.

Грехэм и его спутник снова очутились на движущейся платформе, ослепленные ярким светом центрального прохода. Они скоро различили отдаленный лязг и визг машин одного из отделов службы всеобщих известий. Но вдруг показались бегущие люди, и вдоль платформы и на улицах послышались крики и возгласы. Пробежала женщина, на побледневшем лице которой выражался безмолвный ужас. Другая бежала за ней, задыхаясь и пронзительно крича.

— Что такое случилось? — спросил с недоумением Грехэм, так как он не мог понять их жаргона. Только когда он услышал настоящую английскую речь, он понял, в чем дело, и узнал, что кричали все эти люди, пробегая мимо, что заставляло женщин визжать от страха и что внезапно разнеслось по всему городу, как первые предвестники надвигающейся грозы, вселяя повсюду ужас и вызывая содрогание.

— Острог вызвал черную полицию в Лондон! Черная полиция идет сюда из Южной Африки! Черная полиция!.. Черная полиция...

Лицо Асано побледнело, и на нем выразилось удивление. Он с минуту колебался, затем взглянул на Грехэма и рассказал ему то, что сам уже знал раньше.

— Но как они узнали об этом? — спрашивал он себя с изумлением.

Грехэм услышал, как кто-то крикнул:

— Прекратите всякую работу! Прекратите всякую работу!

Какой-то смуглый горбун, смешно и пестро одетый в зеленое с золотом, вскочил вприпрыжку на движущуюся платформу, громко крича на хорошем английском языке:

— Это сделал Острог! Острог — негодяй! Повелитель обманут!..

Голос его хрипел, и тонкая струйка пены капала из его отвратительного кричащего рта. В его криках слышался невыразимый ужас, вызванный действиями черной полиции в Париже. Он удалился, продолжая выкрикивать: «Острог — негодяй!»

На мгновение Грехэм остановился, так как ему снова пришло в голову, что это сон. Он взглянул на громады высоких зданий по обим сторонам пути, исчезающих в голубоватом тумане поверх фонарей, посмотрел вниз на жужжащие ярусы движущихся платформ, на бегущих, кричащих и жестикулирующих людей...

— Повелитель обманут!.. Повелитель обманут!..

И вдруг он понял действительное положение вещей. Его сердце забилося сильнее.

— Настало, — сказал он. — Я должен был бы знать это! Час настал!..

Он поспешно прибавил:

— Что же мне делать?

— Вернитесь назад, в Дом Совета, — сказал Асано.

— Но отчего бы мне не обратиться?.. Ведь народ находится здесь!

— Вы только потеряете время. Они будут сомневаться, не поверят, что это вы. Но они непременно соберутся около Дома Совета. Там вы найдете их вождей. Ваша сила там, с ними!

— Быть может, это только слух?

— Но это похоже на правду, — возразил Асано.

— Подождем фактов!

Асано пожал плечами.

— Лучше идти к Дому Совета! — закричал он. — Именно туда они все направятся. Пожалуй, уже теперь нельзя пройти через развалины.

Грехэм нерешительно взглянул на него, но все же последовал за ним.

Они поднялись на верхнюю быстроходную платформу, и там Асано заговорил с одним рабочим, который отвечал ему на простонародном жаргоне.

— Что он говорит? — спросил Грехэм.

— Он знает очень мало. Впрочем, он сказал, что черная полиция явилась бы сюда раньше, чем кому-нибудь это стало известно, если б кто-то в Управлении ветряных двигателей не проведал про это и не разгласил этого. Он говорит, что это была девушка...

— Девушка?

— Он так сказал. Но он не знает, кто она такая. Она вышла из Дома Совета, громко крича, и рассказала об этом людям, работавшим в развалинах.

Снова раздался крик, давший определенное направление беспорядочному народному движению. Этот крик пронесся, точно ветер, вдоль улиц.

— Все по местам! Все по местам! Каждый человек получает оружие! Каждый пусть идет на свое место!

Глава XXII

БОРЬБА В ДОМЕ СОВЕТА

Асано и Грехэм направились к развалинам около Дома Совета, повсюду встречая возбужденную толпу. Волнение все возрастало. «Все по местам! Все по местам!» — поминутно раздавались крики. Мужчины и женщины, бросив свою подземную работу, бежали к лестницам подземного прохода. В одном месте Грехэм увидел арсенал революционного комитета, осажденный толпой кричащих людей. В другом несколько человек, одетых в ненавистную оранжевую форму рабочей полиции, спасаясь от преследующей толпы, перескочили на быстроходную платформу, движущуюся в противоположном направлении.

По мере того как Грехэм и его спутник приближались к правительственным зданиям, призыв «По мес-

там!» превратился в один общий несмолкаемый крик. Что кричали отдельные люди, разобрать было нельзя.

— Острог обманул нас! — рычал какой-то человек охрипшим голосом, и эта фраза, повторяемая несколько раз над самым ухом Грехэма, оглушала и преследовала его. Этот человек стоял рядом с ним на быстроходной платформе и кричал что-то тем, которые толпились на нижних платформах. Его крик относительно Острога сменялся по временам какими-то непонятными приказаниями, которые он отдавал. Но вскоре он спрыгнул вниз и исчез.

В ушах Грехэма продолжал звучать этот крик. У него не было никакого определенного плана, и он не знал, как поступить. Он думал о том, чтобы обратиться к толпе с какого-нибудь возвышения и чтобы встретиться в Острогом лицом к лицу. В душе его закипало бешенство. Он чувствовал сильнейшее возбуждение, мускулы у него были напряжены и руки невольно сжимались.

Путь к Дому Совета через развалины был уже непроходим, но Асано обошел это затруднение и провел Грехэма через центральное почтовое управление. Оно номинально продолжало работать, но почтальоны в синей одежде лениво передвигались, постоянно останавливаясь под арками галереи, чтобы посмотреть на бегущих мимо и кричащих людей. «Пусть каждый отправляется на свое место!.. Каждый должен быть на своем месте!..» Здесь Грехэм, по совету Асано, открыл, кто он такой.

Они переправились в Дом Совета в кабине, движущейся по канату. В короткий промежуток времени после капитуляции советников произошли большие перемены в наружном виде развалин. Каскады морской воды, низвергавшиеся с шумом из разорванных труб, были прекращены, и громадные временные трубы были проложены вверху над головами, поддерживаемые рядами непрочных на вид балок. Небо снова заслонила сеть восстановленных кабелей и проволок, обслуживавших Дом Совета. А слева от белого здания выдавалась масса подъемных кранов и строительных машин, которые двигались взад и вперед.

Подвижные пути, проходящие через эту область, были тоже восстановлены, хотя они теперь еще двигались под открытым небом. Это были те самые пути, которые Грехэм видел с маленького балкона в тот

час, когда проснулся, девять дней тому назад. В некотором отдалении отсюда находился раньше зал, где он лежал в спячке: теперь на этом месте была лишь груда бесформенных каменных обломков.

Был уже день, и солнце ярко светило на небе. Быстроходные платформы, появляясь из освещенных голубым электрическим светом подземных проходов, были наполнены людьми, которые все более и более густой толпой собирались над обломками и хаосом развалин. Воздух был наполнен их криками, и все устремлялись и теснились к центральному зданию. Грехэм заметил, что среди этой толпы существовало стремление установить нечто вроде грубой дисциплины, но большинство все же представляло бесформенную массу. И повсюду раздавались голоса, взывавшие к порядку: «Все на свои места! На свои места!»

Кабель доставил их в зал, в котором Грехэм тотчас же узнал преддверие зала Атласа, находившегося над галереей, по которой он проходил с Говардом через час после своего пробуждения, чтобы показаться Совету, который теперь исчез. Но тут было пусто, и только два служителя при кабеле еще оставались на своих местах. Они, по-видимому, были чрезвычайно удивлены, узнав в человске, соскочившем вниз, Спящего, который тотчас же спросил их:

— Где Острог? Я должен немедленно видеть Острога! Он ослушался меня. Я вернулся, чтобы взять власть из его рук...

Не дожидаясь Асано, Грехэм поднялся по ступеням на дальнем конце зала и, отвернув занавес, очутился перед лицом вечно работающего Титана.

Зал был пуст. Его внешность, однако, сильно изменилась после того, как он его видел в первый раз. Она довольно-таки сильно пострадала от первого революционного взрыва. С правой стороны огромной статуи верхняя часть стены была разрушена на протяжении двухсот футов, и пролом был заткнут такой же стекловидной перепонкой, какая окружала Грехэма, когда он проснулся. Это до некоторой степени заглушало гул толпы, доносившийся снаружи. «По местам!.. По местам!.. По местам!..» — все еще кричали там. Сквозь эту перепонку просвечивали балки и подпорки железных подмостков, которые то поднимались, то опускались, управляемые целой толпой рабочих. На зеленоватом фоне этой картины виднелась

строительная машина, неподвижно простиравшая теперь свои огромные рычаги, выкрашенные в красный цвет, точно тонкие металлические руки, которые служили для того, чтобы брать глыбы пластического минерального теста и аккуратно прилаживать их, придавая им нужную форму и положение. Около машины стояли рабочие и смотрели на гудящую внизу толпу.

Грехэм на минуту остановился, смотря на эту картину, и Асано догнал его.

— Острог находится там, в маленьких комнатах правления, — сказал он.

Асано был мертвенно бледен и всматривался в лицо Грехэма.

Они не прошли и десяти шагов, как с левой стороны Атласа поднялась вверх узкая панель в стене и оттуда вышел Острог в сопровождении Линкольна и двух одетых в черные и желтые цвета негров. Он прошел через зал по направлению к другой панели, которая тоже раскрылась перед ним.

— Острог! — крикнул Грехэм, и при звуках его голоса маленькая группа с удивлением повернулась.

Острог что-то сказал Линкольну, и один подошел к Грехэму. Грехэм заговорил, и голос его звучал повелительно и громко.

— Что это я слышу? — спросил он. — Вы призываете сюда негров, чтобы удержать в повиновении народ?..

— Давно пора! — отвечал Острог. — Они все больше и больше отбиваются от рук после восстания. Я слишком легко отнесся...

— Не хотите ли вы сказать, что эти проклятые негры находятся уже в дороге?

— Да. Но ведь вы же видели, что делается там, снаружи?

— Ничего удивительного! Но после всего, о чем вы говорили... Вы слишком много берете на себя, Острог!

Острог ничего не ответил, но подошел ближе.

— Эти негры не должны являться в Лондон. Я повелитель здесь, и они не должны приезжать сюда!

Острог взглянул на Линкольна, который тотчас же приблизился к нему вместе со своими двумя служителями.

— Отчего же нет? — спросил Острог.

— Белые люди должны управляться только белыми. Притом же...

— Но негры здесь только орудие!..

— Это не имеет отношения к делу. Я тут повелитель и хочу им оставаться! Говорю вам: негры не должны быть здесь!

— Народ...

— Я верю в народ!

— Потому что вы сами анахронизм — вы человек прошлого, случайность! Вы, быть может, владеете половиной собственности всего мира, но повелителем его вы не можете быть. Вы слишком мало знаете для этого!

Острог снова взглянул на Линкольна и прибавил:

— Я знаю теперь, что вы думаете, и догадываюсь о том, что вы намерены делать. Но и теперь еще не поздно предостеречь вас. Вы мечтаете о человеческом равенстве, о социалистическом порядке! В вашем уме сохранились в полной силе эти обветшалые мечты девятнадцатого века. И вы хотите управлять этим веком, которого вы не понимаете!

— Прислушайтесь! — сказал Грехэм. — Вы слышите этот звук? Точно бушующее море! Тут нет отдельных голосов, а есть только единый голос! Понимаете ли вы сами это?

— Мы научили их этому...

— Может быть. Однако можете ли вы научить их теперь забыть это? Но довольно разговоров. Негры не должны быть здесь!

Острог взглянул ему в глаза.

— Они будут!

— Я запрещаю! — сказал Грехэм.

— Они уже отправились...

— Я не хочу этого!

— Нет! — возразил Острог. — Как мне ни грустно следовать методу Совета... Ради вашего блага вы не должны становиться на сторону... беспорядка. А теперь, когда вы здесь... Вы очень хорошо сделали, что пришли сюда!..

Линкольн подошел и положил свою руку на плечо Грехэма. Внезапно Грехэм понял, какую громадную ошибку он сделал, придя к Дому Совета. Он повернулся к занавеси, отделявшей прихожую от зала, но цепкая рука Асано помешала ему. В следующую минуту Линкольн схватил Грехэма за платье.

Грехэм повернулся и ударил Линкольна по лицу, но тотчас же негр схватил его за ворот и рукав. Гре-

хэм вырвался, разорвав с треском рукав, и отскочил назад, но его сшиб с ног другой служитель. Он тяжело упал на землю и несколько мгновений лежал, глядя на высокий потолок зала...

Потом он вскрикнул и, ворочаясь, старался вскочить. Он схватил одного из служителей за ногу и бросил его головой вниз. Линкольн подбежал к нему, но тотчас же тяжело упал, сраженный ударом в челюсть, и остался недвижим.

Поднявшись, Грехэм сделал два шага шатаясь. Но Острог схватил его за горло и повалил навзничь. Руки его были прижаты к земле. После нескольких отчаянных усилий освободиться Грехэм вдруг прекратил борьбу. Он лежал и смотрел на тяжело дышащего Острога.

— Вы... пленник!.. — проговорил, задыхаясь и торжествуя, Острог. — Вы... были безумцем... возвратившись назад!

Грехэм повернул голову и заметил сквозь неправильное зеленоватое окно в стенах зала, что люди, работавшие с подъемными кранами, с жаром жестикулируют, сообщая что-то толпе, находящейся внизу. Они видели!..

Острог заметил, куда он смотрит, и тоже повернулся. Он крикнул что-то Линкольну, но Линкольн не двигался. Пуля ударилась в лепные украшения над Атласом. Две полосы прозрачного вещества, прикрывавшие щель, разлетелись, края образовавшейся трещины потемнели, свернулись и быстро отодвинулись в сторону. В одно мгновение комната Совета оказалась открытой и струя холодного ветра проникла через отверстие, принося с собой гул голосов снаружи, из развалин, точно таинственный шепот каких-то духов.

— Спасите повелителя!.. Что они делают с ним? Его предали.

Грехэм заметил, что внимание Острога чем-то отвлечено и нажим его рук несколько ослабел. Осторожно освободив свою руку, Грехэм поднялся на колени и в следующее мгновение повалил Острога на спину, стоя на одном колене и держа его за горло, в то время как рука Острога вцепилась в его шелковый воротник.

Но к ним уже устремлялись люди с эстрад — люди, намерения которых были непонятны ему. Он уви-

дел мельком человека, бегущего по направлению к портьерам прихожей, и в тот же миг Острог разжал руки, а вновь прибывшие люди бросились на него и, к величайшему изумлению Грехэма, схватили его. Они повиновались крикам Острога.

Его протащили шагов двенадцать, пока он понял, наконец, что это не были друзья и что они тащили его к открытой панели. Когда он увидал это, то начал упираться, пробовал бросаться на землю и звал на помощь изо всех сил. И на этот раз он услышал ответные крики.

Руки, державшие его за шею, ослабели, и вдруг в нижнем углу пролома показалась сначала одна, а потом множество черных фигур, кричащих и размахивающих оружием. Они прыгали через отверстие в светлую галерею, которая вела в Комнаты Молчания. Они бежали по галерее и были так близко от него, что Грехэм мог различить ружья в их руках. Затем Острог что-то крикнул над самым его ухом людям, державшим его, и он должен был употребить все свои силы, чтобы не дать себя подтащить к отверстию, которое зияло перед ним.

— Они не могут сойти вниз! — кричал, задыхаясь, Острог.— Стрелять они не смеют! Все прекрасно! Мы и на этот раз уведем его от них!..

Грехэму казалось, что эта постыдная неравная борьба продолжалась довольно долго. Его платье было изодрано во многих местах, он был весь в пыли, и одна рука у него была отдавлена. Он слышал крики своих приверженцев и даже слышал выстрелы. Но он чувствовал, что силы его слабеют и что все его попытки беспредельны и бесполезны. Помощь не приходила, и зияющее темное отверстие неуклонно приближалось к нему...

Однако вдруг тиски рук, державших его, опять ослабели, и он с трудом приподнялся с земли. Тут он увидел удаляющуюся от него седую голову Острога и понял, что его уже никто не держит. Он повернулся и очутился лицом к лицу с человеком, одетым в черное. Одно из зеленых ружей щелкнуло как раз около него, прямо ему в лицо пахнула струя едкого дыма и мелькнул стальной клинок. Огромный зал закружился у него перед глазами...

Почти у самого его лица какой-то человек в блед-

но-голубом заколол кинжалом одного из черно-желтых слуг. Затем его снова схватили чьи-то руки...

Его тащили в две разные стороны. Ему казалось, что люди что-то кричат ему. Он хотел понять, но не мог. Кто-то обхватил его за ноги и поднял, несмотря на его отчаянное сопротивление.

Но он внезапно понял, в чем дело, и перестал бороться. Его подняли на плечи и унесли прочь от зияющей дыры в панели, точно ожидавшей его, чтоб проглотить. Раздались радостные, ликующие крики...

Он видел теперь, что люди в синем и черном преследуют отступающих приверженцев Острога и стреляют им вслед. Он видел с высоты, на которой находился, все пространство зала около изображения Атласа и понял, что его несут к возвышенной эстраде, находящейся в центре. В дальнем конце зала собиралась толпа, и оттуда люди бежали к нему. Они смотрели на него и радостно кричали.

Он скоро заметил, что его окружал как бы отряд телохранителей. Какие-то люди около него выкрикивали приказания, и усатый человек, одетый в желтое, которого он видел раньше среди тех, кто приветствовал его в театре в день его пробуждения, тоже находился тут же и делал какие-то указания. Зал был уже густо наполнен волнующейся толпой, и маленькая металлическая галереягнулась под тяжестью кричащих людей. Занавес в конце зала был сорван, и в передней тоже кишел народ.

Кругом был такой оглушительный шум, что человек, стоящий возле Грехэма, с трудом расслышал его вопрос:

— Куда девался Острог?

Человек, спрошенный им, указал ему, через головы толпы, на нижние панели зала, с противоположной стороны пролома. Эти панели были открыты, и вооруженные люди, одетые в синее с черными шарфами, вбегали туда и исчезали в комнатах и коридорах, находившихся за ними. Грехэму показалось, что к нему доносятся звуки выстрелов и происходящей там борьбы.

Его подняли и пронесли, описывая ломаную линию, через огромный зал к отверстию возле пролома. Он заметил, что окружающие его люди, соблюдая из-

вестную дисциплину, стараются удерживать толпу так чтобы около него всегда оставалось свободное пространство.

Вынесенный из зала, он увидел прямо перед собой неотделанную новую стену, упирающуюся, казалось, в голубое небо. Его поставили на ноги; кто-то взял его за руку и повел. Какой-то человек в желтом шел около него.

Его вели по узкой кирпичной лестнице, и рядом с ним возвышались выкрашенные в красную краску краны, рычаги и остальные части огромной строительной машины.

Когда он достиг вершины лестницы, его повели дальше по узенькому проходу с перилами, и тут внезапно перед ним открылся амфитеатр развалин, откуда раздавались крики:

— Повелитель с нами! Повелитель! Повелитель!

Грехэм заметил, что его более не окружают люди и что он стоит на маленькой временной платформе из белого металла, составлявшей часть лесов, окружавших главные постройки Дома Совета. Все громадное пространство развалин было покрыто волнуемой несметной кричащей толпой, и в разных местах уже развевались черные знамена революционных обществ, образующие нечто вроде центров, вокруг которых среди всеобщего невообразимого хаоса группировались люди. Отвесные лестницы, стены и леса, по которым его освободители добрались до отверстия в зале Атласа, теперь унижены были народом, а на всех выступах и столбах повисли маленькие, энергичные черные фигурки, взбиравшиеся все выше и старавшиеся увлечь за собой остальную массу. Позади него, на самом возвышенном пункте лесов, группа людей пыталась укрепить как можно выше огромное черное знамя, которое развевалось и хлопало во все стороны. Через зияющее отверстие в стене перед собой он мог рассмотреть напряженно внимательную толпу, наполнявшую зал Атласа. К югу ясно и отчетливо виднелись отдаленные летательные станции, казавшиеся близкими вследствие необычайной прозрачности воздуха. Одинокий моноплан поднялся с центральной станции, быть может, навстречу прибывающим аэропланам...

— Что случилось с Острогом? — спросил Грехэм.

Задавая этот вопрос, он увидел, что все глаза обращены на верхушку крыши Дома Совета. Он тоже посмотрел в ту сторону, которая так привлекала всеобщее внимание. Сначала он ничего не видел, кроме зубчатого угла стены, резко выделяющегося на безоблачно синем небе. Затем мало-помалу он начал различать внутренность какой-то комнаты и с удивлением узнал зеленые и белые украшения своей прежней тюрьмы. Какая-то маленькая белая фигура, за которой следовали две другие, казавшиеся еще меньше и одетые в черное с желтым, быстро прошла через комнату и направилась к самому краю развалин.

Человек, стоявший около него, воскликнул:

— Острог!

Грехэм обернулся, чтобы спросить, но не успел, потому что раздалось испуганное восклицание другого человека, стоявшего возле него и указывавшего на что-то своим тощим пальцем. Грехэм посмотрел туда и увидел, что моноплан, только что перед этим поднявшийся с летательной станции, теперь несся прямо на них. Такой быстрый, плавный полет был для него новинкой и поэтому привлек его внимание.

Моноплан все приближался, быстро увеличиваясь в размерах. Проскользнув над отдаленным краем развалин, он очутился в поле зрения густой народной массы, столпившейся внизу. Он спустился, пересекая это пространство, и снова поднялся и пронесся над головами людей, затем взвился еще выше, чтобы обогнуть громаду Дома Совета. Он казался хрупким и прозрачным, и из-за его ребер виднелся одинокий аэронавт. Он исчез за линией развалин, темневшей на фоне небесного свода.

Внимание Грехэма сосредоточилось теперь на Остроге, который делал какие-то знаки руками. Его помощники торопливо разрушали около него стену. В следующий момент снова показался моноплан в виде далекой маленькой точки, которая теперь медленно приближалась, описывая дугу.

Вдруг человек в желтом крикнул:

— Что они делают? Чего народ смотрит? Зачем оставили там Острога? Почему его не взяли в плен? Ведь они поднимут его теперь. Моноплан унесет его! А!..

На его восклицание отвечали, словно эхо, громкие крики в развалинах. Треск зеленых ружей донесся через пропасть к Грехэм, и, взглянув вниз, он увидел множество людей в черно-желтых мундирах, бегущих по одной из галерей с проломанной стеной, находящейся под тем выступом, на котором стоял Острог. Они стреляли на бегу в каких-то невидимых людей. Затем показались гнавшиеся за ними синие фигуры. Эти крошечные сражающиеся фигурки производили самое странное впечатление. Издали они казались какими-то маленькими игрушечными солдатыками. Необъятный вид дома, внутренность которого была раскрыта вследствие пролома стен, придавал этой битве, среди мебели и проходов, какой-то нереальный характер. Это происходило, быть может, за двести ярдов от него и приблизительно на высоте пятидесяти ярдов, над головами тех, кто находился в развалинах внизу.

Люди в черном с желтым вбежали на какую-то открытую арку и, обернувшись, дали залп, один из синих преследователей, бежавший впереди, у самого края пролома, как-то странно взмахнул руками и качнулся вбок. Грехэму показалось, что он повис над краем на несколько мгновений и затем свалился вниз. Грехэм видел, как он на лету стукнулся о выступающий угол, отскочил в сторону и, перекувырнувшись несколько раз в воздухе, скрылся за красными рычагами строительной машины.

Какая-то тень на мгновение заслонила солнце. Грехэм взглянул вверх — небо было чисто. Он понял, что это промелькнул моноплан.

Острог исчез! Человек в желтом протиснулся вперед и, возбужденно жестикулируя, кричал:

— Они пристают! Они пристают! Скажите людям, чтоб они стреляли в него! Скажите им это!..

Грехэм ничего не понимал. Он только слышал громкие голоса, повторявшие эти загадочные приказания.

Вдруг из-за края развалин показался моноплан. Скользя над стеной, он подпрыгнул и сразу остановился. Грехэм тут понял, что моноплан пристал для того, чтобы дать Острогу возможность бежать на нем. В то же время он заметил голубоватый дым и сообра-

зил, что люди внизу стреляют по выступающей части машины.

Какой-то человек возле него хрипло издал одобрительный возглас. Грехэм увидел, что синие достигли арки, которую защищали за несколько мгновений перед этим черно-желтые, и, опрокинув их, непрерывным потоком ринулись в открытый проход.

И вдруг моноплан соскользнул с края стены и стал падать. Он падал под углом в 45 градусов и так круто, что Грехэму показалось, — да и всем другим точно так же, — что он уже не в состоянии будет подняться вверх.

Он пролетел так близко, что Грехэм мог разглядеть Острога, цепляющегося за поручни сиденья. Его седые волосы развсвались. Аэронавт с мертвенно-бледным лицом налегал изо всей силы на рычаг двигательной машины. Он слышал, как ахнула в ожидании толпа внизу...

Грехэм схватился за перила и замер, напряженно всматриваясь. Минута казалась ему вечностью. Нижнее крыло опускавшегося моноплана чуть не задело людей внизу, кричавших и толкавших друг друга.

Затем он поднялся.

В первую минуту казалось, что он, во всяком случае, не в состоянии будет пронестись над стеной или что он заденет ветряные колеса, вращавшиеся вверху.

Но он преодолел все эти препятствия и поднялся. Он накренился на один бок, но улетал все дальше и дальше в синеве небес...

Напряженное ожидание разрешилось яростью, когда люди поняли, что Острог ушел от них. С запоздалой энергией они возобновили стрельбу, пока треск отдельных выстрелов не превратился в сплошной гул и все пространство не заволкло синей мглой, а воздух пропитался едким дымом.

Слишком поздно! Моноплан, улетаая, становился все меньше и меньше и, наконец, описав дугу, плавно спустился к летательной станции, откуда он недавно поднялся.

Несколько мгновений продолжалось смутное гудение толпы в развалинах, а затем всеобщее внимание обратилось на Грехэма, стоявшего на самом верху, среди лесов. Он увидел, что лица всех обращены к нему, и услышал громкие радостные крики по поводу своего избавления. И вдруг раздалась Песнь Восста-

ния, и она пронеслась, как дуновение бури над волнующимся морем людей...

Маленькая группа людей около него поздравляла его со спасением. Человек в желтом, стоявший рядом с ним, смотрел на него сияющими глазами. А звуки песни все росли и становились громче. «Трамп! Трамп! Трамп!..»

Полное и ясное сознание того, что произошло, пришло к нему не сразу, но Грехэм, наконец, понял, что его положение быстро изменилось. Острог, всегда стоявший рядом с ним, когда бы он ни смотрел на кричащую толпу, теперь был далеко, стал его противником! Не было никого, кто бы мог управлять за него. Даже все эти люди, стоявшие около него, вожди и организаторы толпы, и те смотрели на него, ожидая, что он сделает, ожидая его поступков и приказаний. Он был настоящим королем теперь. Его прежнее игрушечное царствование пришло к концу.

Он был воодушевлен желанием сделать то, что ожидали от него. Его нервы, мускулы дрожали от напряжения. Он чувствовал, быть может, некоторое смущение, но ни страха, ни гнева у него не было. Только его придавленная рука распухла и горела.

Однако он был несколько смущен своим внешним видом. Он не чувствовал страха, но боялся, что может показаться испуганным.

В своей прежней жизни он не раз испытывал сильнейшее возбуждение во время разных игр, требующих ловкости. Теперь его охватила жажда немедленной деятельности. Он понимал, что не должен слишком вдумываться в подробности этой грандиозной по своей сложности борьбы, так как сознание ее необычайной запутанности могло бы парализовать его силы...

Там, вдали, синели четырехугольные очертания летательных станций, напоминая об Остроге. Он будет бороться с Острогом за будущее мира!

Глава XIII

ГРЕХЭМ ГОВОРIT СВОЕ СЛОВО

В течение некоторого времени повелитель земли не мог даже управлять своими собственными мыслями. Даже его воля не казалась ему больше его собст-

венной волей, и его собственные поступки изумляли его, как будто и они были только частью странных переживаний, нахлынувших на него откуда-то со стороны. Но одно было совершенно ясно: аэропланы приближаются! Элен Уоттон оповестила об этом народ.

Ясно было также, что он — повелитель земли. Каждый из этих фактов как будто боролся с другими за исключительное обладание его мыслями. Они выступали перед ним везде: в залах, где кишел народ, в возвышенных проходах, в комнатах, где собирались вожди отдельных частей для совещания, в помещениях для телефона и кинематографа и в окнах, через которые он видел шумную толпудвигающихся людей.

Трудно было сказать, увлекает ли его за собой человек в желтом и те, кого он считал вождями отдельных частей, или же они сами послушно следуют за ним? Вероятно, было и то и другое. Но, быть может, какая-то сила, невидимая и неподозреваемая, толкала их всех.

Он вдруг сообразил, что ему нужно обратиться с воззванием к народам земли и что в мозгу у него уже слагаются грандиозные фразы, выражающие его мысли, затем произошло много разных мелких событий, и вот он очутился рядом с человеком в желтом, и они вместе вошли в комнату, где должно было быть произнесено его воззвание.

Эта комната была причудливым воплощением современности, со всеми ее позднейшими приспособлениями. В центре виднелся яркий овал, образуемый падавшим сверху электрическим светом. Все остальное было в тени, а двойные, плотно закрывающиеся двери, через которые вошел Грехэм из зала Атласа, обеспечивали здесь полную тишину. Глухой звук закрывающейся за ним двери, внезапное прекращение шума, среди которого он жил несколько долгих часов, трепещущий круг света, шепот и быстрые бесшумные движения слуг, едва различаемых в тени, — все это производило на Грехэма странное впечатление. Огромные уши фонографического механизма зияли в батарее, словно приготовляясь слушать его слова, а черные глаза огромной фотографической камеры ловили его движения. Дальше тускло блестели металли-

ческие прутья и катушки и что-то с жужжанием вертелось наверху. Он вошел в середину освещенного овала, и его тень съежилась и превратилась у его ног в маленькое и резкое черное пятно.

В его уме уже сложилось в смутных чертах все то, что он намеревался сказать. Но он не ожидал ни этой внезапной тишины, ни этого уединения, ни полного отсутствия людей, заражавших его своим воодушевлением, ни такой безмолвной аудитории, какую представляли эти машины, слушающие и видящие. Он как будто сразу потерял всякую опору, и ему показалось, что он очутился здесь неожиданно для себя и теперь не знает, что делать. В нем сразу произошла перемена, и он почувствовал страх, что не справится со своей задачей. Он боялся показаться слишком театральным, боялся за свой голос, за свой ум, и, удивленный тем, что в нем происходило, он обернулся с умоляющим жестом к человеку в желтом.

— На минутку подождите, — сказал он. — Сейчас я не могу. Я не ожидал, что так будет! Мне еще надо обдумать то, что я хочу сказать.

Пока он колебался начать, явился взволнованный человек с известием, что передовые аэропланы уже прошли над Мадридом.

— Какие получены вести с летательных станций? — спросил Грехэм.

— Люди юго-западных частей готовы.

— Готовы?

Он нетерпеливо обернулся к блестящим линзам аппарата и сказал:

— Я думаю, что мне надо произнести нечто вроде речи. Если б только я знал, что надо сказать! Аэропланы в Мадриде! Они, должно быть, отправились раньше главного флота. А люди еще только готовятся? Наверное... Впрочем, не все ли равно, буду ли я говорить хорошо или дурно! — вдруг сказал он сам себе и заметил, что свет стал ярче.

Он уже составил в уме несколько неопределенных фраз, выражающих чувства, но внезапно им снова овладели сомнения. Уверенность в своих героических качествах и в своем призвании как будто покинула его. Картина бесцельности и непонятности того, что совершалось, заслонила перед ним все. Внезапно для него стало совершенно ясно, что это восстание про-

тив Острога было преждевременным и было обречено на неудачу. Это был страстный импульс, побуждающий к борьбе с неизбежностью. Грехэм думал о быстром полете аэропланов, видел в нем неумолимый перст рока. Его несказанно удивляло, что он может рассматривать теперь вещи с другой точки зрения. Но он боролся со своими сомнениями и, наконец, решительно отбросив их в сторону, сказал себе, что он должен пройти через это испытание и сделать то, что он намеревался сделать.

Однако он все еще не находил слов, чтобы начать. Но в то время как он стоял в нерешительности из уст его уже готовы были слететь слова извинения, вдруг донесся снаружи шум и крики бегающих взад и вперед людей.

— Подождите! — крикнул кто-то, и дверь отворилась.

— Она идет!.. — слышались голоса. Грехэм повернулся, и огни, освещавшие его, померкли.

В открытую дверь он увидел легкую серую фигуру, которая проходила через обширную залу. Его сердце дрогнуло. Это была Элен Уоттон...

За ней и кругом нее раздавались аплодисменты. Человек в желтом, стоявший в тени, вошел в круг света.

— Это та самая девушка, которая сообщила нам, что сделал Острог, — сказал он.

Она вошла очень спокойно и стояла молча, словно не желая говорить с Грехэмом. Но все его сомнения и вопросы исчезли в ее присутствии, и он вспомнил все, что хотел сказать народу.

Он встал против камеры, и свет вокруг него засиял ярче. Повернувшись к Элен, он сказал:

— Вы помогли! Вы очень мне помогли. Все это так трудно.

Он замолчал на минуту. Потом, обратившись к невидимым народным массам, которые как будто взирали на него сквозь черные глаза камеры, медленно заговорил:

— Мужчины и женщины новой эпохи! — начал он. — Вы восстали, чтобы биться за человеческую расу! Но легкой победы тут не может быть...

Он остановился, ища слова. Мысли, уже сложив-

шиеся в его уме до ее прихода, теперь возвращались к нему, но без примеси сомнений в их уместности.

— Эта ночь представляет только начало! — сказал он. — Предстоящая битва, та, которая надвигается на нас в эту ночь, — только начало! Возможно, что вам придется бороться всю вашу жизнь. Но не падайте духом даже в том случае, если я буду побежден, если я буду совершенно раздавлен...

Однако то, что он хотел бы выразить, было слишком неопределенно и в слова не укладывалось. Он на мгновение остановился и снова начал повторять те же неопределенные фразы, которыми хотел поддержать бодрость. Но вот, наконец, слова вернулись к нему и потоком полились из его уст...

Многое из того, что он говорил, представляло лишь общие места гуманитарных взглядов прошлого века. Но убеждение, звучавшее в его голосе, придавало им жизненность. Он говорил о прежних временах этому народу новой эпохи и женщине, стоявшей около него.

— Я пришел к вам из прошлого, — сказал он, — с воспоминанием о веке, который жил надеждой. Мой век был веком мечтаний, веком начинаний и благородных надежд. Мы покончили с рабством во всем мире; мы распространили по всему миру желание и надежду, что скоро прекратятся войны, что все, мужчины и женщины, будут вести благородную жизнь в мире и свободе... Так надеялись мы в эти минувшие дни! Но что случилось с этими надеждами? Что случилось с человечеством по прошествии двухсот лет?

Огромные города, могущественные силы, величие коллективной работы превзошли наши мечты. Мы не стремились к этому, но это пришло. Но что же случилось с маленькими жизнями, создающими эту великую жизнь? Как вообще живут теперь люди? Как и раньше было, человек продолжает жить в горе и труде, живет скудно и чувствует неудовлетворенность, живет, искушаемый властью, богатством, неразумно расходует свою жизнь и совершает безумства. Старые верования вымерли и изменились. А новая вера... Да существует ли новая вера?

И он почувствовал вдруг, что начинает верить в то, во что ему так хотелось верить. Он окунулся в эту

веру и крепко ухватился за нее, некоторое время продержавшись на ее высоте. Он говорил порывисто, отрывочными фразами, но вкладывал в них всю силу и искренность той новой веры, которая теперь была в нем. Он говорил о величии самоотречения, о вере в бессмертную жизнь человечества, с которой мы живем, движемся и осуществляем свою жизнь. Его голос то повышался, то падал, и воспринимающие аппараты, казалось, с одобрительным жужжанием отмечали его речь. Слуги в тени комнаты молча прислушивались к его словам. Присутствие же безмолвной слушательницы, стоявшей возле него, поддерживало в сомнительных местах его воодушевление и его искренность.

В течение нескольких блестящих моментов, подхваченный волной своего воодушевления, он уже не сомневался более в себе, верил в силу своих героических слов, и эти слова как будто сами собой рождались у него. Его красноречие лилось свободной рекой. Наконец он произнес заключительные слова:

— В этот момент и здесь я передаю вам свою волю! — сказал он. — Все, что принадлежит мне в этом мире, я отдаю народу мира. Отдаю это вам, и себя самого тоже отдаю вам! И как богу будет угодно, я буду жить для вас или умру!..

Он кончил, сделав красноречивый жест, и повернулся.

На лице девушки отражалось его собственное воодушевление. Глаза их встретились. В ее глазах блестели слезы энтузиазма.

— Я знаю, — прошептала она. — О! Повелитель мира, государь, вы должны были это сказать.

— Я сказал, что мог, — ответил он медленно и на мгновение взял ее протянутую руку.

Человек в желтом очутился возле них. Никто не видал, как он подошел. Он сказал им, что юго-западные части уже выступили.

— Я не ожидал этого так скоро! — кричал он. — Они сделали чудеса. Вы должны послать им слово одобрения, чтобы поддержать их.

Грехэм рассеянно взглянул на него, словно не понимая, о чем идет речь. Но вдруг он вспомнил, и прежняя тревога относительно летательных станций снова вернулась к нему

— Да,— сказал он.— Это хорошо, очень хорошо. Скажите же им: «Хорошо сделано, юго-запад!»

Он снова посмотрел на Элен. Его лицо отражало борьбу, которая происходила в нем.

— Мы должны захватить летательные станции,— пояснил он.— Если мы этого не сделаем, то они высадут негров. Мы во что бы то ни стало должны предупредить это...

Но произнося эти слова, он уже почувствовал, что говорит не то, что было у него в уме за мгновение перед этим. Он заметил легкое изумление в ее глазах. Она как будто собиралась что-то сказать, но пронзительный звон заглушил ее голос.

Грехэм тотчас же пришло в голову: она ждала от него, что он будет предводительствовать народами и что именно это он и должен был сделать!

Он обратился к человеку в желтом и сказал ему. Но говорил он для нее и видел радость в ее глазах!

— Здесь я ничего не делаю,— заметил он.

— Это невозможно! — протестовал человек в желтом.— Ваше место здесь...

Он начал подробно объяснять ему и указал комнату, где он должен был ждать.

— Иначе поступать нельзя,— сказал он.— Мы должны знать, где вы находитесь. Каждую минуту может наступить кризис и потребуются ваше присутствие и ваше решение.

В его уме пронеслась картина великой драматической борьбы масс, происходившей здесь, в развалинах. Но теперь грандиозного зрелища не будет. Ему остается только ждать в уединении и тревоге — ждать того, что будет!

Только после полудня ему удалось получить некоторое представление о битве, невидимой и неслышной, свирепствовавшей в четырех милях от него, под Рогемптонской станцией. Странное и небывалое сражение, распадавшееся на сотни тысяч маленьких битв, происходивших среди сети путей и каналов, где люди сражались, не видя ни неба, ни солнца, при сиянии электрического света, сражались в полном беспорядке, как не обученные военному делу и поощряемые только отдельными возгласами. Это были народные массы, отупевшие под влиянием бессмысленного труда и обессиленные двухвековым

рабством, доставлявшим им обеспеченное существование. Они сражались с массами, деморализованными вследствие чувственной распущенности и продажных привилегий, которыми они пользовались. У них не было ни артиллерии, ни разделений по родам оружия. И с той, и с другой стороны единственным оружием был маленький зеленый металлический карабин, тайная фабрикация которого и внезапная раздача в огромных количествах были одним из главных актов Острога, действовавшего против Совета. Но мало кто имел какое-нибудь понятие о том, как надо обращаться с таким оружием. Многие еще ни разу не имели его в руках раньше, другие же явились без снарядов. Более дикой стрельбы еще не бывало в истории войн! Это была битва добровольцев, не воевавших на войне, отвратительная бойня, где люди учились военному делу на опыте. Вооруженные мятежники, подстрекаемые словами и дикими звуками Песни Восстания, сражались с такими же вооруженными мятежниками и, побуждаемые сочувствием других, бросались бесчисленными толпами к узким путям, по испорченным лифтам к галереям, скользким от крови, к залам и проходам, наполненным дымом, вблизи летательных станций и там на опыте знакомились, когда отступление было отрезано, с древними мистериями войны...

А вверху, за исключением нескольких искусных стрелков на крыше и нескольких полосок и облачков дыма и пара, ничто не смущало ясности дня. Только к вечеру число этих облачков увеличилось, и они сгустились и потемнели. Острог, по-видимому, не имел в своем распоряжении бомб, в ранних же стадиях битвы летательные машины не принимали участия. Ни единое облачко не омрачало блестящей синевы неба, которое оставалось пустынным, точно застыло в ожидании появления аэропланов.

Известия о них приходили из разных пунктов, все более и более близких: сначала из испанских городов, потом из Франции. Но о новых пушках, отлитых Острогом, которые должны были находиться в городе, Грехэм ничего не узнал, несмотря на свои настойчивые расспросы. Не было также получено никаких известий о каком-либо успехе в битвах, охвативших кольцом летательные станции Секции рабочих об-

ществ одна за другой извещали о том, что они выступили в поход, затем о них не было больше никаких известий, и они исчезали внизу в лабиринте боя.

Что же происходило там? Даже деятельные вожди отдельных частей не знали ничего!

Несмотря на стук отворяемых и затворяемых дверей, на голоса торопливых гонцов, на звон колокольчиков и постоянную трескотню передающих приборов, Грехэм все же чувствовал себя изолированным и как-то странно бездеятельным и бесполезным.

Их изолированность в эти минуты казалась ему временами наиболее странной и неожиданной вещью из всего того, что ему пришлось пережить после своего пробуждения. В этом было нечто, напоминавшее ему ту неподвижность, которую человек испытывает во сне. Оглушительный шум и неожиданное открытис, что между ним и Острогом загорелась мировая борьба,— и затем это заключение в тихой маленькой комнате, с ее говорильными и звуковыми приборами и разбитым зеркалом!..

Вот закрывается дверь, и Грехэм и Элен остаются одни, отделенные от этой небывалой мировой бури, бушующей снаружи, и чувствующие только присутствие друг друга и только занятые друг другом! Но когда вновь открывается дверь и входят гонцы или резкий звон нарушает спокойствие их убежища, то это производит такое впечатление, словно ураганом внезапно раскрывается окно в хорошо освещенном и прочно выстроенном доме. Тогда к ним врываются мрачная суетливость, суматоха, напряжение и ярость борьбы и на время захватывают их.

Но они были не участниками событий, а только простыми зрителями и лишь воспринимали впечатления этой страшной борьбы. И даже самим себе они казались не реальными, а какими-то бесконечно малыми изображениями жизни. Единственно реальными были: город, трепещущий, гудящий, охваченный яростью, и аэропланы, неуклонно стремящиеся к нему через воздушные пространства...

Несколько минут они ничего не слышали, между тем за дверью послышался топот и раздались крики. Девушка вздрогнула и вся превратилась в напряженное внимание.

— Что это? — закричала она и вскочила, безмолвная, сомневающаяся, но уже торжествующая.

Грехэм тоже услышал. Металлические голоса кричали: «Победа!»

В комнату, быстро отдернув портьеры, вбежал человек в желтом, растрепанный и дрожащий от сильнейшего волнения.

— Победа! — кричал он. — Победа! Народ одолевает. Люди Острога поддались.

Элен привстала.

— Победа? — переспросила она.

— Что такое? — спросил Грехэм. — Скажите, что такое?

— Мы вытеснили их из нижних галерей в Норвуде. Стритхэм весь в огне, а Рогемптон наш!.. Наш!.. И мы захватили моноплан.

Раздался пронзительный звон. Из комнаты начальников отдельных частей вышел взволнованный седой человек.

— Все кончено! — крикнул он.

— Что из того, что Рогемптон в наших руках! Аэропланы уже показались в Булони!

— Канал, — сказал человек в желтом и быстро сделал подсчет.

— Через полчаса.

— В их руках еще три летательные станции, — сказал седой человек.

— А пушки? — вскричал Грехэм.

— Мы не можем их снарядить в полчаса.

— Значит, они найдены?

— Слишком поздно, — сказал старик.

— Если бы их можно было задержать еще хоть на полчаса! — воскликнул человек в желтом.

— Ничто не может остановить их теперь, — заметил старик. — У них почти сто монопланов в первом отряде.

— Еще один час? — спросил Грехэм.

— Быть так близко от победы... теперь, когда мы нашли пушки! — вскрикнул человек в желтом. — Так близко!.. Если бы мы могли поднять их на крыши!

— А сколько времени потребуется на это? — внезапно спросил Грехэм.

— Час, конечно.

— Слишком поздно! — вскричал начальник части. — Слишком поздно!

— Слишком поздно? — переспросил Грехэм. — Даже теперь... Ведь только час!

У него вдруг блеснула мысль о возможности найти

выход. Он старался говорить спокойно, но лицо его было бледно.

— У нас есть еще один шанс. Вы говорили, что там есть моноплан? — спросил Грехэм.

— Да, на Рогемптонской станции, сэр.

— Испорчен?

— Нет. Он лежит поперек дороги. Поставить его на рельсы не стоит труда. Но у нас нет аэронавтов!

Грехэм посмотрел на них и на Элен и, помолчав, опять спросил:

— У нас нет аэронавтов?

— Ни одного.

— Аэропланы неповоротливы в сравнении с монопланами, — сказал он задумчиво.

Он внезапно повернулся к Элен. Его решение было принято.

— Я должен пойти на эту летательную станцию, где лежит моноплан.

— Что же вы хотите сделать?

— Я ведь аэронавт. Во всяком случае... эти дни, за которые вы упрекали меня, не пропали даром!

Он повернулся к человеку в желтом и сказал:

— Велите им поставить моноплан на рельсы

Человек в желтом стоял в нерешительности.

— Что вы хотите сделать? — вскричала Элен.

— Ведь моноплан... это для нас еще один шанс...

— Неужели вы хотите?..

— Сражаться, да. Сражаться в воздухе. Я уже думал об этом раньше. Аэропланы ведь неповоротливы. Какой-нибудь решительный человек...

— Но никогда, с тех пор как началось воздухоплавание!.. — вскрикнул человек в желтом.

— Не было надобности, — перебил его Грехэм. — А теперь время пришло. Скажите им это.. передайте мое приказание... пусть поставят моноплан на рельсы.

Старик с неммым вопросом взглянул на человека в желтом, потом кивнул головой и поспешил вон из комнаты.

Элен подошла к Грехэму. Она была бледна как смерть.

— Как? Разве один человек может сражаться? Ведь вас убьют!..

— Быть может. Но если не сделать этого.. или заставить кого-нибудь другого попытаться...

— Но вас убьют, — повторила она.

— Я уже сказал свое слово. Разве вы не видите? Нужно спасти Лондон.

— Он замолчал. Говорить он больше не мог, только сделал жест, означающий, что нет другого выбора. Они молча посмотрели друг на друга.

Ничего не произошло между ними: ни объятий, ни прощания, мысль о личной любви отошла в сторону перед жестокой необходимостью действовать. Ее лицо выразило нежность и одобрение, небольшим движением руки она указала ему его судьбу.

Он повернулся к человеку в желтом.

— Я готов, — сказал он.

Глава XXIV

ПРИБЫТИЕ АЭРОПЛАНОВ

Два человека в бледно-голубом лежали возле захваченной Рогемптонской станции, границы которой образовали ломаную линию. Они держали свои карабины и всматривались в тень, падающую от соседней станции Уимблдон Парк. По временам они перебрасывались словами друг с другом. Они говорили на испорченном английском языке своего класса и своей эпохи.

Огонь со стороны приверженцев Острога постепенно уменьшался и, наконец, прекратился совсем, и вообще с некоторого времени неприятеля почти не было видно. Однако отзвуки сражения, происходившего далеко внизу, в нижних галереях этой станции, доносились наверх время от времени, и слышны были крики, залпы и шум. Один из лежащих рассказывал другому, что он видел внизу человека, который пробирался за балками; он тотчас же, прицелившись в него, выстрелил и уложил его на месте.

— Вон там, внизу, он и до сих пор лежит там, — сказал довольный собой стрелок. — Посмотри на это пятнышко... вон там... между этими балками.

В нескольких футах от них лежал убитый иностранец лицом к ним. На синей холстине его блузы виднелась маленькая круглая дыра, края которой тлели. Она соответствовала пулевой ране в груди. Рядом с

мертвым сидел раненый с перевязанной ногой и каким-то неподвижным взглядом смотрел, как горел холст у краев раны. За ними обоими, поперек платформы, лежал захваченный моноплан.

— Я вовсе ничего не вижу! — сказал вызывающим тоном товарищ стрелка.

Стрелку это не понравилось, и он с жаром принялся доказывать ему, что он должен видеть. Но его разглагольствования были внезапно прерваны криком и шумом, доносившимися снизу.

— Что это происходит? — воскликнул он, приподнявшись на одной руке, и начал всматриваться в верхние ступени лестницы, выходящей на середину платформы. Толпа людей, одетых в синий холст, поднималась по лестнице.

— Зачем пришли сюда эти дураки! — воскликнул он недовольным тоном. — Они только создают тесноту и мешают стрелять. Что им тут понадобилось?

— Шш!.. Они что-то кричат.

Оба прислушались. Толпа вновь пришедших густой массой окружила машину. Три начальника частей, выдававшие своими черными мантиями и значками, вскарабкались внутрь кузова и оттуда вылезли наверх.

Стрелок привстал на одно колено и с удивлением заметил:

— Они ставят его на платформу... Вот зачем они пришли.

Он вскочил на ноги. Его товарищ сделал то же самое.

— Какой смысл! — воскликнул он. — Ведь у нас нет аэронавтов!

— А они все-таки ставят, — сказал другой.

Он взглянул на свое ружье, на суетящуюся толпу и, вдруг обернувшись к раненому, сказал, передавая ему ружье и пояс с зарядами:

— Побереги это, товарищ!

Через минуту он уже бежал к моноплану.

В течение четверти часа он работал изо всех сил вместе с другими, обливаясь потом, крича и подбадривая товарищей, и, наконец, когда дело было сделано, он вместе с толпой издал радостный, торжествующий крик.

В толпе он узнал то, что знал уже каждый в городе

Повелитель, хотя и новичок в этом деле, все же

хочет сам полететь на этой машине и идет сюда, чтобы принять ее в свое ведение. Он никому не даст заменить себя!

— Тот, кто подвергает себя величайшей опасности, кто несет наиболее тяжелое бремя, тот и есть настоящий вождь! — так говорил повелитель.

Стрелок продолжал восторженно кричать, весь мокрый от пота, струившегося по его лицу, как вдруг оглушительный рев толпы покрыл его голос. Сквозь этот рев временами прорывались громкие, призывные звуки революционной песни.

Толпа расступилась, и он увидел головы людей, густым потоком покрывавших лестницу.

— Повелитель идет! Повелитель идет! — кричали голоса.

Толпа кругом становилась все гуще. Стрелок постарался протиснуться ближе к центральной площадке.

— Повелитель идет!.. Спящий!.. Повелитель!.. Бог и повелитель! — редела толпа.

И вдруг совсем близко от себя стрелок увидел черные мундиры революционной гвардии и в первый и в последний раз в жизни увидел Грехэма, который прошел совсем близко около него. Высокий, смуглый человек, в развевающейся черной мантии, с бледным энергичным лицом и глазами, устремленными вперед. Он, очевидно, не видел, не слышал и не замечал ничего, что делалось вокруг...

Во всю свою жизнь потом стрелок не мог забыть промелькнувшего перед ним бледного, бескровного лица Грехэма. Через минуту он исчез, затерялся в нахлынувшей толпе. Какой-то мальчик со слезами ужаса в глазах столкнулся со стрелком, протискиваясь к лестнице. Он кричал изо всей мочи:

— Очистите старт, вы, дураки!

Раздался громкий, немелодичный звон колокола, призывающий народ очистить летательную станцию.

С этим звоном в ушах Грехэм приблизился к моноплану и вступил в тень его наклонного крыла. Люди, окружавшие его, выражали желание сопровождать его, но он жестом отклонил их предложения. Он должен был хорошенько сообразить теперь, как привести в движение машину.

Все громче и громче раздавался звон колокола и все быстрее и громче звучали шаги отступающей толпы. Человек в желтом помог ему влезть внутрь. Затем

Грехэм взобрался на сиденье аэронавта и очень обдуманно и осторожно укрепил себя там.

Но что это? Человек в желтом показал ему на две маленькие летательные машины, поднявшиеся вверх в южной стороне неба. Без сомнения, они высматривают приближение аэропланов...

Однако самое главное для него в данную минуту — это подняться! Ему что-то кричали, о чем-то спрашивали его, предостерегали. Но это надоедало ему. Он хотел сосредоточиться в мыслях о машине, припомнить свой прежний опыт до мельчайших подробностей. Он махнул рукой и увидел, что человек в желтом скользнул между ребрами моноплана и исчез. Толпа же, повинувшись его жесту, подалась за линию балок.

Несколько мгновений он сидел неподвижно, рассматривая рычаги, колеса, придававшие направление двигателю, и весь сложный механизм, так мало знакомый ему. Он взглянул на нивелир: воздушный пузырек находился прямо против него. Тогда он вспомнил что-то и потратил несколько минут на то, чтоб переместить двигатель вперед до тех пор, пока воздушный пузырек не оказался в центре трубки.

Грехэм обратил внимание, что толпа притихла; криков больше не было слышно. Должно быть, она наблюдает за ним! Вдруг пуля ударилась в балку, над его головой. Кто это стреляет? Свободен ли путь? Он встал, чтоб посмотреть, и снова сел на место...

В следующую минуту пропеллер завертелся, и машина покатила вниз, по рельсам. Грехэм схватился за колесо и передвинул машину назад, чтоб приподнять нос...

Послышались крики народа, и через минуту он уже начал подниматься, ощущая содрогание машины. Крики замирали внизу в отдалении, и скоро все затихло. Над щитом свищет ветер, и земля быстро убегает вниз...

Троб, троб, троб! — стучит машина. Грехэм поднимался все выше и выше. Ему казалось, что он не чувствует ни малейшего возбуждения и мысль его может работать спокойно и хладнокровно. Он поднял нос моноплана еще выше, открыл один клапан в левом крыле и, описав дугу, взлетел еще выше. Он спокойно посмотрел вниз, не чувствуя головокружения, а потом наверх. Он увидел, что один из монопланов Острога пересекает линию его направления под ост-

рым углом, сверху вниз. Маленькие аэронавты пристально разглядывали Грехэма.

Что у них на уме? Мысль Грехэма энергично работала. Он заметил, что один из аэронавтов поднял ружье и прицелился, видимо приготавливаясь стрелять. В чем они подозревают его? В то же самое мгновение он понял их тактику, и у него созрело решение. Временное колебание исчезло. Он открыл еще два клапана в левом крыле, сделал оборот, повернувшись носом к врагу, затем, закрыв клапаны, бросился прямо на него, защищенный от выстрелов носом и экраном. Враг подался в сторону как будто для того, чтобы дать ему дорогу. Он еще поднял нос.

Троб, троб, троб. Пауза. Троб, троб, троб... Он стиснул зубы. Лицо его исказилось судорогой и... трах! Он ударил в них сверху, в ближайшее крыло...

Крыло его противника расколосось от удара во всю ширь и затем медленно скользнуло вниз и исчезло из виду.

Грехэм почувствовал, что нос его машины опускается. Он вцепился руками в рычаги, стараясь повернуть их, чтобы оттянуть двигатель назад. Вслед за тем он снова почувствовал толчок, и нос опять круто поднялся кверху. Ему показалось на мгновение, что он лежит на спине. Машина раскачивалась из стороны в сторону, словно танцуя на своем винте. Он сделал отчаянное усилие, почти повис на рычагах, и, наконец, ему удалось повернуть двигатель вперед. Он поднялся, но уже не так круто.

Передохнув немного, Грехэм опять налег на рычаги. Ветер свистел вокруг него. Еще одно усилие — и моноплан принял почти горизонтальное направление.

Теперь он мог вздохнуть. Он в первый раз оглянулся, чтобы посмотреть, что случилось с его противниками. Повернувшись спиной к рычагам на мгновение, он осмотрелся кругом. В первую минуту ему могло показаться, что враги его исчезли. Но потом он увидел между двумя станциями что-то вроде колодца. Туда что-то быстро скользнуло вниз и скрылся из глаз, падая, точно маленькая шестипенсовая монетка, закатившаяся в щель...

Сначала он не понял, что это, а потом его охватила дикая радость. Он крикнул изо всей силы что-то неопределенное и пронзительное и помчался все выше, выше, к небесам.

Троб, троб, троб. Пауза. Троб, троб, троб...

— Где же другая машина? — подумал он. — Пожалуйста, и они...

Всматриваясь в пустынное пространство кругом, он почувствовал на минуту опасение, что эта машина поднялась над ним, но потом он увидел, что она пристает к Норвудской станции. Очевидно, аэронавты имели в виду только перестрелку. Риск получить удар и ринуться вниз головой с высоты двух тысяч футов, очевидно, превышал мужество современных людей. Поединок не был принят.

Несколько времени он кружился на высоте, а затем круто спустился к западной станции.

Троб, троб, троб... Троб, троб, троб...

Сумерки тихо спускались. Дым со Стритхемской станции, такой густой и черный раньше, теперь превратился в столб пламени. Изгибы подвижных путей, прозрачные крыши и куполы и глубокие пропасти между зданиями слабо мерцали внизу, освещенные электрическим светом, который смягчался сиянием дня.

Три станции, еще остававшиеся в руках сторонников Острога, зажгли сторожевые огни для ожидаемых аэропланов. Станция же Уимблдон Парк не могла быть использована вследствие обстрела из Рогемптона, а Стритхем превратился в пылающую печь.

Пролетая над Рогемптоном, Грехэм увидел чернеющие массы народа, собравшегося там. До него донеслись радостные крики. Просвистела пуля из Уимблдона, и он, еще поднявшись, полетел над Серрейскими холмами.

Дул юго-западный ветер. Вспомнив прием, которому он научился, он поднял свое западное крыло и полетел вверх, где воздух был реже и свежее.

Троб, троб, троб! Троб, троб, троб!..

Он поднимался все выше и выше с каждым ритмическим толчком, пока внизу страна, утопая в синеве, стала неясной, а Лондон превратился в маленькую карту, начерченную огнями, точно небольшая модель города у края горизонта. На юго-западе небо казалось сапфиром, в темной оправе над краем земли, а по мере того как он поднимался, число звезд все увеличивалось и они становились ярче...

Что это? На юго-западе, далеко внизу, показались две туманные точки, быстро увеличивающиеся. Затем

еще две и, наконец, целая масса каких-то быстро несущихся призрачных теней. Грехэм мог уже сосчитать их. Сначала четыре, потом двадцать. Это был передовой флот аэропланов. За ним виднелось другое туманное пятно, еще более широкое.

Грехэм описал полукруг, всматриваясь в этот приближающийся флот. Аэропланы, словно гигантские светящиеся чудовища, неслись треугольником в нижних слоях воздуха. Он быстро вычислил их скорость и повернул колесо, перемещавшее двигатель вперед. Он тронул рычаг, и стук машины прекратился. Грехэм начал падать все быстрее и быстрее. Он направился прямо в вершину клина, образуемого аэропланами, и падал словно камень, пронизывающий воздух. Должно быть, не прошло и секунды с того момента, как он начал падать, и он уже ударил в передовой аэроплан.

Ни один человек из этой черной толпы не видел ничего, не подозревал грозящей ему судьбы и не думал о соколе, который мог ударить с высоты небес! Те, кто не испытывал страданий воздушной болезни, вытягивали свои черные шеи, чтобы рассмотреть вдали беззащитный город, встававший перед ними в тумане, богатый и блестящий, с которым им предстояло расправиться, повинувшись приказу хозяина. Их белые зубы сверкали, и блестели лоснящиеся черные лица. Они уже слышали о Париже и думали теперь, что знатно попируют среди этой белой черни.

И вдруг Грехэм нанес им удар...

Грехэм метил в корпус аэроплана, но в самый последний момент у него блеснула счастливая идея. Он повернул в сторону и всей силой своего веса ударил в край правого крыла. От толчка его отбросило назад, и нос машины скользнул по гладкой поверхности края крыла. Он почувствовал, что это огромное сооружение мчится, увлекая с собой и его моноплан. На мгновение он не мог сообразить, что случилось. Но вот он услышал крик, вырвавшийся из тысячи грудей, и увидел, что его машина балансирует на краю громадного крыла и опускается все ниже и ниже. Взглянув через плечо, он увидел, что хребет аэроплана и противоположное крыло поднимаются вверх. Перед ним мелькнули ряды висячих кресел, лица с застывшим на них выражением испуга, руки, судорожно цепляющиеся за перила сидений. В другом крыле были настежь открыты клапаны вследствие попыток

аэронавта выпрямить машину. Дальше он увидел второй аэроплан, круто поднимающийся вверх, чтобы избежать воздушного водоворота, образующегося вследствие падения такой махины. Широкая поверхность размахивающих крыльев вдруг точно подпрыгнула в воздухе. Грехэм почувствовал, что его моноплан освободился, а чудовищное сооружение, перевернувшись, повисло над ним, как наклонная стена.

Он не понимал ясно, что ударил в боковое крыло аэроплана и соскользнул с него. Но он заметил, что летит теперь свободно вниз и быстро приближается к земле.

Что он сделал? Сердце его стучало так сильно, точно в груди у него была машина, и был один опасный момент, когда не мог двинуть рычагов, потому что руки его были точно парализованы. Но, очнувшись, он налег изо всей силы на рычаги, чтобы повернуть двигатель назад. С трудом справившись с тяжестью, он все же заставил машину выпрямиться и принять почти горизонтальное направление. Тогда он пустил в ход двигатель.

Он посмотрел вверх и увидел, что два аэроплана несутся высоко над его головой. Посмотрел назад и увидел, что главный флот разлетелся в разные стороны и вверх. А тот аэроплан, который он сбил, падал ребром вниз, вонзаясь, точно гигантское лезвие, в линию колес ветряных двигателей, находящихся под ним.

Он опустил хвост моноплана и посмотрел снова, не обращая внимания на направление своего полета. Он увидел, как поддались ветряные двигатели, и огромное сооружение коснулось земли. Нижние крылья согнулись от тяжести падающей массы, затем аэроплан перевернулся вверх дном и, рухнув вниз, разбился вдребезги.

Вдруг из груды обломков вырвался тонкий язык белого пламени и поднялся к зениту. Но в ту же минуту Грехэм заметил, что прямо на него несется громадная масса. Он повернул вверх как раз вовремя, чтобы избежать нападения, — если только это было нападение, — второго аэроплана. Внизу со свистом, точно вихрь, пролетел аэроплан и сильным движением воздуха увлек Грехэма за собой на некоторое расстояние, так что чуть не перевернул его.

Тут Грехэм заметил, что три других мчатся прямо

на него. Он понял безусловную необходимость находиться над ними. Аэропланы были кругом него, но казалось, они сами хотели ускользнуть от него и поэтому описывали широкие круги. Они пронеслись мимо него вверху, внизу, на востоке и западе. Очень далеко к западу слышны были звуки какого-то столкновения и промелькнули два падающих огня.

С юга приближалась вторая эскадра. Он опять поднялся выше, но не решался броситься на них, так как не знал, достаточна ли достигнутая им высота. А затем обрушился на свою вторую жертву, и весь ее живой груз, состоящий из черных солдат, видел его приближение.

Огромная машина накренилась и закачалась в воздухе, когда обезумевшие от страха люди бросились к корме, чтоб достать свое оружие. Град пуль пронизал воздух, и в толстом стекле экрана, защищающего от ветра, образовалось звездообразное отверстие. Аэроплан стал быстро опускаться, чтоб избежать его удара, и опустился слишком низко. Но Грехэм вовремя заметил ветряные колеса Бромлейского холма, быстро вертевшиеся навстречу ему. Он круто повернул кверху, а в это время аэроплан попал на колеса. Раздался треск и протяжный, дикий вой тысячи голосов, огромное сооружение точно замерло на мгновение между осколками разбитых колес и ветряных крыльев, но затем разлетелось в куски. Огромные обломки взлетали на воздух. Двигатели рассыпались вдребезги, как скорлупа. Высокий столб пламени поднялся вверх, в темнеющее небо...

— Два! — вскрикнул Грехэм, и точно в ответ сверху упала бомба, разрываясь на лету. Он тотчас же снова поднялся. Его охватила опьяняющая радость. Сразу исчезли все его тревожные мысли о человечестве, о собственной непригодности. Он испытывал ощущение воина, наслаждавшегося своей силой в бою. Аэропланы, по-видимому, преследовали только одну цель — избежать его и поэтому бросались врассыпную. Когда они пролетали мимо, то он слышал вой их человеческого груза, доносившийся к нему с порывами ветра.

Он выбрал третью жертву и быстро погнался за ней, но ему удалось только перевернуть аэроплан на ребро. Тем не менее хотя аэроплан и ускользнул от него, но он все-таки разбился о высокий выступ лондонской стены. Опустившись под влиянием толчка,

Грехэм пролетел так близко от темнеющей внизу земли, что даже успел разглядеть испуганного кролика, убежавшего по склону холма. Но он тотчас круто поднялся вверх и увидел, что летит над южным Лондоном и все воздушное пространство около него пусто. Справа от него с треском и шумом лопались сигнальные ракеты приверженцев Острога, производя дикую сумятицу в воздухе. На юге пылали обломки полдюжины воздушных кораблей, а на востоке, западе и севере убегали от него другие воздушные корабли. Они летели в разные стороны, потому что совершенно не могли останавливаться в воздухе, а при общем смятении всякая попытка к эволюциям непременно привела бы к роковым столкновениям.

Грехэм лишь с трудом оценил все значение того, что им было сделано. Аэропланы везде отступали, везде! Они точно таяли в воздухе, становясь все меньше и меньше. Они бежали!..

Он пролетел мимо Рогемптонской станции приблизительно на высоте двухсот футов. Она была черна от наполнявшего ее народа, оглашавшего воздух своими ликующими криками. Но отчего же и Уимблдон Парк также черен от толпы и оттуда также несутся ликующие крики? Дым и пламя Стратхемской станции заслоняли три другие станции.

Грехэм опять поднялся и описал круг, чтобы посмотреть, что делается на них и в северных кварталах. Сперва выступили из-за дыма четырехугольные строения Шутерс-Хилла. Они были освещены и в полном порядке. Там уже пристали аэропланы и высаживали негров. Затем показался Блэкхит, и из-за дыма выглянул Норвуд. К Блэкхит не пристало ни одного аэроплана, Норвуд был покрыт толпой маленьких черных фигурок, в страшном смятении бегающих взад и вперед.

Что же случилось?.. Вдруг он понял. Упорная защита летательных станций, очевидно, прекратилась, и народ ринулся в подземные пути, ведущие к этим последним твердыням Острога, захватившего их. А затем, с далекой северной границы города, донесся звук, полный для него великого, прекрасного значения. Это был сигнал, звук торжества, глухой звук пушечного выстрела...

Он глубоко вздохнул и крикнул, крикнул в воздушную пустыню, окружавшую его:

— Они побеждают! Народ побеждает!..

Точно в ответ на его крик грянула вторая пушка. А затем он увидел, что моноплан в Блэкхите бежит по своим рельсам и поднимается вверх, плавно и свободно. Он прямо понесся к югу и скрылся от него

Но Грехэм тотчас же сообразил, что это значит Это бежит Острог!..

Грехэм вскрикнул и тотчас же бросился за ним Он находился уже на нужной ему высоте и теперь необыкновенно быстро скользил вниз по наклонной линии. Но другой моноплан круто поднялся вверх при его приближении, и так как Грехэм мчался с чрезвычайной скоростью, то пролетел мимо него.

Грехэм промчался дальше, стремглав летя вниз со всею силой своего неудачного удара.

Это привело его в бешенство. Он с силой дернул двигатель назад и круто поднялся вверх, описывая круги. Он видел, что впереди и выше него несется по спирали машина Острога. Поднявшись вертикально, он сразу обогнал его вследствие силы своего разгона и оттого, что на его стороне было преимущество меньшего веса.

Стремглав бросившись вниз, он опять промахнулся. Когда он проносился мимо, то увидел спокойное и хладнокровное лицо аэронавта и мрачную решимость в позе Острога. Острог упорно смотрел в сторону, прямо на юг...

Грехэм с бешенством подумал, что его полет должен быть очень неумелым. Внизу он видел Кройдонские холмы. Поднявшись вверх, он снова обогнал своего врага.

Вдруг он оглянулся, и внимание его приковало к себе странное явление. Восточная станция, одна из тех, которые находились на Шутер-Хилле, как будто поднялась на воздух. Что-то сверкнуло, и затем появилось большое серое облако, точно какая-то огромная, закутанная в дым фигура, несущая на своих плечах глыбы металла. Несколько мгновений эта фигура держалась неподвижно в воздухе, затем с плеч ее стали падать громадные металлические массы и с головы стало спадать покрывало дыма.

Народ взорвал станцию, аэропланы и все!

Внезапно вспыхнула вторая молния, и над Норвудской станцией тоже показалось серое облако. Пока Грехэм смотрел на это, раздался глухой гул, и волна от первого взрыва ударила в него.

Несколько мгновений его моноплан летел вниз, почти под углом, зарываясь носом и точно колеблясь, окончательно перевернулся в воздухе. Грехэм стоял под щитом, стараясь изо всех сил повернуть колесо двигателя, вертевшееся над его головой. А затем воздушный толчок от второго взрыва положил его машину на бок.

Он судорожно вцепился в одно из ребер своей машины. Воздух со свистом пронесся мимо него вверх, и ему на мгновение показалось, что он неподвижно висит в воздухе и только ветер свистел около него.

Вдруг ему пришло в голову, что он падает. Да, это было несомненно! Он не мог взглянуть вниз.

Как молния, пронеслась в голове его мысль обо всем, что произошло со времени его пробуждения. Он вспомнил дни сомнений, дни владычества и шумное открытие ловко задуманной измены Острога...

Все это видение показалось ему нереальным. Кто же он такой? Почему он держится так крепко руками? Почему он не может отнять рук? Каким падением кончались его бесчисленные мечты! Через минуту он проснется...

Мысли его неслись все быстрее и быстрее. Увидит ли он Элен когда-нибудь. Было бы так нелепо, если б он ее больше не увидел!

Он вдруг почувствовал, что земля совсем близко, хотя и не мог взглянуть на нее.

Последовал удар, страшный хруст и скрежет кипящего металла.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ЛЮДИ КАК БОГИ

Книга первая

«ВТОРЖЕНИЕ ЗЕМЛЯН»

<i>Глава I.</i> Мистер Барнстейпл решает отдохнуть	7
<i>Глава II.</i> Удивительная дорога	18
<i>Глава III.</i> Мир красивых людей	24
<i>Глава IV.</i> На роман падает тень Эйнштейна, но тут же исчезает	36
<i>Глава V.</i> Управление Утопии и ее история	45
<i>Глава VI.</i> Критические замечания землян	66
<i>Глава VII.</i> Прибытие компании лорда Барралонга	92
<i>Глава VIII.</i> Раннее утро в Утопии	108

Книга вторая

КАРАНТИН НА УТЕСЕ

<i>Глава I.</i> Эпидемия	127
<i>Глава II.</i> Замок на утесе	138
<i>Глава III.</i> Мистер Барнстейпл предает человечество	160
<i>Глава IV.</i> Конец Карантинного Утеса	182

Книга третья

НЕОФИТ В УТОПИИ

<i>Глава I.</i> Мирные холмы у реки	191
<i>Глава II.</i> Бездействие в деятельном мире	199
<i>Глава III.</i> Землянин оказывает услугу	223
<i>Глава IV.</i> Возвращение землянина	233

КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНЕТСЯ

<i>Глава I.</i> Бесонница	253
<i>Глава II.</i> Транс	262
<i>Глава III.</i> Пробуждение	268
<i>Глава IV.</i> Отголоски волнений	272

<i>Глава V. Движущиеся улицы</i>	286
<i>Глава VI. Зал Атласа</i>	290
<i>Глава VII. В покоях безмолвия</i>	300
<i>Глава VIII. На крышах</i>	312
<i>Глава IX. Народ идет</i>	326
<i>Глава X. Битва в темноте</i>	332
<i>Глава XI. Старик, который все знает</i>	344
<i>Глава XII. Острог</i>	355
<i>Глава XIII. Конец старого строя</i>	370
<i>Глава XIV. «Воронье гнездо»</i>	374
<i>Глава XV. Значительные люди</i>	382
<i>Глава XVI. Моноплан</i>	395
<i>Глава XVII. Три дня</i>	407
<i>Глава XVIII. Грехэм вспоминает</i>	413
<i>Глава XIX. Точка зрения Острога</i>	423
<i>Глава XX. На улицах</i>	430
<i>Глава XXI. Обратная сторона</i>	452
<i>Глава XXII. Борьба в Доме Совета</i>	460
<i>Глава XXIII. Грехэм говорит свое слово</i>	472
<i>Глава XXIV. Прибытие аэропланов</i>	483

Уэллс Герберт Джордж

**ЛЮДИ КАК БОГИ
КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНЕТСЯ**

*Редактор Г Прусова
Оформление В. Носкова
Худож. редактор Н. Печникова
Техн. редактор М. Терюшин*

**Издательство «Диамант» при техническом содействии
ПКФ «Печатное дело».
119034, Москва, 2-й Обыденский пер., 14**

**ЛР № 062749 от 18.06.93
Сдано в набор 25.08.94. Подписано в печать 25.10.94.
Формат 84 × 108/32. Бумага типографская. Гарнитура Таймс.
Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04.
Тираж 38 000 экз. Зак. № 139**

Диапозитивы изготовлены в ОМФЦ «Юридическая литература»

**Отпечатано с готовых диапозитивов
в ордена Трудового Красного Знамени
ПП «Техническая книга» Комитета Российской Федерации по печати.
198052, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29**



Библиотека

Пушкина



продолжается...

Юный

